

ДРУЖБА НАРОДОВ



- **Геннадий Русаков**
Проверенные люди
Стихи
- **Ольга Кучкина**
В башне из лобной кости
Роман
- **Денис Гуцко**
Рассказы
- **Игорь Яковенко**
Об Опонском царстве,
жареном петухе
и пользе стоматологии
- **Владимир Леонович**
В эту пору прекрасную

1'2008

В НОМЕРЕ:

ПЕРЕКИДЧИК

Художник был знаменитым из знаменитых. Знаменит он был не только своими работами, но своевольным характером и категорическим нежеланием показываться на публике и давать интервью. И все же немолодой, знающей свое дело журналистке удалось вызвать его на откровенность. Статья о нем вышла, когда художника уже не было в живых. И тут стало выясняться, что фактически он был совсем не тем, за кого себя выдавал...

Ольга КУЧКИНА. В башне из лобной кости. Роман

ЛИТЕРАТУРНЫМ ГУРМАНАМ

Пять новелл одного из самых изысканных мастеров современной прозы Геннадия ХАЗАНОВА. Их стилистическая утонченность и сюжетная многосмысленность наверняка доставят особое удовольствие искушенным читателям.

ПАРАДОКСЫ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО «ГУМАНИЗМА»

Александр ТАРАСОВ в статье «Право на убийство» расставляет точки над *i* в вопросе о смертной казни.

УВЕРТЮРА К НЕСОСТОЯВШЕМУСЯ ДЕЙСТВУ

«Мы пытались вестернизировать иррациональный русский мир и излечить Россию от безнадежного сталинского рака. Но мы делали это, стараясь не обращать внимания на то, что в попытке удалить социндустриалистическую опухоль желудка страны мы оперируем на ее доисторической душе... Нам думалось, что мы творим благо, даем организму шанс... Специалистами мы не были, иначе, по крайней мере, заметили бы, что и сам Запад далек от рациональности и демократической благости, которые мы ему приписывали. Так можно или все-таки нельзя было приступать к операции?»

Главы из книги воспоминаний Леонида ВОЛКОВА «Русская весна. Опыт исповеди бывшего нардепа», повествующей о драматических событиях первой половины 90-х годов.

«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ...»

Так когда-то начинал свои замечательные устные рассказы Ираклий Андроников. Мы решили воспользоваться этим зачином, чтобы рассказывать о книгах — новых и старых, любых жанров, написанных на русском и переводных, — которые стали личным событием. Рубрика появилась в январе 2007-го. И вот — новые рассказчики признаются в любви к прочитанным книгам.

ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

1'2008

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

| | |
|--|-----|
| Геннадий РУСАКОВ. Проверенные люди. <i>Стихи</i> | 3 |
| Ольга КУЧКИНА. В башне из лобной кости. <i>Роман</i> | 8 |
| Ольга ПОСТНИКОВА. ... в упорстве самоотрицанья. <i>Стихи</i> | 109 |
| Денис ГУЦКО. Рассказы | 112 |
| Борис ХАЗАНОВ. Пять новелл | 129 |

Публицистика

| | |
|--|-----|
| Александр ТАРАСОВ. Право на убийство. <i>Размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме</i> | 146 |
| Леонид ВОЛКОВ. Русская весна. <i>Опыт исповеди бывшего нардепа. Главы из книги. Вступительная заметка Александра Эбаноидзе</i> | 156 |

Нация и мир

| | |
|--|-----|
| Игорь ЯКОВЕНКО. Об Опонском царстве, жареном петухе и пользе стоматологии. <i>Беседует с доктором философских наук, профессором Игорем Григорьевичем Яковенко ведет Ирина Доронина</i> | 186 |
|--|-----|

Критика

| | |
|---|-----|
| «Я хочу рассказать вам...» Литературные события 2007 года | |
| Роман АРБИТМАН. На что способно чистое Слово? | 199 |
| Сухбат АФЛАТУНИ. Читайте, выздоравливайте | 200 |
| Дмитрий БЫКОВ. Литература отдувается за все | 203 |
| Николай ВЕРЕВОЧКИН. Гнездо из полыни, гнездо из окурков | 206 |
| Вадим МУРАТХАНОВ. Тонкие книги | 209 |
| Захар ПРИЛЕПИН. Все лучше и лучше | 211 |
| Елена ХОЛМОГорова. Чтение по обязанности и по любви | 213 |
| Владимир ЛЕОНОВИЧ. В эту пору прекрасную | 215 |

Эхо

| | |
|---|-----|
| Послереволюционный симбиоз. Рубрику ведет Лев Аннинский | 223 |
| Summary | 224 |

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В 2008 г.

распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».

Ищите «ДН» в его каталогах.

Наш индекс 70 250

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по культуре и кинематографии
и Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Главный редактор
Александр ЭБАНОВИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ,
Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Геннадий Русаков

Проверенные люди

* * *

Моя неотвратимая страна
любимых и отлюбленных навеки
глядит мне вслед из темного окна,
раскачивая медленные реки.
Невнятный день летит наискосок.
Поют, поднявши руки, логопеды.
И неопасно стучают в висок
уже не утешающие беды.
Поземка с крыш. Россия за холмом.
О, русская земля, несчастный Игорь!
К чему пытаться понимать умом
резон ее полупреступных игр?
Зачем прощаться, если нет судьбы —
есть Божьи полувнятные посулы,
штакетник отслужившей городьбы,
слова, до боли стиснувшие скулы?

* * *

Мне нужно, чтоб звала, мне нужно, чтоб кричала,
чтоб голосила вслед огромная страна,
чтоб снова мне судьбу по риску размечала,
меж пальцами текла, как волглая струна!
Мне нужен этот гам грачиного развала,
семи ее небес проем и разворот.
И чтобы к ней меня Татьяна ревновала,
рвала в клочки билет, кривила плачем рот.
Ушел мой стыдный век и отзвонили звоны.
Я сам себя забыл на торжищах земли,
где печень злым вином врачуют выпивоны,
с большого бодуна прожорливее тли.

* * *

Александрю Эбаноидзе

Так страшно мы с тобой сравнялись болью!
 На «до» и «после» время разделя,
 мы смотрим, как полузатертой молью
 толкуются дни и ворошится тля.
 Всего погодки по вчерашним датам,
 зато родня по горю и беде,
 мы вместе были молоды когда-то
 и вот сошлись на общей борозде.
 Нам нынче слово стало утешеньем,
 и лишь оно нам щеки оботрет.
 Гляди, как мне бесстыдным голошеньем
 оно опять распяливает рот!

* * *

Спонсоры, мать вашу, доки, купцы, воротилы!
 Где вы толпитесь, гремите об стол кулаком,
 двери корежите — чтобы, как сено на вилы,
 я бы вам кинул стихов моих встрепанный том!
 Где вы гуляете, голуби, что же вас нету?
 Жданки подъедены, корки засохли в дому.
 Выпить чего-нибудь, граждане... как там — кларету...
 Я по сезону и пакостней зелье приму.
 Время топырится, лезет копною в ворота.
 Сколько мне пялиться, в окнах стекло прогибать,
 Савонаролю, этим скопцом криворотым,
 век матершинить и с ним заодно погибать?
 Ох, прогадаете, втрое протратитесь, жлобы!
 Я ведь сегодня дешевый — покуда живой.
 Завтра намылитесь — и до надсадной хворобы
 вам торговаться придется с моею вдовой!

* * *

Большое сердце нужно для стихов.
 К нему вприклад — хорошая дышалка.
 И нрав, как у бойцовских петухов.
 А прочего мне попросту не жалко.
 Гори, душа — соломенный запас!
 Не вам со мной тягаться, спиногрызы!
 Я в профиль жлоб и плакальщик анфас,
 но знаю каждый номер антрепризы:
 ни честь, ни лесть, ни возраст, ни родство
 в ней никому не обещают форы.
 Есть только слово — больше ничего.
 Все прочее пустые разговоры.
 В петлю? Валяй, а я потом умру,
 изматерюсь в моем стыде и блуде...
 Недаром в эту взрослую игру
 играют лишь проверенные люди.

* * *

Не надо самому себе служить укором,
 считать свои года и клясть свою судьбу...
 Все сбудется без нас. Пойдет легко и тором.
 И принесет с собой удачу на горбу.

Нас кто-нибудь найдет. Откроет по ошибке.
Заплачет над строкой в горячности любви.
Подарит за труды невиданные штрипки
и что-нибудь еще — чего ни назови...
Все будет, балагур, читатель-недотепа —
хватает на земле бессмысленных удач!
Вон солят огурцы, и запахом укропа
так остро ноздри жжет, что хоть от счастья плачь!

* * *

Пусть плачут те, кому настали сроки —
мои прошли, я отбыл время слез.
Мне нынче возраст осушает щеки,
суставы ломит остеопороз.
Ну, что теперь? Какие наши планы?
Какого роста дождики пойдут?
По небесам летят аэропланы,
крылами машут...Страшно — упадут.
Костист горбом и жив приманкой слова,
да шевеленьем пота в волосах,
я занят жизнью и не жду иного,
и не читаю стрелки на часах.
Легла на губы осень влажной пленкой.
Глядится сверху воспаленный глаз.
Кто там стоит за розовой филенкой?
Творец, забудь — сегодня не до нас...

Городок

В этом городе долгостроителей,
начинающих вечно с нуля,
я был самым счастливым из жителей,
ибо жил, никого не хуля.
Что-то было, чего-то там не было...
Иногда выпадал дефицит.
Но светила мне тихая небула.
Уважал меня местный тацит.
Помню осеней долгие слякоти,
небывалых размеров луну.
Мерзлых яблоч блаженные мякоти,
да какую-то песню одну.
Я ее напевал и насвистывал,
и еще никого не любил.
Ах, каким молодым и неистовым
я когда-то в том городе был!

* * *

Как будем жить, хорошие мои,
подельники по времени и месту,
самарские глухие соловьи,
вернувшиеся к старому насесту?
Когда в моем проклятом далеке,
из-за куска ломаясь в поясище,
услышу вас — мне влага по щеке,
и полсудьбы повиснет на реснице...
В один конец нам выписан билет.
Но жизнь с ее опасной красотой
мне скулы жжет поверх казенных лет.

И я, выходит, в ней чего-то стою.
Гремят часы и норов мой грошов...
Но жив — живи, и задыхайся словом!
И до скрипения натянут шов
на времени, по-прежнему багровом...

* * *

В мелкой ревности сердца не тратя,
я тебя буду так ревновать,
что ни мавр и ни маврины братья
не сумеют меня оторвать
от твоей бледно-синей накидки
и твоих ослепительных плеч!
Пусть их глушат спиртные напитки
и коверкают русскую речь —
я, в моей незначительной куртке
и не в самых достойных штанах,
знаю лучше, чем пришлые турки,
сколь опасен я в отчих стенах!
Я такое тут нынче устрою,
я такой тут базар учиню,
что и греки, сперевшие Трою,
захиреют при мне на корню.
Ой, рассыпятся битым горохом,
без подштанников прыснут в бега,
если я подниму этот грохот
на окрестных двенадцати га!

* * *

Взглянуть в окно и закричать: — Июль! —
как-будто встретил близких, но забытых.
Пчела взяток сложила в общий куль.
Собаки спят на тротуарных плитах.
Нас где-то ждут, но это не беда:
все спишется на время и погоду.
Июль, июль, как в лучшие года!
И скоро август будет нам в угоду.
Ах, прелесть гощеванья на земле!
Все время умиляешься чему-то,
хоть при моем суровом ремесле
держаться себя приличествует круто.
И говорить, гнуса: «Опять дожди...»
И эти насекомые на травах...» —
А сердце кувыркается в груди
и посылает к черту всех гнусавых.
Кося на мир очесами бровей,
я твердо-знаю — вы уж мне поверьте! —
что мне мои восторги здоровей.
Пользительнее мне
до самой смерти.

* * *

Я был плохой отец и никудышный муж —
ловец осенних мух и времени сожитель.
Я мало что умел, в науках был не дуж.
А прочие грехи вы сами доскажите...
Зато я видел мир, как пьяная пчела:
слегка наискосок, но помня про детали.

В нем плавали стволы, черемуха цвела,
и праздные тела по воздуху летали.
Когда меня Господь поставит на весы
и скажет: — Русаков, ты был беспутным мужем! —
то я отвечу: — Да, среди твоей красоты
я часто нарушал, но был кому-то нужен.
Сочи мои грехи, суди меня по ним.
Но вон опять, Творец, в Твоем саду зеленом
хочет на бегу задастый херувим,
и ангелы летят с немислимым наклоном...

* * *

Вином и стружкой пахнет лес в разоре,
как будто кто-то здесь, вдали от дел,
столярничал, фуганил, безнадзорен...
Потом ушел, назад не поглядел.
Творец, не Ты? Там не Твоя настойка
проела грунт, вздувает пузыри?
Природы перештопанная «тройка»
поизносились, что ни говори...
А не беда: творение циклично.
Все воротится с полою водой.
Ты нас найдешь — меня, возможно, лично.
И стану я повторно-молодой.
И заведу опять про лес в разоре,
о нестерпимом счастье бытия,
о том, что жить — такое злое горе...
Про то, что знаем только Ты да я.

* * *

Верхний ветер гуляет над садом
так просторно, что полы летят.
А собаки то лают с надсадом,
то вцепиться в полотна хотят.
Я задался законным вопросом:
— Что им ветер? Зачем эта страсть? —
Вон щенок с дермантиновым носом
за газетой гоняется всласть...
Нет, не знаю! Признаться, в твореньи
столько тайн, что всего не обнять.
И при самом внимательном зреньи
ничего в бытии не понять.
Тут потребна особая хватка,
знание, мера, и вес, и ранжир...
Или просто любить без остатка
этот странно придуманный мир.

Ольга Кучкина

В башне из лобной кости

Роман

Всем героям этого романа посвящается

От автора:

Все происходило.
Все происходило нигде.
Все происходило в башне из лобной кости.
Мои фантомы. Мои фантомные боли.
Как происходит у всех у вас с вашими фантомными болями.

1

Позвонил Толя с дачи:

— Милка уходит.

Оранжевая глазунья из одного яйца поджаривалась на неохватной сковородке. Белок размазало волокнами. Желток сиял. Пейзаж предвещал погоду на завтра. Все от всех уходит. Хорошо говорить, когда от тебя ушли давно, годы тому. Тогда твой опыт сродни философскому. Что, в свою очередь, сродни бессильному. Ничего не поделать. Пройденный материал был и былшем порос и пеплом присыпан. А когда живьем лезешь на стенку и бьешь в нее кулаком, чтобы перебить то, что нельзя перебить, с силой, от которой кости в пясти дробятся, тогда все слова — посторонние, ноль, пустое место и ничего, кроме глухой тоски и злости, не вызывают, мне-то известно.

Надо ехать.

Чужие дела лезли и путались под ногами, отменяя собственные и притворяясь ими.

Стояла осень.

2

Он был дома один, когда я к нему пришла. У лифта висели две таблички. На первой: «Товарищи! Соблюдайте правила пользования лифтом!» На второй: «Господа! Лифт работает только до 4-го этажа». Визиту предшествовал телефонный звонок с просьбой сняться в моей телевизионной программе. Кодовое имя программы: соль земли. В телевизоре она звалась по-другому. Но клиентам, которых я хотела затянуть в свои паучьи сети, говорила прямо: я снимаю тех, про кого можно сказать — соль земли. Иногда еще прямее: вы — соль земли. Молчали или хмыкали — никто не отказывался. Мои паучьи сети были любовные. Я обожала их, моих клиентов, которые сплошь были или делались моими друзьями. Исключение составили два-три на сотню. Я про них забыла. Отказался он один. Он выслушал и сказал: сниматься не буду, а вас приглашаю в гости. Я приняла приглашение с расчетом, что уговорю во время

гостей. Аж ладони чесались, так хотелось заполучить его, кого никому не удавалось заполучить, а мне удалось. Так я предполагала. Враги правы, приписывая мне тщеславие, запрятанное еще поглубже честолюбия.

Я позвонила в дверь, дверь распахнулась едва ли не за секунду до того, будто он стоял за ней и его накрыло биофизической волной, предвестником появления чужого. Я протянула руку, он пожал ее горячей своей, заметив: женщины редко так здороваются, еще реже у них твердое рукопожатие. Я знала. Теперь знал он. Он был неожиданно и непривычно белокур. Постаревший ангел. Светлые кольца волос оформляли верх продолговатого лица, низ очерчен бородой цвета спелых слив; холодные глаза дамасской стали под слегка нависшими веками таили усталость от понимания жизни и в то же время наблюдали посетителя; длинные пальцы жили отдельно и беспокойно; он то взбивал ими свои светящиеся кудри, то барабанил по груди, атлетический рельеф которой отчетливо проступал сквозь мягкую ткань домашней ковбойки, то быстро перебирал ими в воздухе, как это делают пианисты перед тем, как нанести начальный удар по клавишам; крупный нос с четко вырезанными обширными ноздрями втянул мой запах, он ему понравился. Обронил: от вас пахнет свежестью. И в этом для меня не содержалось новости. Я вошла в лета, когда внезапно отказалась от раздражающих, влекущих, манящих духов, с косметикой было покончено раньше, место осталось шампуням и мылу. С падением железного занавеса и возможностью поездок в СССР обычных иностранцев моя американская подруга, университетский профессор, перво-наперво навезла шампуней, этого добра на моей родине почти не водилось. Я подарила ей сохранившуюся от мамы Красную Москву — хладнокровно уворованный у французов парфюм Коти. Разбежавшись, русским подругам раздала *Шанель № 5* и *Клима* и оказалась наедине с собой без отдушек. Плацдарм чистоты магнитил. Вот вы какой, протянула я. А какая вы, я знаю, парировал он, из телевизора. Я отметила, что он и тут был на особицу, не делал вид, что как культурный человек телевизор не смотрит, ибо дешевка. Нет, сощурился он, газеты читаю и телевизор смотрю, чтобы быть в курсе. Я не стала спрашивать, как ему моя программа, а он не стал лукавить, и таким образом мы оба избежали двусмысленности.

Он провел меня из прихожей в комнату, предложил чаю, и пока хозяйничал на кухне, я осмотрелась. Копия копий московского госстроя и дальнейшего частного обитания, так и не выбравшегося из-под копирки, не в силу бедности — хозяин не мог быть беден, не в силу скудости воображения — хозяин не мог быть скуден воображением, стало быть, в силу равнодушия к предмету. Комната содержала одно обыкновенное окно, один обыкновенный стол под лампой, одну обыкновенную тахту под торшером, два обыкновенных шкафа с книгами, три открытых полки с альбомами и некоторое количество вышитых салфеток, на которых стояли цветные глиняные игрушки. К такому обезличенному быту я не была готова. Я навещала коллег моего героя и прежде. Среди них были близкие мне люди. Их дома и мастерские выглядели иначе. Богатые, бедные — неважно. У обольстительной Таси Озаренко — старые резные буфеты с хрусталем внутри, трельяжи, пуфики, оттоманки, лампы с наброшенными на них узорчатыми шальями, что в квартире, что в двухэтажной мастерской, только там, к тому же, натянутые на рамы холсты, записанные и пустые. У Геры Оста — звериные шкуры на полу, длинный деревянный стол посередине, наподобие трактирного, на нем вычурные пивные кружки, собственные картины по стенам и закуток, где он спал, укрывшись опять же шкурой, как древний викинг, наш светский очкарик, то тощий, то толстый в зависимости от времени года и флоры большого кишечника. У Жоры Осаговского, любителя Востока и анахорета, нищая мансарда выступала в облике роскошного жилища сказочных королей — за счет разукрашенных волшебными колечками, теми же, что на полотнах, стен и потолков повсюду: от крохотных комнатусек до крохотных же кухни и ванной. О, как я любила, сидя у него в уборной, разглядывать эти цветные ожерелья, неизменно поднимающие настроение, как бы низко оно ни пало до того. Смешно? И мне было смешно, и я готова была, как персона Олеши, петь в клозете у Осаговского.

Ничего похожего у нового героя не обнаруживалось. Это рисовало характер.

Василий Иванович Окоемов. Вот я и огласила имя, известное всем.

Сочетая несочетаемое, он любезен и товарищу, и господину, и патриоту, и демократу. Не зря его работы хранятся в Третьяковке, Эрмитаже и Пушкинском, ими украшены театры Большой и Малый, даже Кремль приобрел кое-что для себя —

честь, какой не удостоился ни Ошилов, ни Ользунов, ни этот, как его, Гикас Офронов, сколь бы часто ни мелькали в ящике. Он не мелькал. О нем ходили слухи, что более, чем замкнут, не входит ни в какие творческие союзы, не принимает участия ни в каких публичных акциях, включая собственные выставки, интервью не раздает, журналистов не жалует — затворник из затворников. Его никто не видел. Я тоже. Картины видели все. Все знают его особенный, густой, выпуклый, почти скульптурный мазок, когда краска не ложится, а лепится, сближаясь с глиной, землей, праматериалом, и от этого возникает глухое, трагическое и торжественное ощущение первозданности. Его мазок не спутать ни с чьим другим, как будто человек работал не кистью и мастихином, а пальцем, ввинчивая и вывинчивая краску. Никто не писал так мощно, как он писал.

Тупая очередь пуль из винчестера поздней порой листопада на опушке, за которой смерть; синий рассвет над синей рекой, с черными птицами, реющими над черными кусками человеческих тел; пара чокающихся фляжек, зажатых в крепких кулаках, и ничего сверх, только эти две фляжки и две натруженные боевым смертным трудом длани, сошедшие с такой силой, что прозрачная жидкость выплеснулась и застыла над столом и миром, а какие там, за ней, лица, можно вообразить; знаменитые лужи мертвой крови, в каких отразилось скудное небо со скудными облаками; знаменитый солдат, задумавшийся над собственной оторванной ногой, держа ее в собственных руках; и еще более знаменитая разодранная в крике глотка юного сына полка в гимнастерке и с медальками, что и без надписи «Мы победили!!!..» публикует цену катящихся по его испачканной, изможденной, взрослой рожнице слез вот хоть бы в пересчете на выброшенные вверх культипки без фаланг.

Реальность?

Более, чем реальность.

Сдвинутая реальность.

Но только принцип сдвинутой реальности и открывает нам нутро художника.

Честь и слава Кремлю, не побоявшемуся украсить свои стены, помимо парадных портретов побеждавших военачальников всех времен, такой ценой последней победы. Последней ли? Своими ушами слышала, как подтянутая шведка невнятного возраста из шведской экскурсии по Кремлю задавала по-русски негромкий вопрос невыразительному экскурсоводу: это Чечня? Это Великая Отечественная война, произвел тот напыщенный жестяной звук. Просто война, вмешалась я, возможно, бестактно в чужой разговор, да мне не впервой влезать в чужие дела. Экскурсовод глянул не то что неодобрительно, а будто сфотографировал вставленным в глаз аппаратиком. А что, если мобильником можно, почему нельзя особо задействованным глазом, когда техника давно зашла за грань фантастики. Что я должна была почувствовать? Страх, как вчера, или наплевать, как сегодня? Предпочла наплевать.

Я сказала: любезен. По отношению к Окоемову слово неверное. Даже и портреты орденов, советских и русских, чего я не коснулась, написанные им как портреты людей — уникальное художественное открытие мастера, — не предполагали любезности. Пафос — да. Не тот, о каком подростки говорят: пафосное заведение или не пафосное, имея в виду роскошное, для совсем крутых, или попроще, для нас с вами. А органический и органнй: не от слова органы с ударением на первом слоге, а от слова орган с ударением на втором, но вместе с тем и органы с ударением на первом, те, что естественны, ибо суть части живой органики, а не противоестественны, что суть спецслужбы, уф. Ах, эти неточности, оговорки и проговорки, выдающие натуру нервную и до сих пор сбивчивую. Следовало бы поуспокоиться и быть поточнее, прыгать, как козе, не по летам, мадам. Зная грех за собой, двадцать раз проверю и перепроверю и не стеснюсь поправиться. Поправить себя — поправить жизнь.

Как ошибку в тетрадке.

Правда, бывает, что поздно.

Вой санитарной машины за окном.

3

Когда только начинала, злил трафаретный вопрос: а вы откуда? Я звонила незнакомому мне писателю Георгию Ондареву, называла себя, просила его к телефону, а незнакомая мне жена Василина спрашивала: вы откуда? Я отвечала: из

квартиры. Язык не отвалился бы произнести: из редакции. Стала б я звонить любому Ондареву по своей воле, а не по воле пославших мя, думала моя стеснительность, выраженная в формате высокомерия. С тех пор не любила его. Трудно любить важных. Гораздо труднее — важничаящих. Не могла полюбить нагромождений слов, какие понастроил, играя в гениальность, а вылезает бетонные блоки, из которых не возникает дома, или возникает уродливый, что уж все поминать про сад. Единственно Безмолвие трогало, в красноречивой темно-коричневой коже художника Оклочко, 1962 года издания, дальнейшее громыхало безвкусно. Нисколько не рассчитывала на то, что моя фамилия кому-то что-то скажет. Честолюбия ни на грош. Либо так огромно, что из-за размеров невидимо. Зато одолевает желание: забиться в угол или стать невидимкой. Угораздило выбрать профессию, где ни Уэллса, ни угла. Один психбольной, у которого на фоне психической болезни развилось ясновидение, определил меня в ту пору: соревновательна не по силам. Что делать. Слабость или сила не от нас зависят. Природа. Говорят: каждому дается по силам его. Я не принимала того устройства, при коем человек — не сам по себе, а вписанный в клетку организации, ведомства, службы. Претила какая б то ни было принадлежность к группе, партии, учреждению. Я была свободна внутри себя, я хотела быть свободной, как всякий уродившийся на свет, кто сначала плачет и томится, влюблен и любим, предаст и сталкивается с предательством, отчего снова томится и плачет, а уж после приписан к учреждению. То есть больше учреждения. А они считали, что учреждение больше. Нам было не сговориться, я была тиха, у меня было свое безмолвие. Врожденная любознательность пробивалась травой сквозь асфальт, выложенный врожденной обособленностью. Красота — поляна. На ней всходил урожай цветов, не мной посеянных, не мной рощенных, но мне явленных. Впечатления описывала, хуже или лучше, не разрешая себе — по слабости ли, по чему иному, — вмешиваться. Свидетель, а не следователь.

Предстояло взойти полтыще лун, чтобы — вопреки или благодаря — заняться, чем занялась: дознаванием, кем в действительности был конкретный человек, а значит, как раз поиском, куда, в какие ячейки занесен, был, состоял, участвовал или не участвовал и не состоял,

а следовательно, добычей конкретных телефонов и адресов,

а следовательно, расспросами конкретных знающих людей,

а следовательно, звонками в конкретные конторы, чтобы полезли на пыльные полки, развязали папки с хрупкими серыми листочками бумаги с выцветшими чернильными печатями, заскорузлым либо дряблым пальчиком перетрогали-перещупали порученную ветошь, чтобы в итоге сообщить, что не найдено, или иначе, ответ есть, но он отрицательный,

и новыми звонками и письмами,

а лучше — просьбами к другим, чтобы другие занимались звонками и письмами, потому что, если честно, я не хотела заниматься тем, чем пришлось, а хотела сложить все в долгий ящик, чтобы отставить и позабыть.

Что мне Гекуба, прошу прощенья.

Отставить и позабыть не получилось — волей обстоятельств, складывающих судьбу. Не исключено и обратное, что судьба подбирает обстоятельства. Возникли двое, он и она, немолодые, хрупкие от прожитых лет и разлетевшихся иллюзий, доверившиеся и доверившие мне — так вышло — не свои секреты, а их размазали, смешали с грязью, унизили. Ну да, заодно со мной. Жалость к ним потащила туда, куда потащила. И делая перед собой вид, что живу иными интересами, взмывая в метафизическое небо, или, напротив, погружаясь в глубь метафизических вод, а об этой — чужой — истории запрещая себе думать и, с глупым постоянством, думая, физически болея сердцем и задыхаясь при одной, ночной или дневной, мысли о ней — чужой! — я, почти втайне от себя — слышали такое? — с маниакальным упорством продолжала совать свой нос не в свои дела, косящие под свои, потому что знала, что никуда не уйти от полуразрушенных бумаг, где хозяйничают был, состоял, участвовал, либо не был и не состоял. Чтобы что? Заплакать над победой? Или посмеяться над поражением? Что хотела получить от соединения добытого результата с тем, как плакал и томился, любил и был влюблен человек, как предавал и сталкивался с предательством, добивался успеха и терпел поражение, потому что в этом своем возрасте узнала, а точнее, полагала, что узнала, как все связано-перевя-

зано, свито-перевито и перетекает не только изнутри вовне, но и извне вовнутрь, составляя целокупное любой уникальной жизни, или то был мой самообман, и надо было сразу замкнуться, заткнуться, оставить путь как ложный? Нет у меня ответа. Киньте в меня камень за измену себе, за вхождение в несчастный кругооборот, когда, преступив младые идеалы нежного нашего деликатного меньшинства, я обратилась — повело! — к канцелярской практике заскорузлого вашего грубого большинства. Я приму ваш удар.

Меа culpa.

Я и есть орудие судьбы.

Или я выбрала себе очередного Вергилия.

Всегда выбирала себе Вергилиев сама. Доморощенных ли, масштабных, не суть. Исправно спускалась в ад и выгребала из адской кучи по случаю, ведомая якобы.

Может, то была битва между личностью и социумом. Выигрыш социума обеспечивал проигрыш личности.

Фантазийная девочка, говорила про меня моя мать.

4

Санек Оприсянов, по прозвищу Опер, посоветовал: сядь и напиши про это роман. Вот сволочь. Он уже посоветовал, чтобы я написала Марину. Я написала. И что? Успеха не имела не моя пьеса, а моя личность. Возможно, господин Случай прихотливо использовал Саню Опера в своем промысле, как он использует в промысле всех нас.

5

Окоемов проник в комнату под законный вой авто неожиданно тихо, как кошка на мягких лапах. Я обернулась, он был тут как тут, в черной безрукавке, отороченной кошачьим, но, может, и собачьим мехом, она скрадывала узкогрудость, узкоплечность, сутулость, с неуместным в корявых, жилистых, тяжелых, как отбойный молот, руках изящным подносом, на подносе тонкие чашки с блюдцами и чайными ложками, сахарница и корзиночка с пряниками — все. Похоже, собственные руки позировали ему для знаменитой картины. Что ж так долго готовил? Нелепая мысль, что наблюдал за мной через какое-нибудь потайное отверстие, — помотала головой, избавляясь от нее. Я была не голодна, сахара я не ем, пряника к свежесваренному чаю было довольно. Приступайте к рассказу, сударыня, он вперил в меня черные, как уголья, глаза. К какому рассказу, сделала вид, что смутилась, я, вы приступайте, я что. У меня чуть не слетело с губ: я никто, вы все. Слава богу, не слетело. Задавайте вопросы, разрешил он, но вперед я задам: как вы, что вы, замужем, не замужем, есть ли потомство, много ли дружеств, радостный вы человек или удрученный, вы говорите, а я буду сверять. С чем сверять, недоуменно спросила я, пораженная простотой, естественностью и правильностью вопросов, как если бы у него была моя, а не его профессия, и это он пригласил меня на интервью, а не я пришла к нему. Черные уголья жгли, иссиня-красный рот под жесткой щеткой усов не растягивался даже и в подобие улыбки, он был суров, как учитель, принимающий экзамен у ученика. Суровость подчеркивала стрижка горшком, делавшая его схожим со средневековым монахом-иезуитом. Можно было предположить, что он красится, настолько черен горшок, если б не проблески серебра кое-где в общей массе черни. С чем сверять, да с первым впечатлением, отозвался он, и я опять не могла не отметить простой и естественной логики его речей. Вздыхнув, принялась за отчет. И лишь когда перечень пунктов подходил к концу, сообразила, что не стоило делать этого столь истово, а лучше бы попробовать легким лукавством смягчить его суровость, поиграв в чересполосицу искренности и умолчаний. Он, однако, неожиданно смягчился сам, оценив: все сходится, кроме одного, — при этих словах широкие скулы его приподнялись вверх, глаза превратились в узкие щели, сидевший картофелиной на рыхлой физиономии нос с несимметрично вырезанными ноздрями сморщился в переносице, обнажились крепкие лошадиные зубы, и сумрачное выражение враз сменилось таким

заразительно смешливым, что я невольно расхохоталась. Я собиралась спросить, а что не сходится, — он опередил меня. Видите, погрозил он пальцем, а говорите, печальная, а я пока веселого не сказал, я скажу, я обязательно скажу, хотя бы затем, чтобы заставить вас развеселиться, вам это идет. Это всем идет, распустила я язык, человек бывает удручен наедине с собой, но настроение запросто может перемениться, если у него такой собеседник. Какой, резко остановил он меня. Такой, сделала я неопределенный жест. Неопределенность бывает выразительнее определенности.

Я была с ним весела, он со мной — откровенен.
Отчего-то мимо прошло, что все было ровно наоборот.

6

Вы приняли перестройку, сударыня, и все, что последовало за ней, безапелляционно пробросил он, приняли, приняли, расслабьтесь. Тема таила опасность: любое продолжение угрожало мгновенно развести по углам, как боксеров на ринге, и что произойдет, Бог весть. Нетрудно догадаться, что он, со своей военной или полувоенной четкостью речи, сдобренной непривычной сударыней, принадлежал к жестким натурам: не идя на житейские компромиссы, они принимают решение о дальнейшем курсе тотчас и железно следуют им. Можете назвать эту черту принципиальной или вздорной — едва установившаяся связь рвется, и попробуй соедини оголенные концы. Там, где я вращалась — как будто я волчок какой-то! — не принято было устраивать политических экзаменов. Во-первых, давно известно, кто есть кто. Во-вторых, с неприятными тебе людьми ты не контактировал, они контактировали между собой, исключая тебя. В-третьих, острота выбора давно миновала, накал страстей в обществе понизился. Мы все вышли из одной сталинской шинели, и те, кто чувствовал себя в ней удобно, и те, кого наждаком, до ран, царапали ее грубые швы. Когда история предоставляла иные модели, иные покрои, ткани и расцветки, обитатели страны быстро разделились надвое: на тех, кто хотел, чтобы походило на привычный фасон во что бы то ни стало, и на тех, кто во что бы то ни стало — не походило. Посередине баррикада. Побились, побились, пустили кровь, к счастью, небольшую, и со вкусом ушли в повседневность, похлопывая себя по карманам, что там, оставив баррикаду бесхозной. Но когда мы выясняли, кто на какой стороне, Окомова с нами не было. Он никогда не высказывался — так, чтобы дошло до общественности. Уединенность, отдельность и общая сумрачность подразумевали выставленные шипы. Каждый ли раз при личной встрече обозначал позиции, практически от Адама, понятия не имела. Он вел партию. Он определял правила игры. Я должна была приспособиться. Очередной привет от Вергилия.

Я тоже, произнес он сурово. Упустив нить разговора, не поняла, о чем речь. Схвативый, как бес, он прояснил: я говорю, что тоже принял перестройку, а вот все, что за нею последовало, нет, в отличие от вас. Кто ему донес, приняла я или не приняла, вел он на меня досье, что ли. Из осторожности отреагировала сложной улыбкой, в которой содержалось и то, и это — мещанский способ промолчать во имя компромисса.

О, компромисс. Стоит с места в карьер пропеть тебе что-то типа осанны. Ты бутон цветка, который распустится, хотя вскорости и увянет. Ты порыв ветра, который нанесет пыль, но и разнесет ее. Ты масло, которым каши не испортишь, хотя она заварена и не по твоим рецептам. Ты неуверенность в победе. Ты трусость. Ты неспособность к настоящей борьбе. Ты проявление бессилия. Ты соглашательство. Ты желание спокойствия любой ценой. Ты уступка своего в пользу другого. Ты движение на поводу у другого, на поводке у другого. Ты защита своей шкуры. А стало быть, шкурничество. Ты невозможность героизма, елки, кто в этой ситуации говорит о героизме.

И это осанна, засомневается диалектик, не утруждающий себя вторым шагом, а довольствующийся первым. Да, осанна. Почему? Потому что борьба, героизм и победа — составляющие драки. А драка — практика почти всегда безмозглая, несмотря на то, что сопровождается теорией, военной, скажем. Все, что этому противостоит, — работа мозга. Поиск мирного выхода из любого сложного положения. Способность услышать. Договороспособность. Напряжение интеллекта, что всякий раз предпоч-

тительнее напряжения мускулов. Мы носим на себе многопудовые вериги доисторического, да пусть и исторического прошлого, когда мерились не умом, а физической силой. Но соревнование умов дает жизнь, а соревнование физических сил — смерть. Господи, да ведь понятно, куда ведет вектор развития человечества: разум, разум и разум, иначе пропасть невежества, демонстрации разгульной силы и всеобщая гибель.

Подлить вам чайку, спросил как приказал Окоемов. Подлить, наклонила я голову и спросила, что конкретно не нравится ему в том, что последовало вслед за перестройкой и гласностью. Надо отдать должное моей храбрости. Я погружалась туда, откуда рисковала не выбраться.

7

Я расскажу вам эпизод из жизни, объявил он и помолчал.

Я расскажу вам эпизод из моей жизни, потерял он щетку усов, напоминавшую сапожную.

Я расскажу вам эпизод из моей жизни, а вы сделаете нужные выводы.

Он умел нагнетать напряжение.

Я приготовилась.

Был вечер зимы, сказал он. Не той, к какой привыкли поколения русских людей. А новой для наших мест. Назовите ее, если желаете, европейской. Я назову предапокалиптической. Потому что перед тем, как устроить Апокалипсис, чтобы наказать человечество за чрезмерную греховность, Господь лишает человека ума. Об этом много говорено. Не говорено о механике. Я скажу. Механика в том, чтобы лишить человека как зверя привычной среды обитания. Будь то миграция в гигантских масштабах, климатические или просто погодные изменения. Вы можете спросить, к слову, верю ли я в Господа. Нет. Не верю. И не будем об этом. Запомните: как зверя.

Шел косой дождь, переходящий в снег. Я возвращался со службы. Вы хмыкнули: какой, если не служите. Не хотел, не хочу и не буду служить этому государству. Из одной этой фразы вы можете заключить, какое удовлетворение доставил мне его слом. Но я служил, служу и буду служить этой стране. Работая в мастерской, прежде всего. Это мое служение. Надеюсь, понятно. Если мы с вами посильнее задружимся, я свожу вас туда. Если нет — нет. Два слова о процессе. В моей мастерской множество полок. По полкам расставлены, внимание, маленькие Караваджо, Тицианы, Рембрандты, Энгры, Матиссы, Ван Гоги, Серовы, Репины, Куинджи, Машковы, Бродские. В ваших заблестевших глазках — любопытство. Откуда, не краденое ли. Не краденое. Этим занялся, придя с войны. Перекопировав все, от чего захватывало дух. Я и теперь нередко прибегаю к тому же. Надеваю парик. Цепляю на нос очки. С моим стопроцентным зрением, заметьте. Иду к Цветаеву. Или к Третьякову. Все там известно мне наизусть. Но вот что-то одно зацепило наново. Как багром лодку. Точный сигнал. Значит, сегодня мне необходимо это. Я прошу разрешения. Ком мне снисходительны. Не ко мне. К чудачу-копировщику. Опять в вас загорелось любопытство. Зачем парик и очки, если меня и так не знают. Не знает толпа. Кому надо, знают. И все, что надо, фиксируют. Хотели бы зафиксировать. Я не даюсь. Наука жизни: не даваться. Вы ею не владеете. Даю голову на отсечение, вас используют те, кому не лень. При вашей афишируемой порядочности, вы давалка. Возможно, честная. Подавляющая масса бесчестных. Не обижайтесь. Это не грубость, констатация факта.

Он говорил отрывисто и резко, и словно задыхаясь.

Слушать его было тяжело.

В своей мастерской я так же внимательно вглядываюсь во что-то одно, что мне нынче нужно. Дураки скажут, что я подзаряжаюсь. Вслед за псевдоучеными все болтают об энергиях. Близко к истине. Но не истина. Истина в том, что тут — эманация чистого духа. Чистый дух — источник энергии. Дух произведения, дух автора сохраняется даже в копии, если сделана с тщанием и проникновением. Да еще приумножен духом копииста. Если приумножен, а не преуменьшен. Безусловно, на поверхности чистая техника. Какая с какой краской соседствует и так далее, весь букварь. Пока не пронзает то, что за техникой. В таком разгоряченном, приутовленном состоянии я берусь за свое. Не идет. Всегда не идет. Всегда через преодоление. Доходит до того, что я в гневе швыряю палитру на пол. Иду пить воду. Я пью много

воды. Литрами. И каждый раз, возвращаясь к холсту, наношу ему резкий удар кистью. Я должен одолеть равнодушие холста. Его бесчувственное сопротивление. Я должен заставить его сдаться. Во имя нашей общей с ним победы. Бывает, я в отчаянии режу его ножом. На куски. Как безумец, что резал Репина. Но тот варвар, потому что уничтожал чужое. Я нет, потому что свое. Потом жалею. Я скупой. Мне жалко потраченных на холст денег. Но настает миг, когда мое упорство ломит его упорство. Я ловлю этот миг. И тогда свершается. И начинается настоящая работа. Медленно и свирепо, яростно и бережно я мажу и мажу, мазок за мазком, минутами или часами, пока не чувствую, что достиг результата. Ежели достиг — я покидаю мастерскую и выхожу на улицу пьяный. Моей сутулости как не бывало. Я прям и всемогущ. Я велик и торжествую. Я заглатываю мокрую пыль, как пузырьки шампанского. Моя радость избыточна. Я могу внезапно расхохотаться от счастья. Я избегаю людей в таком состоянии. Они не поймут. Люди мало что понимают. Краем глаза замечаю наблюдателя. Я знаю этих наблюдателей. Делаю вид, что споткнулся. Или что мне нехорошо. А сам в это время ловко ставлю ему подножку. Он летит со всех ног в грязный снег, пачкая брюки, перчатки и шляпу. Не переставая хохотать, я исчезаю. Вам не смешно? Ну что вы, это очень смешно. А я обещал вас насмешить. Но если я выхожу из мастерской, не победив, а потерпев поражение, я иду, незаметный, сгорбленный, ничтожный из ничтожных. Чья-то дорожка пересекается с моей. Меня нет. Я не смею поднять глаз. И в этот момент вы можете поставить перед собой любую задачу, в отношении меня, и выиграть. А я проиграю. Я боюсь этих состояний. Да они и редки, строго говоря. Потому что по натуре я победитель.

Он умолк и поник, не как победитель, а как пораженец. Я боялась прервать его молчание.

Вскоре полуприкрытые глаза-уголья распахнулись, в них загорелся прежний темный огонь. С этого мгновенья речь его полилась завораживающе плавно, с нарастанием темпа, лишь изредка вступали короткие предложения, что подчеркивало общий музыкальный ритм.

Снегодождь того ноябрьского вечера буквально за минуту превратил мое суконое пальто в мокрую тряпку, но шампанское бродило в крови, потому что после долгих безуспешных попыток я схватил, наконец, жар-птицу за хвост, и у меня в руке оставалось несколько не жалких, а жарких огнедышащих перьев, в которые превратилась моя рабочая кисть. Они вышли прямо из дождя, ни на ком из них не было ни шляп, ни перчаток, а были сплошь кожаны с выставленными фитой крепкими локтями и спрятанными в карманы пудовыми кулаками. Вес их выяснится скоро. Я не успел предупредить вас, сударыня, что много лет делаю записи, я хожу с портфелем, в котором таскаю большие тетради, в них я заносу все, что узнаю за день о событиях, от сплетен, передаваемых мне женой или кем-то, до новостей, передаваемых по радио и телевизору. Факт и мое резюме. Факт и резюме. Графики и линии. Силовые линии. Из прошлого в настоящее. Из настоящего в будущее. Заглавие — *Mea culpa*. Перевода, надеюсь, не требуется. Исписанные тетради я держу в специальном месте в мастерской, та, какую заполняю, всегда при мне, когда-нибудь они взорвут мир, за ними много охотников, несмотря на полную секретность моего занятия, понятно, что могут значить для заинтересованных лиц записки независимого соглашения. Запомните это: независимый соглашение. Я жил в соседнем доме, там же, в подвале, моя мастерская, я ходил на свою службу, не покидая подъезда, жене предложили обмен, в квартире, где мы с вами находимся, кто-то с кем-то разошелся, стали нуждаться в деньгах, за излишки платить не смогли или не захотели, жена воспользовалась, раньше нам было тесно, благо, что по будням она в больнице, заплатили деньги и переехали, а мастерская осталась. Двести шагов. Пять минут прогулочным шагом по воздуху. На второй минуте они вынырнули из-за угла. Трое. Первый использовал мой прием, подставив подножку, следующий схватился за портфель и стал выдирать его из рук, таким образом удержав меня на месте и не дав упасть, третий зыркал по сторонам, стоя на стреме. Я боднул башкой в подбородок ближайшего, а башка у меня чугунная, выхватил портфель из лап его дружка и ногами, пардон, по яйцам, одному и другому. Они были как звери, напавшие на жертву, которая оказалась им беззащитной, а оказалась кусачей. Неожиданность укусов обратила их в бегство. Не оступив от боя, бегу в сторону дома, и внезапно, как из-под земли, вырастает мент, с ним один из нападавших, это он, спрашивает мент, твоя сумка, и указывает на мой

портфель. Тот кивает с видом оскорбленной добродетели. Мент требует: а ну, папаша, давай сюда сумку. Какого рожна, допустим, так я выразился, пряча портфель за спину. Такого, говорит мент, что пострадавший указал на вас как на отнявшего у него вещь, желаете на месте разобратся или в отделении, так и так вещдок забираю, ваше — принесем извинения, нет — добровольная сдача полезнее. Не успеваешь он кончить, как я молнией в сторону — и ушел. Подъезд, лифт, шестой этаж, квартира. Задыхаюсь. Не мальчик. Поврежденный. В крови. Но живой. И с портфелем. Сорок лет зарядка по утрам, ни дня пропуска, ровно час качаю мускулы, тренирую сердечную мышцу. Жена Василиса дает успокоительного, промывает ранки и ссадины спиртом, накладывает бинты, она у меня врач, прокурорская дочь. Улавливаете? Я спрашиваю, уловили вы, что произошло? Государство, в каком мы с вами живем, сомкнуло ряды, бандитские и правоохранительные, подлым образом объединив их для достижения целей, своих корыстных и порученных. Порученная цель — мой портфель, за которым они охотятся не первый год, жена Василиса не раз просила, чтобы я оставил это занятие, женщина, что с нее возьмешь, как будто я могу его оставить. Я не любил Советский Союз, но в Советском Союзе, которого я не любил, был порядок, а в новой демократической России, которую мне предлагают полюбить, беспредел, звучит примитивно, у любой тетки на улице тот же резон, но кто сказал, что мнением тетки можно пренебречь, и не стоит мне морочить голову сложными умопостроениями, а лучше ответить именно на примитивный вопрос: порядок или беспредел — что вы лично предпочитаете?

8

Ну, вопрос достаточно сложный, а не примитивный, начала я, есть цепь событий во времени, которые вы, кстати, записываете в ваши тетради, и сумма положений в пространстве, и выхватить что-то одно вне связи... Он дернулся яростно: слышали-слышали, вас просили не морочить голову, а вы как раз это и делаете, вы, интеллигенты, сами запутались и других запутали. А вы кто, любезно спросила я. Я не интеллигент, я работник, не принял он любезного тона, а путают и усложняют люди, боящиеся ясности, либо жулики, мировые и отечественные, либо честные, но попавшиеся на удочку жуликов, вы принадлежите к последней категории.

Его наступательная прямота колола. Я поехала.

Бой старинных часов, в длинном деревянном футляре, заставил вздрогнуть. Сидите, велел он, вы же никуда не торопитесь, и я не тороплюсь, мы едва-едва приступили к знакомству. Часы в футляре, с резьбой в стиле барокко по матовому стеклу, были единственным предметом в комнате, который выбивался из безликого ряда. Часы фамильные, поинтересовалась я, не в последнюю очередь затем, чтобы переменить тему. Жена Василиса, прокурорская дочь, в комиссионке купила, скупой уронил он.

В тот день я провела у него пять часов. На следующей неделе — четыре. В конце месяца — три. В начале нового месяца — два.

Я уходила от него с пылающими щеками, падала на диван, едва переступив порог квартиры, и долго лежала без движения, переполненная или опустошенная, не разобрать. Надо было продолжать жить, как прежде, как всегда, но, как прежде и как всегда, получалось плохо. Я не скучала по нему. Просто наступал момент, когда я звонила, он говорил: приезжайте, — и я ехала. Он мне не нравился. Меня к нему тянуло. Он околдовывал. Импровизировал или артистично исполнял исполнявшееся ранее, не знаю. Его дар легко захватывал соседние с живописью сферы и был, по всей видимости, безразмерен. Он плел петли, которые я обречена была распутывать, а он не давал.

Не давался.

Провожая в прихожую в тот первый вечер, когда на часах било шесть, а я пришла к нему в час, он громадой навис надо мной, в голубом тренировочном костюме с белой полоской на стоячем воротнике и такими же вертикальными полосками на брюках, заметив: какая же вы маленькая, у меня жена Василиса вдвое. Пахнуло терпким мужским потом. Я не поняла, вдвое что, выше или шире. Ему шло голубое, как оно идет классическим русским богатырям. Он был постаревший богатырь. Вряд ли он выбирал себе цвет. Вообще одежду. Должно быть, выбирала жена Василиса,

прокурорская дочь. Он уже выцветал, как выцветает долго ношенная вещь. Голубой цвет ткани до какой-то степени восстанавливал природную голубизну глаз и гармонировал с голубым отливом седого ежика. Даже пучки волос в длинном вислом носу голубели. Даже бритая кожа отсвечивала голубым, оттого, верно, что к вечеру слегка отрастал голубоватая щетина. Он похлопал меня по плечу ободряюще: ну-ну, мал золотник да дорог. Вроде я должна была испытывать комплекс неполноценности по сравнению с ними двумя, которые меня вдвое. Неожиданно для себя я подпрыгнула вверх, словно желая сравняться с ними обоими. Засмеялась и ушла.

Поворот ключа в замке.

Поворот колеса судьбы.

Я помню все так отчетливо, потому что — как и он — стала записывать, приходя домой.

Диктофон он с первого раза велел спрятать в сумочку и впредь не доставать.

Mea culpa. Моя вина. Латынь.

9

Всегда была магия жизни. Любовной, детской, кухонной, любой, огромной. Либо видевшейся таковой. Как странно скукожилось существование, сосредоточившись на нереальном, по сути, пока однажды не случилось ужаса. У Толстого был арзамасский ужас, красный, белый, квадратный, у меня — кудринский, пустой, звенящий, наезжающий квадратными колесами на беззащитную плоть. Ближе к ночи, на Кудринской площади, утомленная и замученная, нажала какую-то клавишу компьютера — написанное исчезло в один миг. От и до. Вместе с последним, над чем сидела год, трепеща и изнывая. Я возопила: Господи, Господи, иди же скорее сюда! Прибежал не Господь, а мой муж, в пижаме, разбуженный и перепуганный криком. Я показала ему на зияющий пустотой экран. Мой муж — волшебник. Он извлекал из старенького, постоянно отказывавшего механизма — или организма — любую мелочь, что я теряла, он заставлял его работать на пределе усилий и даже за пределами, он отменял клиническую смерть, оживляя и возрождая мои безумные надежды на то, что однажды из его таинственного чрева на свет выйдет что-то действительно путное. На сей раз смерть была окончательной. Даже и патолого-анатомического вскрытия не требовалось, чтобы уточнить диагноз. Муж простучал сердце, легкие, печеньку с селезенкой, он делал это не один час, а я сидела в кресле напротив, потерявшись во времени и пространстве, все было мертво. Он попросил: давай отложим до утра, я не соображаю. И мы отложили до утра, и ушли спать, и когда он уснул, я вскочила и направилась на кухню, из кухни в ванную, из ванной в коридор, потом в другую комнату, бесшумно, чтобы не разбудить, я носилась по квартире, сходя с ума и понимая, что схожу с ума, что все пропало, пропала жизнь, потому что из меня, как из Кощея, вынули яйцо, в котором она находилась, — забыла, как правильно. Ноутбук содержал мою жизнь, отдельную от меня, — какая чушь. Вот она я, из костей и мяса, вся в еще ничего себе коже, вот он, в спальне, мой муж, на подушке его красивая голова, он уютно посапывает, словно ничего не стряслось, за стеклом фото моих детей, и дети мои никуда не делись, если не считать того, что они делись из Москвы за бугор, где, получив гранты, получают дополнительное университетское образование, и это им в радость, стало быть, в радость мне, а свою тоску я давно научилась прятать глубоко и даже глубже, — не постыдно ли такое отчаяние от исчезнувших букв. Можно ведь написать и другие.

Пропажа была больше того, что я могла вынести. Толстого на самом деле охватил неконтролируемый страх смерти. Меня — страх неконтролируемого распада себя. Распада нервных волокон, кровеносных сосудов, сердечной сумки, серого вещества мозга. Страшный страх невозвратной потери рассудка.

Утром я была зеленая, как водоросль.

Цепочка включившихся в мою проблему людей напоминала энергетические сети, по которым побежал ток. Среди скоропалительных чинщиков числился дачный умелец Толян — неудачник, как и другие. К ребятам из ФСБ ноутбук попал через двое суток неудач. Коюмов, связавший меня с ними, обнадежил: эти чудесники умеют все. И тут же лишил надежды: уж ежели они не сумеют заставить его проснуться, никто не сумеет.

Они сумели.

А я, собрав разрозненные части заново, принялась воспитывать себя, чтобы вернуться к прежнему, когда жила не компьютерной жизнью, а обычной. Река-облака, трава-мурава, лес, полный чудес, поцелуй мужа, Рахманинов и Верди, конкретно, из *Набукко*, а не из ноутбук.

Но ведь в перетекании жизни в текст, в уловлении подробностей жизни, в попытках запечатлеть траченное и утраченное — сильнейший инстинкт самой жизни.

Один белый барашек на зеленой траве.

Два белых барашка на зеленой траве.

Три белых барашка на зеленой траве.

Четыре зеленых барашка на белой горе.

Пять зеленых барашков.

Глухая осенняя бессонница.

10

На даче был разор. Все находилось на месте. Разор был не в вещах, а в воздухе. Конец лета и конец дня распространяли мягкую прелесть утешения всем страждущим. Невозможно было представить, что за теми вон дощатыми стенами сейчас двое, которым плохо. Им неодинаково плохо. Но уходящему не лучше, чем остающемуся. Рвется нечто, что обволакивало, кутало в общий кокон. Тончайшее, невидимое, реально существующее, как радиоволна или мысль. Стало быть, кровит у обоих. Он вышел из второго домика, услышав мотор машины. Он выглядел бледным, помятым и безжизненным, руки и губы дрожали.

— Толя, в чем дело?

— Она сказала, что нашла себе другого, забирает вещи и переезжает к нему.

— Этого не может быть.

— Она сказала.

— Я так и думала, что этим кончится.

В каждом из нас одновременно уживаются прямо противоположные состояния. Не может быть — я так и думала. Она мне изменила — я не верю, что она уедет. Я ее не отпущу — пусть убирается. Он по-прежнему трясся, но слабость бессистемно сменялась силой, толкаемой бессилием. Он угрожал, что убьет ее. Мы не были здесь пару месяцев из-за наших с мужем проблем. Еще пару месяцев назад они были нормальной парой. Все вместе парились в бане. Как бывает распаренная обувь, то есть пара обуви от разных пар, так теперь распаренные оба. Язык мой перемалывал мои мысли в целях ограждения себя от несчастья, в которое я не хотела, не могла и должна была погрузиться. Милку поманила новая жизнь. Толян был точно брошенный пес. Пес, ротвейлер Милорд, ходил из стороны в сторону, как ходят все звери в растерянности или ярости. Я не знала, как себя вести.

— Скажи Милке, чтобы зашла.

Я направилась в наш дом, Толян — во второй, их домик. Муж последовал за мной. Он все видел и слышал, но был безмолвен. Его сдержанность вызывала у меня гамму одновременных чувств от восхищения до злости. Мы разгрузили сумки с продуктами, одно положили в холодильник, из другого принялись готовить ужин. У меня тряслись руки, я уронила стеклянную миску, приготовленную для салата. Миска разбилась. Никто из нас двоих не привел этого дурацкого, что к счастью. Минут через десять явилась Мила.

— Мил, что случилось?

— Я уезжаю.

— Куда?

— К одному человеку.

— Откуда он взялся?

— Взялся.

— Мил, что ты делаешь?

— Не знаю.

— У вас же все было хорошо.

— Вас давно не было, вы не видели.

— А что нехорошо?

— Я полгода назад предупредила его, если не переменишься, я уйду. Он решил, что это несерьезно, а все было серьезно.

— А в чем он должен перемениться?

— Это долгий разговор. Ему было все равно. Его все устраивало.

— А тебя нет?

— А меня нет.

— А что тебя не устраивало?

— Многое. Я ему говорила: Толя, найди себе постоянную работу.

— У него была работа.

— Машины чинить? Сегодня есть, завтра нет.

— Но он же зарабатывал деньги.

— А сколько народу его обманывало. Я говорила ему: Толя, нельзя быть таким добрым.

— Мила, это не причина, чтобы его бросать.

— Это не все, это одно. Я же говорю, долгий разговор.

— Он любит тебя.

— Какая любовь, когда я прихожу домой, он не ел, ждал, когда я приду накормлю его. Поест, ложится и смотрит телевизор. До трех часов смотрит, а утром, когда я уйду, спит. В воскресенье говорю, Толя, говорю, давай съездим в Москву, в кино ходим, не в кино, так куда-нибудь, надо же как-то переменить обстановку, проветриться. А ему неохота, ему тут нравится.

— Ему нравится, он любит это место.

— Я и говорю, что ему другого не надо.

— А тебе?

— А мне надо.

— Что тебе надо?

— Хотя бы смены впечатлений.

— Из-за смены впечатлений ты бросаешь человека, который только что был тебе дорог и которому ты дорога?

— Я его предупреждала.

— А он кто?

— Кто?

— К кому ты уходишь. Толя его знает?

— Нет.

— А ты давно его знаешь?

— Года два.

— Вы два года встречаетесь?

— Нет, он сделал предложение переехать к нему недавно. Он шофер.

— У него своя квартира?

— Да. Он живет с сыном.

— А где мать сына?

— Они разведены.

— Он с сыном, ты с сыном, а вдруг вы не уживетесь, что тогда?

— Не знаю.

— Тогда возвращайся. Мы будем тебя ждать.

Она заплакала. И я заплакала. Каждый мой вопрос походил на допрос. Ничего не выяснилось из этих мелких и побочных резонов с их ускользающей сущностью. Я не имела ни малейшего права лезть ей в душу. Но я лезла и лезла, потому что иного способа — негодного — сшить расплывающуюся материю жизни у меня не было. Не только их двоих, но нас четверых. За восемь лет, что они у нас жили, мы привыкли к ним. Милка — высокая, статная, налитая, сначала с роскошными медными волосами по плечам, после с короткими, меняющихся колеров и оттенков, двигалась по дорожке от калитки, как королева, а я глядела на нее сквозь оконное стекло библиотеки на втором этаже, где писала, любясь ею, одета с рынка, но всегда со вкусом, короткая юбочка или обтягивающие джинсы, высокие каблукы еще увеличивали рост и обеспечивали изящное покачивание бедер. Откуда в ней, продавщице из малого хохлацкого городка, такая стать, такой вкус и чистый выговор. А кроме, такт, ум и упорство, с каким шагала от цели к цели. Сперва торговала мясом на базаре поблизости. Потом — мобильными телефонами в Москве. Потом съездила на родину,

продала трехкомнатную квартиру за три тысячи долларов, вернулась, вложила деньги в собственное дело и принялась торговать кухнями, уже не за прилавком, а в качестве владелицы бизнеса. Толян — красавец, белозубый, кудрявый, с огромным, от залысин, лбом, с мохнатыми, от длиннющих ресниц, глазами, как у оленя, с руками, умеющими все: от ремонта машин до починки компьютеров. Он появился на даче в составе бригады, которую набрал из бессловесных гастарбайтеров наш нечистый на руку приятель-прораб, да что там, просто жулик, предложивший в один жаркий летний день с потной ухмылкой свои услуги по восстановлению нашей развалюхи недорого. Обманывал на каждом шагу: покупал дрянь вагонку, а говорил, что почти финская, брал деньги на утеплитель стен, а привозил старое барахло, которое работяги в наше отсутствие закладывали в стены, а мы узнали об этом год спустя, когда не ведали, как спастись от нашествия моли, и голову сломали искать источник. Вместо наших старых дверей он доставлял какие-то другие старые двери, и теперь я понимаю, что наши старые двери шли туда, откуда брались эти. Обещал, что будет теплый пол, а пол оставался ледяным, и дуло из щелей по всему периметру дома. Муж знал его по Олимпиаде-80, где вместе работали в олимпийской деревне: один руководил пресс-центром, второй ставил сантехнику. И когда второй, спустя десятилетия, объявился в поле зрения, первый отчего-то вообразил, что давнее знакомство — гарантия порядочности и качества работ. Как тогда мужик воровал, так воровал и нынче, только поднаторел в размерах. Вот сейчас я помыслила нехорошее: если у нас, у советских, была двойная мораль, то все-таки мораль, а нынче, елки-моталки, кромешное отсутствие. Толян распахнул свои олени, взмахнул своими полуметровыми и попросил разрешения ночевать в ремонтируемой даче — ему было негде. Это был он, кто переделывал всю халтуру за горе-прораба, когда полопалась плитка, отвалилась штукатурка и разошлась вагонка. Это был он, кто, в поисках рассадника туч моли, вытащил из стен клочья истлевшего тряпья, засунутого туда за очередные зеленые, какие мы отдавали безропотно, сколько было, столько отдавали, а когда иссякли — исчез и прораб, оставив кучу недоделок. Чуть пообжившись, Толян попросил разрешения: привезти жену. Так возникла красавица Милка, на которую мой муж, скрывая от самого себя, сделал стойку. Оказалось, у Милки с Толяном медовый год. Она ушла от мужа, взяв сына, он ушел от жены, оставив двух детей, и они не расписаны. Какая нам разница, расписаны, нет ли, они так ласково и преданно смотрели друг на друга, что если этого им хватало, то нам и подавно. Им стало неудобно жить с нами в одном доме, когда Милка привезла Тимку, и Толян попросил разрешения построить маленький домик, с гаражом внизу. Все, что просил, он получал. Все, что просили мы, мы получали. Нам стало удобнее, когда они разместились отдельно. И когда оказалось, что архитекторы — Милкин муж и мой — промахнулись в расчетах, они же пристроили к малой комнате вторую, попросторнее, и с размахом отпраздновали новоселье. Мы охотно праздновали совместные праздники, дай только повод. Майские, ноябрьские, Новый год. Милка делала селедку под шубой, синенькие, какой-нибудь причудливый салат, мой муж готовил мясо на костре или в камине, я накрывала стол и выставяла спиртное. Милке и Толяну было хорошо у нас. А если они и ссорились, то без нас, до нас не долетало ни звука. Мы жили в согласии, что было удивительно и несовременное, и дорожили этим. Теперь все летело в тартарары.

— Ты когда решила ехать?

— Три дня назад. Ему сказала сегодня утром.

— Нет, уезжаешь когда?

— Машину заказала на семь.

— Поужинаем вместе напоследок. Пожарим курицу, у меня есть соленые грибы.

— А у меня немного самогона.

— Тащи.

— Тогда я позвоню, чтоб машина пришла попозже.

— Пусть часа через два.

— Я попрошу, чтоб через три.

— Давай.

11

Течения моих метафизических вод, как горячий Гольфстрим в холодной Атлантике. От этого два крайних состояния: бешенства и растерянности. Но и помимо, лилось-переливалось. Мы живем в разные стороны, как растопыренные, не успевая поспевать за знаками матрицы, запечатлевающими работу сознания. Безголосо ли, в голосах ли. К тому времени, как безутешно распалось у Анатолия с Милкой, Окоемова не было на свете. А таинственный внутренний голос, один из многих, в параллель многим, занятым своим, по-прежнему перебирал виды, цвета, живопись во фрагментах и целиком, поэзию и музыку явления, именовавшегося Окоемов.

Конечно, сознание зафиксировало, что образ при воспроизведении растраивался. Не в смысле огорчался, а в смысле троился. Матрица отпечатала триаду целиком:

что в первую минуту был строен, бородат и белокур,
что, вынося чай, сутул, усат и черноглаз,
а, прощаясь, голубоглаз и сед.

Или память подвела, и это было в разные дни. Как будто если в разные, то не столь странно.

Гораздо более странным было то, что меня это ничуть не смутило. Словно каждый раз попадались люди, которые вот так запросто претерпевали изменения. Я не сразу догадалась, что Окоемов — *перекидчик*. Я просто приняла все как должное. Что-то заставило принять. А в то же время мозг отмечал несоответствия. Скажем, при отсутствии веры в Бога — вера в Апокалипсис. Или что в своем немолодом, мягко говоря, возрасте сумел одолеть фактически пятерых — три плюс два, и физическая зарядка мало что объясняла. Или что, делая акцент на секретности содержимого портфеля, выдал секрет, по сути, первой встречной.

Об этом, не удержавшись, спросила при очередной встрече. Получила ответ.

Проверять людей на пустяках бессодержательно, сударыня. Про пустяки они и забудут как про пустышное. Люди проверяются на важном. Не скрою, вы проходите у меня проверку. Я доверяю вам важное, проверяя вас. Выдержите — задружимся сильнее. Нет — нет. Подумали: если нет, он сам пострадает. Ни в коем разе. Прежде он отлучит вас от себя как причину страдания. Немедля. А затем во всеуслышание назовет лгуньей. Испортит вам имидж, как у вас говорят. Избегнув возможного страдания, заставит страдать вас.

И часто вам приходилось проделывать такие штуки, поморщилась я. Несколько раз, и только с теми, на кого надеялся, обнажил он желтые клыки. И что с ними случилось, не отступала я, отчего-то холодея. О болезни Осильева вы слышали, о смерти Окова тоже, а вот жилистый Оликарпов жив и здоров, хотя идейно мы разошлись, выводы делайте сами, расхохотался он. Не смешно, сказала я, чтобы что-то сказать, испытывая средневековый холод и согревая руки собственным дыханием. А жизнь такая, что смешного мало,отреагировал он почти печально, хотя я не забыл, что намеревался вас смешить, не журитесь, все у нас впереди.

Что затворник, не краснобай, человек, не заботящийся о производимом впечатлении, умеет вдруг уступить в нем место роскошному повествователю, знающему, как его произвести, мне уже было явлено.

В тот раз, со скрученным годами позвоночником и опущенными мышцами живота, отчего тот квашней валился ему на колени, желтолицый и с желтыми белками, как после гепатита, он, развалившись на тахте, вспоминал свое детство и юность.

Часы летели, как облетает сад.

12

Он родился в подмосковной деревне и до десяти лет был деревенским жителем. Рос среди коз, лебеды и небогатых соседских садов, откуда вместе с приятелями воровал яблоки-кислицу, от них сводило скулы, но показать это было невозможно, наоборот, необходимо было всячески демонстрировать мужественное удовольствие. Этой наукой овладел сполна. Сколько бы в дальнейшем ни приходилось демонстрировать мужественное удовольствие, всегда оказывался на высоте. Воспитатели —

дед и бабка. Бабка, добрейшей души человек, никогда не повышала голоса, при живых, однако разбежавшихся родителях считала мальчонку сиротой и подкармливала вкусеньким. Дед, суровый силач, исправлял бабкино слюнтяйство крепкими подзатыльниками, от которых горели уши и щеки, подзатыльники сбивали неслуха с ног, и первое, чему обучился, — сжавшись в пружину, удержаться на ногах. Если от соседней поступала жалоба на малолетнего вора, дед порол до крови. Один раз ребенок — фактически он был ребенок — потерял сознание от боли. Очнулся: малая росточком бабка насканивала на великана-мужа, тыча в крутую грудную клетку сухими ручонками, с перевитыми веревкой жилами, вопя, что он убийца и кандалник, видать, мало ему одной каторги, другой возжелал, поскольку убил родного внука. Сцена поразила мальчика. Он видел, что дед ни разу не тронул бабку, но и бабка шелестела по избе неслышно, какмышь. А тут бунт. Мальчишка стал приставать к бабке: расскажи, да расскажи про деда. Будешь большой — расскажу, пообещала бабка, если поклянешься молчать как убитый. Спросил: а когда буду большой? А вот будет день рожденья, исполнится десять, высчитала бабка. Он поклялся. Он умел молчать как убитый. Кругом все умели молчать как убитые, шли 20-е, потом 30-е, и он тоже умел. Он любил свои дни рожденья. Приезжала мать из города, привозила новый шарф или варежки, самовяз, бабка пекла пирог из чего придется, а дед доставал из заветного ящичка четыре Георгиевских креста и цеплял на телогрейку, которую не снимал ни зимой, ни летом. В этот единственный день в году его глаза увлажнились, он глядел на бабку ласково, уважительно выдавливая одно слово: сохранила. А бабка махала рукой, рдея, как девочка. Рассказы о том, как дед участвовал в русско-японской войне и был награжден за подвиги двумя Георгиями, маленький Вася слышал не раз и готов был слушать бесчисленное число раз. Так же, как про двух других Георгиев, которые дед привез с Первой мировой, вернувшись, стало быть, полным кавалером. Васе запрещено было под страхом смертной казни — а репетицию такой казни он выдержал — болтать о том на улице, и он, гордый знанием тайны, молчал как убитый и знал, что будет молчать как убитый. О том, что происходило между двумя войнами, молчала бабка, молчал дед, и для Васи было покрыто мраком неизвестности. Ныне, в свое десятилетие, ждал обещанного. Мать приехала и уехала, пирог съеден, кресты уложены обратно в деревянный ящичек, Вася поглядывал на бабку, та мыла посуду и томительных взглядов внука не замечала. Наконец, всю перемыла-перетерла, осушила руки полотенцем, встретила прямой Васин взор и вздохнула от неотвратимости судьбы: ну что ж, таперича ты большой, на боковую можно и позднее, идем на улицу погулять. Вася, сглотнув комок нетерпения в горле, стал собираться. Бабушка гуляла с ним, когда ему было один-два-три года. К четырем он стал самостоятельным. В десять пойти гулять с бабкой — как нежности-манежности, хмыкнул дед, но заради праздника перечить не стал. Проворчал: а я ложусь. Ложися-ложися, одобрила бабка. На темной деревенской улице, освещенной колючим сиянием восходящего сизого месяца да пятка крупных ледяных звезд, Вася услышал, как дед, завершив войну с японцами и, должно быть, по этой причине потеряв ясную цель жизни, отдался беспробудному домашнему пьянству, с тем чтобы в первый же престольный праздник выйти из дому и присоединиться к законно гулявшему русскому народу. На лед, толстым слоем покрывший местную речку, спустилась часть народа из села, что лежало на противоположном берегу. Насупротив встала наша часть. Меж двух частей по необъявленной, но давней причине, по которой каждая считала себя правой, состоялась всеобщая пьяная драка, и в ней дед ударами кулачища в голову убил двух парней из противоположной местности. А где ж ты была, баба, спросил, пораженный, Вася. А нигде, отвечала бабушка, меня ще рядом и в помине не было. А откуда знаешь, приставал Вася. А от его и знаю, выдала источник информации бабушка. А вдруг он тебе наврал, замер от ужаса собственного предположения Вася, вдруг там чего хуже было. Что ж может хуже быть, охнула бабка, хуже убить человека ничаво и нету, а тут разом двоих. Так он же ж и на войне убивал, надумал поддакнуть бабушке Вася, выказывая себя более смышленным, чем можно было ожидать от наступивших десяти лет. Бабушка поддавков не приняла. На войне друго дело, возразила она, на войне солдатский долг. По долгу можно, а без долга нельзя, дотумкал Вася. По долгу можно, а без долга нельзя, строго подтвердила бабка. И Вася тотчас, без сомнений и на всю жизнь, принял бабкину веру. А что потом было, передернулся он от мороза, напозавшего с небосвода. А потом, поведала бабушка,

надели на парня кандалы и по етапу в Сибирь, на Нерчинские рудники, приковали цепочкой к тачке, и так ел, спал и работал подземно скованным, а через три года за хорошую работу кандалы с его сняли, и семь лет он копал и возил руду пошти што как свободный. И ты после каторги вышла за него, строил дальнейший сюжет Вася, и в темноте не было видно краски, вспыхнувшей на щеках в связи с пошти што запретной волнующей темой. На каторге, опять вздохнула бабушка, из Нерчинска он mine и вывез, мать-отца за им позабыла. А как его отпустили, спросил Вася. А он прошение царю отправил, шоб опять на войну иттить, его и взяли на войну. И ты не боишься его, поинтересовался Вася. А чего бояться, удивилась бабушка, он лучшее многих, кто никого не убил. Это было правдой. Вася и сам знал, что дед лучшее многих, несмотря на кулачищи-убивцы. Он умел плотничать, столярничать, ставить печи, копать колодцы, как никто в деревне. Вася носил за ним инструмент и гордился тем, как люди нахваливают деда. Вася не знал, что делать со своей гордостью, перемежавшейся со страхом и враждой, когда, обучая внука уму-разуму, дед награждал его огненными затрещинами. Но всякий раз вспоминался ему бабкин рассказ, как она мать-отца за им, за каторжником, позабыла, и понимал он, что выборанет, что в мире, в который он вступил, каждому дается по силам его, а значит, и деду, и бабке, и ему, малолетке, тож.

А потом мать забрала сына в город. Вынуждена была после несчастного случая на строительстве картофелехранилища, когда упало бревно и перешло деду позвоночник. Бабка пошти што не плакала, молчала как убитая, привыкла за годы, однако ехать в Москву наотрез отказалась, объяснив отказ тем, что кажинный день должна навещать дедову могилку, а из Москвы кажинный день не наездишься.

Я не уточнила, по материнской или по отцовской линии дед и бабка, и он не уточнил. Дедовы заветы, сообщил, хранит и по сегодня. Тебе никто и ничего не должен. Всего добьешься сам. Вкальвай, постигай, достигай, не отступай, пока не скажешь себе: я сделал, что мог. Никому не разрешай взять над собой верх, даже самому верхнему. Уходи что от верхних, что от нижних, живи своим. Не подличай, не подлизывайся, не трусь и будешь молодец против овец, крепче всякого. Пересказывая заветы, Окоемов долбил крепкой костяшкой пальца стол, а я видела перед собой красногрудого дятла, обосновавшегося у нас на даче, при первых стуках которого нервно замирала, преображаясь в слух, пока не прекращал долбежки.

С этой поры вывернулось наизнанку: едва летний или осенний дятел принимался долбить дерево — задирала голову, и в небесах возникал облик Окоемова.

13

Перекидчик — от забытого *перекидываться*. Забыто не без усилий семидесятилетней власти, безжалостно утопившей в тазу бесцветной и безликой пропаганды-агитации дивного ребеночка — природное вековое знание, объявленное ненаучным предрассудком, чтобы на его месте настрогать, без Бога и без чуда, рассудочное, новенькое дитя, блестящее, как монетка. Фальшивая монетка. Понятие забыто, да ведь то, что им поименовано, никуда не делось. И если предки не знали газовой или электрической плиты, из этого не вытекает, что они были далеки от сути вещей. Вполне может быть, что для нас эта суть закрыта Провидением по причине нашей новообретенной силы, многократно усиленной газом и электричеством, чтобы не натворили лишнего. Что и как происходит на самом деле — нам и по сю пору неведомо и неведомо, будет ли ведомо. Какое-то ощущение сути дается, когда подступает ночное расширение сознания. Счастье полета. Счастье всеохватности. Счастье всемогущества. Днем схлопывается, и не помнишь — живо, кровью, лимфой, клетками, — как ярко и безбрежно было ночью. Как подчинялись преобразования. Как сближались сущности. Как великолепно и жутко конец рифмовался с началом. Казалось, еще немного — и чары воплотятся в реальность, все узнаешь и все поймешь. Напряжения не хватало. Но мы знаем про себя и не знаем про других. Похожее состояние, верно, дают наркотики. Проверить не было желания. Есть гораздо более привычное и доступное русскому человеку — водочка. Может быть, в России так страшно и пьют заради расширения возможности, когда из подневольного человека выходит человек вольный. Мне лично любая механика видится пошлостью и предательством по отношению к тому, что получаешь вне механики, наивысшим и потому необъяснимым

образом. Как любовь. Химики-физики и здесь находят объяснение. Эндорфины — химия. Левитация — физика. Перекинуться — биохимия и биофизика. А чем иным занимаешься, как не этим, взамен какого-нибудь строительного, мясного, хлебоуборочного или учительского дела, вызывая в воображении — называя этим непонятым словом еще более непонятное — одну фигуру и вторую, одно состояние и второе, одно событие и второе, пресуществляясь в них, добывая из далека или из близи слова, чтобы запечатлеть, и все это, якобы несуществующее, абсолютно ирреальное и бесполезное, доводит до экстаза, до исступления, до сумасшествия.

Впрочем про это я уже говорила. Как заезженная пластинка, право.

Окоемов — *перекидчик*.

14

Послушайте, есть иномарка, непосредственно из Штатов, свой человек перегоняет, строго по заказу, отсюда поступает заказ на желаемую модель, там занимаются подбором, машина чистая, с нормальной историей, не сэведж, что такое сэведж, знаете, не знаете, это когда машина побывала в аварии, но у них все строго фиксируется, там ведь, если обман, можно в тюрьму загреметь, подержанная — одно, а побывавшая в аварии — другое, и цена соответственно вдвое падает, короче, мужик наш заказал и отказался, у него, короче, магазин сгорел, и ему сейчас не до этого, машина двухтысячного года выпуска, *бээмвэ*, триста восемнадцатая, пробег сто тыщ, двенадцать тыщ цена, что недорого, соотношение цена—качество в нашу пользу, но я же говорю, своим, не своим все пятнадцать, если не дороже, вы ведь хотели новую машину, я считаю, надо брать, а вашу продадим, много за нее не дадут, поскольку десятилетняя, но они могут подождать с оплатой, или сделаете с рассрочкой, скажем, в течение года, вы хотели черную, вот она черная и есть, советую брать, не сомневаясь, нет, посомневаться никогда не зря, но лучше не найдете, железно вам говорю.

Что бы я без него, без моего золотого Толи, делала. Не работает телефон, что-то с батареями, не греют, три пятна на потолке на втором этаже, шел дождь, где-то вода затекает под крышу, упала сосна, надо распилить и дрова сложить под домом, в нескольких местах вышибли штакетник в заборе, а в Москве на кухне кран горячей воды записвел и не крутится — раньше чинил муж, он тоже умеет, но с появлением Толяна разленился, чуть что, звонит, вызывает, или меня заставляет вызвать. Толян берет инструмент, идет и едет, и лезет на крышу, и смотрит, и чинит, и пилит, и поправляет, — после всех треклятых приключений с дачей, которую и обворовывали, и загаживали, и все валилась от ветхости, Бог нам его послал.

— Але, ну что, заработал телефон?

— Да, нашел обрыв на столбе.

— Отлично. А остальное?

— Остальное сделаю до вашего приезда. В пятницу приедете?

— Приедем. Что привезти?

— Все есть. Баню приготовить?

— Готовь. Милке привет.

Баню уже упоминала как сокровенное. Муж сделал своими руками. С Толиной помощью. Муж рассчитал и спроектировал, а строили вдвоем. Митя, Толин дружок, привез стройматериалы на «Газели». Я возила на своем стареньком *БМВ* мелочевку: гвозди-винты-шурпы. *БМВ*, который теперь предлагалось продать, мы и купили с Толяном пять лет назад, уложившись ровно в четыре дня, пока муж был в командировке в Норвегии, и решено было преподнести ему сюрприз. Улетал — была отечественная десятка, ломавшаяся дважды в неделю и громыхавшая, как консервная банка, когда ее гоняют по асфальту. Прилетел — бесшумная западногерманская игрушка. Толян принес. Из рук в руки, быстро скатали по трем адресам, хорошо выглядевший, но по документам сильно немолодой алый *БМВ* продавал пузатый владелец мясной лавки, весело гордившийся длинной змеевидной женой; слегка побитый черный спортивный двухдверный *БМВ* с красным кожаным салоном предлагала капризная юная особа, то и дело отходившая вставляя по мобильному, видимо, любовнику; темно-зеленым *БМВ* торговал парень из пожарной инспекции, залудивший легенду о папе, пригнавшем авто непосредственно из Германии сынишке в подарок, с подар-

ком приходится расставаться, чтобы внести деньги за квартиру, поскольку ждут наследника, — по цене и боевой раскраске нам подошел темно-зеленый, его мы и приобрели, узнав из документов, которые попали в наши руки по окончании сделки, что подарок не из Германии, а из Калининграда, куда поступают на потоке все ворованные и неворованные хорошо пожившие заграничные машины, но Толян утешил, что все простучал и просмотрел, экземпляр недурной. Толя же устроил удачную продажу старой «Лады» еще одному другу, Генке, дружков у него окрест развелось немерено, у нас столько за жизнь не накопилось, правда, я потеряла втрое по сравнению с тем, что когда-то платила, но Толян объяснил ситуацию именно этими словами: так когда-то. Отныне я раскатывала на новой машине без забот, ничего не ломалось, тьфу-тьфу, ничего не дребезжало. Тихая музыка, лившаяся в салон из крутых колонок, усиливала комфорт и практически негу.

Стало быть, приезжаем мы на нашем сокровище на дачу под мелодию *Imagine*. Батареи, и впрямь, жарят. Телефон не работает. Потолочные протечки на месте. Упавшая сосна на месте. Дыры в заборе на месте. Толян, глядя глаза в глаза своими неправдоподобно оленьими, убедительно доказывает, почему не было никакой возможности поправить, что не поправлено, и клянется, что поправит за два дня. Через два дня не поправляется, поправляется через два месяца, и не все, а часть, неважно, поправилось же, пусть не все. Например, пятна на потолке сохранятся не на один сезон. Но это не смертельно.

Они банятся втроем, муж, Толян и Милка. Мне нельзя по медицинским показаниям. Милка еще с нами, и все у нас хорошо. Я нажимаю на клавиши компьютера у себя наверху в библиотечке и слышу, как время от времени кто-то из них прыгает в бассейн, охлаждаясь от жары: мой кудесник-муж, пристроив финскую баньку к дому, ухитрился соорудить, к тому же, маленький бассейн. Я бранилась, что он нарушает гармонию, удлиняя дом до неприличия. Он посмеивался: погоди, закончу. Я кричала, что тогда будет поздно, но уже было поздно: если им овладевала идея, остановить его было нельзя. Я уступала. Я уступала всегда, когда видела, что ему чего-то хочется. Ему редко чего-то хотелось. Как правило, ему ничего не хотелось. И я ценила, когда хотелось. Компромисс нашелся в виде большого окна, которое он и Толян установили, разобрав глухую вагонку, из-за которой дом выглядел как барак. Отныне дом выглядел как корабль, мне понравилось. Видишь, ухмыльнулся удовлетворенный муж, я же говорил, дуракам полработы не показывают, и мы подняли стопки за новую баню.

Мы поднимали стопки за что-нибудь по каждому удобному поводу. И всегда — когда они банились. Услышав, что вышли и муж уже ставит решетки с распятой на них курятиной или бараниной, так что упоительный аромат достигает моего второго этажа и у меня текут слюнки, я спускалась вниз, доставала вымытые овощи, хлеб, тарелки, вилки, ножи, Мила тащила восхитительный самогон, который делал ее отец, ароматнее я не пила в своей не столь уж короткой жизни. Наши совместные распакнутые застолья были частью того счастья, которым располагает естественная жизнь, почти забытая в техногенной, цифровой, сетевой цивилизации с ее приматом цели над процессом. Эта жизнь не отменяла цивилизации — но отлично оттеняла ее.

Новая иномарка непосредственно из Штатов никогда не появилась. Как не появились росшие в цене другие иномарки, возникавшие в виртуальном пространстве Толиного мозга, о чем он раздумчиво делился со мной от случая к случаю. Так же раздумчиво переходил к собственным перспективам. То ему предлагали должность технолога с окладом в шестьсот долларов на бывшей ВДНХ, то в две тысячи долларов на фирме, расположенной где-нибудь в Загорске, то в восемьсот на оптовом складе, не разобрать где. Он размышлял, принять ли предложение, пока размышлял, место уходило или появлялось более заманчивое, он опять размышлял, а потом забывал. Он чинил машины на дому, он был мастер, и хотя иной раз возникали скандалы, и кто-то отказывался платить за проделанную работу, он не горевал. Поднимал вверх свои ясные глаза и философски констатировал: разные люди бьются. Он и не сердился на них. Он был очень добрый. Безотказный. Уравновешенный. Вот только Милка намылилась уйти. И у нас прощальный ужин.

Рука, в которой он держит рюмку с водкой, едва не расплескивая, почернела и вздулась.

— Толян, что с рюкой?

- Кронштейн плохо закрепил, упал, рука сорвалась и попала под колесо.
- Жуть какая-то. Ты же мог раздробить все косточки.
- Мог.
- А может, раздробил.
- Может, раздробил.
- Сходи к врачу.
- Схожу.

Никуда он не пойдет, а Милка, когда он выйдет покурить, шепнет, что со всего маху двинул кулаком об стену, когда услышал, что она с ним расстанется.

15

Как это у вас было, с рисованием, это происходило прямо на фронте, с вами был какой-то блокнот, куда вы, хватая карандаш, наспех зарисовывали все эти оторванные руки-ноги-головы, которые послужат основой для будущих, не стану славословить, каких картин, или в вашу память, в ваш состав настолько все врезалось, до дна и навек, что после нужно было лишь сосредоточиться, чтобы начало кровить, и тогда только холст подставляя под краску-кровянку.

Так или примерно так, быть может, слишком прямолинейно, спрашивала я его, но не с ходу, не с улицы, не с мороза, отчего, я думаю, он, при его характере, мог запросто указать на дверь, а когда уже оба были разогреты предыдущим, как суп на конфорке, и уже закипали, и, пузырясь, теряли представление о нормальном градусе, при каком подобное неуместно и даже неприлично. Прилично и уместно, потому что за всем нашим трепом стояла душевная работа на одной волне, ей-богу, она отменяла повседневность, приводя к пикам общения. По его воле, разумеется. Его волей я впадала в транс, отчего все, оставшееся за рамками транса, виделось блеклым и жухлым. Он — черный, желтый, голубой, меняясь в окрасе, в химии, в физике, что я пропускала, вовлеченная в кислородный, или флогистонный, обмен на том уровне, где внешнее не катит, как говорят нынче, а катит внутреннее, обусловленное вышним, — он вдруг заливался редким для него, искажавшим лицо смехом, закатывая глаза, закашлявшись и неожиданно затихая на полувдохе-полувыдохе, как бы прекращая все жизненные процессы для точечной смерти. Сознательной или бессознательной, припадок то был или владение некими техниками, я не знала. Я обмирала. Он быстро открывал глаза, казалось, для того, чтобы успеть подсмотреть мою реакцию, и говорил спокойно, чуть ли не презрительно, но все же, скорее, терпеливо, как старший, повывавший виды, не знавшей их младшей.

Вы маленькая идиотка, говорил он, какие блокноты, какие карандаши среди встопорщившегося огня, взбаламученной земли, разверзшегося купола небес, непролазной грязи, непроходимых лесов, ледяных рек, а страшнее всего, открытой на километры местности, когда ни куста, ни деревца, и танки прут прямо на тебя, и ты, обмочившийся-обделавшийся, драпаешь так, что жилы сейчас лопнут, мошонка вывалится и отвалится на хрен, а про оторванные руки-ноги-головы как раз вашим интеллигентским ротиком-куриной попочкой только и произносить, скажите спасибо, сударыня, что офицерская честь не разрешает материться перед женщинами. Война началась летом, и лето, осень, зиму и другую зиму я, слышите, вы, дурочка, провел в пехотной роте, в героических усилиях выжить, выполняя распоряжения начсостава, не сдохнув от унижительного животного страха, потому что сам, сам, добровольно убежал на фронт навстречу всему этому добру, едва окончив восьмилетку. В то воскресенье, когда по радио передавали речь Молотова, прошел сильный дождь, теплый, веселый, с пузырями, как большинство тогдашних летних дождей, он скоро сменился ясным солнышком, одуряюще запахло черемухой, банально, но быть банальным часто значит быть правдивым, запомните, и я сразу помчался в райвоенкомат, там распорядился хмурый майор, к нему стояла очередь из разновозрастных мужчин, и среди них несколько молодых женщин, я нервничал, и чтобы не показать, приставал к одной из них как взрослый, хотя в школе так и не заговорил с девочкой из девятого класса, которая мне нравилась, майор за столом поглядывал с неодобрением и вдруг выдернул из очереди вопросом, сколько мне лет, я, не запнувшись, отрапортовал: восемнадцать, а он велел показать паспорт, а я говорю, что спешил и забыл дома, уже поняв, что сваял дурака и ни на какой фронт по правилам меня не

возьмут, так что надо добираться без правил. Молодую женщину, с которой я ни к селу, ни к городу затеял флирт, на секунду очередью прижало ко мне, она провела ладонью по моему подбородку и шепнула именно это: пробирайся сам, война будет долгая, может, где сведет. Меня поразили ее слова. Кругом все говорили, что война будет малая, короткая, мы победим и поставим врага на колени в считанные сроки. Говорить другое было элементарно опасно. А она не побоялась. Почему-то я думал о ней всю войну и почему-то думал, что погибла. Может, и погибла. Дома перебрал вещмешок и выкинул как раз блокноты, и двинул к линии фронта, о которой узнал в той же стоячке в райвоенкомате.

Копия не передает оригинала.

В оригинале пустые глазницы городских зданий, с уцелевшей какой-нибудь одной стеной, с нелепо обрушенными каркасами других, дыбом вставшие куски рельсов, вывороченное железо мостов, обгорелые останки деревенского жилья, погибшие деревья, побитые огороды, речки со съехавшими в воду, точно съехавшими с ума, берегами, широченные грязные колеи от военных машин, исчертивших луга и пастбища, уродливые надолбы, попытка защиты, которая мало что защищала. А также разодранные кишки, снесенные черепа, ополовиненные тела, свои и вражеские.

Я слушала и воображала — он видел и помнил. Я не подрядилась воспроизводить его риторику, его дыхание, то бурное, то пропадавшее, его ритмы — у меня они другие. Я следовала за его — потому что они были сильнее моих. Я пропадала в чужой жизни.

16

Литерная газета меняла главных редакторов как перчатки. Два первых медальными профилями красовались в верхнем левом углу еженедельного выпуска. Придумал профили третий, в глубине души рассчитывая на свой в грезившемся славном будущем, когда его не будет. Не вышло. Даже и последнему лизоблюду на ум не пришло, едва откинул копыта. Лизоблюды лижут живность, на что им мертвечина. Далее главные зачастили с такой скоростью, что народ путался и путал, что при ком было. Уходили или их уходили по идейным соображениям. Перестройка и гласность, демократия и либерализм дергались и дергали марионеток, которые напрочь отказывались в новых условиях признавать себя таковыми. Кто-то слишком свободолобив, кто-то чересчур догматичен. Меняя кресло, тянули за собой соратников из высшего и среднего звена. Болото оставалось на местах. Идейные соображения сменились финансовыми. Тот не обеспечивал рейтинга, этот тоже, следующий кадр имел репутационные издержки, да скамейка запасных вдруг кончилась, оставили временно нынешнего, с бесстрашным национальным окрасом, оказалось созвучно моде дня, временщик укрепился. Опять одних сотрудников убывало, других прибывало, мужчина, которого все звали женским именем Люся, и даже Люсичка, цвел при всех режимах. Идея назвать газету *Литерной* пришла второму редактору, потому что первого убили так давно, что к новой газете с новым именем он не имел никакого отношения. Профиль печатали, чтобы утвердить традицию. Традиция — это всегда выгодно. Поэтому стали писать: 200 лет микояновским колбасам или 150 лет заводу Большевичка. Литерными бывают особые билеты, особые вагоны и особые ложи. *Литерная газета* в совокупности это и означала. Мы любим игру слов и обязаны признать, что тут сложилась игра более чем удачная.

Люсичка работал в *Литерной* полжизни, не покидая ни на день, а, напротив, с каждым очередным шефом повышая свой статус. Я приходила к главному, которым одно время был мой друг Слава Ощин. Люсичка, бывший курьер, затем корреспондент, затем завотделом, затем ответсек, а нынче зам главного, сидел у него в приемной, насупротив секретарши Али, за которой безэмоционально ухаживал, он ухаживал за всеми секретаршами, при виде меня вставал, мастерски закатывал под лоб невыразительные глазки-орешки, что обозначало обожание, и целовал мне пальцы, то была его фишка. При изготовлении Люсички природа не мешкала, воспользовавшись тем, что валялось под рукой, одно с перебором, другое в малых дозах. В результате нос получился кнопочкой, лобная часть сильно сужалась кверху, мешочки под глазами топорщились бугорками, словно там лежал горох, щеки стекали вниз,

скошенный подбородок без затей переходил в полную, с излишествами, как у шарпея, шейную трубу, и туловище стекало округло и складчато, подчеркнутое постоянно не подходящими по размеру водолазками. Мой муж говорил о животах типа Люсичкина: семь сабельных ударов. Неказист был Люсичка, носивший двойную фамилию Облов-Облянский. Если главный оказывался в эту минуту занят, Люся вел меня этажом ниже, к себе, и поил кофе с шоколадной конфеткой. Кофе приносила невзрачная подчиненная. Тотчас заглядывали другие подчиненные. Здесь любили попить жидкий обловский кофе. Один усаживался в кресло, решительно выбрасывая ноги перед собой и замедленно опуская их на маленький столик поверх многочисленных бумаг. Второй укладывался в углу дивана. Люсичка ложился на собственный стол. Общество принималось дымить. Походило на какие-то восточные сладости. Вернее, на картинку от них. Я любила эту дурацкую демократическую атмосферу редакции, где, казалось, занят один главный редактор, а прочие бездельничают, и непонятно, как у них выходит их *Литерная*, зато можно всласть наговориться хоть о высоком, хоть о низком, но ненавидела дым, который был неотъемлемой частью атмосферы. Так все в жизни. Или отказывайся от того, что любишь, или принимай то, что ненавидишь. Жуткая вещь, если поразмыслить хорошенько. Я спасалась тем, что никогда не знала, кто с кем, кто в чем, кто кого бросил и кто за кого вышел замуж. Не столько не знала, сколько не вызывала, не интересовалась. Сужая поле обмена сведениями, сужала поле отношений, должно быть, из экономии чувств: чтобы ни любви, ни ненависти уж совсем зазря. Кое-что доносилось. В том числе, что Облянский не женат, в редакции обнимает мужчин, как женщин, а за пределами редакции пьет, как лошадь. Существовала и обратная версия. Что жена от него ушла и он исправно тискает женщин, как мужчин. Ничего из этого меня не касалось, я не реагировала. Не исключено, что было два человека: под одной фамилией он делал одно, под второй — другое.

Неожиданно Люсичка прогнал компанию, плотно прикрыл дверь, растворил окно, чтобы проветрить помещение, явно для меня, и застыл у отворенного окна с обращенным вдаль затуманенным взором. Я готова была умилиться, не ожидая такой чуткости. Он обернулся: в глазах у него стояли, не проливаясь, слезы. Я развела руками — жест недоумения, сожаления и сочувствия. Он бросился ко мне и уперся лбом куда-то под горло. Что вы, смешалась я, что вы. Иного не оставалось, как погладить сиротливый затылок. Папа, пожаловался он. Что папа, спросила я. Папа умер, всхлипнул он. Боже мой, бедный ребенок, вырвалось у меня нелепое. Жирный, стареющий мужчина и впрямь был как ребенок. Он заговорил, хлюпая носом.

У него никого не было, кроме меня, а у меня никого, кроме него. Я не знаю, что теперь будет, потому что не умею без него жить. Я прихожу домой, а его нет, и я не понимаю, что мне делать, как взять себе поужинать, как поставить чайник, как расстелить постель. Он занимался мной, как нянька, мамка, друг, любимый человек. Всегда напевал: я за сестру тебя молю, сжался, сжался, и так далее. У него был очень приятный бархатный голос.

Почему он пел за сестру, я не поняла. Люсичка говорил про тапки, которые папа чинил ему, про книги, которые читал вслух по вечерам, как пошло с детства, так и пошло, про оладьи, которые умел печь как никто, про записочки с наставлениями, которые наклеивал повсюду, от кухни до уборной. Я понимал, что он неизлечимо болен, чуть не в голос рыдал Люся, что ему много лет, что исход неизбежен, но не хотел, не хотел понимать, медики говорили, а я не слышал, главное, не я, а он сохранял спокойствие и жил, как всегда, а я жил в ответ, и это длилось два года, представьте, два года человек усилием воли тормозил все процессы в организме, он даже не старился, и мы давно выглядели как два брата, а не как отец и сын.

Он похож на вас, прервала я вопросом его рыдания. Да вы что, опешил Люся, он красавец, стройный, высокий, худой, бывший белый офицер, человек чести, у меня это от него, вбито по макушку.

Он умолк. Я тоже. Я почти все время молчала. Было неловко за то, что посчитала, будто он ради меня растворил окно. Точно мне непременно быть в центре событий. И точно он мог увидеть мои мысли.

По телефону меня позвали к главному. Я ободрила Люсю: держитесь, пожалуйста, держитесь. И покинула кабинет.

В мозгу закрепилась картинка, как он стоит, поникший, и весь стекает книзу, словно квашня у неведомой хозяйки.

17

Литерная печатала мои диалоги с солью земли, такой был уговор. Я радовалась, что диалоги закрепятся на бумаге. Я перечитывала слова и выражения собеседников и каждый раз заново влюблялась в них. Мне было дорого любое междометие, любая пауза, в них дышала личность говорящего, а следовательно, способ мышления и чувственный смысл произносимого. Редакторы все как один стремились спрямить и упростить речь моих героев. Они восклицали: тут вам не радио и тем более не телевидение. У меня были свои аргументы: живая речь есть живая речь, на радиоволне или на бумаге, мы вовлекаемся в нестандартное звучание, у вас же *Литерная газета*, вы должны раньше других это поддерживать. Мой друг, главный редактор Слава Ощин, уговаривался без труда. Ему было плевать. Если не на все, то на многое. Трудности возникали на нижних этажах, включая занимаемый Люсичкой. Слава спросил: Люся показала тебе правку? Я отрицательно покачала головой. А бутерброд хочешь, неожиданно сменил он ракурс разговора. Хочу, выделила я некоторое количество желудочного сока. Он откинул бумажную салфетку, под ней на тарелочке лежала пара бутербродов с колбасой, мы оба с аппетитом накупились на них. Пржевав, Слава указал на большой лист с текстом, всплошную испещренный сокращениями и заменами: посмотри. Это была моя полоса. Я человек психованный, у меня сразу все плывет перед глазами. Я вскочила. Села. Снова вскочила. Значит, со Славиной стороны это была пищевая анестезия. Я пошла, предупредила я, не двинувшись с места, и дрогнувший мой голос был отвратителен. Слава остановил меня, неподвижную, тихим восклицанием: куда! Туда, указала я пальцем через стекло на асфальт. Собираешься выброситься из окна, полюбопытствовал он. Не твое дело, материал печатать не дам, откликнулась я, сколько можно, я устала от вас. Слава понажимал кнопки на телефонном аппарате: Люся, она не дает, чего не дает, ничего не дает, я понимаю, что возрастное, но моложе у меня нет, а у тебя? Я не собиралась выслушивать их скабрзности, но главный редактор, положив трубку, взялся обеими жменями за верх листа, одна жменя замерла на месте, другая полезла вниз, лист разъехался пополам, обе части еще напололам, обрывки бумаги полетели в корзину. С каждым Славиным движением мои глазные железы пульсировали все активнее и в финале постыдно выдали маленький фонтанчик. Ну, ты даешь, засмеялся мой друг. А только что утверждал, что не даю, засмеялась я, отряхиваясь от слез, как собака отряхивается от пыли. Мне было стыдно оттого, что из сочувствия Люсичке я не заплакала, а из-за того, какие буковки будут напечатаны на бумаге, заплакала.

— Дружок, а ты не хочешь сделать беседу с Василием Окоемовым? — прервал мое потаенное покаяние Слава Ощин.

Я поперхнулась воздухом. Если б я ела бутерброд в этот миг, точно погибла бы. Бутерброд попал бы в мое дыхательное горло, и меня вряд ли удалось бы спасти, как не удалось спасти Сережу Дрофенко, когда он подавился в ЦДЛ куском бифштекса, а окружение уверовало, что у него сердечный приступ, и уложило лежать вместо того, чтобы схватить за ноги и потрясти вниз головой, хотя там были врачи-писатели. Нет сомнений, мой друг главный не стал бы трясти меня за ноги.

Решив, что я не вникла, разъяснил:

— Тип преинтереснейший и совершенно закрытый, журналистов посылает на три буквы, если бы тебе вдруг удалось его разговорить, мы б напечатали беседу с ним с колес! А? Решайся!

Демонический смех вырвался из моей груди. Друг сделал недоуменное лицо, но не преминул засмеяться тоже. Это всегда выход: мол, не лыком шиты, шутки тоже шутить умеем и понимаем. Шутка без слов заключалась в том, что я не могла принять предложения, которое давно сделала самой себе.

Окоемов запретил.

18

Все же он попал на войну, набавив себе два года. С июня по октябрь — курсант воздушно-десантной школы, после этого отправлен на фронт. Начальство поубивало

в первом же минометном бою, ему, рядовому и едва обстрелянному, поручили командовать отделением. Так и пошло: командир отделения разведки гвардейского полка, помощник командира взвода, командир взвода, командир роты. Не солдат, не генерал, военная середка, хитростью, отвагой и умением выигрывавшая высоту за соткой, село за селом, город за городом, несмотря на чудовищные людские потери. Трижды контужен, дважды ранен. Шесть боевых наград. Победа застала в Восточной Европе. Хмельное чувство победителя. Румынская подруга. Десять месяцев тюрьмы. Заступился за товарища, нижнего по чину, против чина выше, что по уставу воинской службы не положено, но было положено по совести. Письмо Верховному главнокомандующему без надежды на отклик. Внезапное освобождение по распоряжению Верховного. Жесткий выбор: простить и поблагодарить власть или не благодарить и не прощать. Встреча с румынкой, успевшей выйти замуж. Возвращение в Москву. Смена тотальной надежды тотальным чувством одиночества. Многолетний труд над картонами и холстами, многолетняя концентрация, многолетнее вызревание. Жил, как подпольщик, как резидент без резидентуры, оглядываясь по сторонам, чтобы не рвануло где внезапно, задавая себе урок за уроком, с порога отвергая чепуху и моду, усложняя и углубляя задачи, соблазнам не поддаваясь, не слушая ни хулы, ни хвалы, стекло, показавшееся алмазом, безжалостно давая сапогом, во имя редких бриллиантов, запойный работник, погруженный в свое, суровый сам себе судия, ответчик за всех замолчавших навеки, кем-то налаженный, заряженный, как загнанный в ствол ружья патрон, чтобы выстрелить в свое время в цель.

— Таких, как вы, больше нет, Астафьев да Быков, кто за ними, летчик Девятаев, и все, нет, есть еще, кто уцелел, но и вы есть, один из всех, один за всех, надо, Василь Иванович, надо, чтобы люди услышали вас, за что мне одной такое богатство, прошу, Василь Иванович, отмените свое решение.

— Какое решение?

— Не давать мне интервью и не участвовать в моей программе.

— Какого рожна, неужто вы, приставалка, до сих пор не поняли, что я не участвую ни в чьих программах, что другие участвуют в моих, они приходят сюда, кого я позову, а не я к ним иду, полковники, сантехники, артисты, ученые, программисты, галеристы, продавцы с рынка, кто мне нужен, а кто не нужен, тех я на порог не пускаю. Не мной заведуют, я заведу.

— Да поняла я, поняла, просто делаю очередную попытку убедить.

— Неудачную, убедить меня никому не удавалось. А насчет богатства — утешитесь, не вам одной, согласен, кто вы такая, чтобы вам одной, оно людям, и оно в моих картинах, и люди знают это без посредников.

Он положил тяжелые руки на стол, наклонил тяжелую львиную, голову так, что в свете настольной лампы рыже-седая копна венцом засияла над обширным, в крутых линиях морщин, лбом. Я засмотрелась на него. Сегодня у него был выразительнейший облик, я пожалела, что он, а не я, художник.

— Что выбрали, благодарить или не благодарить власть?

— Когда?

— Когда благодать от Верховного снизошла.

— Сами-то как считаете?

— Не благодарить.

— Какие-то мозги у вас все же наличествуют.

— Спасибо.

— На здоровье.

Он указывал мне мое место, он называл меня приставалкой, я не обижалась, я редко на кого обижаюсь, время обид минуло, и уж с ним, точно, не вернулось, но, видит Бог, я не приставала к нему. Сам назначал время встреч, сам усаживал пить чай, сам принимался повествовать о том, о чем и не спрашивала. Приняв как данность круговую оборону и одинокий окоп, встревала редко. Слушала вздох, вкладываясь и уставая, как от всякого честного, на износ, труда, зная, что на мое слушалище клюют самые закрытые. Он был крученный-перекрученный, и сеть, какую сплетал, была крепче моей, я не попадала в нее, как муха, только потому, что изо всех сил сохраняла позицию свидетеля, а не участника. Он — независимый соглядатай, я — свидетель.

Елки-моталки, вспомнила вдруг, я ведь давно собиралась его щелкнуть, а в этот

раз со мной была моя мельница. Что, напрягся он. Погодите, сидите так, не шевелитесь, велела я. Какого рожна, выдал он свое излюбленное. Я потянулась к сумочке, вынула аппарат — еле заметным движением Окоемов выбил его у меня из рук.

— Что вы сделали?

— Это вы чуть не сделали.

— Что я чуть не сделала?

— Ошибку. Я не разрешаю себя фотографировать. А вы не спросили разрешения.

Он подобрал упавшую на пол мельницу. Крышка, отлетевшая в сторону, треснула.

— Надеюсь, что разбилась только крышка. А нет — сама виновата. Я поищу у себя. У меня много барахла скопилось в ящиках.

Стукнула дверь в прихожей, и в дом ворвалась шаровая молния. Разоблачаясь на ходу, она обнаружила косу, уложенную вокруг головы, наподобие Тимошенкиной, только не белокурую, а темно-русую, широкую кость, прямую спину, большую грудь, большой живот и прокуренные зубы в ярко-красном рту. Невидимый, но ощутимый вихрь спиралью завился в комнате.

— Представляю вам мою жену Василису, а тебе представляю журналистку, о которой говорил.

Шаровая молния, распространяя запах озона, мельком глянула, схватила мою руку своей, почти мужской, встряхнула так, что искры из глаз посыпались, и объявила: иду спать, падаю с ног, четырехчасовая операция. Метнулась в другую комнату, сжигая на своем пути все, отчего запахло гарью, и плотно прикрыла за собой дверь. Она у меня хирург, и хирург первоклассный, снизошел до объяснения Окоемов, ей несут свои простаты буквально все, кого вы видите по телевизору, а она несет домой буквально все, о чем они с ней треплются до и после, и я в курсе дела до такой степени, какая вам и не снилась, тем более что записываю, поэтому не стоит трепыхаться, стараясь меня переспорить, поскольку у вас элементарно меньший объем знаний.

Я не трепыхалась. Не почему-либо, а из нецелесообразности.

На это моих знаний хватало.

19

Однажды он спросил, кто у меня любимый русский писатель. Лермонтов, назвала, не задумываясь, а у вас? Бунин, назвал он, а почему Лермонтов? Не знаю, смешалась я, по группе крови, по совпадению, по любви и жалости, по изумлению перед даром, перед языком, перед тайной, наконец, а Бунин почему, закончила вопросом. А потому же, последовал насмешливый ответ, по группе крови, по изумлению перед даром, перед тайной и русским языком.

Не правда ли, держала я фасон, занятно, что у людей может быть один и тот же набор слов, не исключено, что один набор чувств, а значит, мыслей, но по разному поводу. Или иначе, повод один, а слова, чувства и мысли разнятся как противные, подхватил он так же насмешливо, и вот сейчас мы дружим, а можем разойтись и враждовать, и волоска не проложить, где источник, а уж он найдется.

Мы походили на зеркала, поставленные друг перед другом, но с искаженным стеклом, — такая гомерическая комната смеха.

20

Давайте напьемся, сказала Милка, и мы принялись активно за это занятие. Наливали с частотой, против которой в другое время я бы протестовала. Тут был особый случай: Милка нас покидала. Пили, не пьянея. Реплики, не говоря о тостах, изобретали с осторожностью, чтобы не коснуться. На четвертой или пятой рюмке у Толи скривилось лицо от сдерживаемого плача. Увидев, что его развозит, я выступила с каким-то поспешным воспоминанием, в котором он фигурировал как образец мужчины. Он нашел в себе силы изобразить ухмылку и справился с плачем. Муж бодро сказал: пробьемся. Мы выпили. Милка сказала: за все хорошее, что у нас с вами

было. Мы опять выпили. Толян сказал: вы нам родные. Мы выпили еще. Я сказала: а вы нам. После чего выпили по новой. Потом я убирала со стола, почти не качаясь, Толян, трезвевший с каждой рюмкой, отправился на улицу курить, муж, вставая, чуть не свалил стол, но вовремя успел подхватить, после чего поднялся на второй этаж смотреть маленький телевизор, я слушала, как он шел, он шел на несгибаемых ногах, Милка мыла посуду спиной ко мне, я осторожно приблизилась, тронула за плечо:

— Мил, что ты делаешь?

Она, словно ждала, тотчас обернулась:

— Сама не знаю, лечу, не знаю куда, и каждую минуту боюсь, что упаду и отобью себе печенки.

— Давай переиграем, еще есть время.

— Разве?

— Давай, Толя тебя любит, мы любим, это проверено, неужели сомнительный шофер перевешивает годы и годы?

— Не давите на меня, если что, я должна решить сама, но это не сейчас.

Милкин словарь и Милкино мышление по-прежнему удивляли. Бывшая продавщица из хохлацкого захолустья, с десятилеткой, и московская штучка, с высшим образованием, а ни разницы, ни розни. Капля подточила камень, я могла поздравить себя, Милка оставляла нам шанс. Лишь спустя время до меня дошло, что она словами смягчала ситуацию, жалея нас, а в намерениях была тверда. Разница между нами все же существовала. Я в ее возрасте выходила замуж предпоследний раз по страстной любви, не говоря о последнем, приключившемся ровно о ту пору, когда я была на двенадцать лет старше Милки нынешней. Ничего не было важно, кроме невозможности жить без, кроме ненормальных слов и поступков, которые другим, нормальным, представлялись дурацкими, кроме любви, пропади она пропадом и благослови ее Бог. Разница между нами заключалась в том, что я по старинке употребляла слова любовь, любить, а Милка избегала их. Она говорила: посмотрим, сойдемся ли характерами, увидим, приспособимся ли. Это было практично. Это было трезво. Нынешние указывали нынешней любви ее нынешнее место.

Пришла машина, и Милка уехала. С вещами. Тимку отправила электричкой раньше. Обидно, что он с нами не попрощался. Мы полюбили и его, по первости беспечного бездельника, затем увлеченного компьютерщика, тощего и хитроглазого, и долго еще скучали по нему.

Толяна минут за пятнадцать до Милкиного отъезда Митя увел на станцию. За сигаретами.

Митя был скромняга и миляга, сын работавшего у Челомея крупного инженера, впрочем, также скромняги и миляги. Они с Челомеем делали ракеты, и по ночам в чреве земли под нашим домом и в окрестностях что-то томилась и долго выло. Отец не жил с Митиной матерью последние двадцать лет, но с Митей встречался на нашем участке, где Толян чинил машины обоим. Мите не исполнилось и тридцати, а светлая шевелюра поредела значительно, что несколько не портило его, обнажая череп красивой лепки. Отец не закрывал рта. Узнав массу занимательного про Монголию, где чистейший степной воздух вылечил его неизлечимые легкие, а части ввозимых им ракет обеспечили неисчислимое количество чистосердечных даров от луноликих начальников, чье степное уложение включало в себя уложение личной жены гостю в постель, я, спустя сутки-другие, бесчувственно кралась по траве с порога в сад или обратно на порог так, чтобы листик не шелохнулся, а сумасшедший изобретатель не отвлекся от грандиозного макета, который строил тут же, не теряя времени, пока Толян правит ему мотор. Сын, напротив, был молчаливик. Поднабравшись ума от Толяна, он и сам отважно лез в папин мотор, хотя звезд с неба на погоны, в отличие от папы, не хватал, не имея к тому же никакого образования, помимо школьного. Мити я не избегала. С Митей я любила посудачить. Он примирял меня с реальностью новых, потому что чувствами обладал старыми. Чувств в этом случае было много больше, чем фраз. Он улыбался мне. Я улыбалась ему. Я спрашивала, как, мол, Митя, жизнь. Он отвечал, что неплохо, мол. Он спрашивал, какая, мол, погода в Москве. Я отвечала, что такая же, мол, как тут. Я ему улыбалась. Он мне. Я отходила от него с неизменным ощущением, что случилось что-то очень хорошее, и настроение у меня взлетало вверх. Сдается, у него шел симметричный процесс. Митя не пил, не курил, не ругался матом, а доброта его даже превышала доброту

Толяна. Одинок бродивший по свету, он женился год назад на начинающей юристке, и я думала, как повезло девчонке, что попала на нашего чистого Митю, а не на какого-нибудь негодяя Витю. Через четыре месяца она Митю бросила, забрав часть мебели и денег и дав юридическую справку, что, когда муж с женой расходятся, имущество по закону делится пополам. Митя, ты же не лох, воскликнула я, услышав эту душераздирающую новеллу. Не лох, растянул рот в грустную улыбку Митя, но жалко дурочку. Негодяйку, поправила я. Дурочку, поправил он. Глядя на Милку, он, также улыбаясь, говорил: вот бы мне такую жену. Толян улыбался в ответ: эта занята, а других таких нет и не бывает. Количество улыбок на нашем дачном участке мирило с их тотальным отсутствием на участках городских. А в Мите, наверное, особым образом сложились генеалогические пласты: мужчины в его роду по материнской линии все были священники.

В эти дни Митя, единственный из нас, оценил Милкино поведение беспощадно: та еще стерва оказалась.

Осенний дятел стучал под осенним небом невидимо.

21

Василий и Василиса — это должно было носить скрытый смысл. Невозможно, чтобы не носило. Невозможно, чтобы вступая в роман, они не обратили внимания на соединение имен, пропустив как неважное. Я не могла пропустить. И потому сочинила нечто вдохновенное на эту тему в тексте, что лежал сию минуту перед Окоемовым. Текст начинался не с жены, а с матери, простой женщины, молдаванки с заросшим чувственным лбом. Почему-то ее облик в моем представлении совпадал с Милкиным, хотя Милка лишена чувственного лба — зато чувственное остальное. По факту, я всего-навсего пересказывала услышанное от него же. Мой собственный комментарий был предельно сух. Я нарочно избрала сухую манеру, тогда фактура играла мускулами. Авторская заслуга заключалась в тщательно выстроенной композиции с целью добиться наивысшего эмоционального эффекта. Короткая главка Василий и Василиса выстреливала ближе к концу, выбиваясь из общего тона и давая неожиданное освещение событиям.

Шаровая молния возникла по судьбе. Какие-то мосты она сожгла. Я решила на запечатление нетленки. Текст назывался *Победитель*. Ни на чем не настаивая, ничему не придавая значения, невозмутимо предложила Окоемову: прочтите, будьте добры. Он хмыкнул дважды. Первый хмык — дебютный, второй — финальный. Ждала резюме. Дождалась: печатать не надо. Пробормотала: вам не надо, нам надо. Кому вам, прищурил он рыжий глаз под рыжей бровью. Людям, выдавила я. Я кому говорю, не надо, возвысил он голос, и более к этому предмету не возвращаться, а ваше сентиментальное ля-ля про Василису порвать сразу. Я пожала плечами. Я хотела хладнокровно собрать листки, лежавшие перед ним. Я не должна была никоим образом показывать, насколько разочарована. Он отвел мою руку, собрал листки сам и сунул в ящик стола, ничего не порвав.

Мне было все равно.

Текст имелся у меня в компьютере.

Почему он так не хотел славы? Нечеловеческая скромность. Нет, не о славе речь. О популярности. Для него — несомненно, с приставкой дешевая. Славу он имел и без меня. Я держалась изо всех сил. Хотите утешительный приз, вдруг усмехнулся он. Я все еще была не в силах издать ни звука и вторично пожалала плечами. Вторичное, оно и есть вторичное, потому бездарное. Пойдемте, я покажу вам мастерскую, сделал он широкий жест и первым поднялся. Эта штука прозвучала сильнее Фауста Гете. Стоило так крупно проиграть, чтобы так крупно выиграть. Я открыла закон: чем отчаяннее сгораешь дотла, тем ярче, пардон, возрождаешься как феникс. Сожженная шаровой молнией конструкция освобождала пространство для новых сооружений.

Мы прошли узкой асфальтовой дорожкой между двумя одинаковыми жилыми домами и спустились в подвал второго. Пахло кошками, какой-то кислой дрянью и почему-то серой. Окоемов долго возился с замками, опирая один за другим штук пять подряд, наконец, дверь, обитая когда-то распространенным черным дерматином, отворилась, мы вступили туда, куда допускали избранных. Я была избрана и,

помимо воли, трепетала. Между предыдущей лестницей и круто сворачивающей следующей имелась небольшая площадка. Хорошо, что болтавшаяся на длинном шнуре голая лампочка кое-как освещала обширное помещение с темными углами. Не зная, войти без света — запросто пересчитать носом ступеньки, с приобретенным синяком и шишкой. Любопытно, воспользовался ли он этим устройством для какого-нибудь специального гостя, если желал тому зла, внезапно пришло мне в голову. Коленчатые, крашенные серым, трубы то ли отопления, то ли вентиляции шли по верху серых бетонных стен. Пол, изначально серый, был в цветных пятнах от красок, затертых, но прижившихся намертво. Окна отсутствовали. Все картины стояли лицом к стенке, изнанкой к зрителю, что добавляло серо-буро-холстинкового цвета, отчего мастерская походила на амбар. Имелись: серая оттоманка, большое зеркало с испорченной амальгамой, оттого, скорее, поглощавшее свет, нежели блестевшее, большой ободраный буфет, пара пожилых табуреток, пара венских стульев, давно потерявших товарный вид, стол старческой внешности, заваленный альбомами, книгами и листами ватмана, возле стола — деревянные и картонные ящики с тюбиками красок и пустые, банки с засохшими кистями, а также несколько неказистых этажерок с уложенными на них папками, занавеска, их закрывавшая, задралась, как у пьяной бабы юбка, так говаривала моя мама, этажерки можно было принять за архив нотариуса, возможно, именно там прятались тетради независимого соглядатая. Отдельным ослепительным пятном выделялся неожиданно новенький холодильник. Бросались в глаза полки, на которых располагались копии великих мастеров, однако и они казались какими-то запыленными и не расцвечивали унылого обиталища. Его могли преобразить три осветительных прибора на стойках, но они не были включены. Все вместе вызывало ассоциации со Щелкунчиком. Точнее, с царством мышей из сказки о Щелкунчике. Щелкунчик ли, с его двумя рядами очень белых и очень острых зубов, щелкнет сейчас ими или ими противно заскрежешет Мышиный Король — пытаюсь овладеть собой, в неприятном ознобе и нетерпении, я засмеялась. Чему смеетесь, спросил он. Не чему, а над кем, поправила я, над собой, ожидающей волшебства. Бойтесь, явится, или бойтесь, не явится, проскрипел он сказочным голосом. В сказке безобразный Щелкунчик преобразается в прекрасного Дроссельмейера — какому, интересно, преображению суждено свершиться здесь.

Мой Вергилий произвел щелчок, словно давая себе старт, и принялся с большой скоростью переворачивать холсты. То, что загорелись приборы, я пропустила, ошеломленная.

Это был не Окоёмов.

Я хочу сказать, что работы, принесшие ему мировую известность, и эти не имели ничего общего. Насыщенный, скульптурный живой мазок, которого он достиг страстным ударом кистью, уступил место плоскому убитому. Невиданное что сопровождало как. Одно за другим являлись многоликие, многорукые, многоногие, многопалые существа, где части прорастали в части, вырастали из частей и оборачивались новыми частями. Зеленое, болотное, коричневое, оранжевое, черное, пеплом присыпанное. Тайный всемирный Чернобыль взрывал норму и запускал невиданный процесс мутации. Если приглядеться, можно было различить мужчин и женщин, взрослых и детей, беременных и зародышей внутри их. Я сказала норма, но что такое норма для художника. Один нежно обволакивает вас увиденной соответствующим оком реальностью, второй пишет эту же реальность как нескончаемый роковой сюжет, третий, не удовлетворяясь известными измерениями, ищет неизвестные, четвертый предан абстракциям, как маме родной, маму неискушенные зрители и поминают всуе на выставках, хорошо, если не разгромленных. Щелкунчик метал холсты, не глядя на меня, как хозяйка мечет оладьи на стол из печи, тут была его печь, и оладьи горячи, казалось, они обжигали его не меньше, чем меня, добро бы он не видел их раньше, а он не то, что видел, он создавал их, а ожоги на нем едва ли не зримо проступали. Устала, вдруг спросил он. Не устала, а обожжена, как и вы, выговорила я первое пришедшее на ум и выругала себя за выпренность. Проще бы спрятаться за иронию, этот спасительный круг, когда не знаешь, как быть. Нанесенный удар был чересчур силен. Я не была готова к нему, охвачена чрезмерным очарованием или чрезмерным разочарованием, не понять. Третий глаз его или третье ухо уловили колебания моих внутренних волн, как то часто с ним бывало. Вы думаете, поймал он меня, Чернобыль или третья мировая, а ни то, ни другое, а разверстка человека во

всех направлениях, когда он в одну и ту же минуту целое и раздробленное, единое и в кусках, возможно, вы это знаете. Я знала. Я знала. Но не представляла, что, выраженное пластически, может быть столь безобразно. Вот главное: я не только не была готова к новизне высказывания, я не ощущала красоты высказывания. Хотя я и не могу утверждать, продолжал он, что Чернобыль и третья мировая совсем уж ни при чем, они при чем в той мере, в какой каждое последующее знание связано с предыдущими, со всеми происшествиями во Вселенной и со всеми сигналами, что подает нам Вселенная. Он замолчал. Я опасалась нарушить тишину, я ощущала себя прозрачной, я боялась сфальшивить, я хотела скрыть свое невежество, и сказать ему мне было нечего. Он был *перекидчик*, его практика не шла ни в какое сравнение с моей, его пластика могла быть — была! — мне недоступной.

Он вырубил софиты и предложил выпить. Чаю, спросила я. Водки, отрезал он. Хорошо, послушалась я. Из буфета были добыты стаканы, тарелки, вилки, нож, из холодильника извлечена початая бутылка, открытые шпроты и половинка черного хлеба в целлофане, освобожденное на столе место застелено куском ватмана, пир начался. Походило не только на амбар и архив, но и на бункер.

Глухая пора листопада рифмовалась с глухим бункером.

22

Зачем это случилось с ним? Почему покинул завоеванные высоты? Кто видел его новые полотна? Что говорил ему? Что говорила жена Василиса, прокурорская дочь? Не в моих привычках считать деньги в чужом кармане, но за картины ему должны были платить прилично — куда они деваются, если он живет и работает в обстановке более чем скромной? Почему мы пьем с ним водку в мастерской? Задружились мы, в конце концов, или это пир расставания?

Я жаждала ответов на вопросы, которые не задавала, ибо источник был перекрыт: партию, как всегда, вел он.

Я правдив, начал он.

Я правдив сам и требую того же от других.

Я правдив сам и требую того же от других, но.

Я правдив сам и требую того же от других, но признаю, что ложь и правда могут поменяться местами.

Я правдив сам и требую того же от других, но признаю, что ложь и правда могут поменяться местами, и тогда я выковыриваю осколки правды из общего комка все-ленской смеси, как изюм из булки.

Я правдив сам и требую того же от других, но признаю, что ложь и правда могут поменяться местами, и тогда я выковыриваю осколки правды из общего комка все-ленской смеси, как изюм из булки, и предлагаю вам обучиться этой науке.

Я правдив сам и требую того же от других, но признаю, что ложь и правда могут поменяться местами, и тогда я выковыриваю осколки правды из общего комка все-ленской смеси, как изюм из булки, и предлагаю вам обучиться этой науке, потому что, бьюсь об заклад, вы только думаете, что умеете это делать, а вы не умеете.

Он говорил точно, как я пишу: начинал фразу и заканчивал, казалось, что заканчивал, но всякий раз начинал заново, приращивая к концу новые и новые добавки. На ум приходило равелевское *Болеро*, где музыка ходит кругами, околдовывая вас, и он ходил кругами, околдовывая меня. Сознание неожиданно выкинуло коленце, достав из небытия — или инобытия — фигуру человека по фамилии Обласов, давно умершего, сильно пившего, счастливого самородка, убежденного в том, что время не течет и не идет, а есть ячеи времени, в которых все творится, где нет прямых, а есть спирали и завихрения — отсюда повторения пройденного, рифмы и ритмы, вся поэзия, то, о чем у стихотворца: бывают странные сближенья, отсюда все перепады личной и исторической судьбы, когда одно на удивление повторяет другое, и что было, то будет, вот почему Библия — книга о будущем, равно как о прошедшем.

Сферы и спирали Окоемова были из той же категории. Возможно, так на него действовал алкоголь.

Вы не обязаны рецензировать то, что увидели, говорил он, уставившись в стакан, я не требую рецензии, я потребую ответственности за доверие, потому что вы же понимаете, что вам доверено. Благодарю, склонила я голову и спросила, должна ли

молчать об увиденном. Да, кивнул он, пока я не подам знака, освобождающего вас от молчания. Это прозвучало, как: пока не сниму с вас обет молчания. Обстановка располагала к мистическим обрядам, тем более что чувства юмора у него не наблюдалось ни на грош, да и мое куда-то испарилось. Я подняла рюмку и с глубокой искренностью произнесла: за вас. Я вложила в два кратчайших слова все, что поднакопилось во мне за период наших встреч, кажется, вместе с влагой, что поднакопилась в слезных мешках. Встречная влага была мне благодарностью. Секунда — и мы ринулись бы друг к другу в объятия.

Усилием воли я разорвала соединение.

Или он разорвал.

23

Из записанного за ним: осколок сидит у меня в виске, отсюда тупые головные боли, которые я вынужден скрывать, их снимает, как ни странно, только моя новая живопись, а в последний раз, можете вообразить, голова внезапно прошла, когда мы с вами выпили водки, закусив шпротами.

24

Бессменный декан факультета, где я училась, неожиданно вспомнил, когда я зашла к нему по какому-то делу:

— Шла конференция, обсуждали *Не хлебом единым*, встала тощенькая первокурсница и провозгласила: довольно жить по лжи. Между прочим, до Солженицына.

Я посмотрела на него недоверчиво. На губах играла его характерная ласковая усмешка. Он договорил:

— Этой первокурсницей были вы.

Я была правдива. Почти как Окоемов. Сражалась за правду, расходясь с теми, кто начинал лгать. Я верил в вас как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь, бередило душу школьницы-студентки не меньше, чем Умри, но не давай поцелуя без любви. Пока не настал день, когда, освободив душу от очередного девичьего увлечения и подняв головку от тетрадки с записью очередного книжного откровения, влекомая интересами кружка, куда попала, — оторвалась от сугубо личного в пользу общественного, что и раньше случалось, но раньше уделяла внимание, скорее, тому, кто пылко рассуждал, чем предмету рассуждения. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Получи, детка, лицемерие, хамство, чванство, уравниловку, бездарь, диктующую дару, все, густо смазанное тележным маслом вельможного-ничтожного обмана, — это твоя родина, детка, сегодня, как вчера, чего, с блаженной верой в добро, с жасминами-ландышами в руке, с Пушкиным-Гоголем-Чаадаевым-Герценом в башке, не замечала, полагая историей. Ирония истории заключается в том, что она длится, а ничего никуда не девается, даже и отсеченное революцией, нарастает с новой силой, как голова у дракона. Шварц, поставленный в *Современнике*, давил аллюзиями. И пошло-поехало: ужасный Сталин, прекрасный Булгаков, ненавистная бюрократия, любимая поэзия, обширная, волглая, тощая, опухшая Россия, изъезженная вдоль и поперек, с пьяными мужиками и бабами, что дрались до крови и не расставались до могилы, с двуликими партийными чиновниками, один лик в задней комнате местного ресторанчика или в баньке с комсомолочками, другой — в кабинете или на собрании, где по всей форме, формы для, отчеты, приписки, казенные речи, вранье, вранье, вранье. Как мы жили? Да так и жили. Пока не грянули 1985-й и 1991-й, и та же история заколбасилась, дрыгая ножками и ручками, словно новорожденная, а как пелена спала, так стало ясно, что проявленья, отправленья, отклоненья, установленья все те же. Дыханье затруднено, и вдруг свободно, и вдруг ловишь себя на том, что опять затруднено, и гостевавшие справедливость и независимость убыли, а хозяйка-зависимость вместе с хозяином-несправедливостью привычной скатертью накрыли стол для народонаселения с выпивкой. Люди внушаемы. Один драматург любил живописать эксперимент, проведенный психологами в школе. Малышам-первоклассникам показывали черную и белую бумажки и просили назвать цвет. Малыши называли. Но потом с взрослыми, показывавшими бумажки, приклю-

чилось что-то смешное: они перепутали и принялись убеждать малышей, что черная бумажка — белая, а белая — черная. Малыши, смеясь, сопротивлялись. Взрослые настаивали на своем. Вскоре смех прекратился, а за ним сопротивление. Сперва девочка, за ней мальчик, за ними еще мальчики и девочки, неуверенно, робко, дружка за дружкой, как оловянные солдатики, стали послушно поднимать руки за черную бумажку как за белую, а за белую как за черную. Мерзкая модель. Между прочим, модель власти, что морочит голову жителям, а жители заморачиваются, а власть, сыто срыгивая, утверждает, что в своих действиях следует строго за жителями, как они видят и чего желают. Скажем, желают петь михалковский советский гимн. Или желают закрыть иностранные фонды, чтобы те думать забыли помогать беженцам и жертвам российско-чеченской войны, которой нет. Или запретить въезд в страну иностранцам, кто нелояльно отзовется о наших ценностях. За перечнем народных желаний не поспеть. Занавеска опускается, господа присяжные заседатели. Железная занавеска.

Но вдруг с бунтарским отчаянием, переходящим в смиренный покой, я понимаю, что ложь и правда где бы то ни было, в Кремле, в золе, в земле, связаны столь же тесно и прочно, как ночь и день, и это не человеческий, а космический механизм.

Заколдованное место. Не одна моя родина — шар земной.

Окоемов перевернул мне душу.

А я и не заметила.

25

Метафора: он живет этим. В метафоре — прецизионная точность. Как в швейцарских часах. Не идеальное подразумевается — что вот человек живет такими-то идеями. И не материальное — что вот этим он зарабатывает. Биохимия. Жизнь как биохимический процесс длится за счет реакций, включенных в процесс. Сигнал идет из мозга. Отключить сигнал — все равно что отключить мозг. Потому, скажем, умирает пенсионер, отправленный на пенсию: отключается сигнал надобности в нем, пусть сколь угодно технической. Творческую личность отправляет на пенсию не собес. Небесный собес, если угодно. Окоемов умер, потому что почувствовал себя отключенным небесным собесом. Или, дойдя до конца дороги, увидел, что свернул не туда. Сигнал отключился — кончилась жизнь. Или дорога повела туда, куда другим заповедано, а сигнал был настолько мощным, что собственное художественное, философское открытие убило. Не знаю. Ничего не знаю. Внезапная мука: он был со мной неискренен. И следом: а кто ты такая, чтобы требовать от него искренности. И следом: а вспомни, кто кому говорил: вы с нами неискренни. Красный коммунистический следователь красному коммунистическому подследственному. Красная краска заливает мое лицо, я чувствую, как оно пылает.

Я иду по улице. Не какой-то, а конкретной, Большой Никитской, бывшей Герцена, а до того Большой Никитской. Вот еще факт перекидыванья. Мои раздумья внезапно прерывает мелкое происшествие. Путь преграждает дверь. Высокая, белая, с ручкой и ключом в гнезде замка. Я встаю перед ней, потому что она встала передо мной, как конь перед травой. Стоит себе, вертикальная, закрытая, неподвижная, по обе стороны от нее ничего, кроме пустот и нечистот. Зимы нет. Припозднившаяся осень. Этот тип зим Окоемов определил как не европейскую, а предапокалиптическую. Должны бы лежать снега, морозец — пощипывать носы, а длилась несезонная теплынь, было сухо, и небо светилось голубизной, как в какой-нибудь Италии, и оттого, как ни нелепо, одолевала тревога, словно мы заимствовали что-то у чужих, что придется отдавать, либо у самих себя, за что также придется расплатиться, но, наконец, хляби разверзлись, сделалось слякотно, грязно, можно бы сказать, привычно слякотно и грязно, если бы не грязно и слякотно непривычно и безмерно. Мы не сняли изящных сапог на шпильках, в том числе замшевых, те, кто обычно носит шпильки. Нашей верности избранному образу, имиджу, по-нынешнему, не могли поколебать ни лужи, даже сплошные, ни сплошная грязь. Они колебали, в прямом значении слова, тех, кто шпильки не носит в силу больших ног или малых доходов, и небогатый этот люд топал своими большими ногами, пошатываясь от прожитых лет и скорбей. Не скажу, в чем была я. Скажу другое. У меня есть французская юбка, купленная лет тридцать назад. В тот день я надела ее: сантиметра не хватило на

талии, чтобы сомкнуться молнии. Хотела пришить пуговицу и сделать воздушную петлю, чтобы молния не расходилась. Полезла в круглую жестяную коробку от печенья, где нитки, иголки и все такое, и сразу наткнулась на элегантную черную пуговицу, прикрепленную к картонному квадратику, запасную к чему-то. Села пришивать и увидела, что она и есть запасная к юбке. Ячея времени. Время сделало воздушную петлю, соединив одно с другим, а я, вот она я, и практически с той же талией. Несколько мгновений, прожитых у запертой посреди улицы двери, повергли в остолбенение, нарушили естественный ток крови, дыхание и сердцебиение, минимально, но все же, иначе мозг не дал бы внезапного сбоя. Как вырубил. Не просто из пешего хода, а из памяти и рассудка. Забыла, кто я, где нахожусь и с какой целью. Адрес пропал, пропали-развязались связи и связки, пропала я. Не за что зацепиться, белая плоскость притянула и втянула куда-то, куда в обычной жизни хода нет. Мелькнуло, что дверь возникла не сама по себе, а для чего-то. Белая дверь как белое платье невесты. Или белое крыло ангела. Что это белое делает здесь, посреди заляпанного жирной грязью тротуара. Смутные размышления мои были не размышления, а сходящиеся в сгустки и тут же истаявающие облачка. Кажется, обойди возникшее препятствие хоть с этой, хоть с той стороны, что с обеих сторон черная жижа, какая разница, перед препятствием такая же. Я остановилась, потому что жизнь остановилась. Может, я должна была толкнуть и открыть дверь. Но в ней торчал ключ, а взяться за ключ что-то мешало. Наверное, что чужая дверь, чужая собственность. Надо собраться с силами, которых нет. Заоблачная догадка возникла: дверь фатально перегородила дорогу — препятствие как знак. Догадка не вызвала страха, а затрепетала, словно бабочка, и легкая радость, как легкий ветерок, облетела, освобождая от каких-то сказочных пут. В ту же секунду увидела мужиков, выдвинувшихся из-за двери и сдвинувших ее с места. Морок рассеялся. Путь открылся. Пошлепала дальше по данному всем нам, москвичам, в ощущении месиву.

Я была в двух шагах от дома.

Окоемов был ровно два года как мертв. Был день его смерти.

Вдовье время.

26

Значение имели: пух одуванчика, ветер, произведенный взмахом крыльев стрекозы, веточка-флейта, на которой огонь костра играет вспышками нот, вот именно что изюм, выковыриваемый из булки, пылкая влюбленность, вечерняя сказка, ночная музыка, новогодние подарки, смерть. Когда на место истинного знания о мере вещей пришло иное, в котором первое, второе, третье, да и четвертое измерения относились к ведомству ЗАГС — Записи Актов Гражданского Состояния, — я потеряла себя.

27

Победителя Литерная газета напечатала в первую годовщину смерти Окоемова. Главку *Василий и Василиса* я изъяла. По желанию героя. Его желание было ничего не печатать. При жизни я обязана была соблюдать его волю. Смерть сняла запрет. Он ушел в вечность. Он сказал: пока не подам знака, освобождающего от молчания. Я услышала этот знак далеко от Москвы, в канун Нового года, в ту минуту, когда сообщили новость: Окоемов скончался.

Новый год был странный. На берегу океана, в раскаленном воздухе, в майках и шортах, с огромными устрицами и маленькими тайцами. Океан празднично, серебряно, нежно напльивал на песок и камни там, где через год он, взбывчившись, набрав зловещей энергии, набросится на устроенную так или иначе цивилизацию, смет побережье, вывернет с корнями деревья, сокрушит жилища, погубит тысячи жизней местных и приезжих, желавших вкусить того же, что вкусили мы. Мир и война. Если не человеческая, то нечеловеческая. Отчего и зачем? Чтобы знать свой шесток? Чтобы жить сегодня, потому что завтра может быть поздно? Чтобы успеть самозабвенно полюбить вместо того, чтобы до потери пульса ненавидеть?

Странным в тайландском новогодье было многое. Дневной пылающий оранжевый шар, не слезавший с неба, плавил клетки. Вечерние разноцветные шары таин-

ственно освещали десятки значных мест, где крутились честные проститутки и воришки, голубые мужчины и розовые женщины, вызывая смущающие рефлексy при воспоминании о снимавшейся здесь *Эммануэли*. Нас принимал загорелый американец, владеец здешней недвижимости и каких-то активов, с великолепным треугольным торсом, при ширине плеч, несопоставимой с узостью талии, бриллианщик, недавно женившийся на русских бриллиантах, юная жена при нем, простенькая, в нескольких тряпочках на изящной фигурке, с единственным кольцом на пальце правой руки, от блеска граней которого можно было сбрендить. Мы жили в его отеле, мы спускались поужинать в его ресторанчик, мы запивали белым вином устрицы на берегу океана, я вспоминала елку и снег, готовая заплакать, и вдруг: немыслимое известие о том, что Василия Ивановича Окоемова больше нет.

Разом и навек оборвалось то, что, казалось, оборвалось раньше, но оно не оборвалось, потому что не навек, а на время, и не ушло, а отодвинулось, сложилось в потайной сундук, где все сложено, из чего складывается человек, и ты, как тот бриллианщик, а лучше сказать, как пушкинский Скупой рыцарь, когда хочешь, отпираешь сундук и разглядываешь свои драгоценности, и перебираешь их, и внезапно при виде одной самой-самой у тебя перехватывает дух, и ты вскрикнешь: да что ж это я! И наберешь номер, и услышишь на другом конце связи: приходите.

Не услышишь.

Связь оборвалась.

Не он первый.

Он последний.

Перебирай не перебирай.

Белым бел был путь, белым бел. Последний путь, в белых ризах. В Москве снежное новогодье, и он в последний раз видел заснеженное окно.

Белым бел песок на океанском берегу под палящим солнцем.

Я бросилась в океан и поплыла в бездну. Бездна была подо мной, бездна передо мной, бездна надо мной. Сияющие сферы смыкались. Что им за дело до одинокой точки-пловчихи, они могли сомкнуться над ней, без малейшего труда поглотив ее, если. Если срок. Пловчиха не плакала. В старых романах читала про океан слез. Океан слез был под рукой как неисчерпаемый резервуар. Реальность исчезла так же, как она исчезнет спустя два года, на Большой Никитской в Москве. В Индийском океане не на что было опереться и не за что схватиться. Плотная океанская соль держала потерявшуюся пловчиху, сдавленный крик не мог вырваться из груди, сдавленной океанской толщей. Потеря была универсальная, на все времена, как обязательная часть универсума, и не было возможности обойти, обхитрить, обмануть, избежать. Пловчиха выпала и выплыла, захлебнулась и очнулась, перекрестилась и перекрестила пространство, в котором царилa потеря, и повернула обратно. В ушах стоял океанский гул, подобный музыке, будто множество органов звучало, сударыня, эхом отдалось органное, и от огромного, неясного, неназываемого чувства расхохоталась.

Хохочущая женщина в океане — помрачение ума.

Ночью чокнулись коньяком на берегу океана по московскому времени, вторую рюмку выпили, не чокаясь. В небе летали белые бумажные фонарики с живым огнем внутри, и горели, пока не сгорали, а на замену им поднимались новые, и опять горели, пока не сгорали. Тайцы придумали себе такую традицию.

28

До похода в его мастерскую и невозможного нашего соединения события развивались по восходящей, несмотря на то, что исподволь. Привычка к тому, что в моей жизни есть он, есть эта тайна, это необыкновенное, за чем должно последовать новое необыкновенное, чего не торопила, а растягивала во времени, ибо не происходившее каким-то образом включалось в происходившее, давая новую яркость существованию, — привычка эта расположилась по-хозяйски, убрала лишний жир, подтянула физиологию, глаза заблестели, многолетней усталости как не бывало, все получалось, после череды неудач настигла полоса удач, все принималось как должное, шла зарядка энергией, по какой соскучилась, какая была в молодые годы. Говорят: сила

духа. О людском качестве, которым кто-то наделен, кто-то нет, Окоемов говорил: эманация чистого духа. Категория божественного. Ну и где здесь безверие?

Крещенная взрослой, молилась, прося моего ангела, чтобы не оставил, чтобы помог не ошибиться в пути, не принять пустышку за подлинное. Для непьющей меня было непостижимо то, что пронзало у Венички до дрожи сердечной, когда не только он с ними, но и они с ним разговаривали. «Кто сказал «Фффу!» Это вы, ангелы, сказали «Фффу»? — «Да, это мы сказали. Фффу, Веня, как ты ругаешься!!»

Мой ангел молчал.

Пик был пройден незаметно, а уже пошло на снижение. Наш самолетик, покурывавшись в воздухе, проделав «бочки», «иммельманы» и другие замысловатые фигуры, возвращался восвояси. Керосин ли на исходе, я ли не ответила с той полнотой, какой он ждал, на диковинный вернисаж, он ли исчерпал надобность во мне как зрителе и слушателе, имел и исчерпал, — мы были похожи на двух школят, нервно, нежно и грубо, стесняясь и притворяясь, изображая не то, что есть, стремившихся к одной цели, но внезапно, после случайной или неслучайной ошибки, простившихся со своими намерениями. Не разрешая себе сознаться в том, перезванивались, он звал, я приходила, изобретала повод, чтобы самой позвонить и прийти, мы пили чай, он чем-то интересовался, я тоже, а прежний накал исчез. Он больше не приглашал в мастерскую, всякую попытку подступиться к разговору о новой живописи резко пресекал. То же и со старой живописью, и с моей попыткой жизнеописания.

Что было делать? А нечего было делать.

Я продолжала неотвязно размышлять о его картинах, что они значили, размышлять о нем, что значил он и будет значить, когда откроет или разрешит открыть щелкунчиково царство, и люди узнают, что он такое в полном своем воплощении, и понимала, что ко мне это не будет иметь отношения. Ко всем — да. Ко мне — постольку поскольку. Одна из. Грустно. А не поправить. Я еще не пережила опыта трагического торжества всемирного закона потерь, открывшегося моему измененному сознанию в океане. Сознание жило обычным, домашним режимом. В домашнем режиме существовали маленькие домашние философемы. Жизнь приучила к потерям. Жизнь приучила к потерям, в которых нет виновных, кроме нас самих. Жизнь приучила к потерям, в которых нет виновных, кроме нас самих, сделавших тот или иной, возможно, что ложный шаг, а мы даже не успели уловить, в чем лжа.

На самом деле мимо сознания прошло, как мы перестали видеться, я уезжала и приезжала, встречала новых людей и не покидала старых, покончила с телевидением, читала лекции дома и за границей, что-то писала, отправилась встречать Новый год в Таиланд.

Пока я не подам знака, освобождающего от молчания.

Через две недели в Москве я открыла компьютер и кликнула файл, где был *Победитель*.

Перечтя, застыла в неудобной позе и долго сидела так.

В сухом остатке: наследник каторжника-деда, полного Георгиевского кавалера Первой мировой, сам кавалер Второй мировой, оба защитники своей земли, а ничего святее и нет для русского человека, что позапрошлого, что прошлого века, воитель и мастер, ни к кому не прислонившийся, ни к власти, ни к партии, ни к моде, не принявший ни унижения страны, ни лицемерного ее возвышения, сам по себе, отдельный, мощный, знавший что-то, неведомое другим, умевший то, что другим и не снилось, не прекращавший свою уникальную окопную войну до последнего боя.

Примерно это вытекало из текста — из жизни, — сказанное другими — его — словами.

Нацарапала постскрипtum, что, мол, по необычайной скромности был против публикации, однако теперь, когда его нет, каждая крупница драгоценна, мой долг предать записи гласности, и потащила в редакцию *Литерной*.

Главный редактор Слава Ощин воскликнул, кончив читать: какой утес. Подписывая в печать, дополнил: утес одинокий. Я заметила: там была главка Василий и Василиса. Одинокий в другом значении, проговорил мой пронцательный друг. Ну да, согласилась я, в том и драма.

Никто из нас не подозревал, какая драма.

Все мы либо приумножаем, либо преуменьшаем.

29

В *Литерную* пришло два письма. В одном говорилось, что Окоемов — не тот человек, за кого себя выдавал. В другом — что не воевал.

Бред. Оксюморон. Утверждение, содержащее прямое отрицание, отрицание действительного, суть шизофрения.

Но это и есть мы.

30

А вот говорят: спал с лица. Говорят тоже: потерял лицо. Первое — про физику, второе — про психику. Толян не спал с лица, а потерял его, как физически, так и психически. Он сделался неузнаваем. Нос заострился и удлинился, губы сузились и еле раскрывались для механического глотания пищи или произнесения односложных слов типа да и нет, глаза, утерявшие сияние, провалились в ямы, а ямы приобрели синегнойный цвет, что, в сочетании с оливковой кожей, туго натянутой на лоб и скулы, и проваленными щеками, производило впечатление вставшего из могилы мертвеца. Прежнее и новое обличье создавали двуличье, наличие коего никак не связывалось с рабочим-ремонтником, явившимся к нам сколько-то лет назад.

— Толян, иди, позавтракаешь с нами.

— Спасибо.

— Спасибо да или спасибо нет?

— Нет.

— Ты что, завтракал?

— Да.

— А что ты завтракал?

— Кофе.

Первый номер не удался. Номер второй.

— Толь, у тебя там была солярка, не принесешь плеснуть на костер, хотела сжечь нападавшие сучья, а они отсырели от дождя и никак не занимаются, прине- сешь?

— Да.

Я стою, опираясь на грабли, возле горы собранного мокрого сушняка, лес блестит от прошедшего ливня, солнце отражается в каждом листике и каждой травинке, каких достигает, тени мамы и папы, тени моего детства промелькивают в углу глаза или в углу памяти, я оборачиваюсь, чтобы схватить мелькнувшее, оно исчезает, не давшись, и схватить нечего. Другая тень скользит, с какой ушло, ухнуло все самое радостное и печальное, что было здесь, но об этом я запретила себе вспоминать и соблюду запрет, чего бы ни стоило.

— Смотри, как здорово занялось.

— Да.

— Опять звонил Милке?

— Да.

— Что говорил? Что не можешь без нее?

— Да.

— Сможешь, поверь мне, сможешь, найдешь хорошую девочку, не сейчас, не сразу, но обязательно найдешь и сможешь.

— Нет.

— Почему?

— Зачем мне девочка, у меня есть.

— Она не у тебя, а у другого. Слышишь?

— Да.

— И что?

— Ничего.

— А если она не вернется?

— Я не смогу.

— Что не сможешь? Жить?

- Да.
- Ты сказал ей, что покончишь с собой?
- Да.

— Толь, ну вот посмотри, всю ночь лило, гроза словно с цепи сорвалась, а сегодня какой день, вот так и у тебя будет, вчера гроза, завтра солнце, я тебе точно говорю, я честное слово тебе даю, что так будет, я больше, чем ты, прожила на земле, и знаю эти состояния, когда от тебя уходят, хорошо, живые, тогда можно поправить, а когда нельзя, вот тогда не приведи Господь, ты меня слышишь?

— Да.

— Если хочешь, чтобы она к тебе вернулась, дай срок, не терзай ее ежедневными и еженощными звонками, так ты ее только достаешь, она должна как минимум соскучиться по тебе, а ты не даешь, а вместо этого досаждаешь, а досада играет не в твою пользу, понимаешь?

— Да.

— Ты понимаешь и не можешь с собой справиться?

— Да.

— А что будет с Милордом, если с тобой что?

— Милка возьмет.

— А если не возьмет?

— Тогда она последняя дрянь.

— А не ты?

Пламя взлетает к веткам сосен. Сосны у нас старые, с длинными голыми стволами, ветки начинаются высоко. Хорошо, что высоко, не повесишься. Безотрывно смотрю в огонь. Фантастические композиции, возникающие на мгновенья и через мгновенья видоизменяющиеся, внезапный зеленый или синий язычок на месте оранжевого, безмолвная пляска летучих обрывков из ничего, необъяснимо, про CO₂ помню со школы, а все равно необъяснимо.

— Обедать придешь? Я щи сварила.

— Милка вкусные варила.

— Какие Милка варила, у меня нет.

— Я так.

— Придешь?

— Да.

— Ну, вот и молодец.

На этот час отступило.

31

Женщина была седая, настороженная, с честным лицом и честными рабочими руками, перебирала ими что-то на скатерти, стряхивала невидимую пыль, трогала за сломанную дужку немодные очки, просила мужа не уходить из комнаты, не доверяла мне.

— Можно, я включу диктофон?

— Можно, и ты, Сенечка, включи.

— Так кто же он был, если не тот, за кого себя выдавал?

— Я написала вам.

Полторы странички. Мне мало. Мне надо было посмотреть на нее. Мне надо было удостовериться, что она настоящая. Интуиция диктовала, что ей можно верить. Не было ни одного слова в письме, которому нельзя было бы не поверить. Я должна была проверить. Ее и себя.

— Расскажите подробнее, если можно.

— Можно.

Искренность возникает в ответ на искренность. Желаемое получаешь, когда в тебе не деланное, а настоящее. Возьмешь неверную ноту — все испортишь. Нельзя врать в эмоциях. Запоминайте. Я была как девушка, не скрывающая девичьего интереса в предвкушении важных сообщений. Я осторожно увлекла ее, и она увлеклась. Но прежде она увлекла меня.

Издательский работник Татьяна Юрьевна Одолевская училась в первом классе, а художник Василий Иванович Окоемов, которого звали по-другому, учился в четвер-

том, вместе с ее братом Мишенькой, они были кореша, и Вася часто бывал у Миши и Тани дома. Когда разразилась война, их семью эвакуировали в Башкирию, в городок Дюртюли, туда же эвакуировался Вася с матерью. С 41-го по 43-й Вася работал на швейной фабрике, шил белье для фронтовиков, из чего можно заключить, что на фронте с первого дня войны не был и быть не мог. На фронт ушел как раз Мишенька и погиб в 44-м, любовь и незаживающая рана младшей сестренки. В июле 43-го собрались в Москву, попрощались с Васей и его мамой, и с этого времени следы Васи для Тани теряются. Воевал ли потом, она не знает. Встреча получилась почти через тридцать лет, а расставание — и вовсе неопишное. Издательство готовило детскую книжку, иллюстрации к ней делал набиравший известность Окоемов. Художественному редактору Одоевской отдали рисунки, она села просмотреть их — и сердце у нее зашло. Не то, что сила искусства воздействовала. А то, что в одном из маленьких героев она узнала Мишеньку, портретное сходство исключало сомнения. Она нашла случай передать художнику, что хочет побеседовать с ним. Он заглянул. Снял меховую шапку, положил на край стола. Никакой это был не Окоемов. Перед ней стоял Вася Огинский. Она задавала ему какие-то вопросы, он отвечал, как отвечает человек кому-то, кого видит впервые. Дрожащим пальцем она указала на рисунок героя: это Мишенька? Окоемов окаменел. Я Мишина сестра Таня, открылась она, а вы Огинский. На лице пришельца выразился ужас, оно сделалось бледнее бумаги, на которой был нарисован Мишенька. Метнулись полы суконного пальто, он бежал, как тать в ночи, он исчез, как призрак, в мгновение ока, забыв меховую шапку лежать, где лежала.

— Все были потрясены. Мне можно не верить, но в комнате сидели еще люди, в том числе зав редакцией, он и сейчас работает, поговорите с ним, тем более что они дружили с послевоенных лет.

— Но почему элементарный вопрос поверг его в такой ужас?

— Я не знаю.

— Он не хотел возвращаться в прошлое?

— Он хотел разорвать с прошлым, я считаю.

— Вы не делали новой попытки увидеться с ним?

— Нет, а зачем?

— А он с вами?

— Его реакция не допускала кривотолков, было очевидно, что ему это крайне неприятно.

— Стало быть, он Огинский.

— Василий Иоаннович Огинский, поскольку отца звали Иоанн, он был еврей.

— А дед — Георгиевский кавалер?

— Какой дед, не было у него никакого деда.

— Как не было?!

— Так, не было.

— А откуда же фамилия Окоемов?

— Фамилия его матери по второму мужу.

— А мать — простая молдаванка с заросшим чувственным лбом?

— Заросший лоб был, а простой молдаванки не было, она тоже еврейка, Надина Обиас, дочь виленского учителя, образованная, знала немецкий, жила в Германии, и Вася — чистокровный еврей, для меня без разницы, я не антисемитка, чистый факт.

Мы прошли путь.

Последний вопрос, который я задала, должен был быть первым:

— С какой целью вы написали письмо в газету?

— Ни с какой. Прочла ваше вранье, и лопнуло терпение, не смогла сдержаться, я люблю правду, вот и вся цель.

Моя и Окоемова товарка по любви к правде.

Она подумала и добавила:

— Знаете, не хотела говорить, но мне всю жизнь было обидно, что Мишенька ушел на фронт и погиб, а Вася приписывает себе фронтовые подвиги.

— Вам обидно, что он остался в живых?

Моя клятая пронизательность, лучше было держать ее при себе.

Одоевская сжала честные, скорбные губы:

— Зря я вам доверилась. Сенечка всегда меня жучит: вот ты проникаешься и

обнажаешь душу, а люди все равно не поймут, зайдут и натопчут сапогами. И вы ничего не поняли.

Я все испортила. Я ее обидела. Я ляпнула похожую на правду ложь.

— Не сердитесь на меня, Татьяна Юрьевна, я ляпнула глупость.

— Не глупость, а трудно представить себе другого человека, который хочет быть правдивым до точки, даже в ущерб себе.

Я была ниже моей новообретенной товарки. Товарка — выше.

32

Мужчина был маленький, сморщенный, лысый, с внимательными, хотя и поблекшими глазками, при каждом удобном случае они вспыхивали радостным блеском: когда дружелюбие — раз, когда понимание — два, изумление-восхищение — три-четыре. Его надо было поощрять — тогда он расцветал, и расцветала его память, свиток разматывался длинный. Его звали Лев Трофимович Обручев.

— Он был мой друг, мы дружили лет десять, пока не раздружились, мы все, вернувшиеся с фронта, ходили в военном, а он в штатском, на меня глядя, с завистью говорил: вот ты воевал! — а я, честно, не видел разницы, кто воевал, кто нет, я не злой и не злопамятный и не предьявляю счет людям, что они другие, и жизнь у них сложилась по-другому, я его любил, он был отдельный, какая разница, воевал или был в тылу, по какой причине, я не спрашивал, он не говорил, только однажды, не помню, в какой связи, показал бумажку, что-то про заболевание, освобождавшее от армии, у него голова по временам реально болела, глаза по-страшному темнели, руки леденели, он совал пощупать, признавался, что может человека убить в таком состоянии, я и забыл про эту бумажку, вот сейчас говорю и вспомнил, а он, как боль утихала, с жадностью расспрашивал одно и то же: как было на войне, как убивали, как выживали, реально интересовался войной, я рассказывал ему и сам по мере рассказа реально понимал, что пройти этот ад и остаться в живых — значило быть счастливым, я и был им, командовал связистами и связистками, сколько их, бедолаг, погибло у меня на глазах, у меня на руках, сколько крови повытекло, кишок повывалилось, их увозили в госпиталь, и больше в отряд они не возвращались, и те, кто выжил, жили и за них тоже, мы были молоды и хотели поскорее забыть про смерть, встречались с девушками, пили вино, за погибших стоя, и он с нами стоя и садясь последним, еды немного и скудная, но мы не пьянели, от всей души праздновали дни рождения, Первое мая, Новый год, устраивали балы-маскарады, на двенадцати—пятнадцати метрах, и тесно не было, он делал маски изумительные, лучше всех, шарады придумывали, конкурсы, всяк проявлял свой талант, а первое место у него, он уже тогда рисовал великолепно, я помню его раздавленные большие пальцы, в них карандаш, и из-под грифеля уверенные, тонкие линии, мы ахали, когда из них складывались лица, наших девушек и наши, мое в том числе, он умел схватить сходство, как никто, я из-за него увлекся живописью и рисунком, не как художник, у меня нет таланта, а как зритель, он таскал меня и в Третьяковку, и в Пушкинский, я видел, что он мастер наподобие Репина или Сурикова, и прочил ему славу, и, как видите, не ошибся, но потом праздники как-то угасли, карточки, то, се, жить становилось труднее, девушки, кто повыходил замуж, не за нас, за других, одна умерла, он все рисовал и рисовал ее уже не бывшую, а потом рвал рисунки, что-то у них было, но мы, при том что видели и грязное, и всякое, между собой были скромны и лишнего не спрашивали, тем более, он молчаливый, больше слушал, чем говорил, но зато когда его прорывало, вмиг тушевались, потому что говорил он то, что на улице не услышать и в газете не вычитать, а только узнать где-то в очень особом отделе, он и намекал про это, когда был в хорошем настроении, тогда он был неумный шутник и весельчак, и мы не знали, валяет он дурака или реально связан с органами, но через несколько лет, когда я встретил товарища и разговор коснулся Окоемова, товарищ сделал страшные глаза, оглянулся и приложил палец к губам: тс-с-с. А почему он сделал тс-с-с, я не знаю.

Обручев выдержал секундную паузу, в которую мне удалось ворваться с вопросом:

— Почему вы раздружились?

Он задумался:

— А вы знаете, я даже не помню, почему.

Но тотчас блеклые глазки сверкнули:

— Нет, помню, ну как же, отлично помню, у нас был третий друг, Алексаша Оксман, у него отец умер, датчанин по национальности, и мы стояли у гроба, и вдруг Вася оттащил меня в сторону и зашептал на ухо, что надо поосторожнее, потому как отец Алексаша был плохой человек, хотя при его жизни мы охотно заходили к нему в кабинет, когда он приглашал нас, и разговаривали с ним охотно, и охотно позволяли себе рюмку-другую коньяку, что было редкостью, а он радушно выставлял, будучи работником Интернационала, Четвертого, кажется, у него висела почетная грамота, подписанная Сталиным, и тогда он был хорошим, и я возразил Васе, что раз у него грамота от Сталина, как он может быть плохим, представляете степень нашей инфантильности, когда мы уже прошли фронт и все такое, но Вася строго глянул и сказал, что знает больше меня и что скрытые враги опаснее явных, а на поминках неожиданно встал и провозгласил тост, полностью противоречивший тому, что говорил мне на кладбище, и я при всех громко спросил, когда ему верить, тогда или сейчас, и он подскочил ко мне и со всего размаху ударил по лицу, а я ударил ответно, но он был выше и сильнее, и он разбил мне лицо в кровь, а я пожалел, что сомной нет моего «вальтера», с которым прошагал всю войну, я бы убил его.

— И вы никогда никому не рассказывали это? — спросила я.

— А зачем? — спросил он, в свою очередь. — Я и сейчас промолчал бы, не обратись ко мне Татьяна Юрьевна.

— А фамилия какая у него была?

— Сперва Огинский по отцу, потом Окоемов по матери.

— А почему он сменил фамилию?

— А я не знаю, я не спрашивал.

— А вы рассказывали Татьяне Юрьевне то, что мне сейчас?

— А зачем? — повторил он давешнее. — Вы спросили — я рассказал. Она не спрашивала — я не рассказывал. Может, что-то в общих чертах.

— Но вы написали письмо в редакцию.

— Татьяна Юрьевна просила подтвердить, как он в панике убежал без шапки, хотя была холодная осень, — я написал.

— А вам это не было нужно?

— Мне — нет.

— А из чувства справедливости?

— Хотите сказать, из чувства мести? Оно мне несвойственно. Я любил его, а когда разлюбил как личность, продолжал любить как художника. Он ведь великолепный художник, вы не согласны?

— Я согласна более чем, но почему он так странно себя вел?

— А почему мне знать. Это чужая жизнь, я жил свою, а он не акула поглощать меня с потрохами.

Простодушие собеседника пленяло.

Он до сих пор пребывал в том же качестве зав редакцией издательства, что и тогда, когда стряслось бегство Окоемова и забытая им шапка. Самодостаточность вычитала карьеру.

33

Я далеко не сразу обратила внимание, что мой мир людей, в который я вступила посредством рождения, образования, профессии и воображения, окуклился, весь начинаясь с О. Может, пошло с детства, в котором веселились расхожим образом: однажды отец Онуфрий, отобедав... А может, с отрочества, с любимых Обломова и Ольги, в чьи имена входило чудище обло, озорно, стозевно и лайяй, укрощенное формой. Округлость формы, яйцо, с которого все началось, Кощеево яйцо, ноль или божественное восклицание — что бы ни было, оно было. Возможно, таким образом моей природе был явлен порядок вещей, которые реально, как говорит Обручев, разбросаны в беспорядочности, представляя собой хаос, обращавшийся у древних в космос, что нами утеряно в суете и мелочности.

При всем увлечении метафизикой, личная мелочность на месте бывших страстей выглядела вырождением.

— Почему ты не положил ножницы на место?

- Я просила купить по дороге хлеба, где хлеб?
- Ты так и не позвонил врачу?
- Сколько раз говорить, чтобы ты вытирал собаке ноги, когда на улице дождь?
- Крошки на столе специально для тараканов?

Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Рассеянно. Без эмоций. Между делом. Иногда кажется, что это такой способ напоминания: ах, вот она я, а ты где? Двадцать лет — так долго я ни с кем не жила. Кроме как с мамой-папой. Мы едем на рынок в Москве или глазеем на витрины магазинов в Риме, и толчется смешная мысль, что это объединяет нас духовно ничуть не меньше, чем посещение собора Святого Павла в том же Риме или, положим, премьеры Марка Озерова в Москве. Хаос, энтропию чувствуешь поверх всего. То остро, то тупо. Пытаешься, любительски, одолеть их — они одолевают тебя. Вначале такое чувство, что вот-вот — и все поймешь, от устройства швейной машинки до устройства мироздания. Чем дальше, тем больше сознаешь, что не поймешь ни копя. Мироздание единым оком не охватывается, день проходит бездарно, сотворение мира — разумеется, твоего, исключительно твоего — стопорится, если не откладывается насовсем, не поднесли кирпича, нет раствора, строитель забился на диван, укрывшись пледом, и следит взором в книжке что-то отвлеченное, чтобы отвлечься непонятно от чего. Целеполагание, бывшее столь крупной составляющей характера, размыто, вместо четкого и сильного манка, который сокрушал остальное, мелкие житейские заботы сами по себе обуславливают календарь. Поехать к старикам, навестить хворую подругу, заглянуть на тусовку во вторник, сходить на собрание клуба в среду, разобраться с квартирными платежками в дирекции дома, съездить на дачу к Толяну, приглашал. Это не наш Толян, другой, тоже наш, но другой, который мчался из Сабаудиа в римский аэропорт, катастрофически опаздывая. Мы были провожатые. Машину взяли в *рент-а-кар*, он за рулем. Мчались мы первую половину пути. Вторую — ползли. Он то звонил секретарше Насте, чтобы заказала билет на завтра, то отменял заказ. В один прекрасный момент сороговоркой бросил жене: я сейчас остановлюсь, ты сядешь за руль, а я переберусь вон к тому молодцу на мопед, за сто евро, надеюсь, согласится подбросить до аэропорта. Мопеды проезжали, нет спору, ловчее. Мы закричали: ты что, ты что, с ума сошел, лучше опоздать, чем разбиться. Он поутих. А затем неожиданно вывернул направо, на непроезжую полосу, и, невзирая на запрещающие знаки, погнался по ней, умудряясь обойти и левых, и правых. Он, родившийся в Саратове, полжизни проживший в офицерском городке в Подмосковье, не знавший, как себя приспособить к делу и оттого бывший баклуши и гонявший девушек, а когда открылось окно возможностей, вогнавший себя в него, как патрон в ствол, — шпарил по Италии, Франции, Швейцарии, Голландии, как у себя дома, спокойно, реже азартно, чаще хладнокровно, умеючи, не стесняясь и не нагличая, освоив мир и найдя его удобным для временного размещения, с тем чтобы всякий раз возвращаться на родину, которую изо всех сил старался сделать столь же удобной, и не его вина, что на все не хватало, хватало на семью, довольно обширную, поскольку, не звоня о том, брал на себя обязательства перед бабками, тетками, дядьями плюс две бывших тещи. Я любовалась им, не могу скрыть. В какие проценты населения, способного к переустройству своего житья-бытья, он входил, не знаю, но это был его выбор. А мог войти в другие проценты. Каждый может войти в те или другие проценты. И всегда мог. Поэтка Ориц, поспорив с другим поэтом, написавшим: времена не выбирают, в них живут и умирают, — талантливо возразила: выбирают, есть время Ахматовой и время Жданова. Я запомнила.

Толян успел.

Толина жена завезла нас в отель с вещами, чтобы самой возвратиться в Сабаудиа к детям. Нам надо было улететь через пару дней.

— Пошли поедим мороженое на пьядца Навона?

— Пошли.

Как хорошо, что можно не думать о рынке, продуктах, врачах, тараканах и прочей дробной жизнедеятельности.

— Наконец-то я от тебя отдохну.

— А я отдохну с тобой.

Мы обнялись.

34

Италия была дана как передышка.

Мой друг Слава Ощин, главный редактор, успев напечатать оба письма и мой комментарий к ним, сдавал дела. Последовательность временная, а не причинно-следственная. О причинах ухода не спрашивала, он не делился. Говорили, что маленький рейтинг. Эта деталь фигуры или костюма попортила печень не одному претенденту на успех. Запивали, уходили от жены к другой женщине, писали мстительные воспоминания, кто как устраивался. Невеселый от расставания с любимым начальником, Облов-Облянский, засматривая ему в глаза, умилялся: но как мы дали, а, какой залп, так эффектно уходить. Он чуть не плакал от восторга, смешанного с огорчением, и сам чуть не уходил. Разразившийся скандал поднял рейтинг *Литерной*, хотя для моего друга это был вчерашний день. Название публикации *Тайна художника Окоемова* бросалось в глаза.

Ровно через пару дней Облянского было не узнать. Делая круги по своему пропахшему куревом кабинету, он мрачно вещал что-то про администрацию президента, которая явно выразит недовольство. При чем тут администрация президента, изумлялась я. Есть сведения, что он самый любимый художник президента, чесал репу Облов. Если самый, отчего не наградил при жизни, холодно бросала я, Олзунова и Офронова наградил. Облянский твердил, что Окоемов — звезда, кумир, путеводный маяк, а мы его опустили. Я не опускала, сопротивлялась я, я в принципе эту лагерную феню не принимаю, а прошу вчитаться в словарь, в интонацию, в паузы, в конце концов, которых вы не признаете, в дыхание материала. Дыхание да, уныло соглашался Облянский, тут вы правы, дыхание что надо. Что ему было надо, а что не надо, я не разобралась, да и не разбиралась, говоря по чести. И, как выяснилось, напрасно.

В комментарии я писала: «Не отрекаюсь ни от одного слова в очерке *Победитель*. Будем помнить, однако, что биография этого человека принадлежит отныне не ему, а российской культуре. Выяснилось, что фактическая канва жизни художника, которым гордимся, сложнее, нежели представлялось, что не умаляет, а укрупняет и драматизирует эту фигуру. И, возможно, нас ждут еще открытия».

Открытия ждали меня персонально.

35

Калерия Охина заведовала литературой. Замужняя и нет; скорее моложавая, нежели молодая; с длинными прямыми волосами и короткой кудрявой стрижкой; в постоянной панамке, менялись только цвета; некурящая и стряхивавшая шикарным движением пепел перед вашим носом; высокомерная и ласковая; с пронзительным голосом, который мало кто слышал, потому что говорила она с собеседником задумчиво-приватно, так что каждый очередной чувствовал себя избранным, если не чувствовал отверженным; очкарик, выпали из поля зрения, и она вас не видит, зрение зоркое, как у орла, выхватит в самой пестрой гуще, если потребуется, — Калерия служила в издательстве, журнале и газете одновременно. В приемной комиссии заседала она и еще трое: изысканная, любезная лань со стальными зубами, перекусон знатный получался, раз; в пенсне, делавшем его похожим на меньшевика, как их представляли большевики, молодой и лысеющий, на одиннадцатом месяце беременности, два; зализанный и ехидный, с добром и кулаками вперемешку, три. Что они принимали, покрыто завесой тумана, но им сдавали, и к ним стояла очередь из сдававших: хорошенький, умненький, зачем-то ударившийся в политику Оргунов; Оков, копия знаменитого бельгийского писателя; живущий в Бельгии заграничный Ошкин; домашний Оцух; славная Олицкая. Я тоже встала, единственная женщина Олицкая уступила мне очередь. Это не помогло. У них приняли. У меня нет. Ну и правильно, кто я такая.

Сколько-то лет назад, в прошлом веке, при советской власти, в Пицунде отдыхали литераторы и мы с моим возлюбленным — вот и вся связь с литературой. Связным между ними и нами был пупс, не из целлулоида, а из гордости, привычной и ущемленной. Первую неделю он вращался в высшем литературном свете как свой и был

привычно горделив, вторую — ущемлен, поскольку кто-то на Олимпе его обидел, по пьянке или так, и он с обидчиками расплевался. Собираясь примкнуть к нам, похвалил: как вы правы, что не участвуете в литературном процессе. А мы не участвовали потому, что нас никто не звал, раз, и потому что влюблены и поглощены друг другом до безумия, два. Горе не от ума, а от безумия. Горе, горе, горе. Но потом. Прежде счастье, безмерное, которое мы двое не собирались разбавлять никем третьим.

Оценки людей бьются друг о друга, задевая и калеча людей.

Калерия догнала в коридоре и, щурясь от недостатка света, шепнула интимно: мужайтесь, я на вашей стороне. Я чуть не заплакала от чувства солидарности ее со мной. Люди, не готовые радоваться вашему успеху, но готовые соболезновать неуксеху, все же ценнее людей, не готовых ни к чему.

Я праздновала скандальный неуспех в связи с появлением в той же *Литерной*, куда был назначен очередной главный, а в заместителях по-прежнему пребывал незаменимый Облов-Облянский, коллективного письма, как при советской власти, размером на полосу, под названием типа *Клеветникам России*. Восемнадцать, или двенадцать, или девять подписантов — не сосчитала, а газету выбросила. Одно имя прямо-таки прекрасное, два известных и уважаемых, остальные неуважаемы или неизвестны. Краткое содержание: двое выживших из ума стариков; комплексы неудачливой журналистки; зависть, ложь и клевета; пинать мертвого льва; копаться в жизни великого человека; прислониться к чужой славе; руки прочь от святыни. Портрет явления, как говорили при той же советской власти.

Люсичка, к которому я зашла, во все время разговора смотрел куда-то вбок, проследив его взгляд, увидела, что он упирается в большое кофейное пятно на стене забавной конфигурации, чисто карта СССР, то есть нашей родины, когда она была СССР. Я понимала заинтересованное недоумение Люсички и охотно разделила бы его в другое время, но сейчас было не до карты родины, мистически проступившей на стене, пусть не в виде мене, текел, фарес, но в этом роде, след выплеснутой кофейной гущи или жижи патриотического содержания. Я собиралась спросить Люсю, в чем дело, почему хотя бы не предупредили о поступившей коллективке с приветом из СССР. Он опередил меня. Глядя не на собеседника, а по-прежнему на пятно, он принялся сурово выговаривать мне:

- Зачем вы это сделали?
- Что я сделала?
- Зачем вы напечатали эти письма?
- Напечатали их вы.
- Ваш друг, теперь уволенный.
- Ваш главный редактор.
- Бывший.
- Пусть бывший.
- Но это вы принесли ему.
- А как мне было поступить?
- Не знаю. Выбросить.

— Выбросить? Вы считаете, я должна была скрыть получение писем? Тем более, если учесть содержащийся в них упрек в мой адрес, что я фальсифицирую факты. Они написали бы в другую газету, и кто может поручиться за комментарий, который появился бы там. Лучше скажите, зачем вы напечатали этот донос? Вас кто-то просил? Кто-то заставил?

— Кроме совести, никто. Авторы доноса, как вы называете, опираются на документ, а вы, реально, как раз на донос двух выживших из ума стариков, которым почему-то бросились поверить.

Мое чуткое ухо задел оборот *бросились поверить*. Но и что-то кроме. Слово Льва Трофимовича Обручева, повторы которого я, по неизбывной привычке беречь живую речь, сохранила в тексте: *реально*. Оно закрепилось в сознании Люсички. *Двое выживших из ума стариков* он заимствовал у моих оппонентов и также употреблял как свое. Выжившими стариками побивал прежнюю реальность. Есть люди, которые всегда на стороне силы против слабости, как они это понимают, мгновенно меняя ориентацию, если что. Люсичка, с его напыщенными речами, был из них.

Посторонними рассуждениями я отвлекала себя от главного: они опирались на документ. Документ у них был. Не возразишь. Военный билет. В газете не было

снимка документа, но приводились цитаты из него: июнь—октябрь 1941 года — курсант воздушно-десантной школы, с ноября 1941-го по апрель 1942-го — командир отделения разведки гвардейского воздушно-десантного полка, апрель 1942-го — ранение и контузия, по июль 1943-го — госпиталь в Дюртюлях Башкирской АССР...

— Дайте мне возможность ответить моим оппонентам и защитить моих свидетелей.

— Как?

— Я найду, как.

— Ваша предыдущая находка оказалась мало приличной. Если вы не поняли, еще раз: ваши оппоненты подтвердили свою правоту документально, а у вас сплошные сплетни и спекуляции. Я не разрешу вам разводиться склоку.

— Что вы сказали?!

— То, что вы слышали.

36

Пир выдается квантами. Он один и тот же, нескончаемый, хотя и порционный: на берегу океана, в мастерской Щелкунчика, очередной на даче. Пир жизни. Потом будет пир смерти. Хвост селедки и рюмка водки, шампанское и голубые устрицы, неважно, какая карта выпадет, в любом случае наслаждаемся вкусом и послевкусием, пока живы. У Толяна день рожденья. Это ужас какой-то, что у него день рожденья. Потому что он сказал Милке, а она сказала нам, что это крайний срок, *dead line*, он ждет ее до дня рожденья, и если она к этому дню не прибудет, он покончит с собой. Шантрапа, шантажист, шерамыжник, ввергающий меня в жестокую бессонницу. Мало мне своих печалей.

Один зеленый барашек на белой горе.

Два белых барашка на зеленой траве.

Он родился осенью. Красные кленовые листья засыпали землю. Желтые дубовые, березовые, осинового тоже. Было сухо, и ходьба по шуршащим дорожкам доставляла отрешенное наслаждение. Шурш — какая волшебная осень. Шурш — какой прозрачный воздух. Шурш — какое розовое сияние. Шурш — ни о чем не думать, кроме как о рыжей осени и розовом воздухе. Шурш — что-то будет. Шурш — кажется, гости пожаловали.

Приехала Милкина сестра и ее подруга, явился Митя, у нас все было готово, я накрыла стол на большой веранде, торжественно, с хрусталем, бумажными салфетками и букетом астр в высокой вазе, переделась в нарядную блузку, которую специально взяла из Москвы, чтобы подчеркнуть праздник, а свитер сняла. Толяна завалили подарками, все говорили тосты, смеялись, остряли, подкладывали еды, гора на его тарелке росла, он почти не ел, только пил, старательно реагируя на наши заигрывания. Он был в выглаженной рубашке, чисто выбрит и смертельно бледен. Мы хотели подавить беспокойство, мы притворялись, кто более, кто менее удачно, мы давали спектакль для одного зрителя, а зритель обманывал, что ему весело. От абстрактного перешли к конкретному, к тому, что терзало нас, заговаривали несчастному зубы, словно заговором можно предотвратить задуманное несчастье, если оно, вправду, задумано. Мой муж произнес тост: Толян, мы столько лет знаем друг друга, семь или восемь, ты нам столько за эти годы наобещал, а нам все мало, но я тебе точно скажу, число честных людей преобладает над числом тех, кто не врет, другими словами, мы отвечаем за тебя, а ты за нас, смотри, не подведи. Логика в его тосте не было, был обычный юмор, но был и смысл, и все поняли смысл, и выпили за смысл, а не за логику, до которой никому не было дела. Митя провозгласил: Толян, ты мой лучший друг, цени это. И опять неважно было с логикой, но важно со смыслом, и опять все поняли и выпили. Я оценила то, что Митя не прибегал к личному опыту, а стойко обошелся без него, поскольку его опыт измерялся четырьмя месяцами, а Толин — девятью годами, и тот не пророс метастазами, а этот пророс. Прибегла к личному опыту в своем выступлении и подруга: Толян, посмотри на меня, меня муж полтора года назад бросил, я целый год думала, какое несчастье, а теперь целых шесть месяцев думаю, какое счастье, нет, ты смотри, смотри. Бледный Толян нашел в себе силы выговорить: я смотрю-смотрю, ты красивая. Девушка была блондинка, с густо подведенными глазами и таким же накрашенным ртом, который она понемногу

съедала вместе с салатом, декольте открывало спелые груди ровно настолько, насколько можно было при людях. Толян тоже захотел сказать тост и сказал: за вас за всех, вы мои любимые. Голос у него был мертвый. Он поднял рюмку правой рукой, и я увидела, что она почернела там, где начинаются костяшки пальцев, и как-то вздыбилась. Я ужаснулась: тебе же срочно к врачу надо. Я пойду, пообещал он. Ты и раньше обещал, скажи, когда пойдешь, не отставала я. В понедельник, высчитал он. Все разглядывали руку, охали, давали советы, какой мазью помазать, и немедленно, Толян спрятал руку под стол. Милка звонила, вдруг объявил он. Поздравляла, спросила я. Поздравляла, кивнул он. Не придет, спросила я. Может, и придет, пожал он плечами. Милкина сестра встала покурить и глазами показала, чтобы я последовала за ней. Мы спустились с крыльца и вышли в сад, и она сказала: он все врет, Милка ему не звонила, он звонил сам, она не снимала трубку, и тогда она написал ей три эсэмэски кряду, что сегодняшняя ночь последняя. Шурш — а почему три? Шурш — для убедительности. Шурш — останьтесь переночевать с ним. Шурш — останемся, и Милка просила, и подружку я взяла для этого.

Они ночевали, и все было хорошо, то есть ночью чего-либо жуткого не нарисовалось, и мы провожали их утром, и они при нас взяли с Толяна слово, что он будет вести себя хорошо, и он обещал, и глаза у него были пустые-пустые, вроде все, что в них накопилось за жизнь, провалилось в бездонный колодец. Вот видишь, а ты боялась, утешил меня мой муж, все образуется, прибег он к толстовской формуле, хотя не Толстой, а Достоевский виделся мне уместнее. Мы хотели жечь листья, но жаль было уничтожать такую красоту, и я ограничилась павшими ветками и сучьями и жгла их, потому что люблю это занятие: жечь. Множественность переломов в рухнувших с высоты сосен сучьях усложняла процесс сбора, но я люблю это занятие: чистить участок. Я люблю, когда огонь выжигает мусор, и делается чисто. Я люблю чистоту и огонь. Толян ушел к себе в дом. Днем мы позвали его обедать, он отнекивался, что наелся накануне и не хочет. Мы поели без него. А когда собрались уезжать, он вышел попрощаться и не сел, а сполз на верхнюю ступеньку лестницы, безвольно прислонившись к стене дома, и вид у него был оторви и выбрось. Толь, с тобой все в порядке, спросила я. Все, отвечал он заторможенно. Ты чувствуешь себя нормально, может, нам не уезжать, спросила я. Нормально, езжайте, слабо махнул он рукой. Я вернулась в дом и набрала Митин номер: Мить, можешь сейчас приехать, Толян мне не нравится, а нам надо в Москву. Могу, отозвался Митя, вы едете, я буду скоро, если что, переночую с ним, вы не волнуйтесь.

Сухие листья планировали на землю.

Отрешенное, мучнистое, растекавшееся сырым блином Толино лицо всю дорогу не выходило у меня из головы.

37

Лужковская Москва горела по ночам теплым золотым и холодным серебряным. Пятнадцать лет назад я прочла прогноз американского финансиста, что через пятнадцать лет русская столица преобразится и войдет в число самых прекрасных и самых фешенебельных городов мира. Она уже была в числе прекрасных, да вся куда-то подевалась. А о фешенебельности в ту пору можно было только мечтать. Дома ободраны, в подъездах пахло мочой, лампочки разбиты, лифты не работают, дворы превратились в помойки, прилавки пусты, на улицах нападали, стаскивали шубы, вырывали серьги из ушей, с машин снимали дворники, нигде в мире не снимали, а у нас снимали, жители, даже из интеллигенции, собирали и сдавали бутылки, считая копейки. Современную Москву ругают за маковки, они как фурункулы поразили вновь возведенные либо переделанные здания, ругают за испохабленную Манежную площадь, за размножившегося по-крысиному Оретели, я плакала, впервые увидев учиненное им на Манежной площади, и с тех пор стараюсь там не бывать, а было любимое место, но что же делать, что мы можем поделать с ними, протестовать, протесты даже и Комеча, бывшего авторитетнейшим знатоком художественного и павшего на этом поле сражения, были как в вату, их власть дать нам одно и отнять другое, не спросив нас, это как цунами или торнадо, стихийное бедствие, от которого страшно и больно, спасибо, когда не смертельно. Но реально Москва похорошела несказанно и стала сама на себя не похожа, Европа да и только. В центре. Окраины

по-прежнему темны и опасны. В темноте убили Пола Хлебникова и еще немало популярных и непопулярных людей, да даже и не на окраинах убивают. А свет, замечательным образом водруженный и направленный, бьет в лицевую часть зданий так, что они превращаются в волшебные замки, глядеть не наглядеться, малая игра светом стала составной частью большой игры капиталами, демократией и свободой слова.

Моя бешеная бессонница утешалась теплым золотом, лившимся в окна снаружи, раздражалась им и не находила себе места, ворочалась в жарких простынях, доставаемая лучами на левом боку непосредственно, на правом — отраженно в зеркалах шкафа-купе. Кресты, изготовленные из света, лежали на полу, на одеяле, на подушке, я была распята ими. Бессилие, внезапный всплеск храбрости и тоска мешались, перемежаясь. Мама говорила: не твое дело, не суйся не в свое дело. В детстве слушалась. Выросла и позабыла слушаться. Диалектика по Гегелю: отрицание отрицания. Он вышел на улицу, на него напали, хотели отнять портфель, может, нацелились на деньги, или, в самом деле, на записки, что он там записывал такого, что необходимо за ним охотиться, отчего они под видом уличных бандитов вышли на охоту, охотники и жертва, на жертву он не тянет, может, он и эту ситуацию перевернул, перекинул, а то и выдумал, чтобы увлечь, кого, меня, или отвлечь, от чего, от чего-то, икру на правой ноге свело, человек свирепо оборонялся, не пуская к себе, меняя маски, сочиняя прошлое, зачем, да какая разница, зачем, он художник, незаурядный художник, и как всякий художник, да всякий человек, имеет право на личную жизнь, сердце заболело на левой стороне лежать, трогать мертвого льва, они написали, я — и льва, а кто я, седьмая вода на киселе, эпизодическое лицо, щепка в реке истории, пить захотелось, и тут же наоборот, просто возникли два старика, выжившие из ума, как считает Люсичка, бедные старики запечатали в бедные конверты свою бедную правду и послали по адресу, а я распечатала, и с той минуты, как распечатала, попала в западню, в западню бедной правды, и таким образом лишилась богатства выбора, и что делать мне с этой правдой в сравнении с другой, с напечатанным военным билетом, пускай не самим, а выдержками из него, и значит, заколдованный круг, и значит, я не могу выскокить из него, я обречена заниматься этим, меня тащит туда, куда я не хочу, и нет выхода, только застрелиться, скомканые простыни в холодных крестах света обдают жаром, а тут еще Толян со своим обещанием суицида.

Московских окон негасимый свет ухнул в прошлое. В настоящем свет не отсюда туда, а оттуда сюда бил в глаза бессоннице, бульдожьей хваткой державшей за горло. Межеумочное состояние обессиливало. Я жевала пачками валидол, высасывала пузырьками пион уклоняющийся, я хотела уснуть и видеть сны, а сны не давались.

38

Со мной вознамерился перестать здороваться искусствовед Оральченко. С еле сдерживаемым благородством он информировал меня о том по телефону, предварив долгим солидным обоснованием, хотя мог ограничиться итоговым заключением: нельзя было печатать материал, на который не получено разрешения. Я согласилась: наверное, вы правы. Писатель Онанов, сам воевавший, задумчиво признал, что вопросов в этом сюжете больше, чем ответов, но это не отменяет главного вопроса, зачем понадобилось обнародовать письма. Я пробормотала что-то насчет правды, он перебил: а вы уверены, что ваша правда нужна, и не потому, что кругом лжецы, а потому, что человека нет, и все по сравнению с этим — nihil, ничто. Я согласилась и с ним: вы правы, наверное. Я чувствовала всех правыми, а себя виновной. Не новость. Позвонила бывшая секретарша из приемной *Литерной*: хочу предупредить, поберегитесь Люсички, он повсюду ходит и говорит, что вы обо всем еще пожалеете. За ней прорезался Санек, по прозвищу Опер: я слышал, тебя будут судить, вдова подает жалобу, если у тебя есть хороший адвокат, подготовься. Хорошего адвоката у меня не было. Когда-то пожарник, а затем поэт, Кронид Осмин звучал как пожарный набат: какой суд, какой адвокат, тебя никто не станет судить, тебе даже угрожать не станут, придут и убьют, и все, и писец, поверь мне, я прошел тюрьму, я знаю, о чем говорю, это всегда было, но в узких кругах, а сейчас в широких, ты что, малышка, ты в какой стране живешь, уйди, уезжай, скройся, хоть на время, хочешь, поживи у меня в

Снегирах, там тебя не найдут. Я спрашивала: да что за страсти, Кронид, кто будет меня убивать, почему им надо убивать меня? Он не слушал, ругался, что я его не слушаю. Все хотели добра мне и все подливали масла в огонь. Измученная недосыпом, с ударными в голове и сердце, я места себе не находила. В серии событий заключалось что-то иррациональное. И никому не расскажешь. Начинала — в глазах темнело, не хватало дыхания. Даже наедине с собой, перебирая эпизоды, пытаюсь выстроить хоть какую-то стратегию — теряла пульс. Словно кто зомбировал.

Я не хотела никакой правды.

Всюду был тупик.

39

На этот раз телефонный аппарат транслировал незнакомый низкий, слегка хриплый голос курильщицы:

— Меня зовут Лика Огина, я режиссер-документалист, работаю для ведущего канала телевидения, возможно, вы видели мои картины — о лесных братьях, о бульдозерной выставке, об арабских женщинах, меня вам может рекомендовать Ондурей, я прочитала все, что вы написали об Окоемове, я хотела бы снять фильм и вас в фильме, вы не возражаете?

— Сколько вам лет?

Не знаю, почему я задала этот вопрос. С тем же успехом могла поинтересоваться, брюнетка она или шатенка.

— Тридцать восемь.

Мне понравилось, что ей тридцать восемь и что цифра прозвучала сразу и без малейшего кокетства. Кажется, с моей стороны это был тест.

— А вы знакомы с коллективной отповедью мне в *Литерной*?

— Нет, а что там?

— Я же говорю, коллективная отповедь. Ознакомьтесь, не исключено, что у вас отпадет надобность во мне.

— Ладно, дайте два дня.

— Берите.

— Но вы согласитесь?

— Если вы согласитесь.

— А если я соглашусь?

— Тогда вы дадите мне два дня.

Мы попрощались и положили трубки одновременно. Я сейчас же набрала номер рационального, социального, неортодоксального Ондурея:

— Вы знаете Лику Огину?

— Документалистку? Да. Мы печатали в журнале ее и о ней. Хорошая девочка.

— С ней можно иметь дело?

— В каком смысле?

— В прямом. На телевидении не так много людей, которые, если что, не предадут тебя, вы знаете это лучше меня. Ей можно доверять?

Ондурей засмеялся:

— Я не знаю, могу ли я доверять себе, а вы спрашиваете о ком-то. Наверное.

Полагаю, что да.

— Спасибо, — поблагодарила я.

Я первый раз проверяла человека. Что-то достало. Голос Лики Огиной мне понравился. Мужественный и юношеский.

Мы встретились через четыре дня. Я позвала ее к себе домой. Мой пес, английская ветвь американского стаффорда, неукоснительно защищающий отечественные рубежи от любого вторжения, обляял ее, как водится, после чего улегся на диване между нами, положив голову ей на колени.

— У меня такс, он учуял запах.

Лика Огина была ладно скроена и крепко сшита, серьезна, решительна и выкрашена полосами от апельсинового до зеленого. Я сделала вид, что торчащие разноцветные вихры для меня в порядке вещей. Она говорила:

— Я ознакомилась. Если вы не возражаете, сделаем синхрон с кем-то из группы товарищей, подписавших письмо, чтобы лоб в лоб, чем круче, тем лучше, разве нет?

— Разве да. В принципе. Но прежде хорошо бы разобраться, чью сторону вы собираетесь занять.

— Вашу. Я так предполагаю. И предполагала. Потому что песнь об Окоемове для меня не с вас началась. Вы знаете, что о нем делали фильм, а он потребовал его смыть, и его смыли, как дерьмо в унитазе, знаете?

— Нет.

— А я к тому же знаю, что оператор, ушкуйник, припрятал часть материала, когда все изъяли по требованию Окоемова, и он дал слово показать мне все что есть, и не только показать, а рассказать в кадре про весь скандал, ваш Окоемов — та еще штука, я и клюнула на ваши публикации, потому что никто до вас не осмеливался тронуть его, как он того стоит.

— А как он того стоит?

— А мы не знаем. Мы узнаем по ходу фильма.

— А что он мертв и не может ответить, вас не смущает?

— А вас?

— Если удастся пройти по острию лезвия и остаться честными перед ним и перед собой — нет.

Нелегко мне далось это нет.

— Мне понравился ваш тон, что вы не обличаете, а что-то другое, что я намерена сохранить в картине.

— Попробуйте.

— А с Василисой вы встречались?

— Нет. Однажды позвонила, но телефон молчал.

— Вы не возражаете, если я предложу ей также сняться в фильме?

— Ее фамилии нет среди подписавших письмо.

— Это ничего не значит. Она его инициировала. Уверю вас.

— Я спрашивала о вас Ондурея, вы не в претензии?

— Я сама дала наводку. А что он сказал?

— Что не может доверять себе. Но вам может. Кажется.

Я не хотела ничего скрывать от нее. Я объяснила, почему должна быть уверена в партнерстве, если пойду на него.

— А вы не решили?

— Я решила, что решу, увидев вас не по телефону.

— Увидели, и что?

Она была послана мне ангелами, а я, все еще не догадываясь об этом, колебалась, вступить с ней в союз или отказаться.

40

Вещи подают нам голоса. Предметы подают голоса. Природа подает знаки. Люди подают знаки. Я говорю не о физических голосах и знаках, а о метафизических. Неосведомленные курьеры сами не знают, какую весть несут. Но и те, кого осведомляют, не в курсе дела. Только очень внимательные или воспитанные особым образом, чаще всего религиозным, поймут меня. Я писала и встала. Я была в совершенном затруднении, куда выводить написанное, и психовала. Вошел муж со словами: смотри, как интересно. Я подумала, он сбрендил, и так и выразилась: ты что, сбрендил, человек работает, у него выходит какая-то лажа, а ты со своей ерундой, тебе, видишь, интересно. Муж соорудил гримасу и ушел. Эта его манера гримасничать — замечательная, если вдуматься, не вступать же с психованной женой врукопашную, — сейчас до крайности раздражила меня. Предпочтительнее было прерваться, встать из-за стола, устала, нервы никуда, явится потом, само, когда ему нужно. Азарт неутолим. Желание преодолеть то, что не преодолевается, зашкаливает. Усилие, опять усилие. Никчемное, ненужное, надрывное. Муж снова заходит в комнату: ну взгляни, как забавно. Еще слово — и я разорву его в клочья. Он — невозмутимо: хорошо, кладу на стол, посмотришь, когда освободишься. Подавив в себе зверский инстинкт, я оставляю его в живых и продолжаю мучительный поиск того, чего не могу обрести. От безвыходности бросаю взгляд на страничку, вырванную из гламурного журнала, что он там нашел, очередную дрянь, разумеется. Читаю подчеркнутые строчки: богородица — девка, на жаргоне воров, специализирующихся на иконах.

Испускаю вопль. Муж в панике: что случилось. Случилось, случилось, ты сам не знаешь, что ты мне принес. Вещь обрела выход. И название просверком — *Философ и девка*.

Замереть и внимать, не пропускать сигналов обучал меня тот самый Обласов, открыватель ячей времени. Едва не упустила. Чудесное в том, что нам без усилий дается то, что мы ищем, прилагая невероятные усилия. Но только если мы... Не знаю, что мы. Нет, пожалуй, знаю, но не скажу, не могу написать буквами.

Разноцветная Лица, с упругим молодым, как крепкое румяное яблоко, лицом, появилась, потому что если мы. Но, может, я хвастаю, прости, Господи.

41

Я писала это, когда в газете появилась заметка, прочла и забыла. Вспомнила, пересказывая мужу вечером. Чисто факт, как говорит Одоевская. Утром дошло, что торчит, как кость в горле.

«...На фуршете в мэрии немецкой столицы классик казался замкнутым, угрюмым и даже подавленным. На расспросы, уклоняясь от конкретики, сообщил только, что все усилия тратит на автобиографическую книгу *Чистка лука*.

— Почему такое название? — возбудился корреспондент.

— Потому что вынужденный труд без слез не обходится, — мрачно усмехнулся классик».

Значит, был у них в Берлине какой-то фуршет в то время, как автор работал над книгой. Книгу дописал, и вот презентация.

«Но теперь эти скрытые от мира слезы сделались явными. Представляя новую книгу, писатель открыл одну из самых мучительных и больших тайн своей юности. Оказывается, в завершающий год Второй мировой он не был заряжающим зенитного орудия, как утверждалось ранее. С пятнадцати лет подросток, фанатично преданный идеям национал-социализма, стремился попасть в элиту гитлеровских вооруженных сил — СС. Семнадцатилетнего парня записали в десятый дивизион танковой дивизии «Фрундсберг».

Он не был заряжающим зенитного орудия, как утверждалось ранее.

Член международного ПЕН-центра, последовательный и бескомпромиссный защитник прав человека, нобелиат и искренний друг нашей демократической общности, начинал, стало быть, с охранных отрядов СС, которые по приговору Нюрнбергского международного трибунала были признаны виновными в преступлениях против человечества.

Он придумал себе биографию.

Он написал книгу, чтобы покаяться.

О!

И вот что я прочла в последнем интервью этого человека по имени Гюнтер Ограсс: «Умалчивание не то, что опаснее, просто оно не поможет. Если эти темы вытеснить из сознания, это не будет означать, что их нет вовсе. Например, мне кажется, что для России было бы важно, если бы ваш президент встретился с журналистами, провел пресс-конференцию или, например, написал книгу о том, как он служил в КГБ, о том, чему он был свидетелем и что он переживал на этапе заката СССР. Такая открытость была бы полезна России».

42

Мужа в свои проблемы я не втягивала. Прошли времена, когда хрупкая женственность искала прислониться к сильной мужественности. Если не удавалось — впадала в транс, вплоть до сильнейшего. Ах, сладкие были времена. Ах, мучительные времена. Впадение в страдальчество во имя получения утешения — способ длить остроту чувств, чего не знала, просто впадала, забыв себя. Ученые вывели, что страстями заведует нейротрофный белок, он же фактор роста нервов (ФРН). Концентрацию его в крови выявляет медицинский анализ. Уровень страсти падает — падает концентрация. Я не желала, чтобы они падали, белок и страсть, я зависела от этого белка как от наркотика и оттого устраивала себе — и милому, конечно, — перфор-

мансы, хотя и слова такого мы в те поры не употребляли. Сил было много. Исчезали мгновенно и мгновенно возрождались. Жизнь излечила от ненасильственной наркомании. Из экономии средств приходилось полагаться на себя и разборки устраивать себе одной, не травмируя мужа. Вместе нам хватало Толяна.

Вызываем его мать, рассудила я, пусть приедет и занимается им, вообрази, если кончится трупом, что мы будем делать. В разговорах мы редко доводили до конца наши мысли, обычно без труда читаемые, нужды не было доводить. Выговоренное вслух, о чем муж и без того знал, свидетельствовало, что ситуация вот-вот взорвется. У Толяна телефон матери узнать нельзя, он не брал трубку, брал Митя, докладывал, что Толян как овощ, что с ним происходит, непонятно, врач вроде прописал таблетки от руки, по штуке в день, но Митя нашел упаковку, в ней не хватает двадцати таблеток, а прошло всего три дня. Он живой, напрягалась я. Пока живой, докладывал Митя дальше, но никакой, прямо сказать, очень и очень никакой. Мы боялись, что ужасное произойдет со дня на день, и противостоять этому нам не под силу. Последней соломинкой маячила Толина мать. Я кинулась искать ее через Милу. Мила сумрачно поведала, что сама звонила той, поскольку Толян прислал эсэмэску, что все кончено и он умирает, Мила сообщила матери о семейных новостях в общих чертах, чтобы не пугать, а то, не дай бог, с ней что, а та отмахнулась, пока не выкопает картошку, не приедет, приедет, как выкопает. Какая картошка, какая картошка, заорала я, звони от моего имени и лепи правду-матку как есть, открытым текстом, чтобы выезжала немедленно. Через Милу мы узнали время приезда, номер поезда и номер вагона, Митю, который как раз в этом месяце поменял *газель* на *волгу*, отрядили встречать, наказав позвонить сразу, едва встретит, муж ушел на работу, я дома не отходила от телефона, прошел час, другой, третий, никто не звонил, Митина мобила бесчувственно повторяла, что абонент в недосыгаемости. У меня начали выпадать волосы. Я поняла, что Митя попал в аварию, другой вариант исключался, неясно лишь, до прихода поезда или после, дурная бабка либо мечется по вокзалу, либо в реанимации с Митей, либо непосредственно в морге. Я позвонила девочкам со старой работы, бывшим на связи со службами, куда поступали сведения об авариях и катастрофах. Черная *волга*, без номеров, не успел получить, Курский вокзал, туда или оттуда, направление шоссе Энтузиастов, энтузиастов нет, шоссе пока есть, извините за остроумие некстати, да, хорошо, перезвоню через пару часиков. Волосы падали по-прежнему. Дневной свет понемногу убывал. Присоединение к Толиному трупу материна совместно с Митиным обещало нечто вроде *Апофеоза войны* Верещагина с горой черепов. Я сделала километров пятнадцать по комнате. Моя собачка беспокоилась и рычала. Что-то чувствовала. Через пару часов моя тряпичная рука безвольно поползла к телефонному аппарату, и в эту самую секунду раздался звонок. Митя в трубке доложил: ну вот мы приехали, Толян пока жив, мать рыдает. Где вы были, почему ты отключил мобильник, взяв себя в руки, вежливо осведомилась я. Я не отключал, сказал Митя, деньги кончились, мы не сразу попали на вашу дачу, потому что заехали по дороге получить номера, а там очередь, проторчали до вечера. Голос у него был усталый, но довольный. Спасибо, Митя. Волосы обратно не приклеишь.

Ночь мы предоставили долгожданному свиданию матери с недосамоубившимся сыном, а на дачу отправились назавтра. Нас встретила зареванная, с бурными пятнами на лице, женщина, кажется, моложе меня годами, но старше морщинами. Она собиралась броситься мне на шею, я не была готова к такому выражению чувств и протянула руку. Она оробела и пожалала ее двумя. Я спросила: как он. Она скривила лицо, собираясь заплакать, но остановилась, выправила мимику и рассказала, что хотя бы побрился, как узнал о вашем приезде, а то борода росла, словно у покойника, такое пугало, что не приведи Господь. Рассердился, что вы приехали, спросила я. Какой там, у него и силы сердиться пропали, пожаловалась женщина, его узнать нельзя, нету мужика, был и кончился, все равно, говорит, жить не буду, плакали сидели с ним целую ночь, на фото, где оба сняты, себя порвал, а ее оставил. Я с ним поговорю, решилась я, я поговорю. Поговорите, поговорите, обрадовалась она, будто ожидая от этого разговора дива дивного. Если честно, и я ожидала того же, потому что то, что я намеревалась сказать, было последним аргументом, другого не просматривалось. Мне было жаль его донельзя, но, возможно, я обманывалась, и жаль мне было себя. Поужинаете с нами, спросила женщина, я привезла сало, блинцы пожарила, баклажаны приготовила, накрою и позову вас, а вы поговорите с ним после ужина.

Она ушла в дом, мы переоделись с дороги, я бродила по саду, обдумывая тезисы будущей речи. В небе кружила, громко галдя, воронья стая. Я подняла голову. Воздух темнел, показалось, не от недостатка уходящего света, а от росчерков вороньих крыльев. Десятки птиц носились, как сумасшедшие, вдруг разом, как по команде, садясь на верхушки деревьев, смолкая, ворча что-то остаточное почти про себя, после чего кто-нибудь один выступал с очередной бранью, заводя волюнку по новой, ему — или ей — раздраженно вторила компания, и опять дикий гвалт заполнял поднебесье. Собрание жильцов, съезд партии, рынок — охлократия, бюрократия или демократия в птичьем исполнении. Одно перо спланировало сверху вниз. Весточка из небесной канцелярии. Мои тезисы атомарно расщеплялись в сознании, я не могла сосредоточиться.

То, что оставалось от Толяна, сидело, сгорбившись за столом, ковыряло вилкой в тарелке и ни на кого не глядело. Оно умирало, это было очевидно. Наглotalось ли вдосталь таблеток, так что химия убила кровь, мозг и выжгла внутренности, или простое нежелание жить заклинило, оно было не жилец. Сочные баклажаны сухо драли горло, блинцы комом вставали в пищевод. Пойдем поговорим, Толя, отодвинула я тарелку, иди за мной. Он покорно прошествовал следом, как осужденный на казнь. Мы сели на веранде, я сказала: Толя, я отправляю тебя на родину, уедешь с матерью завтра или послезавтра, билеты я куплю, здесь ты жить дальше не можешь, здесь жил мужчина, которому я доверяла, а теперь передо мной пацан, которому я ни на грош не верю, если решил довести себя до смерти, доводи в другом месте, не у нас на даче, я уже нахлебалась и не хочу дальше хлебать, представь, что сюда приезжает милиция или прокуратура, мне это нужно, мне это не нужно, я только не придумала, что делать с Милордом, но он так и так погибнет, потому что ты его предал.

Толян оторвал свинцовый взгляд от земли: я не поеду на родину, я хочу быть с вами, я возьму себя в руки, я обещаю. Ты решительно обещаешь, не веря своим ушам, осторожно переспросила я. Обещаю, мотнул он забубенной головой, вот увидите. Ну и хорошо, похвалила я, ну и умница, иди и скажи маме, что мы обо всем договорились.

Я ни на грош не поверила ему.

43

Моя обнимающая мир любовь образовалась вдруг, почти случайно. Ну, не вдруг — растянулась на дни, недели и месяцы, а может, годы, не помню, но как благодать. Выяснилось, когда переключаешь себя с себя на другого, на других — а переключилось вот как раз незаметно, само собой, правда, после большого несчастья и большого уныния, — что-то в мире изменится. Иными словами, с изменением твоего месторасположения в мире образуется иное мировосприятие. Начинается с простейшего: научиться любить себя. Не как принц Нарцисс, а, оставив идеализм и максимализм, отстав от себя, примирившись с тем, что есть реальность и что есть ты в этой реальности, переменить вектор помыслов. Идеализм и максимализм — жесткие вещи. В юности без них нельзя. Они формуют запросы и укрепляют дух. Они как леса возводимой постройки. Возвел — освободись за дальнейшей ненадобностью. Не успел — затвердеют, и ты как в панцире, они жестки, и ты жесток, и тебе и с тобой жестко. Гибкое живет и дает жизнь, жесткое губит и отмирает, что-то в этом роде есть у Толстого. Умница умницей, а на днях вдруг обвал и нестерпимое мученье, как встарь: нету тверди, почва того и гляди уйдет из-под ног, прежняя черная дыра и прежняя воронка, далее по схеме. Стоит дать слабину — и покатилося, эх, яблочко, куда котисься, ко мне в рот попадешь, не воротисься. Забытая, ядовитая, гремучая, колючая тоска. Собрала волю в кулак, тумблером каким-то щелкнула, перещелкнула, включилась и переключилась. Туда, где живу и живут другие, где правильно, а не неправильно, где возможность жить, а там невозможность.

В этот раз вышло — в другой не выйдет.

Вот бы вступить в контакт с Василисой прекрасной. Сесть рядком да поговорить ладком. Расспросить, даже не о том, что было с ним на войне, если было, а о том, что в миру, какая тайна, почему ничего нигде о последних работах, почему такая зона молчания, ведь есть какие-никакие присные искусствоведы, не могут не быть, а и они молчат, если только им нет доступа к тайне, он не велел. Хорошо бы, чтобы мои вопросы не были болезненны и не были бестактны, чтобы в правильных пропорциях

близость и дистанция, чтобы не отдавали высокомерием и не источали излишней сладости, чтобы точны и правильны. Я перекачивала их как орехи во рту, позабыв, что реально никакие вопросы невозможны, потому что точка бифуркации пройдена, я переступила черту. И не в тот момент, когда напечатала письма двух стариков, а когда распечатала их.

Преступивший черту — преступник, хоть по Далю, хоть по кому.

44

Не говоря мужу, я говорила другу. Санек по прозвищу Опер был не столько жилеткой, сколько лакмусом. Я проверяла на нем свои тупики и тоннели. Он был беспривязный. Его привязанность ко мне ни на чем не основывалась. Как и моя к нему. Он мог спокойно сказать мне: Оча, — он звал меня этим странным именем, — Оча, мой тебе совет, брось все, уезжай проветришь, на дачу, в Италию, в Пушкинские горы, поедем со мной в Пушкинские горы, я же вижу, как ты маешься, перестань маяться и забудь, и не возвращайся к этой теме, иначе заболеешь. Поедем, поедем в Пушкинские горы, восклицала я с горячечным блеском в глазах, изнутри ощущая этот блеск, потому что и впрямь чувствовала, что заболеваю, я тыщу лет не была в Пушкинских горах, там я наверняка обрету душевный покой. Санек исчезал на неделю или две, а когда появлялся, выяснялось, что ездил в Пушкинские горы с женой, приятелем и его девушкой. Я не претендовала на него без жены, я просилась к ним с женой в пару с мужем, но было поздно. Вернувшись из Пушкинских гор, он отпаивал меня кофе с терамису в какой-нибудь уютной кафешке в центре города, недалеко от своей службы, и, перебирая вариации наших мыслей и наших поступков, мы оба находили их едва ли не безупречными и укреплялись в нашей дружбе, сами знаете, как это бывает, когда не укор, а поддержка и ласка.

Мы не разговаривали года три, после того, как он обложил меня по телефону матом за мою политическую позицию, которая полярно разошлась с его политической позицией. Вопрос касался Ельцина и Хасбулатова, мы очутились по разные стороны баррикад, как принято говорить у нас, поголовно превратившихся — перекинувшихся — в вояк. Мне был противен Хасбулатов, ему — Ельцин. Я ахнула. Не то меня оскорбило, что мы по-разному думали, после многолетнего армейского единения это было естественно, а то, что с бухты-барахты и натурально злобно. Может, у него болел зуб или он проиграл приятелю в преферанс, а на мне отыгрался, не знаю. Забудь мой номер и никогда не звони, выговорила я единственное, что могла выговорить, и положила трубку. Мы сто раз могли встретиться, поскольку сто раз до этого встречались в разных компаниях. Как отрезало. Судьба взялась за дело лично и зорко следила за нашими передвижениями. Я забыла о нем, забыла, как он выглядит и как его зовут, пока однажды, через три года, он внезапно не вырос передо мной на какой-то тусовке с вопросом: Оча, может, хватит дуться? Я не дулась, проговорила я. А что, спросил он. Ничего, ответила я, ничего, пусто-пусто, как в домино. И в ту же секунду доминошные костяшки все, как одна, повалились, и я поняла, как соскучилась по нему. Трех лет хватило. Вокруг образовалось слишком много уходов туда, откуда не возвращаются, чтобы не обрадоваться возвращению.

Санек тоже был не лыком шит, зам главного другой газеты — *Сплошные вести*. Он часто учил меня жизни, добро, что моложе. Не должность — объем открытых ему сведений располагал к поучениям. Жизнь, на которую он меня натаскивал, вызывала тошнотно-рвотный рефлекс. Он разбирал нравы верхушки, а мне жить не хотелось. Как пролезал к вершине власти один из премьеров, буквально на брюхе между прочих крепких мужских ног. Как обрабатывал кого надо один из спикеров, буквально вылизывая языком до гланд с обратной стороны. Как жадно воровали одни и вторые. Телки как приманка и как оплата, кейсы с непосредственными пачками баксов, дареная недвижимость на фоне пылких государственных либо истовых либеральных речей с честным взором для нас, дураков, расцветивали китч всеми цветами радуги. Какие Ельцин и Хасбулатов — розовый сироп по сравнению с настоящей зеленой поганкой. Не пересказываю деталей, чтобы еще и с этой стороны не грозил суд. За клевету, она же экстремизм, по новому, принятому ими для себя закону. Я не хочу тебя слушать, отталкивала я Саньку с его нежеланными откровениями. Не слушай, глубокомысленно произносил он, оттого, что не будешь слушать, факты не переста-

нут быть таковыми. Но если они так порочно лезут к власти, в них же испорчено все человеческое, когда они уже пролезли, с ребячьим негодованием восклицала я. Испорчено, кивал Санек. Но тогда мы, со своим человеческим, для них реально пустое место, по-прежнему лезла я в бутылку, будто рассчитывая на то, что ее выбросят в море со столь невнятным посланием внутри. Пустое, поддакивал Санек. Значит, на вершине порча, она же порок, чуть ли не слезами заливалась я. Порог или порок, переспрашивал Санек и, не дожидаясь ответа, уводил в вековые параллели: а отчего уходил в старцы Федоры Кузьмичи император Александр, отчего каялся, бил земные поклоны и терял рассудок Иван Четвертый, прозванный Грозным, отчего не спал ночами, меняя комнаты и лежанки, Сталин? Что же делать, спрашивала я, волнуясь, словно Ленин или Чернышевский. Но те спрашивали и сами выступали ответчиками. По прошествии лет все очевиднее, что неверными, если привело к тому, к чему привело. Не знаю, приканчивал Санек омлет, он ел омлеты, я — терамису. Теряя аппетит, я отодвигала деликатный кусочек. А он, с набитым ртом, умозаключал: либо это пройдет, то есть мы пройдем через это как через кризис, либо болезнь закончится летальным исходом.

И вдруг как окошко отворялось. Господи, да я же знаю, что делать, вскрикивала я, для большей выразительности стуча пальцем себе по лбу. И что, вежливо интересовался мой друг. Да все же написано, сияла я. Где, любопытствовал Санек. Да в Библии же, где, плюнь на всех, спасись сам и вокруг тебя спасутся, торжественно провозглашала я. Плюнь на всех — там не было. По букве. Было по духу. А, ну да, умиротворение в Санькином тоне соединялось с разочарованием.

План по собственному спасению был моей дорожной картой.

Оставалось нарисовать ее.

45

Мы с мужем были богаты дважды в жизни. Первый раз — на короткий срок — богатым сделался муж. Вдруг стало можно проявить инициативу, заняться, чем хочешь, плюс заработать на этом некоторое количество денег. Итальянист, не любивший советскую власть, а она за то не пускала его в страну изучения, он расцвел с перестройкой, заблестел-засиял, возобновил старые университетские связи, обрел новые, и мы полетели в Италию. Сперва полетел он один. Я была уверена, что, встретившись тет-а-тет с предметом многолетней привязанности — а олицетворением станет какая-нибудь очаровательная итальяночка, — он потеряет голову и не вернется. Он неожиданно вернулся, и у нас был повторный медовый месяц. В следующий раз он взял меня с собой, и потеряла голову я. Итальянская толпа, камни, по которым ходили герои и императоры, облупившаяся терракота зданий на фоне вечнозеленых пиний, сочетание, сводившее с ума, красочная толпа на площади Навона, чашечка кофе в кафе Греко под дагерротипом Гоголя, жившего поблизости, совершенная Пьета, от созерцания которой слезы сами собой тихо катились по щекам, это в Риме, а еще каменное кружево собора в Милане, а плащаница в Туринском соборе, а бутылочная вода венецианских каналов с мостом Риальто и голубями на площади Сан-Марко, а галерея Уффици с боттичеллевыми девушками во Флоренции, а рынок там же с трогательным медным кабаном, которого зацеловали до золотого блеска, чтобы было нам счастье. Стопорю, ибо получается рекламный проспект, а получалась жизнь, обыкновенная и необыкновенная, с недоразумениями, ссорами и примирениями. Деньги жгли руки, мы вызнали у итальянских друзей, где они покупают обувь и дубленки, потому что на их географически благословенном сапожке все имелось, а на нашей распятой медвежьей шкуре ничего не имелось, и нас отвели в *Поллини и Ринашенту*. Это теперь я осведомлена, что такое *Поллини и Ринашента*, и знаю, что заходить туда не следует, не следует заглядываться на вещи, которые вам не по карману. Приступы безудержного веселья нападают на нас при воспоминании о том, с какой наружной важностью и внутренним смятением покупали дорожные дубленки и обувь, точно нам раз плюнуть, а сами потели от смущения, и эта смесь вселенская, должно быть, с очевидностью читалась на наших физиономиях, а мы продолжали, поскольку уже попали в западню, и не было иного выхода, как пройти испытание до конца. Мы с неизменным постоянством попадаем в западню, как сказочные герои, по своему хотению, по своему умению, мы и живем, как в сказке, и желаем сказочного,

взрослые недоумки в медвежьем углу. Мы оставили в этих магазинах все, что было в кошелках, и наше богатство на этом закончилось. Мы ни о чем не жалеем, мы хохочем, возрождая в памяти короткий шик и шок как эпизод, который никогда больше не повторился.

Второй раз разбогатела я. Мои телевизионные деньги были потрачены с умом — на ремонт дачи. Ничего никуда не пропало, все при нас: дача, дубленки и обувь. Дубленки и обувь, состарившись, лежат на антресолях, старится дача, старимся мы. Если б мы были богаты по-настоящему, я выкупила бы у прокурорской дочери Василисы прекрасные последние работы ее мужа. За какие угодно деньги. Не знаю, утешило бы ее это. Может, и утешило.

Я ловлю себя на том, что не помню, как она выглядела. Как-то же она выглядела, когда Окоемов знакомил нас. Помню, что летала на метле. Красивая. Условно. Кого условились считать красивыми. То ли с косой вокруг головы, то ли с косой в руке.

Внезапный импульс: сажусь писать ей письмо. Зависаю над белым листом бумаги, стискиваю зубы, ищу нужные слова, не находя, комкаю лист и отбрасываю прочь. Нужда в нем отпадает так же внезапно, как возникла, и смятым белым комком катится между чьих-то рук и ног, между зеленым, болотным, коричневым, оранжевым, черным, пеплом посыпанным, что было разверсткой человека во всех направлениях, не как у Леонардо, а как у Окоемова, когда человек в один и тот же момент целое и раздробленное, единое и в кусках, разъятое до безобразия и пропащее.

46

Как покатился невозможный смятый комок ненаписанного письма, так покатились невозможные события, какими оказались чреватые другие — написанные и разосланные — письма.

Разноцветная Лика дважды в неделю информировала: директор группы отправила запрос в Центральный архив Минобороны — там сведения о военных формированиях; связались с Архивной службой Вооруженных сил Российской Федерации — там картотеки награжденных; с Российским государственным военным архивом — картотеки личного состава частей НКВД-МВД, если вдруг он служил в этих частях; собираемся обратиться в Архив ФСБ — причина та же; отослали письмо в Военно-медицинский музей Минобороны в Питер — а туда-то зачем, а в этом музее находится Архив военно-медицинских документов, в нем собраны сведения о госпитализированных во время войны; к тому же ждем сообщения из Центра розыска и информации Общества Красного Креста, где могут быть списки эвакуированных из Москвы.

Неведомый мне директор группы работала ритмично, как машина, моя голова кружилась от названий учреждений, официальный вес давил на череп, бюрократическое всезнайство и всеисилие грозило поглотить бедное частное лицо. Воображение живо рисовало: я — и они, кто, не знаю, они; я, отдельная, спрятанная от нескромных взоров, природная скорее, чем социальная, реально занесена в те же ячейки, что все, посчитана, расписана, со своим светлым и темным прошлым, со своими подвигами и предосудительным поведением, и они, что захотят, то и могут выяснить и выявить. Дошло: если кто-то пытается выведать чужую тайну, должен быть готов к тому, что его тайну выведает другие. Какую? Любую. Может быть, такую, о какой и не подозревал, упрятана настолько глубоко, что ее как бы и нет, а они разроют, разыщут, и все узнают, и человек узнает и не перенесет. Человек — я. Я рассуждала о себе в третьем лице, чтобы отстраниться, и понимала, что по справедливости должна вынести равный удар, если собралась нанести свой. Оскорбительное коллективное письмо — не худшее из всего, чем беременно будущее. На вопрос: а вы откуда? — мне больше не отозваться: из дома, из воды или из воздуха. Из учреждения. Учреждение правило бал. Учреждающее одолело домашнее, водяное, воздушное, что определяло прежде тихую и прозрачную или, напротив, непрозрачную и смятенную, но отдельную, неформализованную жизнь.

Я могла бы остановить этот бурный поток справочной деятельности, грозившей смести не чьи-то останки — мои собственные.

Я не могла.

Не я управляла событиями. События управляли мной. Как всегда.

Взять для примера вчерашний день на рынке. Закупив продукты, шла между

рядами тряпичных лавок, под тридцать Цельсия, это осенью-то, хотелось освежающего, легкого, белого, что-то в этом роде проблеснуло, висело высоко, обратилась к продавщице с просьбой достать, чтобы рассмотреть поближе. Продавщица, дебелия тетка лет пятидесяти, разомлевшая от свалившейся внезапно жары, дремавшая в глубине лавки, послала неодобрительный взор. Что-то в ней, несмотря на неодобрение, проглядывало симпатичное, отчего я вступила с ней в неформальные отношения, спросив сочувственно: не хочется встать? Жидким голосом тетка пролила: да уж, показать просют, а не покупают. Свежее, легкое, белое было блузкой. Сегодня, когда я ее надела, отправившись в аптеку, аптекарь, от которого трудно ожидать конфекционного внимания, оценил: какой она у вас морозной свежести. Покупать ее я не собиралась. Но уже вовлеклась во что-то, что было поверх и помимо купли-продажи, вроде бы я взялась держать перед теткой ответ за всех, кто у нее не купил, а лишь досаждал праздным любопытством, как и я. Или увидела, что в силах исправить ее хмурое настроение, и это минутное всесилие продиктовало дальнейшее. Вероятно, так оно и было. Всесилие, даже мнимое, даже на миг, диктует. Я купила блузку. Я ошиблась. Не всесилие, а зависимость. Я вынуждена была ее купить. Все начинается с первого — верного или неверного — шага. После чего события развиваются по своей логике.

Если размотать назад причинно-следственную цепочку верных и неверных действий, доходим до Адама и Евы и первородного греха. Тысячелетий мало. Но и в пределах одной жизни не хватит жизни размотать клубок. Вот откуда, должно быть, чувство вины заранее, до всего. Что ничуть не означает дальнейшей святости. Вину чувствуют, когда виноваты.

Кто о чем, а вшивый о бане:

Я испытывала одновременно вину, страх и азарт: что-то откроется нам в недрах всемогущих военно-энквэдэшн-фээсбэшных органов, в зависимость от которых мы так легкомысленно и без опаски себя поставили.

Мы.

Я была не одна. С Ликой Огиной нас было двое. А если учесть двух бесполезных и беспомощных стариков — то четверо.

Мы были группа. Мы были преступная группа, переступившая порог мифа, выстроенного для себя непознанным Окоемовым. То есть Огинским.

47

Мне — не группе, а одной мне — не хватало его живого. Я скучала по его странным разговорам, по его странным превращениям, по его спрятанным от всех картинам, скучала по нему, спрятавшемуся от всех. Я не признавалась самой себе, насколько велика моя скука.

В десять лет я пристрастилась читать *Орлеанскую деву* Жуковского. Там французская Жанна д'Арк влюбляется в английского Лионеля, своего идеологического и военного противника. Объяснение пристрастия: мы играем на даче в войну, и я влюблена в своего военного и идеологического противника. Расклад сил: мы с братом — против него, красавца, с его двоюродным братом. Немного повоевав, мы устраивались в сарае на городских коврах, вывезенных на лето для проветривания, и отчаянно резались в преферанс. Красавец был ко мне равнодушен, несчастные влюбленные чувствуют такие вещи безошибочно. По временам я бросала на него тайные взоры и мучительно решала задачу, которая у Жанны д'Арк носила конкретный характер, а у меня абстрактный: предам ли я наши ряды ради него, если вдруг выпадет карта взаимности, или, наоборот, пожертвую своей любовью ради общего дела.

Детская программа часто прорастает во взрослую.

— С вами говорит Огинский. Наконец-то я раздобыл номер вашего телефона.

Я была близка к тому, чтобы лишиться рассудка.

— Василий Иванович?!! Вы где?!!

— Я не Василий, я Валерий. Его брат. У нас похожие голоса.

У них был один голос.

— Разве у него был брат?!

— Был и есть. Сводный. У нас один отец и разные матери.

— Боже мой!!

— Послушайте, дорогая. Я скажу вам одной. При том что вы не можете ни воспользоваться этим печатно, ни сослаться на меня. Мне прислали газету с коллективным письмом против вас, оно несправедливое, почему я и хочу кое-что вам изложить.

Я сидела, онемев. Изложение длилось почти час. Почти час я слушала прежний голос Окоемова с того света. Он утолял мою скуку.

Абонент излагал, что родился в законной семье Ивана Ильича Огинского. А его сводный брат — в незаконной. У Ивана Ильича, уважаемого ученого-химика, была жена и была любовница. Сыновья родились с разницей в тринадцать лет, законный после незаконного. Благородный человек, потомок интеллигентных разночинцев и сам такой же, Иван Ильич признал мальчика, рожденного вне брака, и дал ему свою фамилию. Красавица Надина, дочь виленского учителя, владевшая немецким, игравшая на фортепьяно и певшая, зацепила сердце университетского деятеля на вечеринке в большевистских верхах, то ли у Бухарина, то ли у Троцкого, то ли у Луначарского. Это была не первая влюбленность Ивана Ильича, но первая, в результате которой родился ребенок. Это ошеломило ученого настолько, что он сознался во всем жене Анне, не имевшей детей, и ожидал решения участи. Жена Анна впала в острую депрессию, после чего всякие толки и дебаты между ними потеряли значение. Участь Ивана Ильича была решена им самим и добровольно. Борьба между долгом и чувством завершилась победой долга. Он провидел, что отныне так будет и впредь. Он справился с собой. С дальнейшими интрижками было покончено раз и навсегда. Жена Анна проявила незаурядную мудрость, посоветовав мужу признать ребенка. Она звала мальчика в гости и кормила конфетами, когда тот подрос. В русских интеллигентных и самоотверженных семьях такое бывало. В еврейских тоже. Все последующие годы Иван Ильич упорно лечил жену от бесплодия, употребив связи в тех же большевистских кругах и даже вывозя ее на воды в ту же Германию. Лечение дало результат. Появившийся на свет через тринадцать лет Валя никогда не встречался с Васей. Но он помнит письмо матери, которое увидел незапечатанным на столе и отчего-то прочел: «Валя начинает походить на Васю, и это меня не может не беспокоить, тем более что голоса начинаются одинаковые». Отец оказал значительное влияние на Валерия, включая выбор профессии: сын так же, как отец, стал химиком. Главное, что Валерий получил от отца, — общее развитие, круг чтения, привязанность к философии, музыке и изобразительным искусствам. То же получил и Вася, которого не только звали в гости, но и в гости к которому ходил отец, с ведома и разрешения жены Анны. Продолжались ли при этом отношения с любовницей Надиной, Валерий не знает, но полагает, что нет. Наиболее серьезную роль в Васиной судьбе сыграл дядя Павел Ильич, фигура покрупнее и элемент побуржуазнее, нежели его брат Иван Ильич. Павел начинал как большевик, участник революции 1905 года, близкий к Ленину. На каторге, куда попал, сидел вместе с меньшевиками и был ими распропагандирован, по тогдашней терминологии. Иначе говоря, позволил себе слушать недозволенные речи, как в сказках Шехерезады. Ленин писал ему записки. В одной из них, сообразив, что адресат поддавался дурному влиянию, указал: почаще плюйте на меньшевиков. Однако было поздно. Апрельские тезисы будущего вождя Павел Ильич встретил в штывы. В первом издании БСЭ 1928 года о П.И.Огинском говорится: ярый враг советского строя, организатор похода Краснова на Петроград в ноябре 1917 года. Разгром отрядов Краснова заставил его перебраться в Грузию, откуда он бежал за границу, где менял страну за страной, пока не осел в Америке. А там стал не более и не менее как советником американского президента.

— Заоблачная гордость и запредельное желание ни от кого не зависеть, а всего добиться самому заставили Василия Ивановича отказаться от прославленных родственников? — вывела я, подавленная грузом сообщаемого.

— Имейте терпение и не перебивайте, я только что подобрался к выводам, и они звучат несколько иначе, — проговорил в трубку знакомым тоном пожилой Валя-Вася. — Не гордость, а страх. Именно последняя родственная связь могла представлять для него прямую угрозу. Известный вам как архитектор перестройки, Александр Николаевич Яковлев приводит в одной из своих книг секретный документ 1923 года, из которого неоспоримо следует, что люди, имевшие родственников за границей, подлежали уничтожению. В конце 40-х активизировались репрессии против членов семей

ранее репрессированных. Василий мог принять решение поменять фамилию в связи с реальной опасностью. Но я говорю о роли дяди в судьбе племянника не только поэтому. Мне думается, что по боковой линии произошла передача таланта. Павел Ильич начинал как художник, а уж после перешел к философии искусства, сделав весомый вклад в нее и прославившись как философ.

— Значит, братьев звали Иван и Павел, — дар слова вновь вернулся ко мне.

— При рождении они получили имена Иоанн и Пинхус, но оба крестились, после чего их стали звать Иван и Павел.

— А почему в письме вашей мамы выражалось беспокойство по поводу вашего сходства со сводным братом? — вспомнила я.

— А вы не знаете?

— Нет.

— Он был психически неуравновешен. Если прямее, не совсем здоров. Моя мать боялась, что меня настигнет то же самое.

— Не настигло, надеюсь?

Услышала не сразу:

— Надеяться не запрещено.

Я помолчала. С химиками, я слыхала, такое бывает. С художниками тоже.

— А почему вы никогда не встретились?

— Видимо, ни у одного из двоих не было потребности.

Логика у него была отменная. Как у шизофреника времен моей молодости.

— А вы не хотите сняться в документальном фильме об Окоемове?

— Дорогая, вы разве не поняли, что если он отказался от нашей фамилии, от нашего рода, то с какой стати мне объявлять, что он наш? Всего лишь потому, что он сделался знаменит, а я нет? Но я Огинский, настоящий Огинский, не отказавшийся от ценимой мной, хотя и опасной фамилии, а он — отказавшийся от нее, зачем же мне унижать себя, встречая в это дело?

Последнее, что я услышала от Вали-Васи: справедливости ради, я другой такой страны не знаю, где надо так крутиться и выкручиваться, чтобы тебя не сгноили в братской могиле.

Требовалось перевести дух.

48

Или он опять *перекинулся*? Представившись на этот раз сводным братом Валерием, которого, вполне вероятно, и не существует на свете?

Всегда ли так было? Или что-то нарушилось в мировом порядке, в ходе вещей, что стали появляться люди-*перекидчики*? Или это исключительная привилегия нашего родимого болота? Читала статью эксперта о множественности психических миров. Оказывается, для сангвиника, истерика, параноика, шизофреника и какого-то ананакста нет общей фундаментальной реальности, для каждого она своя. Наиболее распространенный тип — сангвиник-циклоид, его видение мира принимается за норму. И можно говорить о нормозе, психическом типе, который господствует, не признавая других психотипов, навязывая другим свою реальность, одну из множества. Хотя это всего лишь гипотеза эксперта. А нынешние эксперты, что в науке, что в экономике, что в политике, сами могут оказаться теми же *перекидчиками*, и то, о чем они с солидностью рассуждают, — параноидальным бредом, навязываемым нам, простодушным. Любопытно, кто я, нормоз или ненормоз. Нормоз-тормоз, хорошая рифма. Какой видят меня разные участники моей жизни, близкие, далекие, случайные, неслучайные, на час и навек. Тетка на рынке, у которой была приобретена ненужная блузка морозной свежести. Писатели, авторы письма в Литерную газету, благородно вступившиеся за имя поруганного мной современника. Прокурорская дочь Василиса. Позвонивший сводный брат, если он не фантом. А раньше его сводный брат, водивший меня и других, как водит нечистая сила, а за этим бытованием нечистой силы скрывалось нечто столь грозное, что подступиться к этому, не говоря уж о том, чтобы разгадать, мне вряд ли под силу. Какой я виделась чем-то там заведующим, в очереди к которым стояла, когда славная Олицкая уступила место? А Толян? А его матери? Мужу, в конце концов? Психотипы в психованной стране как гигантской психушке, где врачи и пациенты, меняясь местами, условились о прием-

лемости лекарств и правил, которые ни за что, ни за какие коврижки не должны быть приемлемы, а мы этими коврижками набили себе рот и пузо.

Пион уклоняющийся. *Raeoniae apomale*. Латынь. Выпить.

49

— Ли́ка, мне позвонил сводный брат Василия Ивановича, Валерий Иванович.

— Он позвонил? Это я дала ему ваш телефон, я нашла его через друзей друзей, через Питер, но он не захотел со мной говорить, захотел с вами.

— А мне наврал, что раздобыл мой телефон.

— А вы не встречались с тем, что люди подвирают?

— Не вы?

— Не я.

Так мы разговаривали с Ликой. Я пересказала ей повесть сводного брата, от первого до последнего слова.

— Как бы все-таки найти способ включить это в фильм. — Я слышала, как Ли́ка закурила.

— Никак, — поморщилась я, дав ей время выпустить дым.

— Вы правы, — затаилась она по новой. — Но у меня тоже новости для вас. Я встречалась с галеристом Окичем, искусствоведом Оробьяновым и бывшим главным редактором журнала Член партии Обориным, член дружил с Окоемовым последние десять лет, я сделала синхроны со всеми. Материал клевый. Его уважают, как художника ценят, и каждый говорит, что странен и несносен нравом. Мог объявить Оробьянову буквально накануне выхода из печати своего альбома, что отзывает разрешение, без объяснения причин, и все летело к такой-то матери на воздушном катере.

— Где же раньше был?

— И они о том же.

— А ведь у него, кажется, действительно нет альбома.

— С Обориным они сошлись душевно, и Окоемов несколько раз обещал ему, что отведет в мастерскую и покажет то, чего никто не видел.

— Отвел? — Сердце мое сильно забилось.

— Нет. Всякий раз отыскивался повод, по которому экскурсию переносили, так она никогда и не состоялась.

У меня отлегло от сердца. Как будто если кто-то не попал в Окоемовскую мастерскую, а я попала, это что-то значит. Не значит. Это было единственное, что я утаила от Лики. Если не считать разные Окоемовские облики. Облики — от Лики. Показалось смешно.

— Что вы смеетесь?

— Радуюсь тому, что вы большая молодчага и успели снять синхроны.

— Небольшая. Заслуги невелики, пока не приближают к раскрытию тайны.

Ее трезвость была еще одной чертой, импонировавшей мне, и я с охотой приняла ее предложение заглянуть ближайшим вечерком в клуб на Брестской, где она показывает свое новое кино, которое канал мытарит с полгода. Мы виделись всего раз, я почему-то боялась, что не узнаю ее, и пришла заранее, чтобы оглядеться и не попасть впросак. Полутьма. Бар. Столики. За столиками народ. Один седобородый, с животом, который вываливался из полуразрушенных джинсов, и одна старая, сильно накрашенная, в маленькой вязаной красной шапочке, из-под которой торчали смоляные кудри, не исключено, что искусственные. Рядом с ними, тоже бородат и тоже с животом, но помоложе. Остальные — зелень. Две тургеневские девушки, одетые во что-то марлевое, сквозь просвечивают маленькие груди, с озабоченным видом снуют из кулис и обратно в кулисы. У обеих натертые голые пятки свекольного цвета в туфлях на каблуках без задников. Мимо прошествовала крупная особа в туго натянутых бриджах от бедер, между бриджами и майкой перекатываются булки телесного теста. Народ тянет пиво, старый с животом и старая в шапочке — желтое из рюмок, то ли коньяк, то ли виски. Обмениваются негромкими восклицаниями, машут друг другу ладошками, тихая заводь для своих. Знакомый телекритик, не тушуясь, ел полноценный обед, запивая морсом, а распротраненное мнение, что запойный пьяница. Дружески помахав мне рукой. Я помахала ему. Поев, он подсел за мой столик. Я

обрадовалась, потому что не знала, чем себя занять, поскольку не пила ни пива, ни виски и чувствовала себя не в своей тарелке.

— Вы первый раз здесь?

— Первый.

— То-то я вас не видел.

— А вы тут всегда?

— Каждый день.

— Настолько нравится?

— Настолько удобно. Я живу в двух шагах, жена от меня ушла, кормить некому, хожу сюда есть. Вы ведь, наверно, слышали, я пил, и пока пил, она со мной жила, жалела, а завязал, она ушла, и я один.

Я не знала, чем оплатить эту искренность. В полутьме легко говорились подобные вещи.

Я сказала:

— А у меня третий брак, первый муж пьяница, и я не знала, что такое любовь, второй тоже, его я любила страстно, с третьим живу двадцать лет, он может выпить и не выпить, и лучше его для меня нет человека.

— Вы хотите сказать, что у меня все впереди?

— Может быть, это я и хотела сказать.

— Я понял.

Он понял, зато я не понимала, почему у меня, обычно сдержанной, ни с того ни с сего развязался язык. Не исключено, что пришло время простоты. Мы побеседовали немного о кризисе телевидения, о кризисе власти, о кризисе свободы, обо всех кризисах, о которых беседуют люди, относящие себя к прослойке, едва сойдутся, в полутьме или полусвете, и появилась Лика. Как я могла решить, что не узнаю ее, сбитую и аппетитную, хотя отныне она не была разноцветной, а стала целиком блондинкой, при том что волосы подстрижены гораздо причудливее, чем в прошлый раз: одна половина челки короткая, другая длинная и наискось, от темечка до затылка три торчащих кустарничка, а между ними волосяные дорожки. Это же как надо поддерживать кустарник, чтобы он торчком торчал. Между короткой майкой и плотно сидевшими джинсами — просвет загорелого живота с пирсингом на пупке. Финал золотой осени позволял молодым женщинам соблюдать моду, обнажая бедра, пупки и груди. Хорошо, что мода не предписывала этого пожилым мужчинам. По обыкновению завсегдаев клуба, Лика помахала мне ладошкой, я помахала в ответ. Я рассчитывала, что она подойдет и сядет рядом, задача состояла в сближении, однако она ограничилась помахиванием и уселась чуть ли не на колени к бородачу, слава богу, тому, что помоложе. Мы не прекращали интеллигентного обмена мнениями с телекритиком, бросившим пить и оттого нелюбезным в оценках, но у нас половина интеллигентов бросила пить, понуждаемая новой жизнью зарабатывать деньги, и от нелюбезных оценок некуда деться. После полива актерского искусства, из которого ушел большой стиль, в результате чего Миша Осипов, который по таланту и обаянию мог бы занять место, какое занимал Олег Даль, сделавшись современным его аналогом, а он не сделался, будучи растиражирован в незапоминающихся сериальных ролях, — после актерского бомонда перекинулись на литературный. У нас и разговор *перекидчик*, подумала я. С уходом империи, бурно выражал свои эмоции визави, ушло время больших форм, на рынок выброшена куча барахла, мелкого по замыслу и мелочного по исполнению, и возврата к русскому роману нет и не будет. Я возразила, что есть и будет, что русский роман, пускай трансформировавшийся, не погиб и никогда не погибнет, потому что не погибнет русский язык, выражающий русскую мысль и русские образы, которые никуда не исчезнут. Ну, приведите хоть кого, снисходительно бросил визави. Не мешкая, я привела убедительных Леонида Озорина, Александра Олихова и Михаила Ошкина. Озорину сколько лет, возопил мой оппонент с таким неподдельным ужасом, что на него обернулись с соседних столиков. Разве возрастом писателя определяется качество литературы, протянула я, краснея за собственные трюизмы, какая жалкая дискриминация, скажите еще, что они не русские, а евреи. Ошкин русский, петушком напал, защищая от меня любимого мной писателя телекритик, кажется, сам иудей. Я затосковала. Зачем я сюда пришла, зачем позволила вовлечь себя в разговор-*перекидчик*, когда и Лике, пригласившей меня и обнимающейся с бородачом, я по фигу, если использовать их фразе-

ологию. Я хотела встать и тихонько покинуть заведение, но пошел фильм, и я осталась. Фильм был про любимую женщину барда, саму бардессу, если можно так выразиться, гулящую, пьющую, колющуюся и беспредельно свободную. Первые кадры — ее смерть, поминки, на которых бард безудержно плакал, и я почувствовала, что тоже плачу. Потом она была живой, курила, хохотала, играла с микрофоном, пела сипло и протяжно, а мои слезы не просыхали. Беспредельная свобода бардессы была страшной. Я знала такую свободу не понаслышке, но не видела со стороны, а тут мне поднесли зеркало, и оно запотело, потому что, в отличие от героини, я спаслась и была жива, узрев край, за которым погибель. Я не уверена, что кино было сделано так уж чересчур изобретательно. Нормально сделано. Я только удивилась, как много материала добыла Лика и какие выразительные стыки нашла. Когда кино кончилось, все зааплодировали, кто-то поднес Лике букет полевых ромашек, она раскланивалась в разные стороны серьезно, без улыбки. Я встала, помахала ей рукой и направилась к выходу. Она жестом просила обождать, пробилась вместе с букетом сквозь невеликую толпу и небрежно бросила: вам понравилось? Да, бросила я, в свою очередь. Я позвоню, пообещала Лика и вернулась к своей компании за столом. Ромашки очень шли к ее ошипанной белокурой голове. Пропасть между ними молодыми, с их привычками и нравами, и мной немолодой, с моим нравом и привычками, расширилась, в нее грозило ухнуть не одно наше предприятие, а кое-что посущественнее.

Интересно, а лысый мальчик-телекритик — нормоз или ненормоз?

50

Толина мать уезжала. Она закатила нам прощальный обед: украинский борщ на первое и тушеное мясо с картошкой на второе, пальчики оближешь. Вроде мы умели то же самое, а не то, — у нее, с земли, с огородов, взятое у матери-бабки-прабабки, неизмеримо богаче оттенками. Лицо ее пылало красными пятнами, не столько от плиты, сколько от выпланных слез. Толян был чисто выбрит, одет в свежее, глаза те же, опустевшие, точно дом, из которого ушли. Я не знала, что правильнее: продублировать ему мои условия или не дублировать. Я не была уверена, что он помнил наш с ним уговор или придал ему то же значение, что я. Если помнил — дубликат размывал значимость и включал механизм необязательности. Мать повернулась ко мне: он дал слово, что больше не наделает глупостей. И глянула на сына испытующе. Тот не поднял глаз, ни один мускул не дрогнул на его физиономии. Я выговорила как можно тверже: раз обещал, значит, не наделает, ему можно верить. У меня не было опыта общения с самоубийцами, я действовала наобум, вкладывая в свои слова силу и надеясь, что она перетечет от меня к нему и поможет ему. В конце концов, что такое любовь, как не перетекание сил, которые и длят жизнь, оздоравливая и усиливая ее.

Зарядили дожди, и сухое золото под ногами потеряло краски, почернело, превращаясь в грязь. Это превращение завораживало меня. Сегодня золото — завтра грязь. Метафора сущего, данная в простейшем осуществлении. Чудо чудное, смену сезонов, осень-зима-весна-лето, я не могла трактовать как нечто обыкновенное. Речь летнего дождя как детские секреты — на ушко, и захлеб, и с пропуском слогов, распахнуто окно, дым легкой сигареты, звук, льющийся с небес, с их заливных лугов. Одно и то же небо льет летнюю жару и утомительный дождь, безжалостно оголяющий деревья, и оно же налет морозного ветра и просыплется белым снегом, а после наколдует тепла, чтобы на голом и черном возобновилось кудрявое и зеленое. Я училась в школе, мне говорили, что земля вертится, и оттого на ней сменяются сезоны, но, во-первых, не на всей и не такие, а во-вторых, ну и что, я даже осведомлена, как дети рождаются или как крутится швейная машинка, а все равно чудо и есть чудо, как ни объясняй научно, я дорожила тем, что чую чудо как животное.

Я накинула плащ с капюшоном и стояла на крыльце, прислушиваясь к речи осеннего дождя, в нем содержалась загадка, какую не разгадать. Толина мать спустилась по лесенке вниз и встала рядом: ну вот и все, он обещал проводить до электрички. Может, вас подвезти на станцию, спросила я. Нет, пусть он проводит, пожелала женщина. Я сделала к ней шаг, и мы прижались друг к другу мокрыми от дождя лицами. Постояли безмолвно и разошлись. В эту минуту не было роднее ее,

неделю назад, сутки назад чужой, а до того совсем незнакомой. Чудны дела твои, Господи.

Приезжайте, справилась я с собой, как будет возможность, так приезжайте, поживите у нас, отдохните от вашего огорода, от вашей картошки, и Толя будет ухожен и накормлен, а то стал такой, что в фас виден, а в профиль нет. Да не могу я просто так отдышать, улыбнулась она, приеду, вашим огородом займусь. А у нас и огорода нет, улыбнулась я в ответ. Свинья грязь найдет, пообещала она.

Толян вынес ее сумку, и они побрели под большим старым зонтом, она, плотненькая, крепенькая, с кривоватыми, похожими на корни, ногами, он, исчезающий в пелене дождя. Я смотрела им вслед. Если они обернутся, он вернется живой, загадала я помимо воли и тотчас рассердилась на себя.

Они ни разу не обернулись.

51

Минули безвозвратно те времена, в которые люди могли озвучить дерзость, завернув в одежды любезности, скажем: увы, мне не удастся восполнить потерянного вами зря времени. То бишь: терпение исчерпано, пошел вон. Или, напротив: я вас люблю, хоть и бешусь. Перевода не требует, не требует, не требует, как реверберацией звучит реклама на радио *Эхо Москвы*. Наши беседы потеряли блеск девятнадцатого века; бюрократический стиль двадцатого мы сдирали с себя, как коросту, хотя Платонов сделал из него алмазную прозу; двадцать первый утвердил лагерный жаргон, а началось его победоносное шествие по городам и весям родины много раньше. Характерное деление партийных и государственных бонз: лагерь социализма и лагерь капитализма. Язык воров и алкашей, как и язык слесарей с их агрессивными половинками, прорывным образом использовала Окушевская. Мат вошел в жизнь и литературу полноправным участником обоих процессов. Женщины и девушки, наряду с писателями, запросто пользовались им наравне с тюремными сидельцами, а то и хлеще. Музыка речи Окоемова околдовывала, как и он сам. Ликин язык следовало сравнить со смесью в шейкере.

— Ну и как вам мой кинец, не отвечает требованиям демократической общестственности, полный писец, да?

Машинально отметив рифму в словах кинец и писец, спросила, в свою очередь:

— Сами как думаете?

— До вчерашнего дня думала, что кинцо в лом, а с утра вспомнила, что три дня прошло, а звонка от вас нет как нет...

— Кино хорошее, Лика, — перебила я, с целью ограничить ее словарь.

— Хорошее?! — ахнула она, снова добавив обогащающего матерного элемента. — А что ж вы в молчанку играли?

— Кое-какие домашние проблемы, и как-то не поняла, что вам необходима рецензия, если честно, — сказала я.

— А вы шту-у-чка, — протянула Лика. — Обиделись, что провела вечер не с вами, а со своими?

Штучка была Лика. Она понимала все, и даже больше, чем требовалось для дела. Чтобы не затягивать объяснений, была краткой: богатая картинка, удачная композиция, почти нет авторского текста. Последнее — что плакала.

— Так ведь это первое, а не последнее! — вскричала Лика.

— Пожалуй, — согласилась я.

— Слава богу, а то меня три дня наизнанку выворачивает, будто я обпилась, а я и не пила ничего, кроме пива, а прорех столько насчитала, что в пору пленку кромсать, как художники холсты кромсают.

— Вы про Окоемова?

— А он тоже кромсал? Нет, я просто. А что за проблемы, не могу помочь? — молниеносно, без паузы, сменила она тему.

— Вряд ли, — помедлила я и постаралась ужать сюжет до нескольких слов: — От одного молодого человека жена ушла, и он жить не хочет.

— Близкий вам молодой человек? — предположила Лика.

— Как сказать, в общем, да, — поразмыслила я.

— Я думаю иногда, — закурила Лика на том конце провода, — что мы снимаем

фильмы, рисуем полотна, пишем книги, а настоящей, своей жизнью не живем, а они живут.

— Кто они?

— Люди.

— А мы не люди?

— Мы тоже люди, но кто из нас живет правильной?

— Детский вопрос, — отмахнулась я. — Хотя, не исключено, что самый важный.

— А вы видели мужика с бородой и с животом, с которым я жмалась, когда пришла?

Я не попевала за ее скоростями. В ней ужасно приятно было то, что не засиживалась на похвалах. Она нуждалась в них, как всякий человек, но, получив дозу, не пыталась удвоить и утроить.

— К кому вы сели на колени, — уточнила я.

— Значит, видели, — обрадовалась она. — Это мой муж. Мы с ним вместе все мои кино делаем. Он пишет заявки как Бог, он умеет эти штуки: идейное содержание, жгучая современность, обращение к проблемам, волнующим общество, этсетера. Я тону, как в болоте, а он написал и забыл, легко. Мы поженились, когда он учился в десятом классе, а я заканчивала ВГИК. Он моложе на шесть лет. Не обратили внимания, что без ноги? Автокатастрофа, пять лет назад. Профессиональный волейболист, а попал в катастрофу, пришлось менять образ жизни, занятие, все. Оказалось, и тут одарен, классно сечет драматургию, и нюх у него, стервеца, на фальшь, как у охотничьей суки. А это в нашей профессии, сами знаете. Растолстел вот, жалко, на месте сидючи, после прежних нескончаемых тренировок.

— Вы давно не видались? — догадалась я.

— Что жмались прилюдно? С утра. Я когда его вижу, всегда жмусь. После катастрофы. Очень дорожу. Им и каждой минуткой, что с ним.

Она продолжала нравиться мне. И как про мужа — понравилось.

Мы с ней занимались чужими жизнями, потому что что?

— Вы когда-нибудь слышали, Лика, о такой штуке, как пайдейя? — спросила я.

— Нет, — сказала она.

— Пайдейя — это то, что делает людей людьми. Не будь пайдейи, мы превратились бы в скотов. К разговору о том, кто живет настоящей жизнью, а кто нет, и существует ли чужая жизнь как таковая, если вдуматься, что на земле все началось с двоих, которые пошли плодиться, и таким образом все люди — родня друг другу, и не метафорически, а буквально.

— Само слово что означает? — нетерпеливо спросила Лика.

— Доводка, шлифовка, совершенствование. У древних греков — связь между совершенным Космосом и человеком как частицей Космоса. Отсюда понятия меры и красоты, золотой середины и гармонии.

— Мы не древние греки, — вздохнула, как всхлипнула, Лика.

— Мы наследники, — сообщила я. — Есть наследство, и есть наш выбор, кому и чему мы наследуем, хотим доводить и шлифовать или не хотим.

— Хотеть-то он, может, и хотит, да кто ж ему дать! — рассмеялась Лика, снижая мой пафос.

Я рассмеялась ответно.

Золотая осень вернулась, держась последними листочками календаря.

52

Первую половину лет занималась собственной персоной. Во вторую половину зим разглядела и полюбила остальных. Жалеючи, понимаючи, прощаючи — о Боже, если на ком вина, то не передо мной. А все равно кого-то в свою компанию не возьму, хоть ты тресни. Но не будем о грустном.

Своей компанией ехали в додже к Саньке на дачу. В додже сидели: Санька Опер, его шофер, русак со вздернутым носом, мой муж и я. Санька только что отстроил дачу, и мы приглашены были на смотрины новопредставленного. Это была не такая дача, как у нас. Это был загородный дом. Для новой жизни. Мужики все, у кого завелись деньги, принялись строить загородные дома для новой жизни. Ну что было у Саньки, типичного советского разночинца, представителя интеллектуального труда,

и не в начале карьеры, а в середине, считай, ближе к концу, когда он поднялся на высшую по всем критериям ступеньку, став заместителем главного редактора газеты *Сплошные вести*. Трехкомнатная в хрущевке, с потолками, до которых мужчина среднего роста касается пальцами; с семиметровой кухней, куда вбит стандартный кухонный набор: пять полок, две тумбы, мойка, холодильник и жена, красавица Таня, которую все звали Тяпа, ловко снующая посреди; а также узкая лоджия, предмет зависти тех, у кого лоджии нет, потому что туда можно выставить ненужное барахло или развести чахлые цветы. Хорошенький итальянский диванчик, который удалось достать — тогда, кто не забыл, не покупали, а доставали, за деньги, разумеется, но путем перенапряжения усилий, — итальянский диванчик упорно перегораживал крошечную площадь зала, залой именовалась главная комната, где заморский предмет переставляли так и эдак, а в результате пришлось выставить на аукцион, мы были единственными участниками, завязалась яростная торговля: Санька просил 750, я давала 700, диванчик нам очень нравился, хотя не был нужен, а Санька жадничал, хотя ему он тоже не был нужен. Тяпа и мой муж, смеясь, наблюдали сцену, и каждый уговаривал свою половину уступить. Тяпа уговаривала успешнее, ее муж уступил. Но и этой малогабаритной квартирой Саня, пришелец с Дальнего Востока, гордился как всякий покоритель столицы.

Между тем Саней и нынешним — пропасть, при том что он один и тот же, поскольку пропасть между временами, при том что они одни и те же. Люди перекидываются, и времена перекидываются, суть едва ли меняется. Санек в *додже* ругательно ругал своего шефа, называя того вором, приводя убедительные доказательства и ничуть не стесняясь водителя. Я сидела в дальнем углу и не могла ущипнуть Саньку, чтобы заткнулся. Когда, приехав, вышли из машины, я дернула его за рукав: до чего ты неосторожен болтать при шофере. Свой парень, отвечал убежденно Санек, и мне стало неловко за мое скобарство так же, как было неловко, когда победила моя цена.

Дом, обшитый светлой доской, казался залитым солнцем, отсутствовавшим в небе. Аккуратный двор имел газон, цветник, фонтан и одно раскидистое деревце. Позже, когда Санек напишет роман о наших временах, он введет в него сменявшихся узбеков, таджиков и армян на просторах его капиталистического строительства и упомянет евроямы, какие копали то ли первые, то ли последние, выставив соответствующий счет в валюте, которую наши депутаты законом запретили произносить вслух, что вызвало при чтении взрыв смеха — я имею в виду оба чтения, как Санькиного романа, так и депутатского закона.

Внутри преобладал салатový цвет. Слово *салатовый* я ненавижу. Но этот был такого оттенка, что воспроизводил не ненависть, а любовь. Стены, светильники, мебель — все было тон а тон, как говорят французы, и либо блестело, либо мягко поглощало блеск, радуя глаз. Большой объем на первом этаже, где помещение переходило в помещение, был архитектурной удачей: много воздуха, много света, много удобства, много красоты. Второй этаж был окаймлен балюстрадой, за нею виднелись двери, которые вели в спальни, числом четыре. Саня и Тяпа жили вдвоем, как и мы, взрослые их дети давно разбрелись по своим углам, но должна была приехать Тяпина мать, кроме того, нередко налетали гости с Дальнего Востока, которые умудрялись нестеснительно расположиться и в хрущевке, а здесь им была полная лафа. Аперитив Тяпа принесла в нишу, где стоял длинный диван, обтянутый светло-зеленой тканью, раза в четыре больше когдатшнего итальянца, пребывающего нашим жильцом и по сей день, мы возлежали в нише на мягких подушках, грызя орешки и наблюдая паркетный пол и мраморный, картины на этой стене и огромный ковер на той, стол со стеклянной столешницей, цветы в вазах и иные красоты. Когда провинциальная Тяпа успела обрести вкус, какой и у коренных москвичек редко встречается, я не знаю. Нет, знаю. Они четыре года прожили во Франции, куда Санек, способный ко всему, и к языкам тоже, выучив за полгода французский, был послан в Париж собкором. Но, может, это у Тяпы врожденное, как шарм и характер, спокойный, ясный и ласковый, вроде солнышка в летний или теплый осенний день, подобные характеры встречаются еще реже, чем вкус.

Мы ужинали за полночь, ночевали, и завтракали поздно поутру, и обедали, и ходили осматривать окрестности, и Санька указывал: тут прокурор построился, тут таможенник, там местный бандит, — после чего, ближе к вечеру, водитель отвез нас домой в Москву, было воскресенье. Вот и прокурор, и местный бандит соорудили

себе жилье для новой жизни, а какая-нибудь москвичка, типа моей бывшей коллеги, а ныне пенсионерки Марьяны, с отменным или дурным вкусом, неважно, оставалась если не в коммуналке или хрущевке, то все равно в безнадежно старой жизни, без малейших расчетов на новую. Деньги обеспечивали вкус и новую жизнь. Служащий, чиновник, бюрократ, по должности бывший в первых рядах строителей социализма, стал первым могильщиком социализма и первым строителем капитализма. На это соображение натолкнул тот же умный Санек, больше, чем многие, заслуживший, то есть заработавший свои деньги.

53

Любопытная штука. Кругом навалом людской дряни: воры, убийцы, террористы, поджигатели, наркоманы, лжецы, обманщики, казнокрады, коррупционеры, продажные твари обычные и политические, ползущие и проползшие во власть, старшие по чину военнослужащие, до смерти мордующие младших, учителя, растлевающие учеников, отцы, допившиеся до белой горячки и насильничающие сыновей, матери, бросающие младенцев, врачи, не умеющие лечить больных, музейные хранители, ворующие музейные ценности, богатые, презирающие бедных, бедные, готовые растерзать богатых, белокурые, презирающие чернявых, чурки, мстящие русским, антисемиты, врывающиеся в синагоги, православные, вздымающие топоры и колья, если что не по нраву. А в отдельно взятой навозной куче — сплошь жемчужные зерна. Не одни мои родные и друзья. Ваши тоже. У всякого найдется верная дружба, искренняя любовь, честное сотрудничество. Не в настоящем, так в прошлом, не правда ли?

Санек, по кличке Опер, вызывал у меня такое же восхищение, что и Лика, несмотря на несвежесть впечатлений. Из него, лобастого, зубастого, глазастого, била энергия невиданной мощи. Через край. Он талантливо слагал газету. Он талантливо слагал слова в газете и за ее пределами. Его филологическая подкладка и филологическая одаренность позволяли ему совершать такие фокусы, что его можно было поставить в ряд с легендарным Веничкой, я не преувеличиваю, честное слово. Он изобретал все новые проекты. Один из них, совершенно неожиданный, добрался до стола президенту, резюме поступило: пока не время. Пока Санек строил, достраивал и перестраивал дом. Ходил на сплав с парнями, которых годы проверили на вшивость, да и в миру палец в рот не клади, занимали посты, занимались бизнесом, и их капитализация, как теперь говорят, повышалась год от года, но любил он их не за это, а за то, как сплавлялись. Придумал сообщество «05», по имени раздавленной поллитры, легкой в основание встречи и клуба. Я терпеть не могла никаких партий, и мне всегда хотелось войти в какое-нибудь симпатичное сообщество — типичное женское противоречие. Мы сидели во французском ресторанчике, ели изысканную французскую еду, и я напросилась к ним в «05». Ладно, одобрил Санек, но мы там выпиваем и материмся, ты у нас будешь вроде Анны Ахматовой. Я согласилась.

Санька хватало на все.

Не успело иссякнуть время, как его убрали из руководства газетой *Сплошные вести*.

Первое, о ком я плохо подумала, — водила, стукнувший шефу. Парень ушел вместе со мной, лаконично разъяснил Санек. Я опять покраснела, как с диваном. В этот раз мы обедали в заведении под названием *Последний рубль*, куда Саня позвал известить. Я собиралась обрушить на него тонны сочувствия, негодились, мой друг вел себя истинно по-мужски, заметив, что на улице не останется и с голоду не помрет, предложения поступили, сплошь неинтересные. Все же занятно, как убирали моих друзей. Не оттого, что они мои друзья, разумеется, а оттого, что происходила смена эпох, то, что при другом раскладе я не признавала. Со мной бывает. Бывает со всеми. С утра — пессимист, к вечеру — оптимист, хотя личность одна и та же. Саня, происходит смена эпох и, значит, смена лидеров, важно ознакомила я его с обстановкой. Да что ты говоришь — его ирония водрузила меня на место. Сосредоточься на романистике, предложила я, тебе там светит. Я рассматриваю твое предложение, ухмыльнулся он, хотя я уже привык к деньгам, а их романисткой не заработаешь, и довольно об этом, ты не находишь, что отбивная великолепна. Я находила. Вход, выход, уход, исход. Мне везло на избранных и убранных. Ау, Санек, ты как филолог сечешь в этом лучше меня. Санек вдруг проявил наблюдательность: а что это девуш-

ка с лица сбледнула? Девушка без задержки перешла к своему: со мной, Саня, что-то неладное, ну не может быть, не должно так быть, чтобы чужая жизнь с такой резвостью перевоплощалась в мою, чтобы ежедневно и еженощно стоны, слезы и сопли, как будто у меня других занятий нету, если только это не любовь, а если не любовь, то что же, и зачем же, и почему же, и с какой стати.

Именно тогда Санек посоветовал: сама сядь и пиши роман, может, разберешься.

Выходило, нас обоих вынуждали прибегнуть к одному и тому же лекарству. Жизнь и вынудила.

54

Лика позвонила:

— Примерно через час пришло е-мэйл. Отсканирую и пришлю.

— А словами передать?

— Словами не передать.

— Настолько непечатно?

— Настолько печатно. Потерпите час. Кое-что занятное закачаю. Да, забыла, полезла в словари, нашла вашу пайдею. Что же скрыли, что пайдею по-гречески, а по-латыни культура, всего-навсего?

— А вот чтоб не слышать, что всего-навсего.

— Ну-ну.

Лика положила трубку, а я принялась гадать, что такого занятного она закачивает. Привычка к плохому — плохая привычка. Час потерплю.

Смерклось.

Олеся встречается с Викторией.

Коллега Швецово́й Володя Винокуров и ее подруга Женя собираются пожениться.

Экспертиза установила причину смерти Ирины Хмельницкой.

Руководитель канала вызывает Бахрушина: их собкор в Париже Столетов общался по телефону с помощником президента.

Олеся приносит колдуну деньги.

Любовница режиссера Грановского обворовала его и сбежала.

На пустыре обнаружен труп мужчины с ранениями.

Выяснилось, что Гамаюн жив, а его смерть и последующие похороны — инсценировка.

Захаров и Зверев нашли Костенко бездыханным.

Алине трудно, ее нервы на пределе. В коллективе ходят сплетни, что Беляев причастен к похищению жены Бахрушина.

Виталик продает Баринову всю информацию о французской герцогине Орели де Буа.

Настя доводит до сведения Пьетро, что у нее новый муж.

Возвращаясь с работы, Маша видит дверь в квартиру полуоткрытой.

Команда Пастуха должна сопроводить в Москву свидетеля с документами, изображающими продажных чиновников.

Вся страна на стреме. Одна я прозябаю в невежестве. Страна знает, что Женя и Володя идут в ЗАГС, что Ирина Хмельницкая умерла, а Гамаюн совершенно жив, хотя считалось, что его больше нет с нами, что у Насти новая половина, а бедняга Пьетро в отставке, что Костенко бездыханен, так же, как труп мужчины с ранениями, а у французской герцогини Орели де Буа, вернувшейся с работы, полуоткрыта дверь, или дверь не у Орели, а у Олеси, у которой нервы на пределе, как у меня. Страна живет одной жизнью, я — другой. Получается, я ровно диссидент в своей стране, по горло погруженной в то, во что ее погрузили. О, одиночество, как твой характер крут. Программа телевизора клонила к потере рассудка. Ребята, что происходит? Защищает ли нас наша черепушка от насильственного вторжения, таранящего мозг. Или процессы, протекающие под черепушкой, сами по себе таковы, что позволяют нам, а вернее, заставляют нас заблуждаться головошкой. Или всеобщая болезнь головы — не патология, а нормоз-тормоз.

За окном моего одиннадцатого этажа небо сгустилось столь странно, что стало

походить на пики горного хребта. Предвестье грозы сформировалось сплошной тяжелой облачностью. Я сидела на диване перед выключенным телевизором и, глядя не в телевизор, а в окно, не видела родной панорамы города, а лишь эти вздыбившиеся иссиня-сизые горы. И оттого, что город исчез, а мой высокий дом оказался внезапно один, посреди гор, мне сделалось сильно не по себе.

Взору Джона внезапно открывается панорама улицы, по которой космический ураган несет газеты, оконные рамы, мебель, детские игрушки и самих детей.

Мамочка. Мама. Ой.

55

Документ № 1.

Из Архивной службы Вооруженных сил Российской Федерации:

«В картотеках по учету офицерского состава, по учету политсостава и по учету награжденных В.И.Окоемов, В.И.Огинский, В.И.Огинский-Окоемов не значится. Личного дела офицера В.И.Окоемова (Огинского) на хранении в архиве не имеется».

Документ № 2.

Из Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Минобороны Российской Федерации:

«В архивных документах госпиталя, располагавшегося в г. Дюртюли (Башкирская АССР), сведений о лечении Окоемова (Огинского) Василия Ивановича (Иоанновича) за 1942—1943 гг. не имеется.

Документы госпиталей поступили на хранение не в полном объеме.

В общем алфавитном учете (неполном) раненых и больных, лечившихся в госпиталях в период Великой Отечественной войны, Окоемов (Огинский) Василий Иванович (Иоаннович) не значится.

Материалов, касающихся лично Окоемова (Огинского) В.И. в фондах музея нет».

Документ № 3.

Из Российского государственного военного архива:

«Сообщаем, что по Вашему запросу были тщательно изучены:

1. Коллекция личных дел офицерского состава войсковых частей НКВД-МВД СССР.

2. Картотека служебных карточек офицерского состава войск НКВД-МВД СССР.

3. Картотека учетно-послужных карточек рядового и сержантского состава войск НКВД-МВД СССР.

В учетных данных Российского государственного архива на личный состав пограничных, внутренних и конвойных войск НКВД-МВД СССР Окоемов (Огинский) Василий Иванович (Иоаннович) не значится».

Документ № 4.

Из Центрального архива Минобороны России:

«Сообщаем, что 6 в. воздушно-десантный полк 1 в. воздушно-десантной дивизии был сформирован 13.12.42 г. на базе 9 в. воздушно-десантной стрелковой бригады.

9 в. в.д сбр была сформирована в августе 1942 г. и в состав действующей армии не входила.

В книгах учета офицерского, рядового и сержантского состава за 1943—45 гг. Окоемов (Огинский) В.И. не значится».

Документ № 5.

Из Центра розыска и информации Общества Красного Креста:

«Сообщаем, что по материалам картотеки на лиц, эвакуированных во время Великой Отечественной войны, находящейся в нашем Центре, значится: Огинский Василий Иоаннович. Год рождения 1924. Национальность русский. До эвакуации проживал по адресу: Москва, Зачатьевский пер., д. 15, кв. 12, эвакуировался 24 июля 1941 г. в Башкирскую респ. г. Дюртюли».

Документ № 6.

Из Центра розыска и информации Общества Красного Креста:

«Проживаю в: Башкирская респуб. гор. Дюртюли. Работаю: швейная фабрика № 1. 15 мая 1942 г.». Подпись. Личная. (Учетная карточка эвакуированного Василия Иоанновича Огинского.)

Документ № 7.

Из Центра общественных связей ФСБ:

«В ответ на Вашу просьбу в отношении возможности нахождения и ознакомления с биографическими архивными материалами в отношении Огинского Василия Иоанновича сообщаем следующее.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 20. 02.95 г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» имеющиеся на хранении в Центральном архиве ФСБ России документы в отношении граждан (персональные данные) относятся к категории документов, содержащих конфиденциальную информацию ограниченного доступа».

Спокойно.

Еще раз.

...не имеется...

...нет...

...не значит...

Примем во внимание возможную неполноту данных, о чем прямо говорится в документе № 1.

Но чтобы ни единого упоминания.

Нигде.

Ни наградных листов.

Ни свидетельств о ранениях.

И два главных свидетельства:

полк, в котором якобы начинала служить, возник в декабре 1942-го, а в военном билете значится вступление — в несуществующий полк! — в июле 1941-го;

эвакуация, в которую выехал из Москвы 26 июля 1941 года, не на фронт, а в город Дюртюли Башкирской АССР, подтверждена собственноручной справкой.

С очевидностью вытекало: военный билет — подделка, автобиография — подделка.

ФСБ справок не дает.

56

Гроза бушевала всюду. Как ветвящиеся корни дерева, вывернутые наизнанку и светящиеся, металась по небу электрические строчки молний. Гремел гром, словно треск артиллерийской канонады. Шла нечеловеческая небесная война, где победа не была целью, а состояние войны было бесцельным — просто подоспели и сложились подходящие для того природные условия. Может быть, и человеческие войны идут по каким-то не видимым нами природным начертаниям и законам, а мы выдаем за законы видимое, неизбежно ограниченное и поверхностное, в силу ограниченности и поверхностности того, что у нас под черепушкой.

Что было у него под черепушкой, когда он стремился на войну, стремился быть на войне, если не по жизни, то по легенде. До такой степени, что сочинил не только легенду о войне, но все художественное творчество связал с ней. Стимуляция выдуманной биографии: смыть кровью позорное пятно, каковым являлось родство с враждебным буржуазным элементом; геройством доказать верность идеям Ленина—Сталина, а не Бухарина—Троцкого; добровольно явиться служить в органы, пока органы не явились за ним. А далее весь век в окопе, отстреливаясь по периметру. Так?

Моя собака прибилась к ногам и не отходила. Космическое чувство у собаки более развито и обострено, чем у человека. Как любое чувство. Как любовь, скажем. Когда мой муж или я уходили и возвращались, всякий раз следовал такой взрыв эмоций, словно мы вернулись из небытия. У всех собачников есть подобный опыт. У людей не хватает этой силы и этого постоянства силы. У людей всякая каша в голове.

Включая ту, которая кажется особо важной, а она лишена какой бы то ни было важности.

— Лика, вы понимаете, что это значит?

— А вы?

У обеих нервный, почти истерический хохот по телефону.

— Все фуфло?

— Фуфло.

— А как вам записка из ФСБ? Идея ясна?

— Своих не сдаем.

— Но, значит, в органы он все же попал?

— Может, да, а может, нет. У нас есть дата — 15 мая 1942 года. До этого числа он никуда на фронт не убежал и не уходил, а шил белье для красноармейцев на швейной фабрике. Это доказано документально. Дальше белое пятно. Будем узнавать или будем делать кино?

— Будем делать кино и одновременно узнавать.

— Каким образом? Если они своих не сдают?

— Не сдают официально. Существуют знакомые, знакомые знакомых и знакомые знакомых знакомых.

— У меня таких нет, у вас есть?

— Надо искать.

— Лика, вы потрясающая соратница. Я позвоню Одоевской и Обручеву. То, что вы сделали...

— Пишите заявку и садитесь за сценарий, — оборвала соратница мои восторги, показав себя еще более потрясающей.

57

Мы ехали на дачу по куску заасфальтированного шоссе, буржуазно шуршавшего под колесами, шоссе называлось *Трансатлантик Интернешнл*. Еще недавно выше улицы Фабричной наш поселок в своих притязаниях не поднимался. Впрочем, Фабричная как была, так и есть, со старой погнутой табличкой, углом к Трансатлантик Интернешнл. Где тут поблизости, среди пыльных складов и ржавых ворот, что-то Атлантик, не говоря об Интернешнл, вывести невозможно.

Лицо Толи возвращалось. Бледность не покинула его, но он перестал выглядеть мертвецом, а стал выглядеть, хотя и отдаленно, живым человеком. Зато правая рука приобрела совершенно ужасающий вид.

— Ты что, Толян, хочешь, и впрямь, потерять руку, когда ты пойдешь к врачу, сколько можно говорить?!

— В понедельник иду.

Понедельник был такой специальный день. В понедельник придут рабочие рыть яму, в понедельник будут ставить АГВ, в понедельник привезут гравий, в понедельник он пойдет к врачу. Мы уезжали в воскресенье вечером, и до следующей недели ничего не менялось.

— Ты понимаешь, что останешься инвалидом, и тебе тарелку некому будет подать?!

— Понимаю.

Кротость нашего Анатолия обезоруживала. Мягкая улыбка, ясный взор, пребывание в выдуманном мире, где все как один его ценят и уважают, а он, по возможности, бездельничает, сидит на лавке, пьет крепкий кофе, курит сигарету, смотрит телевизор и иногда рассказывает, какие, при его содействии, на нас, его окружающих, свалятся блага. Обезоруживало ли это молодую женщину, ежедневно рвущуюся к новой, отличной от вчерашней, жизни, женщину с запросами и скрытой энергией, бурлящей внутри и почти не выходящей наружу, — вот вопрос. Перегретые котлы рано или поздно взрываются.

— Я даже ни разу не изменил ей, — жалуется Толя, и глаза его переполняются слезами.

Мои — тоже.

Мы никогда так обнаженно не беседовали. Беседы протекали по преимуществу хозяйственные или отвлеченные, веселые, про новости, но уж никак не про чувства.

Да и кто теперь беседует про чувства, особенно в паре: хозяин—работник. Не принято и неловко. Нам не то что ловко, а так есть. Он сейчас без кожи, и мы должны служить медицинской марлей с антибактерицидной мазью, чтобы помягче и поцелебнее. Мы и служили. Ужасно нелепо, что один человек так прилепляется ко второму, что нет ему без него жизни. Кругом масса людей — подходи не хочу. А он и не хочет. Никого. Исключительно этого. Ни грана маломальской объективности. И материальности. Писатель Саша Олихов говорит, что судьбу человека и судьбу этноса определяют фантомы. По-другому, грезы. Его излюбленный постулат. Он проводит его во всех романах и в публицистике тоже. Мне это близко. Я давно догадалась, что субъективное заведует объективным. Мысль — сгущение чувства. Вас задело чье-то высказывание — оно легло на ваш экзистенциальный опыт, пусть даже для вас темно само понятие, — вы пошли за оратором и его идеей, и вот вы уже активист в его отряде и крушите головы противникам. А кто-то услышал примерно то же — и никуда не пошел. В нашем с Толей случае: вы ощутили прохладу или жар — и поняли, что влюбились, вам вынь да положь этого человека. А кто-то взглянул на вашего избранника или избранницу — и с холодным носом прошел мимо. И до нас с Олиховым были люди, думавшие так же. Я подразумеваю написавших Книгу Бытия: «В начале было Слово...». То была не догадка, а знание. И хотя один авторитетный рок-певец смотрит на Книгу как на свод сказок, типа любых фольклорных сводов, мы с Сашей Олиховым смотрим иначе. Наслоения, заблуждения сделали так, что ограниченное и в то же время высокомерное человечество в массе своей пошло не туда. Ограниченность и высокомерие — родовые наши черты. Довольно взглянуть для примера на любого нашего силового или мирного министра, чтобы убедиться. Пример случайный. Но случай и заведует закономерностью. Так же, как слово. Медицинская марля с антибактерицидной мазью — слово. Или наоборот.

— Толь, может, тебе устроиться на работу, все веселее будет.

— В понедельник иду устраиваться.

— А у тебя там от мамы не осталось самогону?

— Осталось.

— Тащи к ужину.

Бодрый тост, опрокинутый стаканчик с крепчайшей, пахнущей старым вишневым деревом прозрачной жидкостью — продержись, Толян, дальше будет легче, клянусь. И я бегло пересказываю ему свое прошлое, о котором молчу с другими много лет.

58

Голос у Одоевской напряжен и сух. В тех двух выражениях, что она успевает сложить как ответ на мое здравствуйте, как поживаете, проскальзывает обида старой девочки. Нормально. Одоевская и должна ее испытывать. Когда вышла *Литерная* с коллективным письмом, а я ничем не могла противостоять, я не связалась с ней. Духу не хватило. Она могла прийти к умозаключению, что я ее предала, а я ее не предала.

— Погодите, Таня, — позволяю я себе назвать ее так, как она звучит, — у меня есть для вас новости, и довольно существенные. Всем пока не могу поделиться, но у нас в руках документы, которые на сто процентов подтверждают вашу правоту, а, стало быть, неправоту ваших оппонентов. наших оппонентов, — поправилась я.

Мне хотелось занимать позицию объективного исследователя, я старалась, но не слишком удачно. Если бы моих стариков сразу не обидели — другой колер. Они оказались гонимы — я не могла встать в позу над схваткой. Однако и в гонители Окоемова я не годилась. Даже получив доказательства его фальсификаций. Я не переставала биться над задачей, как бы я себя повела, узнав каким-то манером то, что узнала, будь он жив. Наверное, товарищи подписанты правы, вероятнее всего, я бы испугалась пинать живого льва. Но и поверженного я не пинала. Я подозревала, что, если б явилась к нему, живому, с письмами Одоевской и Обручева, и он, почти наверняка, спустил бы меня с лестницы, буквально или фигурально, это не затронуло бы меня столь болезненно, как все, что случилось после его смерти. Я отдавала себе отчет в том, что, в силе и славе, он не нуждался в моем сочувствии или презрении. Умерев и сделавшись беспомощным, он переходил из залога действительного в залог страдательный. Вместо куска железа, в какое себя заковал, вместо куска

мрамора, какой для себя изготовил, проступали контуры дитя человеческого, каковы мы все, без панциря, в который прячемся, без котурнов, на которые встаем, без глянца, который наводим, как румянец на лицо покойного. Страдающее дитя человеческое — можно ли было вообразить его таковым при жизни, мог ли он при жизни позволить окружающим признать его таковым — да ни за что. Боль сопровождала все мои движения.

Я слушала реакцию Одоевской, Одоевская торжествовала. Я машинально отмечала, что это не было торжество над поверженным противником, а торжество восстановленной правды.

— Вот.

— Что вот?

— Вот, Танечка, разница между вами и ими. Им важно было унизить ваше достоинство, вам — восстановить свое.

Она смягчилась, она развеселилась, теперь это была веселая старая девочка, которую я любила. Мы любим тех, кому приносим благую весть.

Номер Обручева я не успела набрать, он объявился прежде.

— День добрый, Лев Обручев, мне звонила Таня Одоевская, она не ошиблась насчет документов?

— Не ошиблась, Лев Трофимович.

— Но это сногшибательно.

— Это сногшибательно.

— Это сногшибательно еще и потому, что сегодня как нарочно газета *Сплошные вести* печатает избранные страницы из каких-то автобиографических заметок Окоемова, и там опять про то, что после восьмого класса убежал на войну, воевал и вся эта лабуда. Вы получаете газету *Сплошные вести*?

Я не получала газету *Сплошные вести*. После ухода Санька я ее в руки не брала.

— Что вы собираетесь делать?

— Пока не знаю.

— Вы должны как можно скорее опубликовать эти документы, раз поток фальсификации не иссякает и все так сошлось.

— Я еще не видела потока.

— Хотите, процитирую? Посидите у телефона, сейчас найду и процитирую вам.

Он искал долго, я устала сидеть, он не нашел и долго сокрушался, что жена почистила на газете рыбу и выбросила вместе с требухой, я сокрушалась тоже, он спросил, далеко ли от меня киоск, нелепо, что я не сообразила, киоск был внизу, я попрощалась, повесила трубку и побежала. Еле дождавшись лифта туда и обратно, на ходу переобуваясь в туфли и обратно в тапочки, я шарила глазами по газетной странице:

«Я не сочиняю мемуары, я обойдусь без воспоминаний, я пишу автобиографию вымышленного лица. Хотя и не полностью вымышленного. Так сложилось, что я почти всегда оказывался и в тех же самых местах, что это лицо, и в тех же ситуациях».

Автобиография вымышленного лица. Эти слова были выделены курсивом.

Я столбенею, когда по телевизору объявляют о смерти кого-то, и тут же идет его вчерашняя, или позавчерашняя, или позапрошлогодня съемка, где он смеется, шутит, разговаривает с родными и друзьями. Мы так въехали в виртуальное пространство, столько часов проводим с компьютером, мобильником и телевизором, что истинное наше существование как бы подвинулось в сторонку. Физически смерть не отменена, но психически, психологически, психофизически — вот ведь он, перед вами, кто умер. Для тех, кто связан всепоглощающей нежностью или умопомрачительной страстью с ушедшим, перемена огромна. А много ли среди нас связанных умопомрачительной страстью или всепоглощающей нежностью? Окоемова не было ни в телевизоре, ни в диктофоне, он запретил себя снимать и записывать за ним, а между тем он не переставал стучаться в мое заполненное сознание с каким-то невымышленным или полувымолвленным словом, точно настаивая на том, чтобы быть выслушанным и признанным. Я вновь и вновь перечитывала — слышала — строки в *Сплошных вестях*, пока вдруг в какое-то мгновение не ощутила, что я не одна, что в комнате кто-то есть, помимо меня. Кто-то, кто ласково коснулся моего лица. Окно было закрыто, и это был не ветер. Ласка была запредельная. За пределами материального мира. Так было всего несколько раз за целую жизнь.

Я выпустила газету из рук, ее страницы разлетелись по полу веером. Прозвенел звонок мужа:

— У тебя все в порядке?

— Да, а что?

— Ничего, просто так.

— А у тебя?

— Я люблю тебя.

Бог ты мой — услышать это от него посреди бела дня.

— Я тебя тоже.

— Береги себя.

— И ты.

Я пошла на кухню и заварила себе крепкого чаю.

59

Я сообразила, что у меня тоже есть знакомцы в ФСБ. Те самые ребята, которые, по просьбе Окоемова, возвращали к жизни мой компьютер. Полистала старый ежедневник, наткнулась на номер. Назначила встречу. По телефону без толку, толк — глаза в глаза. Сидим в малюсеньком японском ресторанчике на Тишинке, Викентий, так он называется, ест узким ртом суши, не поднимая глаз и, кажется даже, не раскрывая рта, вроде настолько засекречен, но с такой жадностью, словно их там, в ФСБ, держат впроголодь. Может, чтобы злее были. Как быстро мы стали европейцами. Только что кушали дома, на худой конец, в столовках. Встречались в конторах по делу, в кино по любви. А сейчас даже фээсбэшники как люди лакомятся суши, прежде чем приступить к мероприятию. А кто они есть, как не люди. Просто у них свое место работы. Глаза в глаза не получалось, глаза — в суши. Я цепляю суши палочками вяло, между делом, мое дело — увлекательное слово. Чем увлекательнее, тем больше шансов подцепить рыбку. Рыбку Викентия. Не цепляется. С волнением подчеркиваю, каким глубоко противоречивым человеком был Окоемов, и как я благодарна року, столкнувшему нас, и как манит задача восстановить подлинную биографию современника-классика. Викентий ест и не смотрит, и я окончательно сникаю. Он наш человек, говорит Викентий, покончив с едой и тщательно вытирая отсутствующие губы салфеткой. Теперь он смотрит прямо на меня. Вы подразумеваете, что он ваш сотрудник, спрашиваю я. Я говорю ровно то, что вы слышали, он наш человек, стоит на своем Викентий. А я ваш человек, нахожу я способ отделить козлиц от агнцев или, наоборот, соединить их. Вы нет, отвечает Викентий. Он был вашим сотрудником, уточняю я. Он наш человек, не сбивается с взятого им курса Викентий. Настоящий разведчик, или кто он там. У него соболиные брови, алый румянец на щеках, широкий нос, передавленный в переносице, и узкий, в нитку, рот. Говорят, они должны обладать незапоминающейся внешностью. У этого ни одна черта не соотносится с другой, что запоминается с полувзгляда. Видно, в их учреждении, как везде: есть руки-ноги, есть желудочно-кишечный тракт, а есть головной мозг. Одни должны быть неприметны, другие бесчувственны, третьи могут быть какими угодно, лишь бы аналитики или толковые технари. Мой ноутбук поддался ему, я хочу быть объективна и я объективна, я хочу быть благодарна и я благодарна. Хотя что-то саднит. Наверное, он прозревает это. Хорошо, безо всякой надежды заканчиваю я обед, тогда последнее, воевал или не воевал? Я обещаю вам это узнать, говорит он. Мы расплачиваемся каждый за себя.

Несмотря на туманные перспективы, я испытываю некоторое удовлетворение. Мне есть чем похвастать перед Ликой, и я еле удерживаю себя, чтобы не спешить, а дожидаться исполнения обещанного.

Писать заявки я не умею не хуже Лики. Мне легче принести сразу готовое, чем ломать голову над планами и заверениями, в которых я заранее не то, что не убеждена, а представления о них не имею, собираясь узнать в процессе работы. Почему мне и понравилось Ликино: мы узнаем, каков наш герой, в процессе фильма. Это по мне. Я обещала Лике, что попробую структурировать материал, чтобы обнаружить, или обнажить, концепцию. Необходимо было пройти в нитку по курсу между Сциллой и Харибдой, обретая нужную интонацию, расположив факты в нужной последовательности и не впасть в обличение. Заранее, по схеме, не вытанцовывалось. Требовалось

достичь состояния. Состояние достигалось следующим образом. Перемывалась посуда. Был вымыт пол. В комнате и на столе наведен не образцовый, но какой-никакой порядок. Открыт компьютер, кликнуты некоторые базовые файлы. Ногти не в порядке, взяты пилку и добиться, по возможности, совершенства. Ногти отполированы. Первые буквы набраны и стерты. Принести чаю. Жарко. Скинуть свитер. Зябко. Накинуть свитер. Поднять одну руку вертикально вверх. Зачем — если бы знать. Как будто антенна для улавливания вибраций, которых, возможно, и нет, но хочется думать, что есть. Первая фраза. Недурно. С нее начнем. Час погружения во что-то, с грызней заусениц и порчей только что отполированных ногтей, взлохмачиванием волос, неутолимой жаждой и нервными позывами голода, двадцать строк, из которых выныриваешь, как из озера, встать, пройтись, взглянув ненароком в зеркало, ты или не ты, не ты, нет, ускользящее ты, и очередное поспешное ныряние обратно, где, если повезет, увидеть, узнать, добыть дополнительно строк десять, а нет, ну, тогда потянуться, встать, пойти перекусить, полежать на диване и вдруг снова вскочить и броситься к столу, потому что внезапно явилась новая партия из двух-трех слов, и надо успеть ухватиться за них, как за кисть, которой, быть может, намалюешь еще фрагмент этого приозерного пейзажа, какой то мстится, то прячется в тумане, то вовсе исчезает. Никакого шаманства, контроль ума сохраняется, но мысль облекается в слова в измененном состоянии мозга, в приуготовление чего диковинным образом входят мытье полов и полировка ногтей, чего угодно, лишь бы оттянуть начало.

То, что я назвала концепцией, заняло страниц пятнадцать. Без слюней. Сухо, как люблю. Еще суше. Чтобы противостояние сухого с несущим само по себе било в нос. Неразрешимой оставалась проблема все с теми же последними работами Окомова, о каких ни от кого не слышала и нигде не читала. Так и не могу прийти к ясности: новый ли плодотворный этап в творчестве, оборвавшийся со смертью, или деградация. Приступала так и эдак — без толку. Я не выбираю пути наибольшего сопротивления. Выбираю — наименьшего. Чтобы естественно и без насилия. Кто-то говорит: туда не иди, иди сюда. Путем ошибок и проб, драгоценных ценою, вышла на крест дорог, и ангел за спиной; что позади — ее, что впереди — узнает, былым-было былье здесь и сейчас пронзает; пронзай, дитя, пронзай, зеленый мой росточек, и ангела глаза сияют между строчек; и место свое признает, свое, свое да и только, крыл явленных слышит ход и уж не робеет нисколько.

Меня не пускали туда, к позднему Окоемову.

Я отправила концепцию е-мейлом Лике без упоминания о позднем Окоемове.

Лика разбила концепцию в пух и прах:

— Неплохо, но в качестве заявки не годится.

— У вас же есть муж, Лика, — жалобно протянула я. — Попросите его, он умеет, вышьет по канве.

— Это не канва, это ткань, — определила Лика. — Но фишка не в этом, а в том, что руководство канала вычеркнуло фильм из плана, в котором он стоял.

Мне показалось, я ослышалась:

— Что-что?!

— Финансирования не будет. Фильма тоже.

— Это серьезно?!

— Более чем.

— Не говорите мне, что вы не узнали причину.

— Узнала. Ваша Василиса и глава канала пользуются услугами одного юриста.

Через него Василиса передала записку, в записке — что до нее дошли слухи о готовящемся кино, в котором искажен образ великого гражданина, и она, страдая как жена и гражданка, просит оградить его светлую память от хулителей. Копия у меня, могу прислать.

— Откуда-то утечка, — сделала я вывод как заправский детектив.

— Откуда, откуда, от верблюда. Вы забыли, я обращалась к ней с просьбой поучаствовать в фильме.

— Наверное, зря.

— Утечка все равно утекла бы. Раньше или позже.

— Что нам делать?

— Пока не знаю.

Я тоже часто так говорю. Не знаю — это не да и не нет. Это пространство

вариантов, когда может выйти что угодно. Я люблю не знаю. Из знаю дорога ведет в одном направлении. Не знаю открывает множество путей. Это как роза ветров. Ветер может подуть в любую сторону.

60

Через очень богатых и властных людей проходят очень большие деньги, и тратят они исключительно большие деньги, какие и не снились людям небогатым и вне власти. Через нормальных людей проходят нормальные деньги, и траты их нормальны. Через людей, чьи доходы весьма скудны, проходят весьма скудные деньги, и тратят они свои копейки, не рассчитывая на рубли. Во всех обстоятельствах действует одинаковый механизм, и все жизненные процессы проходят одинаково, и кончается для всех одинаково: отправкой на тот свет. Но в период пребывания на этом свете — разные ритмы и разные жертвы. Наверху, при многочисленных контактах, — морозный холод одиночества. Внизу, при самом убогом общении, — принадлежность к рою. У нормальных людей все зависит от воображения. И от пайдеи. Пайдейя — в фундаменте. Правила приличия в приличной стране и приличном обществе не разрешают богатым выказывать превосходство над бедными. Это все равно как если бы здоровые публично унижали больных, а молодые хвалились молодостью перед старыми. Так бывает, но всем известно, что это нехорошо. А тут один умник, прикупивший себе со своего невесть откуда взявшегося немыслимого достатка очередную газету, расписался в ней как писатель. Очередной опус — в защиту глянца: «Стандарты потребления, задаваемые глянцем, являются стимулом для конкурентоспособных и раздражают материальных неудачников. Но раздражение — верный признак того, что эти люди не достигли той степени духовной свободы от материального мира, когда человек становится добрее и благосклоннее к радостям других». Явно в защиту супруги, не слезающей с глянцевого экрана со своим антиквариатом, из которого парочка ест, пьет, в который сморкается и так далее. Стало быть, материальные неудачники не достигли той степени духовной свободы от материального мира, при которой могли бы порадоваться за умника и его супругу. А он достиг. Свобода от материального мира вынудила его схватить перо, сочинять эссе против тех, кто остался с носом, по его выражению, и, значит, представляет опасность для его удивительно возвышенного благополучия, при котором он живет как в музее, а мы как на помойке.

— Видишь, вот этого, с прореженным ежиком надо лбом?

— Где?

— Возле блюда с севрюгой. Миша рассказывал, через какие унижения, ниже плинтуса распластался, грязь ел.

— Господи, да это же.

— Ну да.

— А зато сам Миша где.

Двое, со стаканами виски в руках, разговаривали рядом с нами, один в бабочке и джинсах, второй в чем-то кружевном, цветном и с открытой мохнатой грудью. Я поискала взглядом блюдо с севрюгой, нашла и узнала лицо из телевизора. На тусовке, куда нас позвали, лица из телевизора попадались через раз.

Я хвасталась, что близкие и не очень близкие мои люди — сплошь жемчужные зерна. Преувеличила. Имелась девочка-вампир с ярко-красным ртом, высосав кровь последовательно из матери, бабушки и отца, она приступила к мальчику, моложе себя, подававшемуся ее чарам подобно остальным, включая меня. Отравленный мальчик, умница и с задатками, рос-рос, кренясь то влево, то вправо, и вырос в младофашиста. Может, вырос бы и без девочкина яда, с ядом вышло надежнее. Публицист, из приятелей, по-честному, как он говорил, заделавшись депутатом и не отказываясь от либеральных проектов, украл, явившись с омововцами в масках, у бывшей жены общую малолетнюю дочь, заявив, что воспитает девочку лучше матери, и пригрозив физической расправой, если та подаст голос. Кстати, все трое были здесь. Гости кучковались. Кучки перетекали одна в другую, в облаках дорогого парфюма и дорогого трубочного табака.

Мы с мужем пришли, потому что я задумала лицом к лицу столкнуться с Эженом Эрнестовичем Овдеевым, по прозвищу ЭЭ, стоявшим во главе канала, для которого

мы с Ликой готовили наше кино. Общее демократическое прошлое давало шанс на взаимопонимание. Он был необыкновенно хорош когда-то: умный, схватчивый, быстрый, открытый новым идеям и сам великолепно продуцирующий их, — работать с ним, наблюдать его в работе, видеть плоды его работы было одно наслаждение.

С тех пор прошло десять лет. Я увидела его вдали от северяги и от меня, в кучке сплошных випов, окруживших помощника президента, — ЭЭ был в окружении. Он чуть располнел, но волосы, глаза и зубы блестели, как встарь, у него была счастливая внешность, он был ярок снаружи, так же, как внутри. Я вспомнила, как ворвалась к нему в кабинет, разгневанная оттого, что мою программу принялись двигать по сетке — первый признак намерения избавиться от нее и от меня. Кончилось тем, что мы пили коньяк, заедая шоколадом, привезенным им из Швейцарии, и он, блестя глазами, зубами и волосами, ласково говорил, что его отец, театральный режиссер, навечно благодарен мне за рецензию, спасшую когда-то его постановку. Обычное плетение словес, никакой особой роли рецензия не сыграла, хотя спектакль собирались разгромить, но за него вступилось так много хороших людей, что руководство, уже не столь людоедское, пошло на попятный. Моя программа удерживалась в сетке полгода. Ее сняли, когда ЭЭ был в отъезде за границей.

Расстояние и общий гул делали плохой слышимость, неплохой была видимость.

Говорил помощник президента, и, должно быть, что-то смешное, потому что окружение встречало каждое слово длинного, невзрачного, с рыбьим взором юноши с безудержным восхищением. Меня поразило выражение лица ЭЭ. В нем никогда не читалось высокомерия или наглости, однако всегда — не афишируемое чувство собственного достоинства. Как корова языком слизнула. ЭЭ трясся от смеха подобострастно, с умильной гримасой, заглядывая в рыбы глазки, как какой-нибудь гоголевский или щедринский тип, какими их изображал у себя в театре его папа. Возникло ощущение, будто я подсмотрела то, чем люди не должны заниматься в публичных местах. Преодолевая отвращение, я потащила мужа непосредственно в их гнездовье, чтобы попасться ЭЭ на глаза. Мы продефилировали мимо — он меня не заметил. Еще раз мимо — напрасно. Чувство отвращения поменяло адреса, теперь я была субъектом и объектом одновременно. Что ты дергаешься, с изумлением спросил муж. Уходим, потащила я мужа к выходу. Почему уходим, бал едва начался, ты сама хотела, не унимался муж. Хотела и расхотела, отрезала я. По барабану. По барабану ударили щетки. По барабану ударили щетки, и пошел ритм. Живой оркестр оркестровал встречу друзей. У выхода я оглянулась и встретилась взглядом с ЭЭ. На долю секунды. Этого было достаточно. Он тотчас отвернулся, сделав вид, что он не он, а я не я. В долю секунды что-то произошло. Или у меня со зрением, или реально. Какой-то сдвиг. Какая-то рефракция, реализация, реинкарнация, рекуперация, реанимация или репродукция — см. словарь, мне было некогда и негде: термины выскакивали произвольно, как лягушки из болота, и болото выплыло не частью фразеологического оборота, а местом действия. ЭЭ, голый, безволосый, с синими венами на неожиданно толстых ногах, сплевывал длинную, вязкую слюну, а она никак не отплевывалась, а приклеивалась к шикарно протезированному рту и бритому подбородку, и он пытался руками отодрать клейкую массу. Випы, только что вальяжно веселившиеся в дорогих костюмах от Бриони и других престижных домов моды, названия которых я забыла, также обнаженные, вглядывались с озабоченными лицами в мутную жижу, что-то лова в ней, а один, подняв физиономию вверх, вдруг завыл, сделавшись похожим на тоскливого ночного волка. Юноша-помощник, оставшийся наедине с собой, с неспортивным телом, вислыми грудями и такими же ягодицами, неожиданно завертелся волчком на месте, хлопая ладошками по мутной воде, то ли привлекая к себе внимание, то ли играясь самостоятельно как даун. Девочка-вампира, всегда затянутая в черное и оттого казавшаяся стройной, без одежды явила вдруг рубенсовские формы, ее пышное тело, с приставшими к нему водорослями и пальмы листьями, почпало к помощнику, и помощник, расплываясь, подумал вслух: офелия. Ах ты, мой гамлет, подумала вслух девочка-вампир и всосалась в рыбий глаз, отчего его обладатель сладострастно обмяк и окончательно расплылся по воде в виде жирного нефтяного пятна. Нагой младофашистик, до сих пор делавший вид, что никто и ничто его среди толпы не занимает, что он как кошка, которая гуляет сама по себе, некрасиво втянул соплю в нос и, расталкивая других ню, мужчин и женщин, энергично пробился к девочке-вампиру, но, скорее, к нефтяному пятну. Девочка на

всякий случай вильнула хвостом, с этой секунды не офелия, а чистая, то есть грязная русалка, но фашистик уже мазал себя нефтью в охотку. Калерия Охина, могучая, костистая, так что кость стучала о кость, отбросила сигарету, соблюдая правила противопожарной безопасности, и ринулась туда же. За ней последовал молодой лысеющий меньшевик из приемной комиссии с одиннадцатимесячной беременностью, теперь не скрываемой модным пиджаком. За ним поспешил политолог с округлой головой, копией футбольного мяча. За политологом — популярный шоумен с гарвардской небритостью и проплешинами на темечке: болотная вода смыла чернила, какими стилисты закрашивали проплешины перед появлением на экране или в свете. За шоуменом помчался популярный адвокат, он же писатель, он же политолог, в общем, тот же шоумен и той же голубизны. Как болотная жижа растворила чернила, так голизна джентльменов и дам растворила джентльменское и дамское. Первоначальный подвижный треугольник множился на глазах, превращаясь в пяти-, десяти-, тридцатиугольник, форменный бес, что есть бес форменный, бесформенный хорювод приобретал все более скотский характер. Бабы и мужики бегали друг за другом, в болотистой местности, как в лесу, сталкиваясь, пихаясь, скаля клыки и выставляя когти. Только что в нарядах и драгоценностях, задрапированные по уши, хотя и с выставочной грудью или бедрами, в позах почти что аристократических, нынче весь этот болотный демос просвечивал насквозь, и видно было, как животню волнуется в них лимфа и закипает кровь. Были и те, у кого ничего не волновалось и не закипало, они прыгали и пластались, как лягушки, а то сидели молча, замерев, выпучив очки, мертвые прежде смерти. Крупная жена крупного олигарха, утерев бриллианты и Луи Виттона, из павы величавой, благосклонности которой дамы и господа искали прежде, преобразилась в бесстыдную самку, ковыряясь в грязи и бросаясь комками в замеревших ляг, завлекая их, пытаясь пробудить и побудить хоть к подобию действий, но безуспешно. Насытившийся нефтью мальчик-фашистик оглянулся, разбежавшаяся Охина охнула, налетела на него и исторгла победоносный крик. Мальчик исторг ответный. Множество диких голосов подхватило какофонию. А блестящая телеведущая, красавица и умница, внезапно описавшись, села в сделанную ею лужу и разрыдалась. Я взглянула на голого мужа. За него мне не было стыдно: атлетическое телосложение никуда не делось, это мне, безгрудой, с деформированным позвоночником, лучше бы на публике не появляться. И не видеть того, что увидела. Покинув меня, муж рванул к описавшейся теледиве. Так, значит, это правда — мои ревнивые ночные сны, которые я запрещала себе воспроизводить днем. Я стала заваливаться вбок, как кукла, с которой больше не играют, которую бросили, потому что она старая. Падая, боковым зрением зацепила, как решительно видоизменялись гости, один за другим превращаясь в многоликие, многорукие, многоногие, многопалые существа, чьи части прорастали в части, вырастали из частей и оборачивались новыми частями, демонстрировалась разверстка человека во всех направлениях, когда он в одну и ту же минуту целое и раздробленное, единое и в кусках, кажется, мне показывали что-то в этом роде раньше. Зеленое, коричневое, оранжевое, черное, пеплом посыпанное извивалось, изливалось, издевалось над здравым смыслом, спокойным разумением, надежным основанием, терпением и верой.

Тьма настала.

Осветительная ракета, времен войны или мира, не разобрать, взорвалась и осветила окрестности.

Я лежала на какой-то кушетке, надо мной восходило лицо мужа. Тебе лучше, спросил он. Если ты со мной, мне прекрасно, пробормотала я, не чувствуя собственного тела. Я с тобой, сказал муж, помогая мне подняться. Окружившие нас модники обоего пола расступились, и мы вышли на свежий воздух. Я счастливо вдохнула его полной грудью. Пахло выхлопными газами. Скажи, у меня порочное воображение, спросила я мужа. А мне почем знать, отмахнулся он, как от неважного. А может, я ведьма, спросила я. По временам, несомненно, без улыбки произнес мой муж.

Застрыло фолкнеровское: «Лучшее в моем представлении — это поражение. Попытаться сделать то, чего сделать не можешь, даже надеяться не можешь, что получится, и все-таки попытаться. Вот это и есть для меня успех».

62

Никто не проходит земной путь таким, каким встал на него.

Шестое августа, по-старому, Преображение Господне. Кликнула в компьютере по делу, а выскочило это.

Мой друг Санька Опер начинал бесхозным мальчишкой на Дальнем Востоке, происходя из семьи золотозубого капитана дальнего плавания, который уплыл однажды и не приплыл, и что там было, ушел ли непосредственно с берега к другой, утонул ли в море или остался в заграничном порту, изменив не одной жене, но и Родине, мать Саньку никогда не поведала, терпела, пока вырастет, а потом умерла, не дотерпев. Проваландавшись, где можно и где нельзя, обитателем детдома, малолетним вором, сторожем на рыбзаводе, грузчиком, студентом факультета журналистики Дальневосточного университета, далее везде, в отечестве и за кордоном, он стал настоящим журналистом и писателем, что редкость среди нашего брата и нашей сестры.

Моя подруга Таша, ясноглазая красавица, избалованная состоятельным мужем, а состоятельные мужья во времена нашей молодости составляли еще большую редкость, чем журналисты-писатели, струящаяся, носившая себя как стеклянный сосуд, ни к чему не прилагавшая усилий, не маломощный субъект, а вожделенный объект, — спустя тридцать лет, давно замужем за рассеянным ученым, стала играть с акциями на бирже, американской, а не российской, убей меня Бог, если б я хоть что-то соображала на этом поле, а она соображала, да так, что выиграла состояние в пару миллионов зеленых, после чего купила несколько квартир в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне, обеспечив не только себя и мужа, но и его научные занятия, на которые правительство не давало ни шиша.

А один мой старый друг, за восемьдесят, известный, оценил другого известного, узнав о его смерти: жаль, к концу жизни он выработался в порядочного человека.

Вырабатывались и преображались.

Восьмидесятилетний прочел одну мою вещь и сказал: понравилась. Добавив: вещь с амбицией. Спросила: чем же понравилась, если с амбицией? Ответил: а вот амбицией и понравилась.

О, чудные старики всеобщей и моей жизни, где вы, без вас плохо. Практически не на кого взглянуть. Какое счастье, что было время смотреть на вас, без малейшей корысти, перед Богом говорю, ни разу не попользовалась вашим благорасположением как ключом к чему-то. Один приходил в редакцию и говорил: Оча — он тоже звал меня Оча, — у вас счастливые глаза, я редко у кого в Москве встречал такие счастливые глаза, но учтите, люди со счастливыми глазами не делают литературу. Он успел увидеть, как они переменялись. Другой, прогуливаясь вместе на Воробьевых горах, учил: один проводит дни, томясь и скучая, а другой входит в автобус — и с ним уже приключаются приключения, надо, моя хорошая, быть готовым к приключениям, тогда они не обойдут вас стороной. Третий наливал красного вина, когда я навещала его, вытягивал длинные ноги и предлагал: давайте помолчим, вспомним каждый свое, а потом обменяемся воспоминаниями и посмотрим, у кого насыщеннее; он любил свою старость и любил похвастать ее преимуществами в сравнении с ущербностью моей молодости. Они ушли, великие старики, а переменялось ли с этим что-то для меня, кто мешает мне толковать — токовать — с ними, реагируя на усмешку или жест, передавая соль или беря полный бокал вина, и слушать, слушать их — любимейшее занятие из всех. И разве одних стариков — в моем списке: Охлобыстин, Остер, Овчинникова, Орешкин, хм. Я не живу прошлым, как не живу будущим, все есть моя настоящая жизнь, включая тех, кто незнаком мне лично, а я знаю о них больше, чем о соседях по лестничной клетке, знаю цвет глаз, форму рук, знаю, что имело место на берлинском вокзале, или в чешских Мокропсах, или в петербургской карете, которая пересекла путь другой кареты, но сидевшая в ней близорукая молодая женщина не узнала мужа, и он проследовал дальше, к Черной речке, и кончилось тем, чем кончилось. Мокропсы, Баден-Баден, Грасс милы мне так же, как Тамань с Бахчисараем. Преображенные, малые и великие тени живут во мне, а значит, свет, дающий тень, так ярко, что способен сотворить чудо.

Шестое августа по-старому, Преображение Господне.

Входил ли Окоемов в сонм моих теней?

Да уж, бесспорно.

Интересно, а про меня что-нибудь есть в его тетрадах независимого согладая-
тая?

Прости мне мои амбиции, Господи.

63

Мне не хватило духовности, чтобы порадоваться за ЭЭ, взобравшегося на самую верхушку шеста, туда, где помощник президента и, разумеется, сам президент и где им раскачиваться до упаду, в то время как прочим нам копошиться внизу у подножия.

Следить надо за собой, как укоряют медсестры в больницах и домах престарелых тех, кто распускается. Хотя, может, у больных и престарелых просто кончились силы.

У меня они пока есть.

Я говорила, что у них и у нас разные риски и соответственно разная плата за страх. Если ушла любовь, если ушло здоровье, если умерла мать, если погиб сын — все разное у малых и больших, назовем это так. Пока мы малые. Или всегда. Ботинки на вырост, чувства на вырост, чувства на выброс, информация на вброс. Игры больших людей, на которых малые взирают, раскрыв варежку, завидуя ошалело и неразумно: вот бы мне туда. Да не надо тебе туда, солнце мое, кроме больших денег и большой власти, с которыми ты так и так не справишься, там большая кровь и большое опустошение. А падать сверху? Мой король, вы теряете голову, ах, король, как рассеяны вы. Первая потеря головы — от любви, последняя — от гильотины.

Следить надо. Следить надо не за людьми, а за собой.

Вычистив зубы, прополоскав рот и напившись пиона уклоняющегося, я сделала новую попытку спасти нашу с Ликой картину. Ни словом не упомянув о вечеринке, я небрежливо написала и отослала по e-мейлу послание ЭЭ. В послании говорилось, что, имея возможность пролить новый свет — свет, а не тень! — на судьбу выдающегося художника, мы ставим целью не расследование, а исследование, не разоблачение, а воссоздание драмы человека, который недавно ушел от нас, но трава забвения в наши дни прорастает столь быстро, что его уже начали забывать, бережное возвращение к предмету исследования подстегнет несправедливо убывающий интерес.

Отослала и стала ждать.

Список вещей, взятых с собой в дорогу, иссыкает и иссыкает.

После случая странного зрения — или воззрения — или прозрения — стала болеть голова.

64

Даже беспорядочное чтение позволяет делать находки, которые оборачиваются открытием. Беспорядок — иная ипостась порядка. Мы не умеем считать его, как считываем ноты, однако можем остановиться как вкопанные, озаренные догадкой, что нам подбрасывают, как говорил первый и последний президент СССР, по другому поводу.

Окаянные дни Бунина в попавшемся под руку издании сопровождалась несколькими статьями, в том числе статьей *Горький*. Они были дружны, Бунин с женой несколько лет кряду гостили у Горького на Капри. Большевики были у власти, когда Бунину позвонили и известили, что Горький хочет с ним поговорить. «Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными». Отношения были кончены оттого, что Горький принял большевиков и принял-ся с ними сотрудничать, а для Бунина захват ими России стал незаживающей раной.

Но ошеломил не этот текст, а другой:

«Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, например, полной неосведомленности публики в его биографии... Все повторяют: «босьяк, поднялся со дна

моря народного...». Но никто не знает знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторой; мать — дочь богатого купца красильщика...». Дальнейшее никому в точности неизвестно, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...». Конец цитаты.

Неосведомленность публики в биографии.

В среде вполне буржуазной.

Автобиография, подозрительная по одному стилю.

Соединение образа деда с образом повара в один образ сказочной силы, грубой и нежной.

О-мммм. Сакральный звук.

— Лика, послушайте!..

Голос у меня дрожал от волнения.

Лика, по окончании моего чтения:

— Как будто он знал.

— Кто?

— Окоемов.

— Он не знал! Клянусь.

— Почему вам-то знать?

— Я не знаю, а чувствую. Бывают странные сближенья.

— Берем в фильм?

— А разве он будет?

— Никогда нельзя отчаиваться.

Ноосфера вальсировала вокруг меня и соратницы.

Мой солипсизм переходил все границы.

65

По саду бродила женщина с крепким крупом и такими же плечами, прямо падавшие волосы цвета воронова крыла скрывали часть лица, трудно было разглядеть, молода ли, красива ли. Толян нас не представил, она стояла в отдалении, я кивнула, не задержав взора, она тоже кивнула, на этом наше общение, не начавшись, завершилось. Они сейчас же ушли в Толин дом.

Сад опадает которую неделю, который месяц, который год. День был бессолнечный, но январь дубов и кленов светился как сумасшедший, отчего-то хотелось плакать.

У Толяна женщина, констатировал муж очевидное. Слава богу, хотела я показать удовольствие. Не показала. Что-то помешало. Милкина сестра с подругой, приезжавшие к нам, были девчонки, и мне мерещилось, что утешением Толяну послужит девчонка, а не взрослая женщина. Мы ее примем, мы ее полюбим, мы доверим ей нашего Толяна за ее любовь к нему. Эта, пава с плечами, ни к чему подобному не располагала. Около дома стояла красная японка с правым рулем — она простояла остаток дня и весь следующий, с ночью в промежутке. Я решила, что кто-то пригнал машину Толяну для ремонта. Но следующим вечером пава села в нее и уехала. Машина была ее.

Целый день был отдан привычным хозяйственным делам. Муж чинил забор, я собирала павшие сучья и сгнившие штакетины, чтобы сжечь на костре. Муж разогрелся, махая топором и молотком, снял куртку, рубашку, голый торс заблестел от пота, я залюбовалась им, проэкстраполировав, хоть это было неразумно, что невидимая пава может залюбоваться им также, и тотчас вспомнив случившееся на тусовке — со всеми или со мной одной. Этого не хватало, сердито подумала я и, подойдя к мужу, прижалась к его мокрой спине. Ты что, я потный, отодвинулся он. Я ушла. Муж крикнул Толяну, чтобы помог. Толян появился, тоже с голым торсом, он ходил без майки до глубокой осени. Помог. Потом стоял возле костра, курил, смотрел на огонь. Плечистая пава гуляла в отдалении, изредка нагибаясь, срывая запоздалый цветок и

задумчиво нюхая его. Мы не говорили о ней. Мы вообще ни о чем таком не говорили. Он курил, я подбрасывала ветки, он поправлял костер.

Вечером, когда она отбыла, он зашел к нам пить чай. Был спокоен. Если и смущен, не подавал виду. Рассказал, что полез в интернет, в службу знакомств, по переписке познакомился с женщиной, красивая, в жизни лучше, чем в интернете, но не красивей Милки, кандидат экономических наук, преподает в университете, не в МГУ, а в каком-то другом, с широким кругозором. Я не поняла, была ли эта кандидат или другая, спрашивать не стала. И муж не стал. Он только укорил: что ж не представил. Толян улыбнулся: рано, не заслужила. Мне понравилось, что он улыбнулся. Душевная кома, в которую человек впал, явно отпускала. Он возвращался к себе, к нам, к жизни. Пиком проклятья был день, когда он сорвал с себя крест и выкинул. До этого ходил к толстобрюхому батюшке в нашу сельскую церковь, плакал, молил о помощи, но какую помощь может оказать толстобрюхий батюшка молодому мужчине, от которого ушла его женщина, — воротился домой Толян неверующим. Широта кругозора — это хорошо, но там, кажется, и широта бедер, хмыкнул мой как будто невнимательный и ненаблюдательный муж и заработал от меня щелбан. Толян опять улыбнулся. Две улыбки за один вечер я положила в карман, где у меня содержались протори, — убытки я держала в другом и не взвешивала, чтобы не знать, что преобладает.

66

ЭЭ не ответил.

Ли́ка уязвила:

— Вы же были единомышленники.

— Единомыслие, Ли́ка, осталось в роте или клане. Единая мысль, одна на всех, работает разве что в исламе, в христианском мире идет война всех против всех, больше скрытая, чем явная, хотя и явная тоже, где каждый выступает со своей мыслью наперевес.

— Ошибаетесь. Общая мысль наперевес вырабатывается в капиталистическом телевизоре не хуже, чем в коммунистическом. Манипуляция сознанием — закон человеческих джунглей. Почему нам не дают сделать неоднозначное кино — потому что требуется однозначное.

— Нам не дают — другим дают. Стечение обстоятельств. Кто бы что ни говорил — личных, а не политических.

— Что-то они бурно стекаются в одну сторону, а в другую — при явном сопротивлении среды.

— Обождите, будет и на нашей улице вторник, — обнадежила я собеседницу.

Ли́ка засмеялась.

— А знаете что? — сказала она вдруг. — Давайте поступим так — вы напечатаете в газете этот ваш текст.

— В какой?

— В *Литерной*.

— Они не возьмут.

— А вы попробуйте. Есть ведь закон о печати, где записано, что газета должна предоставлять свои страницы для опровержения. Вы их опровергаете, значит, закон на стороне вторника.

— Я напечатаю — и что?

— Когда у нас за плечами будет газетное выступление, легче пробить фильм.

— Вы не простились с этой идеей? И готовы пожертвовать тем, что из фильма уйдет эксклюзив, а перейдет в печатную продукцию?

— Эксклюзив мы добудем, у нас в запасе, по крайней мере, два таинственных года войны, которые я надеюсь расшифровать, а так ни шиша, ни эксклюзива, ни фильма.

Меня не надо было уговаривать. Я мечтала о публикации. Меня надо было уговаривать. Я стеснялась этой мечты. Четко выраженный здравый смысл Ли́ки против моей невнятицы — это был сильный ход. К тому же приключилось нечто, раскалившее плиту под моей готовкой докрасна.

Облянский-Облов, давно забывший свое неубедительное журналистское нача-

ло ради убедительного административного продолжения, выступил на страницах отчасти руководимой им газеты в качестве автора. Он разводил манной каши на киселе, рисуя образ бескомпромиссного художника, воевавшего за гуманизм против фашизма, как на войне, так и в мирной жизни, противопоставляя его высокую нравственность моей низкой безнравственности. Он не постеснялся даже привести пример из собственных кратких взаимоотношений с Окоемовым, когда тот зачем-то позвонил в газету, а после не перезвонил, а потом бросил трубку, когда Облов повел себя как раз не вполне доблестно, за что нынче тускло каялся. Подпустив плоско выраженного ностальгического лиризма, о прежних доблестных временах, в какие и я, по его признанию, виделась ему исполненной доблести, он горевал о временах нынешних, когда манок сенсации и спекуляции погубил многих казавшихся ему прежде порядочными типа меня. Он заходил и заходил с этого, казалось бы, болезненного для моей репутации боку. Однако повторы прежних обвинений в мой адрес, на сей раз упакованные в липкую лирическую обертку, оказались не по мою душу. Душа затрепетала при чтении финальных абзацев.

Я набрала номер Лики и зачитала ей.

Абзац номер раз: «Жена (не хочу говорить — вдова) Василиса Михайловна задумала памятник без лица».

В этом месте я вскрикнула раньше, Лика сейчас, позже вскрикнет редактор журнала, к которому я приду.

Абзац номер два: «Окоемов свой облик не тиражировал. Если кто-нибудь пытался его фотографировать, закрывал лицо руками или поворачивался спиной. Одна из многих странностей его натуры».

В этом месте следовал второй вскрик.

Абзац и вскрик номер три:

«Василиса Михайловна — не скульптор, она не могла знать, какой памятник нужен, знала, какой не нужен».

— Памятник без лица?! — поразилась Лика. — Нет слов.

Возможно, Люсичка хотел выразиться в том смысле, что вдова заказала плиту, или стелу, или прямоугольное надгробье, но, со свойственным ему косноязычием, выразился так, как выразился. Бессознательный прямой звук пробился сквозь.

67

Поздняя осень сидела на скамье третьей между нами. Красивость явилась непрошеной — убогая троюродная сестра красоты, разлитой в воздухе. День был луковичный. Бывает такой золотистый лук, с сияющей тонкой кожицей, сладкий, как яблоко, — так золотился сладкий день

Я волновалась, но держала себя в руках. Василиса представлялась мне менее масштабной. Я, должно быть, забыла ее истинные размеры. В длинном фиолетовом макинтоше, с широкими немодными плечами и высокими немодными буфами, в такого же цвета шляпе с большими полями, она смотрелась причудливо. Стиля в ее наряде не было, но был характер. Губы показались густо накрашенными, приглядевшись, я заметила, что в перерывах между затяжками папиросы она покусьвает их сильными прокуренными зубами, потому рот отсвечивал тем же фиолетовым.

Литерная отказала в публикации, невзирая ни на какой закон о печати. Материал поставил в текущий номер редактор толстого журнала, пожаловавшись: вы разрушили для меня последнюю легенду. Разразился шквал звонков. Разные люди судилирядили о том, к чему не имели отношения. А для кого, как не для них, мы пишем — тут содержится неразрешимое противоречие: мы желаем отзвука, а в то же время мерим любое высказывание высокой мерой, оттого высокомерны. Попытаться сделать то, чего сделать не можешь, даже надеяться не можешь, что получится, и все-таки попытаться. Результат — вечная оскомина, вечно кислая мина, и похвалы не радуют, а укоры больше не задевают.

Звонки Василисы обрушили мнимое межуточное состояние. Коротко и грозно она назначила свидание на Тверском бульваре. Я пришла второй, она первой. Она слегка подвинулась, чтобы я села, хотя скамейка была пуста. Она курила папиросу за папиросой. Немного осунулась, но не постарела. Не поздоровавшись, заговорила.

Ты, дрянь, говорила она, покусывая своим желтым свое фиолетовое, зачем не прекращаешь, зачем снова лезешь туда, куда тебе заказано, один раз охолонили, пригрозили судебной, а то и внесудебной расправой, сдрейфила, замолчала и правильно сделала, я успокоилась, что теперь не выкнешь, тебе хватило, но тебе не хватило, ты опять полезла на рожон, что тебе нужно, скажи, стерва, кино тебе все равно не дадут сделать, это я обещаю, тебе деньги нужны, я дам, тебе слава нужна, напиши что-нибудь стоящее, да любое, я тебе сделаю пиар, какого у Орофеева нет, я располагаю средствами, как никто, ко мне на операционный стол ложится с простатой вся верхушка, вся, понимаешь, за исключением баб, у которых нет простаты, но тебя даже это не касается, кто мужик, а кто баба, а мне стоит шепнуть словечко, и завтра же тебя вознесут, а шепну другое, и тебя не будет, исчезнешь, совсем, с концами, и твою мужу скажут забыть, как тебя звали, понимаешь!

Все-таки многое оставалось для меня в этой жизни недоступным и необъяснимым.

У нее был прокуренный голос, а у меня слабость к низким женским голосам.

Вы знали, что Василий Иванович сочинил себе военную биографию, спросила я, или это и для вас неожиданность? Не твоё собачье дело, сказала она, прикуривая новую папиросу от старой. Из нее била прежняя энергия, и я подумала, что смерть мужа никак на ней не отразилась. Я ошибалась. Она внезапно сильно закашлялась и никак не могла прокашляться, а когда удалось, голос потерял силу, сделавшись сиплым и еле различимым. Я больше твоего знаю, почти шептала она, много больше, чего ты никогда не узнаешь, при моей жизни наверняка, пусть даже тебе удалось собрать какие-то бумажки и опубликовать их, что с того, самых важных бумаг тебе все равно никто не даст и не откроет, ты обращалась в ФСБ, дали тебе, открыли, черта с два, не дали и не открыли, потому что по закону личные подробности такого рода могут открыть только по разрешению самого фигуранта, а если фигурант мертв, то наследников, а я единственная наследница, его и его образа, вообще всего, я выясняла у юристов, и я никогда не дам тебе никакого разрешения ни на что, понимаешь!

Фигурант, да еще мертвый, по отношению к мужу задел меня сильнее хамства в мой адрес. А словечко *понимаешь* в ее устах парадоксальным образом взывало к пониманию.

Губы прикусывались все упорнее. Фиолет густел.

Я, знаешь, зачем тебя вызвала, вдруг спросила она. Нет, призналась я. Если до встречи я и конструировала какие-то выгодные для себя объяснения, в ходе встречи они отпали сами собой.

Ты ни звуком не обмолвилась о его последних работах, спасибо, похвалила Василиса, я только не выяснила, держишь ты этот камень за пазухой или такая благородная. При чем здесь камень, возразила я. Она не обратила внимания на мое возражение. Я пришла к тебе с открытым забралом, продолжила она, и жду от тебя того же, тебя погугали, ладно, проехали, это прошлое, оно имеет значение, но не такое, как настоящее, не говоря о будущем, и пока ты ковырялась в его прошлом, полбеда, но если ты позволишь себе залезть в его будущее, тебя ждет беда по полной, понимаешь!

И снова это ее понимаешь звучало до странности родственно, если не по-матерински, то по-дружески, ей-богу. Я ничего не понимала. Что значит его будущее, спросила я, что имеется в виду. Или ты дура, прозвучал ответ, или притворяешься, его будущее — картины, которые он написал и которые принесли ему всенародную славу и будут приносить, народ знает его как гуманиста и патриота и не потерпит изменения статуса, и кто бы и как бы ни стремился его опорочить, выдать за другого, не получится, все будет так, как было, без никаких сумасшедших работ, понимаешь, я не позволю, чтобы кто-то, кому приснилось, что они были, перечеркнул все им достигнутое.

Вы знали, что он показал мне свои сумасшедшие, как вы говорите, работы, углубилась я в самую глубь, мне нечего было терять. Я не знала, отвечала она сипло, я не знала, потому что ничего этого не существует, я угадала, что он опять выкинул штуку, я всегда угадывала, живя рядом, потому что он, при всей своей мощи, был беспомощней ребенка, когда у него бывало в башке такое, что готов был разбить ее об асфальт, и никто тогда не мог поручиться, что из него полезет, то ли дрянь, то ли наоборот, в одну из таких минут он и доверил тебе, и доверился, я же знаю, что для него значило довериться, у него таких доверенных лиц было раз-два и обчелся,

проверял и перепроверял, и кто не проходил проверки, он умел сделать так, чтоб они исчезли. Навсегда, перебила я ее, будто Окоемов по-прежнему был жив и угрожал так же обойтись со мной. Навсегда, обрезала она, навсегда из его жизни, но главное, что с закрытым ртом, исчезали и больше не открывали рта, понимаешь!

Мне снова, как уже было, представилась средневековая пытка, после которой человек не мог разомкнуть уст. Вы схожи характерами, прорезалось у меня неожиданное любопытство. Не твое собачье дело, обрезала она опять, как сиамские близнецы. Хорошо, я постаралась быть как можно мягче, а если у кого-то другой взгляд на эти вещи, вообще другой, если я, положим, считаю, что человеческая драма, в любых проявлениях, не может отвратить, а может лишь вызвать большее сострадание. Мне плевать, она скомкала пустую пачку от папирос, плевать на твой взгляд и твое дамское сострадание, ему живому оно не было нужно, а мертвому тем паче, он терпеть не мог этих ваших нервических штучек, как и я, мы другой породы, мы из действующих, а не наблюдающих, мы из героев, а не пораженцев, победителей, а не побежденных, понимаешь!

Я вспомнила, как он говорил то же самое. Они действительно походили на сиамских близнецов.

Еще один вопрос, сказала я, что с его записками независимого соглядатая? Она только что не зарычала, как разъяренная пантера: какие записки, он тебе сказок понасказывал, а ты все на веру, не поняла, как он шутики с визитерами шутил, как измывался над вами, это была часть его отношений с миром, который он презирал, в отличие от того, который оставался для него святым, понимаешь, а шушера, что вокруг колготилась, получала свое, и ты своей очереди дождалась и тоже получила, и убежала, держа в ладошке, думая, что там ценный камешек, а там стекляшка, он тебе, небось, еще лапши на уши повешал, как пьянь-рвань на него напала, он любил выворачивать штаны швом наизнанку, для кого бандиты, а для него люди, люди, и люди были готовы для него на все, понимаешь, а он все наоборот выворачивал, сочинял, и с независимым соглядатаем ловко сочинил, он ловкий был, он ловил души, ловил и вязал, как мою уловил однажды и насовсем, а теперь она без привязи, как сирота, болтается, но ты в этом ни бум-бум, ты в осколках бум-бум, а в целом нет. Она умолкла и, подумав, добавила: нет, про ни бум-бум я наврала, по правде я достала из его стола и прочла, что ты там соорудила насчет Василия и Василисы, что-то ты в этом петришь.

Она произнесла слово из нашего детства.

Знаете что, давайте обнимемся, сделала я ей неожиданное предложение. Сильным щелчком она сообщила движение по большой дуге окурку, отхаркнула и смачно сплюнула на землю. После чего крепко стиснула меня своими клешнями. А я ее. Это никакой роли не играет, я была, есть и буду свободным человеком в помыслах и поступках, предупредила я, а просто. Она встала и пошла, почти метя сухие листья развевающимися полами своего длинного фиолетового плаща, фигура из другой жизни, со спины еще более могучая, памятник, вроде Тимирязева, всем действующим лицам, героям и победителям в мире, из которого ушли и уходят последние, а остаются нелеченные и неоперабельные простаты в паху и в мозгу, отчего жалкое, слезливое и маломощное сделалось преобладающим. Постойте, крикнула я вслед фиолетовой фигуре. Она остановилась: что еще. Кругом никого не было, и я не слишком напрягала голос. Он был брюнет или блондин, лысый или с шевелюрой, спросила я. После паузы она на весь сквер огласила: он был сумасшедший, а ты вдесятеро.

Почему она взялась говорить мне ты, хотя могла бы не тыкать, я ненамного ее младше. Ее заслонила стайка откуда-то взявшихся молодых людей, а когда они миновали, она исчезла, растаяла в воздухе, как будто ее никогда не было.

Ее муж, если мне не изменяет память, говоря, что по натуре победитель, уточнял, что может быть побежден, столкнись он с кем-то в минуту своего художественного поражения.

69

Я собиралась с силами, чтобы позвонить Лике. Позвонить ничего не стоило. Стоило — разобраться с собой. Встреча с Василисой была узловой. Следовало хорошенько подумать, прежде чем приступить к разговору о явлении Василисы. Горячным бредом повторялось: да знала ли она, земная из земных, пусть и молниеносная, своего сиамского близнеца? Останавливало трезвое: уж ей-то дано было знать побольше твоего. Давило безысходное: что приходил и ушел неузнанным. А если признанный мэтр, кумир, ушел таковым, что говорить о сонме малых, сырых и убогих, чьи миры умерли и будут умирать невоскресшими, как консервные банки, чей срок просрочен, и они валяются в мусорной куче гния. Зачем тогда все? Зачем несчастные, обреченные человеческие существа?

Лика опередила меня. Голос у нее звенел, дрожал и трясся, словно она ехала в трамвае, и трамвай подпрыгивал на стыках рельс.

— Але, вы слушаете, у меня несчастье, муж попал в реанимацию, я приехала, его нет, а комната открыта, не поняла, почему, и тут возникает соседка, мы снимаем комнату в коммуналке, я не говорила вам, и докладывает, что он упал прямо в кухне, из кухни и забрали, счастье, что соседка, и что наткнулась на него, и сообразила сразу позвонить, и счастье, что приехали быстро, только никак не могли определиться с больницей, куда везти, повезли в одну, в другую, время потеряли, это уж его лечащий врач все откровенно рассказал, такой внимательный, душевный, отзывчивый, я прямо облегчение испытала и даже расхохоталась от счастья, какой редкостный доктор попался, диагноз — обширный инсульт, а ему сорока нет, он моложе меня на пять лет, говорила я вам или нет.

Говорила. Она еще добавляла какие-то детали, деталей было много, они повторялись, и повторялось слово счастье, и повторение его жгуче действовало мне на нервы. Она вдруг перебила сама себя:

— Говорила я вам или нет, что во всех синхронах, которые я записала, содержится одно и то же, что на людей, которые пересекались с Окоемовым и хоть в чем-то ему перечили, обязательно сваливалась какая-нибудь, мягко говоря, неприятность, да вы сами должны знать, Оборин сломал ногу, Оробьянова лишили кафедры, Окича бросила жена, Оташук погиб.

С Оташуком было громкое дело. Режиссер художественного кино, он задумал фильм по военным картинам Окоемова: только полотна и за кадром строфы поэтов, от Овидия до Окуджавы, и никаких изысков. Приехал к Окоемому, поделился замыслом. Окоемов одобрил. Они подружились. А когда Оташук показал Окоемому готовую ленту, тот, ни слова не говоря, подал на режиссера в суд и выиграл процесс. Ленту запретили. Схема та же. Оташук впал в депрессию и в депрессивном состоянии попал под колеса случайного *камаза*. Кто-то утверждал, что не случайного, но родня настаивала, что случайного. Как то было связано с наследством или страховкой, я не разобралась, и не разбираюсь.

— Лика, если вы хотите сказать, что ваш муж попадает в этот скорбный список, то я скажу вам, что я жена хана Батыя.

Не знаю, откуда вывернулся Батый. Не лучший аргумент в споре, которого, собственно, и не было.

О Василисе я не обмолвилась ни звуком. Не до Василисы было.

Я могу внезапно расхохотаться от счастья, говорил мне Окоемов осенью, когда был жив.

Дикость.

70

Или женщина перекидывалась, или приходили разные женщины. Плечистая пава с темными волосами постепенно превратилась в мелкую крашеную блондинку сливочно-розового цвета, с низким тазом, который стремилась приподнять за счет высоченных каблуков, при каждом шаге проваливавшихся в грязь, когда шла от калитки к дому и шел дождь. Скоро она остригла крашеные пряди, закоптимась лицом,

вытянулась в длину и стала напоминать копченую селедку. Я наблюдала превращения с недоумением, раздражением и неприязнью, всего понемногу. Мы понимали, что Толян излечивает свою застарелую любовь-болезнь, и надо радоваться. Я радовалась. Как-то она быстро иссякла, радость. Я ругала себя за чистоплюйство, говоря, что меня не касается. Мы с мужем, изредка обсуждая явление гостей, оба говорили, что нас не касается. Но, помимо нашей воли, действовали какие-то санитарные нормы, особенно когда обнаруживались следы женского присутствия у нас в ванной. Да ведь взрослый мужик, и жизнь у него соответственно взрослая, а мы сбоку припека. Ни с одним из перевоплощений нас не познакомили. Мясо для Милорда приносит, поведал Толян мужу, когда селедка прошествовала мимо наших окон как-то поутру, и муж бестактно спросил: а это что за чудо-юдо. Толян любил Милорда наравне с Милкой. Просто Милорд его не бросил, а Милка бросила, и на какое-то время Толян про Милорда забыл, и теперь виноватился перед ним, а что ему носили мясо, несомненно, требовало встречной благодарности. Мы должны были Бога молить, что так, а не придирайтесь по пустякам.

Тут она прибирала у вас, приступил Толян к рассказу, и нашла на чердаке коробку из-под обуви с мусором, а в ней, среди бумажек, кассета магнитофонная, не знаю, нужная ли, нет ли, Пашка увидел и говорит, дай, говорит, займы, мне как раз музыку переписать, а я куплю и привезу новую, но я решил проверить, пустая или вдруг что нужное, хотя если нужное, не пылилось бы, вы там с каким-то мужчиной разговариваете, я, на всякий пожарный, не дал. Толян всегда тщательно пересказывал ерунду. Это прибавляло ему самоуважения. Я слушала вполуха, поскольку важное заключалось в первой фразе: тут она прибирала у вас. Толь, спросила я, а с какой стати она у нас прибирала? Она прибирала у меня, конкретизировал Толян, и захотела то же самое у вас, пропылесосила, пыль обтерла, белье в стиральной машинке перестирала, вы разве не обратили внимания? Я не обратила. Давай сюда, забрала я картонную коробку с тем, что было моим ненужным архивом, я не умела и не любила хранить старое, совала на чердак и не вспоминала. Кассету тоже взяла. Принеси твой магнитофон, у меня нет, я послушаю, велела я Толе, и он отправился за магнитофоном.

Как тебе это нравится, обратилась я к мужу, какие-то неведомые тетки приходят в дом, лезут на чердак, мало ли куда они захотят залезть. Пылесосят, стирают, подхватил мой муж, ты лучше не ворчи, а скажи спасибо, а лезть к нам все равно некуда и незачем, разве что старые тряпки или старые пленки уворовать. А книги, воскликнула я. С какого бодуна, задумался мой муж, с какого бодуна ты заговорила про книги, совсем из ума выжила, книги давно никому не нужны. Мне стало совестно, что я выжила из ума и выпадаю из реальности, и я примолкла.

Толян принес магнитофон, кстати, крутой, таким путем образовалось занятие на вечер, вместо тупого телевизора, где все хохочет как резанные, чего они там хохочут, кто бы поведал. Уйдя к себе наверх в библиотечку, я включила магнитофон. У мужа внизу на всю катушку работал большой телевизор, и это помешало ему услышать крик, который вырвался из меня, как гудок из парохода. Я плавала и знаю силу паровой сирены.

Расчеловечивание — вот что главенствует.

Расчеловечивание — вот что главенствует, и не первое десятилетие.

Расчеловечивание — вот что главенствует, и не первое десятилетие, однако с каждым последующим процесс все убыстряет ход и увеличивает масштабы поражения, и если я скажу вам, сударыня, что на войне была человечность, а в мирное время расчеловечивание, вы не поверите, как это, на войне и человечность, но так, так, там в вас летела пуля, или попадал осколок, или настигал снаряд, и к вам бросался боец-однопольчанин, и бросалась санитарочка, и они выносили вас на себе, и перевязывали, и обтирали влажной марлей рот, поскольку пить нельзя, а все горит, и вы готовы потерять сознание, а вас уговаривают потерпеть и не умирать, а выжить, и спасают вас со страшной силой, так что в вас переливается их сила, и вы терпите изо всей мочи и не умираете, и в походном госпитале у вас оттяпывают руку или ногу, без наркоза, а дав выпить спирта двести грамм, и вы опять терпите и не умираете, потому что хирург человек, и кругом люди, и они хотят, чтобы вы остались живы, и вы не можете подвести их, что бы вам ни говорили слюнтявые мальчики и сопливые девочки, которых сегодня телевидение посылает на другую войну, и они красочно расписыва-

ют чьи-то подвиги или чьи-то мерзости, когда спасают друга и тут же его закладывают, или пропускают противника на КПП за тридцать сребреников, или продают оружие тому же противнику, и все лгут, лгут, потому что ложь в основании этой несправедливой войны, и ложь в основании их якобы документальных репортажей, ложь и расчеловечивание, укоренившиеся не сегодня, годы и годы понадобились, чтобы пышным цветом расцвело повсюду, что у них, что у нас, но на них мне насрать, мне там не жить, а жить здесь, а жить невозможно, потому что всех, от первого министра до последнего охранника, всех одолела алчность, когда движитель единственный — личный успех, а не помощь другому, не любовь к другому, некорыстная и нерасчетливая, никто, никто из вас не знает такой любви, как слепой не знает света, а глухой не знает пенья птиц.

О-мммм, он говорил о любви!

Я не помнила, чтобы он когда-либо употреблял это слово.

Но это был он, страдалец за все про все.

Я слушала, затаив дыхание.

Люди тратили жизнь на то, чтобы вписаться в рамки.

Люди тратили жизнь на то, чтобы вписаться в рамки, не зная, что настоящий трагедийный путь человека — выпасть из рамок, трагедийный, потому что одинокий, ледяной, и тот, кто скован льдами, — откуда вам, тепленьким, как телятам в хлеву, знать про такого человека, а быть может, он тоже хочет человеческого тепла так же страстно, как хотел ребенком, да нет ему такой материнской любви, чтобы согрела и растопила льды.

А Отцовская, раздался мой перебивчивый голос. Я произнесла слово отцовская явно с большой буквы. Он не понял или не захотел понять, выкрикнув с жесткой силой: а если отца нет и не было! Отец всегда есть, тихо возразила я, должно быть, имея в виду оба смысла. Он прогромыхал:

Да расчеловечивание и оказалось возможно потому, что Его нет или Его нет с нами, разницы никакой, Он отказался от своих отцовских обязанностей, увидев, что это плохо, вы же помните, что когда Он создал твердь, и воду, и звезды, то увидел, что это хорошо, а когда расплодившиеся люди принялись жить якобы по Его заветам, кто по заветам, кто нет, но все явственнее нет, лживо утверждая, что живут по заповеданной Им свободе, Он увидел, что это плохо, и они Ему не понравились, и Он сам стал не рад, что затеялся с человеческой семьей, которая оказалась так дурна, и Он пришел в отчаяние, и Он оставил эту семью, возможно, с мыслью создать другую, где будет хорошо, так часто поступают в подобных случаях, а нас разлюбил, и мы, оставленные, понеслись туда, куда понеслись, без Его защиты и покровительства, без любви, вот и вся разгадка, сударыня.

Личная модель внятно проступала сквозь общую, где слово Он тоже звучало с большой буквы. Мурашки бежали по коже.

Я начисто забыла, как однажды, именно корыстно и расчетливо, я, несмотря на запрет, все-таки решила включить в сумочке диктофон, а потом, дома, не бросилась к столу, чтобы записать, поскольку не запоминала, зная, что техника записала. Эпизод стерся из памяти как не бывший. И кассету сунула в коробку, не сберегая, как лишнюю. Его ли волей, подавлявшей мою, было продиктовано, моей ли стыдливостью, ушедшей в глубины подсознания, за то, что нарушила запрет. Эпизод, повторяю, стерся, кассета, слава богу, не стерлась.

Будь на мне шляпа, я сняла бы ее.

Нельзя быть в шляпе, присутствуя при финальном акте человеческой трагедии.

Обыденно и просто, путем коробки с магнитной лентой, Толян влип в основной сюжет моего повествования. Или мы с Окоемовым и др. влипли в Толин сюжет. Но все вместе мы — путем Окоемова — не намеренно, а невольно влипли в вечный сюжет, где действовали расчеловечивание и богооставленность, уроки живописи как уроки любви и смерти, теа сипра каждого, кто приходил когда-либо на эту землю, Боже, прости меня за амбицию.

Из Москвы я привезла Толяну другую коробку из-под обуви. Новенькую. С новенькой парой ботинок внутри. Мягкая черная кожа с блеском. Италия. Подарок тебе от меня, сунула, возьми. Обошлась без пояснений.

71

Игрушка лежала посреди дороги. Точнее, посреди ворот сбоку справа по ходу движения. Ворота нависали над ней, отсекая от любопытного взора заднюю часть игрушки и выставив на обозрение переднюю. Но обзревала, скорее, она. Передние лапы вытянуты, голова слегка откинута назад, поза, удобная для обозрения. Походило, будто она смотрит спектакль. Улица как театр — все правильно. Но кто кинул или забыл этого милого лохматого зрителя-зверька? Зверек повернул голову в одну сторону, потом в другую — Боже, да это не игрушка, а живая собака. Я рассмеялась. Палевая прелесть, помесь бигля с дворнягой, а может, чистый бигль. Устроился, как в ложе бенуара, и сколько спокойного достоинства в этом разглядывании улицы с высоты примерно в тридцать сантиметров. В другие дни я видела моего бигля степенно гуляющим поблизости от его ворот. В какой-то из вечеров сцена в театре повторилась, и опять я смеялась, идя по улице и, верно, производя впечатление не совсем нормальной. Чей это бигль, настолько умный, что ему доверяют самостоятельные прогулки, или он уличный — я боялась проявить к нему слабость, чтобы не брать на себя ответственности, а сама возбуждалась всякий раз, как приближалась к отмеченным воротам, а как видела, отворачивалась. Дома свой зверь, он не потерпит второго. Это четвертая собака в моей истории, ничего специального, посчитала, и вышла четвертая, а привязаться что к собаке, что к человеку, одинаково, и терзает, что нет стольких душевных и физических сил, чтобы взять ответственность за всех. Четвертую, Ликиного такса, я так никогда и не увидела.

Обогнала стайка девочек-подростков. Смеялись, щипались, перебежали дорогу дружка дружке, одна выкрикивала: а я хочу розовый *бентли*. Другая чуть не давилась отвращением: дерьмо — твой розовый *бентли*. Может, розовый *бентли* был из какой-то песенки, знаковой для них, как розовый фламинго. Первая наступала: ща как дам тебе в мозг и вырублю. Я подумала: поглядеть, как она будет давать в мозг, когда дадут в лоб. Они шутили. Их переполняла не вражда, а дружба.

Белый *мерседес* погудел мне. Я не пересекала ему дороги. Он окликал меня. Должно быть, ошибся. У меня не было знакомых белых мерседесов. Он остановился, из него вышел человек. Человек подошел ко мне. Вы не можете сесть к нам в машину, спросил он. К вам в машину, с какой стати, удивилась я. Сядьте, приказал приезжий, я вам все объясню. Он был без лица и характера, бесцветный, как школьная промокашка в моем детстве, яркой была только черная грязь под ногтями, как от машинного масла. Мне мама запрещала садиться в машину к незнакомым, отрезала я. Давненько это было, скучно констатировал промокашка. Я возмутилась: не давнее, чем вас, сопляка, секли за то, что пристааете к взрослым женщинам. Хорошо, я изложу вам суть дела прямо здесь, переменял позицию промокашка, у нас в машине труп, мы хотим, чтобы вы стали понятой. На улице, кроме нас, никого не было. Правила поведения в такой ситуации для меня были туманны. Стайка девочек-подростков упорхнула, а другая никакая не появилась. Испугаться я не успела, иначе испугалась бы. Промокашка засмеялся, и что-то человеческое прозвенело в его смехе. Это была шутка, стер он гримасу смеха с лица, хотя могла быть такая же реальность, как наша с вами беседа, а теперь серьезно: мы следили за вами, и мне поручено вам сказать, что слежка снимается, поскольку поступил отказ от претензий к вам. Чей отказ, какая слежка, пробормотала я. Вы знаете, а не знаете, угадайте с трех раз, но советую ни с кем угадками не делиться, ни с вашей режиссершей, ни с вашим супругом. Закончив тираду, человек сел назад в машину, и она пропала из виду так же внезапно, как появилась.

Ни хрена себе, за мной следили, да еще на белом *мерседесе*, как в детективе, которые пачками показывает наше ТВ. Детский восторг захлестнул. Но, возможно, и это была шутка. Восторг улетучился, уступив малоприятному, почти гадливому чувству. Промокашка упомянул режиссершу и супруга. Неприятно знать, что для кого-то твои отношения и действия прозрачны. Подобие Страшного Суда. Только намерения судейских могут быть нечисты, как черная грязь под ногтями в белом *мерседесе*. У посланца то ли Василысы, то ли напрямую ФСБ. Если это они, то Окоемов, точно, имел отношение к ФСБ, пусть эти структуры в разное время именовались по-разно-

му. Его деятельность могла протекать где угодно: в заградотрядах во время войны, в СМЕРШе, в стукачах после войны, в агентуре в 60-х.

Фээсбэшник-художник. А почему нет, если у нас есть фээсбэшник-президент.

ФСБ — фсемирная служба бухты-барахты.

Фсемирная служба безбашенности, когда башню свернуло. Как условие или как результат.

Фантазии слоновой башни.

Викентий, или как там его звали по-настоящему, позвонил с известием, что у него нет никаких данных о военном периоде жизни Окоемова. Наступила пауза. Нет, не потому что нет, продолжил он, а потому что все засекречено, я по-честному старался, и до свиданья. До свиданья, выдавила я, не успев разобраться в том, что я чувствую на самом деле.

Если он и служил им на каком-то этапе, из романтики, слепоты или из страха, то определенно порвал, прозрев, и укрепившись, и переродившись. И может быть, за перерожденного дают больше, гораздо больше, чем за урожденного. Опыт гражданского страдания, если он перерождается в художественное, дает великие плоды. Примерно как у Достоевского, смертную казнь над кем отменяют по указу царя в последнюю минуту, и революционер в нем сгинет, а великий художник народится.

Перерождение — преображение.

72

Дорога к дому была усыпана желтым. Желтым светились деревья. Медовое, янтарное бабье лето висело в воздухе. Желтый цвет — цвет Ван Гога. Ячичница катастрофы, по Мандельштаму. Важен контекст. Катастрофа в этой местности разразилась двадцать лет назад, ее приметы никуда не делись, я помню их наперечет. Расплавленная, переплавленная, катастрофа преобразилась в гармонию, а тревожно по-старому. По-новому тоже. Преображение входит в пайдею, в культуру жизни, овладение которой занимает целую жизнь, а в итоге реальнее не победа, а поражение.

Мальчик с длинной шеей и сам, как коломенская верста, смотрел на меня глазами-вишнями, похожими и не похожими на Толины. Розовый пушок на нежных щеках, тонкий рот на замке, плети юных рук, повисших не безвольно, а свободно. Из-за его плеча выглядывала девочка, с такими же глазами-вишнями, и тоже высокая, но пониже мальчика, худая и гибкая. Третьей стояла женщина, открывая секрет, чьи вишни у мальчика и девочки. Она и сама походила на девочку, длинная, худощавая брюнетка, с челкой до глаз, с редкими серебряными нитями в ней, и лицо было почти девичье, хотя слабые морщинки пересекали его в разных направлениях, нисколько не портя. Здравствуйтесь, приветствовала она нас, и звук ее голоса был мягок и чуть приглушен. Брат и сестра сказали то же самое. Толян стоял в дверях, с высоты осматривая свои ряды, как полководец осматривает полки. Тоня, представилась женщина и назвала брата с сестрой: Максим и Катя. Мы с мужем назвали себя. А я знаю, призналась женщина. Так и мы знаем, откликнулась я. Я увидела, что Тоне приятно наше знание о ее семье. Толиной семье.

Это был сюрприз, что она появилась. Они не видали друг друга десять лет. Елки, воскликнула я, войдя в наш дом, до чего же этому Толяну везет, Милка — отличная баба, так и Тоня не хуже. Потому и везет, что сам не хуже, философически заключил муж, в одну минуту забывая все разногласия с Анатолием.

Ужинали, как водится, домами. Накрыли опять на большой веранде. Погода позволяла. В комнатах затопили, веранда не отапливалась. Свечерело. Два шара на двух половинах веранды создавали два круга света, сплошная темнота за сплошными стеклами порождала естественную границу, отделявшую от внешнего мира, наш был внутри, как яйцеклетка в яйце, было ощущение уюта, покоя и безопасности. Тоня нанесла гостинцев — овощей со своих грядок, нашего обожаемого сала и меда, не обошлось без самогона, не столь ароматного, как у Милкиных родителей, но все же. Максим сидел прямо, как доска, вот как можно быть настолько прямым, хоть и в юношеском возрасте, природа или занятия спортом, я не расспрашивала, не хотелось расспрашивать, как в приличных гостях, формальный интерес на минуту, чтобы тут же забыть. Давно не хотелось формальных вопросов, формальных восклицаний,

формальных похвал, предпочитала молчать, ну, может, иногда улыбнуться. Катя, сидя рядом с Максимом, время от времени заливалась смехом, он ли тайно смешил, или вспоминала что-то смешное, ни я, ни муж не влезали. Тоня, как и я, иногда улыбалась, подкладывая кусок шашлыка или печеной картошки мужу, детям, нам, не зажатая, легкая, и было ясно, что детей в этой семье никто не жучит, предоставив им естественное право вести себя, как хочется, и никакой двусмысленности ситуации не возникало, что вот он, ее муж, а их отец, бросал их на десять лет, и жил в другом месте с другой женщиной, а теперь они спокойно, немного посмеиваясь над чем-то своим, едят в этом другом месте шашлык с печеной картошкой, и все, в общем, неплохо. Где Тоня этому научилась и детей научила? Я удивлялась Милкиному такту — Тонина простота и интеллигентность были не менее удивительны. Толян, в новых ботинках, вел себя невозмутимо и ласково. Мой муж слегка острил, как всегда, когда выпьет. Круг света над нашим овальным столом обеспечивала плетеная корзина. Муж купил в Таиланде. Она предназначалась для фруктов, объемистая, круглая и плоская. Мы оба любители плетенки, и муж сразу сообразил, как приспособить пару корзин вместо абажуров. Плетеная мебель занимала один угол веранды: плетеный диванчик, пара плетеных кресел, маленький плетеный стол и плетеное кресло-качалка. Мы приобрели их, едва закончилась советская власть с ее дефицитом всего и вся, и вместо социализма наступил капитализм с его мелким бизнесом, как мелким бесом, устремившимся в свободные щели. Плетеная мебель продавалась по всем главным автомобильным трассам к Москве и от Москвы. Где-то по дороге мы ее увидели, и выяснилось, что оба грезилы о ней в молодые годы, с собой были деньги, мы их тут же потратили, сделавшись обладателями грезы. С тех пор прошли годы, стало понятно, что мебелишка хреновая, но я умею вызвать в себе первоначальное чувство, с каким мы на нее смотрели, на дороге и потом на даче. Мы двинулись с Тоней в полутьму, сели в плетеные кресла, и Тоня сказала: я смотрю на него и вижу чужого человека. Почему, в чем он чужой, осторожно спросила я, не зная, должна ли спрашивать. Я не могу объяснить, подняла Тоня острые плечи, я не узнаю его, он другой. Как вода тонкой струйкой течет из крана, так полилась ее поэма о том, как все у них было. Он был мягкий, как воск, из него можно было лепить, что угодно, ласковый, как теленок, она чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Я не очень поняла, как сочетались воск, теленок и стена, вероятно, она что-то пропускала, и они наверняка сочетались. Так миновало семь лет. С разницей в два года были рождены дети. Он души в них не чаял. А потом образовалась красавица Милка, продавщица из продуктового, и он потерял голову. А вы кто, спросила я. Я бухгалтер, ответила она. Я не это имела в виду, а то, что и вы красавица, пояснила я не затем, чтоб ее утешить, а так оно и было. Я никогда-никогда, ни единой минутки не верила, что он может меня разлюбить и полюбить кого-то другого, настолько я ему доверяла, настолько мне с ним было хорошо, он ведь очень искренний, и все у нас было искреннее, исповедовалась она. Он долго не уходил, метался между ними двумя, пока Милка не приказала: хватит, выбирай, я или она. И он выбрал Милку. Я хотела спросить: как вы пережили, — но она опередила меня: если б не дети, я бы умерла, мне нечем и не для чего стало жить, я болела, исхудала до состояния щепки, и только через три года первый раз услышала комплимент, а до того нет. А кто-то, вместо Толи, не нашелся, хотя бы тот, что выступил с комплиментом, полюбопытничала я. Нет, почесала она бровь, не получила, никого, кроме Толи. Несмотря на такой долгий срок, что он не с вами, настаивала я. Несмотря, подтвердила она. А что значит, что он чужой, вернулась я к первой теме. Она приподняла худые плечи и беспомощно опустила. Она была так хороша в эту минуту, в полумраке, со своим девическим взволнованным лицом и длинной девической челкой, что, будь я Толяном, я бы к ней непременно вернулась.

Толян, давай выпьем за твою Тоню, обдумав каждое слово, возвратилась я к столу. Давайте, засиял он. Она, с серьезным выражением, подняла рюмку. Мой муж радушно разрешил: живите у нас, сколько хотите, вот сколько хотите, столько и живите. Тоня коротко взглянула на своего бывшего мужа, он в этот момент тянулся за помидором. Она перевела взгляд на моего бывшего мужа нынешнего: а работа, а зарплата? Какая у вас там зарплата, осведомился мой муж. Примерно сто долларов, с достоинством подсчитала Тоня. Ты что, не найдешь жене работу на сто долларов, обратился муж к Толяну. Толян приосанился: и покруче найду, она классный бухгалтер. Мы выпили.

Максим пошел за тортом, который дожидался своей очереди в холодильнике.

Они с Катей уписывали большие куски, как маленькие, а я, глядя на них, бездарно провидела, каких синяков и шишек наставит им жизнь прежде, чем юная кожа сморщится, глаза потеряют блеск, волосы начнут редеть, а ожидание счастья обернется житейской прозой. Жестко жизнь.

Тени на веранде образовали причудливые формы, в каких таяли вчера и сегодня.

73

Подруга Анна, заглянувшая на часок отдать копеечный долг, бросилась на итальянский диванчик с несчастной физиономией: ты знаешь, мне принесли пленку, я была в гостях, хозяева снимали на видео, говорили, как замечательно выгляжу, а посмотрела — ужас, ужас и ужас, никогда бы не подумала, не знаю, что с этим делать. Я собиралась сказать: ужас, но не ужас, ужас, ужас, и избавиться от этого нельзя. Не собралась. Вместо этого сказала другое: Аня, у всех одни и те же проблемы, если не сейчас, то скоро, и у меня такая же, фишка в том, что мы видим себя внутренним взором, а там то, какими мы себя ощущаем, девочками и мальчиками, а когда зеркало или видик, внезапно застав, показывает нам нас такими, какие есть, мы испытываем шок, это нормально, но парадокс, и потрясающий, заключается в том, что те, кто нас знают, и не только знают, а любят, видят нас такими же, какими видят нас наши внутренние очи, поверь, это правда.

Я не врала. Я говорила то, что есть. Кто мы и куда идем — тайна, сопряженная с нашим старением, в котором не одно умирание, а и преображение. Допустим, мы себя обманываем. Допустим.

Дальнейшему разбегу мысли помешала лобная кость. Мысль уперлась в нее и застряла.

Анна раздумчиво пробормотала: да вроде бы им резона нет врать, моим друзьям, и если им не так противно глядеть на меня, как мне, ты, наверное, права, и все равно я не знаю, что делать. Не смотреть в зеркало и не смотреть видики со своим участием, выписала я рецепт, помнишь, как артистка Бабанова, с ее обворожительным голосом и обворожительным лицом, перестала сниматься, перестала играть, не выходила из дому, занавесив окна, чтобы не видеть себя при дневном свете, и примерно так же поступила Гарбо, удалившись от людей на сорок лет. Меня явно повело не туда.

Санек, обратилась я к своему другу Оперу, сидя напротив него через час в кофейне на Новинском, Санек, ты у меня первый умник, ответь, будь любезен, на очень важный вопрос: у меня одно и то же лицо на протяжении лет, что ты меня знаешь, или нет. Глупее вопроса нельзя было придумать. О каких летах ты говоришь, воскликнул умник Опер, когда оно у тебя разное на протяжении не лет, а дня. Опер, вцепилась я в него, еще раз, и твердо, меняются ли у меня лица, ну, конечно, невозмутимо откликнулся Опер, а разве у меня одно и то же лицо, ты посмотри, посмотри внимательно и сравни с тем, что видела в последний раз. Я посмотрела. У Санька было другое лицо. Мы — художники, впаривал он мне, это пускай обычная публика не сечет, считая, что как Иван Иванович явился вчера, так явится и сегодня, и завтра, а мы же с тобой видим и понимаем, что в Иван Ивановиче тыща Иван Ивановичей, только вовне это не пробивается или пробивается скупно, скудно, прячась в глубинах Иван Ивановича, но зрение некоторых из нас, художников, устроено таким образом, постоянно или спонтанно, что в каких-то острых случаях внутренняя проекция вылезает наружу, и мы видим *перекидчика*, то есть замечаем, как человек перекидывается, любой, потому что нет ни единого существа, которое раз и навсегда застыло в своих внешних или потаенных очертаниях, ну да, время само по себе делает свою работу и изменяет очертания, но это и дураку очевидно, а вот то, что такая работа совершается с человеком поминутно, и он сейчас великодушный, а через минуту злонравный, или с тобой великодушный, а со мной злонравный, и это все равно как с тобой блондин, а со мной брюнет, такие вещи человечеству в его массе пока не открылись, откроются попозже, когда дойдут руки, пока что занятые другим, а пока человечество занято другим, оно посылает разведчиков в эту и иные сферы, и первые разведчики — художники, потому что художественное воображение существует не

просто так, а осуществляет порученную ему миссию: вторгаться туда, куда не дотягивается более примитивная субстанция, рассудок, так что да, все так и есть, человек-перекидчик соединяет наше нескончаемое неведомое прошлое с нашим нескончаемым неведомым будущим через наше конечное неведомое настоящее.

Меня била лихорадка.

Он произнес слово, которое я никогда не произносила вслух.

Саня, Саня, Окоемов был перекидчик, прошептала я, я никому об этом не рассказывала и не писала, считая, что меня сочтут безумной, но когда прочитала, что его вдова водрузила на могиле памятник без лица!.. Что-что, переспросил Саня. А тебе не попадался журнал с моей публикацией, перебила я. Саня отрицательно покачал головой. А еще друг, укорила я его. Слушай, какие публикации, взорвался он, я разворачиваю новое дело, открыл свою компанию, Опер и Ко называется, изготавливаем полиграфическую продукцию по заказам, от гламурных журналов до спичечных этикеток, кстати, сейчас идет обалденный заказ, выйдем, наконец, в ноль, после чего надеюсь на прибыль, потому что до сих пор работали в убыток, кручусь как заводной, удача, что сегодня вырвался, а ты говоришь, публикации. Ты же художник, Опер, потрафила я его самолюбию. С пяти до семи утра, в высях, в бане на втором этаже, живо откликнулся он. Что с пяти до семи, не поняла. Художник, разъяснил он, с пяти до семи в высях, с семи на землю, в дождь, и понеслась, а роман скоро дам, 800 компьютерных страниц, и ты думаешь, что у меня одно и то же лицо, когда я работаю над спичечными этикетками и когда над романом, надеюсь, ты так не думаешь.

Я не думала.

Значит, памятник без лица, подытожил Опер, это круто. И засмеялся: а был ли мальчик?

Я не стала говорить ему о встрече с Василисой. И о белом мерседесе не стала. Как будто это были не факты, а фантазии, какими я могла делиться, а могла не делиться. Меня вдруг заинтересовало, а как бы выглядел Санек на той тусовке, где всякий перекинулся по-своему. Он отсутствовал на ней по чистой случайности, а было там ему самое место, я не сомневалась. Было же оно мне, и даже моему чистому мужу — почему не Саньку.

Фантазийная девочка, говорила мне моя мама.

Дома, по сложившейся привычке последних дней, читала Бунина. На странице 199 восьмого тома прочла: «У Чехова каждый год менялось лицо».

74

Муж Лики умер через неделю, так и не выйдя из реанимации и не придя в сознание. Я слушала зареванную молодую женщину, сидя напротив нее, как в воду опущенная, в той же кофейне, где сидела напротив Санька две недели тому, летя, как воздушный шарик. Лица плакала, не вытирая слез, слезы высыхали сами собой, она отвлеклась на другое, увлеклась, почти смеялась, забывая, и снова начинала рыдать, вспомнив. Мне знакомы эти состояния, когда большая беда внезапно исчезает из памяти, точно при каком-то повороте черное слепое пятно на месте картинки, была и исчезла, однако минимальное движение, и на месте черного пятна восстановленная картинка, как была, так и есть, и ты осознаешь, что есть жуткая реальность, которая отныне никуда не денется. Может быть, мозг так лечит себя, пользуясь хотя бы секундной передышкой, во сне или наяву, чтобы не сгореть от невыносимого перенапряжения. Он такой молодой, моложе меня, причитала Лица, ну да, у него было давление, а он уговаривал меня, что организм здоровый, справится, упрямый, как не знаю кто, а когда я приставала, говорил, не будь занудой, и я отступала, потому что не хотела быть занудой, мы же товарищи с ним по жизни, я не знаю никакой другой пары, кто жил бы так, как мы жили. И вдруг без перехода: я буду, буду снимать это проклятое кино, во что бы то ни стало, что бы ни было, я буду, я не сдамся, ради нас двоих, он верил в наш фильм, я не могу его подвести и я не подведу.

Лица, я встречалась с Василисой, сказала я. Да вы что, и молчите, давайте, пункт за пунктом, велела Лица, и глаза ее загорелись. Я дала, пункт за пунктом. Исключив один — о многообразии ликов. Лики, по-прежнему утаенные от Лики. А что за картины, о каких картинах речь, цепко ухватилась она за новую для себя тему. Я дала и это. Мне казалось, чем больше я даю, тем больше отвлекаю Лику от ее беды.

Но в какой-то момент поймала остекленевший взгляд, сквозь который ничего не просвечивало. Картинка опять сместилась, она видела и слышала только одно: что любимого человека нет и никогда не будет, а все прочее — песок и песок, намытые временем песчаные холмы, под которыми погребена любовь и жизнь. Лика, я взяла ее за руку, Лика, девочка, сейчас это невозможно представить, и вы простите меня за то, что я говорю, но вы будете счастливы, я вам это обещаю, вы будете любить его, и любить еще, и вас будут любить, и вы изведаете много чего, о чем сейчас и помыслить не можете, за что будете любить жизнь, хотя она такая сучка. Сучка, сучка, подхватила Лика с жаром, услышав только это, и я не могла ее судить, зная, что и остальное она услышала, не фиксируя, нечем фиксировать, когда все сосредоточено на невосполнимой потере. Люди, теряя близких, теряют часть себя не фигурально — буквально, потому что их обволакивают общие волокна, про которые мы мало что знаем, а они есть реально, и когда врываются, это приносит ни с чем не сравнимую боль. Как Толяну, хоть Милка и жива.

Сказать вам, почему Василиса не желает ни нашего кино, ни открытия его последнего периода, неожиданно спросила Лика, потому что сама удачно вписана в эту реальность и изо всех сил старалась и старается вписать его, мы же не знаем, какие грозы-угрозы между ними случались, мы видим только, что она не покладая рук трудится над тем, чтобы усовершенствовать его посмертный облик, сгладить до гладкости, чтобы как знамя реализма и лояльности, чтобы не выкинули из Кремля и Большого театра, а чтили и чтили, в конце концов, речь не только о наследии, о наследстве, и женщине не нужны от мертвого осла уши, а нужен максимум от мертвого светила.

Я не ожидала столь жесткой тирады от решительной, но толерантной Лики. Я вспомнила деление Опера: великодушный и злонравный — в зависимости от ситуации. Он был прав. А я виновата. Вечная дихотомия. Чувство вины за все и вся, и за кончину мужа Лики тоже. Из-за меня она втянулась в эту историю, муж ее реально мог попасть в скорбный список окоемовских жертв, а я — жена хана Батыя, пусть это мистика, и я съехала с колес.

Лика встала. Я еду к матери в Эстонию, сообщила она, потом в Израиль, у меня там старик родственник, мудрец, поищу у него утешения, не возьмете моего такса пожить. Куда же, Лика, расстроилась я, мой пес сожрет вашего в мгновение ока. Ладно, махнула она рукой, отдам кому-нибудь, вернусь, позвоню.

Она стала рыться в сумке. Я тронула ее за кисть: не надо, я заплачу. Она перехватила мою руку: мы будем делать фильм, я добьюсь, чтобы ЭЭ меня принял и вытяну из него добро, и мы с вами запишем синхроны, где вы в камеру расскажете все, что до сих пор утаивали.

Она двинулась между столами и стульями, тыкаясь, как слепая. Я смотрела ей вслед. Ее острые пряди, показавшиеся опущенными и привядшими, торчали в разные стороны так же воинственно, как прежде.

Подошла официантка, я расплатилась и вышла на улицу.

Холодный осенний ветер оголял деревья, гнал по асфальту обертки и пластиковые бутылки, задирали широкие женские юбки. Женщины прятали носы в модные пашмины и высокие воротники, прикрывали подбородки ладошкой в перчатке, мужчины, отвлекаясь на мобильные разговоры, как и женщины, отворачивались, вставали спиной к ветру либо шли, не обращая на него внимания, красные или бледные, энергичные или опустошенные.

Сучка ты, обратилась я мысленно к жизни, вправду, сучка, извини.

75

Тоня уезжала. Вместе с детьми.

Мы стояли у колодца. Я в куртке-ветровке, она в домашнем коротком халатике, с длинными голыми ногами, обутыми в шлепанцы. Мы обменивались незначительными фразами, постепенно приобретающими все более значительный характер. Не для кого-то — для нас двоих.

— Не мерзнете?

— Да нет, у меня и Катюха до ноября с голыми коленками ходит, а Максим и вовсе в майке.

— Что мало побыли?

— Хватит, погостевали.

— Что-то не так?

— Так. На работу надо. Максиму ладно, у него практика, а Катя школу пропустила.

— Толя хорошо к вам относился?

— Хорошо. Поехали на вещевого рынок, он денег дал, купили Кате красивые сапоги, у нас таких нету, Максиму брюки, и мне кое-что перепало.

Толян, наконец, устроился на работу в автосервис, ремонтировать дорогие машины, стал прилично зарабатывать. Видеть его приходилось реже, утром рано спешил на электричку, вечером не торопился домой, безотказно дорабатывая за всех. Вряд ли специально, чтобы поменьше быть с семьей.

— Все же склеилось или нет?

— Не знаю. Нет.

— Почему?

— Один раз ночью позвал, но в такой форме, что для меня неприемлемо. В прямой.

— Что значит в прямой?

— Ну, что, мол, разве непонятно, что от тебя понадобилось. А я так не могу. Мне нужны ласковые слова. Он никогда так не делал и не говорил раньше.

Ее детская распахнутость трогала меня неимоверно. Я искала, как напомнить ей, что между раньше и теперь прошло десять лет.

— Вы слишком много пережили, каждый свое, и это стоит между вами.

— Не знаю. Наверно.

— Но вы бы хотели, чтобы он снова жил с вами?

— Не знаю. Хотела бы.

— Тогда надо оставить детей дома и приехать одной, чтобы только вы вдвоем, и никакого счета к нему, и все сначала.

Она слушала меня, как будто поступила в школу жизни, где я была учитель, а она ученик, хотя пройденные ею уроки в ее школе прямо-таки отвечивали в усталых глазах-вишнях. Каждый школьник знает, где сидит фазан. Нет, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все-таки ее потряхивало в ее хлопчатобумажном халатике, и она обхватила себя руками, чтобы унять трясучку.

— Приезжайте одна, — повторила я, — приезжайте, когда хотите, вы нам очень понравились.

— Спасибо, — шепнула она и, вдруг прижавшись ко мне, поцеловала куда-то за ухо.

Она была как осинка, трепещущая на ветру.

На крыльце появился Толян.

— Тонь, собирайся, пора ехать на вокзал.

— Толя, я пригласила Тоню пожить с нами.

— Когда? Сейчас?

— Не сейчас, а когда сможет.

— Здорово.

— Ты не возражаешь?

— Да нет.

Его энтузиазм уступал моему.

Тоня светло улыбнулась и пошла собираться.

76

Новая соседка за стеной, переехавшая в наш дом год назад, достала. Квартира переходила из рук в руки, ее продавали и перепродавали. Когда-то обитала неприемная пожилая пара, сгинувшая куда-то в одночасье, а мы и не заметили. Поселилась многодетная семья, безотцовщина, вроде получили эту квартиру как социальную. Вскоре и они исчезли, появились чеченцы, так не принято говорить, как будто чеченцы что-то неприличное, типа сифилитиков, а как иначе скажешь, если они чеченцы, взрослые мужики, приходили и уходили, вроде это контора или штаб, а не частная квартира. Потом никого не стало, кто-то сделал ремонт, и въехала пожилая

тетка с тяжелым, грубым лицом и тяжелыми, распухшими ногами, типа бывшей продавщицы из магазина или завскладом на базе. Ее ввезли, видимо, дочь с мужем или сын с женой, оба с такими же грубыми, тяжелыми лицами, как у нее, но моложе лет на тридцать, они жить не стали, она зажила одна, верно, разбогатела и благоустроили мать. Квартира хорошая, метров много, я заходила к первым соседям, которые когда-то служили врачами в поликлинике Лечсанупра Кремля. Мой отец, тоже не последний человек в прежней иерархии, скромный по характеру, получил квартиру после многолетнего послевоенного житья в коммуналке. Въехавшая тетка, очевидно, глухая, врубала с утра телевизор на всю катушку, и он орал у меня в квартире, не переставая, с ранья и далеко за полночь, она, очевидно, страдала бессонницей. Меня спасали часы, когда я покидала квартиру, уходя по делам. Она свою не покидала никогда. Время от времени притаскивали коробки с провиантом, загружали в квартиру и таким образом обеспечивали ее обитательнице возможность не отрываться круглые сутки от ящика. Насильственное понуждение к нему привело к истощению моей нервной системы. Собрав остатки нервов в комок и приведя в боеготовность всю наличную воспитанность, я позвонила соседке в дверь. Результат нулевой. Звонила минут семь, пока не сообразила, что она меня не слышит. Ящик орал. Я написала обстоятельную записку и опустила в почтовый ящик. Результат тот же. И тут мне повезло. Возвращаясь домой, увидела ее у двери, она возилась с замком, то ли отпирая, то ли запирая. Извините, обратилась я к ней, я вам звонила и я вам писала. Ну и что, тон у нее был неприязненный и неприятный. У вас очень громко работает телевизор, он нам мешает, как можно толерантнее сказала я. А если он будет работать не громко, я не услышу, отшила она меня, открывая свою дверь. Может, вы хотя бы переставите его в другую комнату, безнадежно цеплялась я к ней, у вас же их много. Нечего считать чужие комнаты, прикрикнула она на меня из глубины коридора. Последнее, что донеслось: где хочу, там и ставлю, не нравится, переедьте в другое место. После чего дверь захлопнулась.

Я простила ей все, услышав в одиннадцать часов дня по ее телеку последние новости. Ведущая вещала про бушующий в районе Верхней Масловки пожар четвертой категории сложности. Помимо квартир жильцов, горит мастерская художника Окоемова, информировала ведущая.

Я поспешно оделась и побежала к метро — с машинами пробки, и припарковаться будет проблема. Множество народу скопилось поглазеть. Я вклинилась в народные ряды. Гигантский огненный спрут извивался толстыми щупальцами, пожирая здание изнутри и снаружи, коптя фасад и руша балконные пристройки, стекла в окнах полопались и вылетели раньше, и дом приобрел черты слепца военного времени. Прибывшие наряды действовали вовсю, поливая пламя из пожарных рукавов, тнянувшись из красных машин вверх, но смотреть на них было как-то досадно, их действия выглядели ничтожными в сравнении со всеохватным величием пламени. Огонь лизался, пластался, вздымался к небу, его могущество ошеломляло. Он был стихия, а нелепые фигурки служивых борцов с ним — мелкая часть цивилизации, действовавшей по инструкции: наглядный пример бессилия последней, если что. Сколько прошло, час или два, я не знаю. Я провалилась во времени. Огонь заворачивает, новости тут нет. Большой огонь — большая ворожба. Обыденная жизнь отступила — наступило нечто за границей обыденного. Огонь жрал чьи-то жизни, как они сложились, с посудой, кроватями, стульями, шкафами, книгами, шубами, шапками, бельем, обувью, запасами продуктов, украшениями, деньгами, любимыми фотографиями и письмами, которые хранились как вещественные доказательства прожитого, — все сгорело в считанные минуты, сделав людей, если они спаслись или их спасли, голыми на голой земле, и все для них начиналось с нуля. А если высокое давление или больное сердце — какое, к ляху, начало. Где взять силы для начала. Ноль что вперед, что назад, без разницы. Несколько машин «скорой помощи» дежурили возле, в толпе говорили, что машины уже приезжали и уезжали, увозя жертв. Теракт, деловито спросил меня подошедший сзади мужчина. Не знаю, разрекла я руками. Взрыв или что, пожелал он определенности. Да какой взрыв, проводка небось, как всегда, предположил мужчина слева. С подвала, говорят, загорелось, ввязалась в беседу божья старушка, а в доме деревянные перекрытия, по ним поползло. Знающая старушка часто-часто крестилась. А не поджог, не унимался любознательный сзади. Я упустила момент, когда действенность бумажных инструкций цивилизации показала

себя. Либо стихия самостоятельно слабела, либо пожарным удалось их дело. Божья старушка в очередной раз перекрестилась: слава богу, слава богу. Толпа понемногу рассеивалась. В образовавшийся просвет я увидела камеры и телевизионщиков, снимавших сюжет для своих компаний. Встрепанный белокурый журналист брал интервью у высокой плотной женщины, стоявшей спиной к группкам зевак, среди которых была я. Я тоже стала выбираться. Что мне хотелось там увидеть, что узнать, зачем сорвалась и примчалась — трудно понять. Как на негнущихся ногах я добралась до дома, я не помню.

Все пропало. Жизнь пропала. Его жизнь. В бедной голове моей все смешалось. Он же умер — какая жизнь.

Дома включила ближайшие пятиминутные Вести. На экране горел жилой дом на Верхней Масловке. Жертв, к счастью, нет, говорил в камеру встрепанный белокурый журналист. Он брал интервью у высокой плотной женщины. Она оказалась Василисой Михайловной. Она повторяла то же, что божья старушка в толпе: слава богу, слава богу. Журналист уточнил: правильно ли я вас понял, слава богу, что его мастерская не пострадала. Слава богу, пояснила Василиса, что часть его работ после смерти хранилась дома, а самые-самые шедевры, как вы знаете, в Кремле, Третьяковке и других мировых и отечественных музеях. А что с мастерской, не отставал журналист. С мастерской, переспросила Василиса, с мастерской то же, к сожалению, что с квартирами всех пострадавших, она сгорела, и то, что там сгорело, как вы понимаете, невосполнимо. Речь ее текла весомо и ответственно, видно было, что она полностью отдает себе отчет в значительности момента. И лицо у нее было значительное, значительнее прежнего, я не видела Алису Коонен живьем, но думаю, она выглядела, как Алиса: трагическое достоинство, переплавленное в стоическое мужество перед лицом непоправимого. В комментарии диктора подчеркивалось, что в огне погибла часть бесценного собрания картин выдающегося художника, что возбуждено уголовное дело, что рассматривается несколько версий, о возгорании проводки, поджоге и терроризме, и что генеральный прокурор взял дело под свой контроль.

77

Она и есть террористка, фыркнула Лика, она подожгла.

Лика позвонила из Израиля, увидев сюжет по телевизору. Снимал мой приятель, сообщила она, я с ним поговорила, он многим мне обязан, он даст исходники. Это он подозревает, что она подожгла, осведомилась я. Лика хмыкнула: вы как дитя, честное слово, это я подозреваю, помните, как ваш Ленин или кто-то из ваших указывал, кому выгодно, а ведь это она заявила, что у него должен быть такой художественный образ, а не иной и что она наследница образа, вот как наследница и приложила максимум усилий, сама или через посредников, посредники там, как я понимаю, всегда паслись. Прямо-таки древнегреческая трагедия, оценила я, эдакое мародерство от любви. Если это и любовь, то искаженная до неузнаваемости, поставила диагноз Лика и задумчиво продолжила после паузы: хотя я бы не стала ставить ей в вину, что она копит деньги, у таких людей либо бедное голодное детство, либо что-то еще, синдром черного дня, вряд ли они могут что-то с собой поделывать. Справедливая Лика была лучше Справедливого Дровосека. Лика, Лика, подхватила я, видите, как вы можете быть великодушны, это не она, уверяю вас, у нее, быть может, дурной характер, а каким ему быть после десятилетий жизни с Окоемовым, великим и ужасным, как в сказках, но ведь сказки складываются из былья, а дурной характер может быть всего-навсего сказочной фигурой речи, просто она сильная, а мы привыкли к слабым, и сильные по контрасту кажутся нам не такими, а значит, плохими, это моя вина, Лика, она не поджигательница, она женщина, потерявшая мужа, а все остальное — совпадение.

Это я женщина, потерявшая мужа, а все остальное — совпадение, сказала Лика.

Где ваш такс, Лика, перевела я на другое разговор, который мне невмоготу было длить. Его взяла моя мать, отвечала Лика, мы много лет не разговаривали, она невзлюбила моего мужа, а когда я приехала к ней, так плакала и каялась, что в пору было мне ее утешать, а не ей меня, что я и делала.

Мне удалось полюбить ее, сказала я, когда Лика замолчала.

Василису, переспросила Лика.

Василису, подтвердила я.

Лика положила трубку.

Мой пес внезапно и зверски залаял. Он всегда лает внезапно и зверски. Кто-то чужой ходил по лестничной клетке, пес чувствует присутствие чужого и нервничает. А я нервничаю оттого, что нервничает он. Но, может быть, чужой в данном раскладе ни при чем. Может, псу стало не по себе, оттого что мне не по себе, и он это учуял, а чужой — повод. Так и у людей бывает.

Нет, обратилась я к псу или к себе, это не она, слышишь, не она.

Пес неподвижно застыл у двери, опустив голову, невероятная тоска таилась в его скульптурной позе.

Косая тень уходящего дня перечеркнула пол в узком коридоре.

78

Перемена ветра принесла тепло. Должно быть, последнее тепло этой нескончаемой, многомесячной, если не многолетней осени. Утром, до завтрака, на траве, покуда зеленой, остро блестела ночная изморось, будто кто разбросал осколки, скажем, чешского хрусталя, а к обеду его подобрали, выкатился сияющий шар освещения, и небесная скатерть приветливо заголубела, окончательно спутав сезоны.

Толян, спросила я, склеилось у вас с Тоней, вернется она. Да почти что склеилось, засиял улыбкой Толян, Максим приезжает днями, договорились, что оформляем ему практику в моем автосервисе, все равно ж где, а так он сможет год прожить со мной, и насчет Антонины я говорил с Борькой, помните, прапор приезжал, золотистую *тойоту* ему чинил, им требуется бухгалтер, зарплата невелика, но у него еще на фирме есть место, там другие деньги, в общем, перспектива есть, я позвонил, чтобы готовилась к увольнению. А она, спросила я. Готовится, опять улыбнулся он. Ну и слава богу, обрадовалась я, она хорошая. Хорошая, подтвердил он, и настрадалась выше крыши, я раньше не понимал, видел, а не понимал, понял, как с самимстряслось, мы как-то целую ночь проговорили, я ее жалел, она меня, может, срастется. Срастется, Толенька, срастется, горячо подхватила я, вам нужно немножко терпения и осторожности, чтобы не испортить, и срастется, обязательно, тем более, дети.

Он разделял мои мысли, это было видно. В глазах его, горячих и влажных, много чего намешалось, от сожаления до надежды.

Кто бы мне, далеко не столь простодушной, как хотелось бы выглядеть, кто бы подсказал, что г-н сочинитель беспардонно водит г-на слушателя за нос, выдавая тот продукт, от которого облизывается потребитель, а не тот, что может оказаться ему не по нраву.

79

Книга лежала раскрытой на странице 187.

Я прочла: «...сам же он именовал «Жизнь Арсеньева» автобиографией вымышленного лица».

Библиотека юношества. И.А.Бунин. Жизнь Арсеньева. Муж где-то отрыл издание после того, как в постели цитировала ему Окаянные дни.

Бог мой! Бунин пишет автобиографию вымышленного лица. Окоемов, любитель Бунина, пытается писать ее же.

Река жизни уносит жизнь безвозвратно, а ты стоишь посреди течения и хочешь удержать хоть что-то, хоть какой мусор, чтобы построить из него мусорные замки, нечто вроде града Китежа местного значения, который все равно уйдет под воду, а ты упорно строишь, что равно записи записок, чего по уму не надо бы делать — а делаешь по инстинкту.

Я больше не буду, мамочка.

Я больше не буду ломиться.

Я больше не буду ломиться в белую дверь, перегородившую дорогу.

Орлеанская дева, героизм и костер, любовь и предательство, куда, елки-моталки, задевалась книжка из детства, перечесть.

80

В очередное воскресенье мела сухие листья на гравиевой дорожке, собирая в холмики, Максим складывал собранное в тачку и отвозил на костер. Он приехал с лиловым фингалом под правым глазом и заживающей царапиной под левым. Мне нравятся немногословные мальчишки с фингалами на молодой коже, умеющие постоять за себя. Или за сестру. Или за девочку. Или за маму. Я не спрашивала. Листья надо было убрать, чтобы они не гнили, не портили дорогую дорожку, обошедшуюся нам в сумму в долларах. Мне хотелось, чтобы у нас была дорожка, как в настоящих имениях. В нашем стоял небогатый деревянный дом, но зато оно было старое. Намоленное, как бывает намоленной церковь. Здесь прошло мое детство, миновала юность, зрелость сперва притормозила на ухабах, нервно спотыкаясь и больно падая, а после понеслась, как резвая лошадка, а о дальнейшем не будем. Метелка, веером, ритмично делала: шур, шур, шур. Как шаги. Шаги судьбы. Безмыслие в голове производило подобие счастья. Если не само счастье.

Приехал Митя на *волге*.

— Как дела, Мить?

— Хорошо. У Толи кто есть?

— Никого. А кто у него должен быть?

— Он один?

— Один, я же говорю. Если не считать Максима.

Максим показался с тачкой из леса.

— Здорово, Максим.

— Здравствуйте.

— Мить, а ты не знаешь, сколько сейчас может стоять гипсокартон?

— А вам нужен гипсокартон?

— На втором этаже протечки во всех комнатах, некрасиво, как будто кто на потолок написал.

— Надо заменить.

— Вот и я говорю, надо заменить.

— Не так дорого, мне кажется.

— А в твою *волгу* влезет?

— Нет вопроса.

— Я дам деньги, а вы с Толей, когда будет время, купите и привезете, ладно?

— Я же говорю, нет вопроса.

Митя поднялся к Анатолию в дом. Мы с Максимом продолжали осуществлять наше право на труд. Мне жалко было убирать палую листву. Она так изысканно покрывала дорожку. Я любовалась и заставляла себя убирать, зная, что последует завтра-послезавтра. Знание убивает любование. Вчера золото — завтра грязь, я уж говорила. Про каждый выходной я думала, что последний: пойдет снег, и мы перестанем ездить на дачу. Но с погодой везло и везло. Женщина толкнула калитку, ступила на метеную дорожку и приближалась. Она была опять крашенная блондинка, опять не первой молодости, с крашеными губами и ногтями, с пластиковыми пакетами, плотно чем-то набитыми, продуктами, что ли. Максим был на ее пути первым. Здравствуй, Максим, сказала она. Здравствуйте, сказал он. Я стояла поодаль со своей метлой. Точно ведьма. Она кивнула мне. Я кивнула ей. И так тоже было, с ней или с другой. Она прошла, животом вперед. Толян — взрослый мужик. Пластинку заело. Я пойду, мы сейчас будем кушать, сказал длинный Максим, обладатель таких же вишенных, как у матери, глаз. Иди, сказала я.

Анатолий и Антонина, Толя и Тоня — в этом тоже что-то было.

Было да сплыло.

81

Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.
А.А.А.

82

Моего мужа поставили в известность: если сердце выдержит — будет жить, нет — нет. Он огласил известие не сразу. Я не прореагировала. Значит, выдержало, чего реагировать. Я отравилась. Меня вытаскивали с того света. Тянулось с неделю. Ставили капельницы, температура скакала как бешеная, за неделю я распрощалась со всеми целлюлитами, накопившимися за годы, и превратилась в щепку. Муж ежедневно являлся в больницу, как на работу, сидел рядом, держал за руку, я сочувствовала ему, но толку в моем сочувствии было чуть. Через неделю, теряя надежду, он принес красивый флакон из-под какого-то зарубежного питья, в котором находилась простая вода: она не простая, Петрович принес, будем по глоточку пить через каждые пятнадцать минут в течение трех часов. И ты будешь со мной все три часа, спросила я. Естественно, отозвался он. Они занимались в своей фирме прорывными технологиями, в том числе медицинскими, и так прорывались и прорвались в новое тысячелетие. Если не считать малости. Сквозь заградотряды чиновников, с их глазами завидующими, руками загребущими, не прорвалась почти ни одна технология. В фирму ходили прекрасные безумцы, с прекрасными идеями, которые не просто возникали в их прекрасных головах, но уже были оформлены в виде лицензий, патентов и прочих официальных бумаг, были готовы образцы, которые прошли всякие там испытания, и все равно любой начальник требовал открытым текстом на лапу, а получив, либо исчезал с концами, либо терпеливо принимал посетителя, пальцем о палец не ударяя, зато всякий раз выразительно кося глазами ввысь, на ту ступеньку, где высшая власть, и служебная лестница была бесконечна. Фирма пользовалась своих, нередко с положительным эффектом. Как в моем случае. Каждые пятнадцать минут муж поднимал мое тщедушное тельце, я сглатывала волшебную каплю жидкости — и ничего. Явились сделать очередной укол, чтобы согнать высокую температуру, поднимавшуюся ежеутренне и ежевечерне. Сухими губами прошелестела: подождите, попозже. Через час сорок пять вдруг резко забила лихоманка, а у мужа сделались квадратные глаза. Он прошептал: ты была белая, как простыня, а стала красная, как сварившийся рак. Красная я была, наверное, только при рождении. Через два с четвертью мне стало так легко, будто я, в самом деле, сейчас народилась на свет. Мы ее убили, прошептала, а мне показалось, проорала я, имея в виду инфекцию, попавшую в мои кишки и в мою кровь. Муж протянул градусник. Градусник показал нормальную температуру.

Все время, что она зашкаливала, погружалась в бред или полубред. Чей-то голос внушал, что несчастья, пережитые нами, любые, любыми нами, имя вписать буквами в клеточки, мало что объясняют и еще меньше оправдывают, и нечего предъявлять их как проездной билет в поезде, следующем в рай. Кто-то змеей шипел: негодяйское время. Кто-то исторгал демонический хохот, издеваясь над ребячьей попыткой прожить отдельной возвышенной жизнью: как миленькая вписалась в ячейку, партячейку, ячею. Рыба ячеится в неволе, вязнет в ячейках. Лапы зверя запутались в ячейках тенет. Ячеи времени, спирали и сферы, доносилось от Обласова, обеспечивают совпадения частной жизни и истории, когда реформатор XX века похож на реформатора XIX, а какой-нибудь российский президент совпадает с каким-нибудь российским императором, прошедшее петляет, путая следы, хитря с настоящим. Кто-то спрашивал, а какое значение имело его еврейство, и кто-то отзывался: а такое же. Кто-то нашептывал, что он, как фокусник из кармана, умел извлечь новые и новые карты, увлекаясь сам и увлекая других, из любви к искусству, из игры, не в преферанс, а в кошки-мышки, с собой и судьбой. Проявляюсь, где хочу и как хочу, дразнил сам герой. Как негатив в ванночке, дразнила Лика. Независимый согладалтай, напоминал кто-то, вот она, роль для героя, а кто ты, героиня компромисса, в лучшем случае. Некто зудел: ворочай, мозгами своими ворочай, мимикрировал ли он под простолоудина в стране, где быть не простым значило подставить шею гильотине, или излагал версию в целях легендирования, как это делают во всех спецслужбах мира, называя адреса, пароли, явки, фальшак. Можно ли сказать мимикрировал под, вдруг, приходя в ясное сознание, теребила я мужа, державшего меня за руку. Разумеется, с готовностью вступал он в диалог, словно ждал момента, вот богомол, лежащий на камне, мимикрирует под камень, то есть сливается с камнем видом и

цветом. Кто-кто, не верила я ушам своим. Ответ таял на полпути, поскольку снова наваливался бред. Служил ли он таким образом системе, смывая кровью позор, позор происхождения, что национального, что буржуазного, продолжал некто допрос с места, на каком прервался, либо водил всех за нос, включая тебя, тебя водить проще пареной репы. Мой муж вступал в дискуссию: он хотел свободы и потому оборвал все связи, его одолевал страх, и он сочинил себе биографию, которая помогла ему вписать себя туда, откуда он раньше выписался, такая свинцовая чушка для тяжести, иначе перекаати-поле и унесенные ветром. Голосом прославленного артиста радио передавало адресованную читателю-ребенку стопроцентно взрослую фразу Щелкунчика: что есть человек и во что может превратиться? Голосом Санька: эпоха переломила его, а он переломил эпоху, это им, таковским, по плечу. Выступления участников странной дискуссии глохли в открытом пространстве неохватного зала и вновь звучно наплывали. Голоса сплетались, расплетались и заново сплетались в острую звуковую косу, которая грозила захлестнуть и задушить. А то и перерезать глотку.

Я отравилась. Я отрицаю, что меня могли отравить. Я отравилась в узбекском ресторане, где Саньку вздумалось отпраздновать день рождения. Подавали много зелени, гуштнут, мясо с горохом, и нарханги, мясо со многими овощами, казан-кебаб из баранины с красным перцем и жигар-кебаб из печенки, плов с айвой и плов тограма, опять же мясной, с маринованным диким луком, манты и лагман, арбуз и дыню, а на сладкое бекмесы, сгущенный сок фруктов, и халвайтар, род халвы, орехи с фисташками и соленые ядра абрикосов. Мясное все жирное, горячее и быстро остывающее. Я запомнила меню, поскольку изучала его с особым рвением, это переносило во времена юности, когда меня, начинающую журналистку, послали в Ташкент на конференцию писателей стран Азии и Африки, где я подружилась с английским писателем-коммунистом, других в Советском Союзе не принимали, отчимом двух молодых женщин, балерины и журналистки, и с ними подружилась, и мы вчетвером ходили на знаменитый Алайский базар, где на деньги англичанина, у нас не было, перепробовали все что можно, а что можно, купили, и ароматы тех солнечных, летучих дней до сих пор дразнят мои ноздри. Потому выбор Саньки пришлось на редкость кстати. Играл узбекский оркестр на узбекских кифарах, или как там они назывались, тоненькие узбекские востроглазые девочки в пестрых одеждах разносили еду и напитки, в основном водку и катык, кислое молоко, Опер с другом Опскером составили остроумный капустник, связанный со Средней Азией, куда по очереди попали собкорами в свое время, и все с охотой надрывали животики, а мой животик надорвался отдельно и позже, зато жестоко. Какое из перечисленных блюд содержало вредоносную бактерию, не узнать, но уже через несколько часов я, позеленевшая от тошноты и недосыпа, ходила из угла в угол, стараясь не разбудить мужа и укачивая остро болезненный живот, как дитя, а потом бессильно сползла на пол и валялась на полу, считай, без сознания, пока муж не обнаружил и не вызвал «скорую».

Теперь Санька стоял под окном в черном плаще и черной шляпе с бизнес-букетом в руке, увязался за моим мужем навестить несчастную. Он был так хорош, что несчастная застонала. Ему бы в кино сниматься. Особенно бизнес-букет был уместен. Половина моих волос осталась на подушке, вторая половина повисла жидкими прядями, кожа на лице посерела, кожа на руках сморщилась, казенный халат висел как на вешалке, меня вело из стороны в сторону, подходящий вид, чтобы принимать мужчин. Я сделала приглашающий жест: заходи. Санька, верно, испытывал род неудобства за то, что я отравилась на его дне рождения. Осторожно обнял, сознавая, что могу рассыпаться. Тут же они занялись друг другом, муж и он, травил анекдоты, сравнивались наручными часами, что-то вспоминали, Санек показал новую курительную трубку, муж завистливо хмыкнул. Я рассердилась: пошли вон, вам без меня весело, а я устала. Муж заботливо уложил меня в постель, Санька деликатно отвернулся. Ты не отворачивайся, не отворачивайся, сказала я ему, уложившись, а лучше послушай, что пришло женщине в голову между жизнью и смертью. И что пришло женщине в голову между жизнью и смертью, любезно переспросил Санек, устраивая шикарно заломленную шляпу на больничной тумбе — соседство более чем нелепое. Ей пришло в голову, сощурилась я, что ты врал. О чем же это я врал, сделал он большие глаза. Ты врал, воодушевилась я, будто *перекидчики* работают на завтра человечества, а они не на завтра работают, а на вчера, загребая все в ту же нечистую

колею, не в силах очиститься от нечистот, и оттого все мы, кто таковы, должны уйти со сцены истории, уступив место другим, без нашего груза бесстыдства, мы заколебали Создателя, заврались, изолгались, испохабили мозги себе и остальным, обманщики и притворщики, обольстители и соблазнитель, хитрецы и лукавцы, от нас смердит, и воздух на планете испорчен. Окоемовская, она же океанская, музыка проливалась с небес и попадала прямо в бороздки моего мозга, как в бороздки пластинки. Но я набрала в легкие слишком много испорченного воздуха, и захлебнулась им, и не могла дальше тянуть нить размышления, а только кашляла, сипя, на издыхании. Муж приподнял меня, он профессионально научился это делать, превратившись в сиделку, и меня отпустило. Кто такие *перекидчики*, спросил муж. Я указала пальцем поочередно на него, Санька и себя. Послушай, присоединил мой пальчик к моей пясти муж, а ты не можешь не умничать хотя бы на больничной койке. А если не успею, пошутила я. Не успеешь что, не понял муж. Поделиться я и унесу с собой в могилу, растолковала я шутку. Дурак вы боцман и шутки у вас дурацкие, квалифицировал муж мой болезненный юмор. Санек промолчал. Что ты молчишь, повернулась я к нему. Видишь ли, проговорил он в замедленном темпе, ты, по всем параметрам, романтическая барышня, что не идет твоим седидам, но в этих параметрах придется прибегнуть к азам, и вот они: не будь нечистот, как различить, где чистота, не будь лжи, откуда извлечь правду, мораль сияет на фоне аморальности, живая жизнь содержит изменчивость, неизменен столб, вообрази, что тебе забывают его в глотку раз и навсегда, и в такой позиции ты проводишь отпущенные тебе дни, и все проводишь, прямые и неизменные, как столб, зато моральные, Господь Бог не фраер, чтобы погрузить себя как творца в такой невыносимый ад, извини, что произвожу на свет тривиальности, но это наш ответ Керзону, поскольку ты, мать моя, тривиальна, ты, со своими девичьими потугами. Потуги бывают женские, особенно у матерей, попыталась я одержать верх там, где безнадежно скатывалась вниз. Живи, детка, живи, ласково попросил Саня, осталась жива и живи, чего тебе еще. Муж как-то странно икнул, и я вдруг увидела, что у него мокрые глаза.

И только в ту минуту я догадалась, как мне повезло остаться по эту сторону жизни, а спокойно могла бы оказаться — по ту.

Сюжет-*перекидчик* выволок как и куда хотел.

83

В один из дней, когда я пребывала между тем и этим светом, ко мне на консультацию привели врача-психиатра. Возможно, что голоса, которые я слышала, раздавались не только безмолвно у меня в мозгу, но громко в палате. Психиатр вникал в мое прошлое, задавал детские задачки, показывал значки и символы, просил повторить за ним плоские фразы. Повторяя, я засмеялась. Он поднял брови: что вы смеетесь. Брови у него были пышные, как у Брежнева или у этого юмориста, забыла фамилию. Это и выдала за причину смеха. Вы часто забываете имена и фамилии, осведомился психиатр, не обидевшись. А вы, осведомилась я, со своей стороны. Теперь была его очередь засмеяться. Он был пожилой, морщинистый, яйцеголовый и располагал к себе. Мы мгновенно подружились, и он несколько раз заходил в палату, не по специальности, а по дружбе. Хотя кто знает, они хитрые. Сказать по чести, он выудил из меня немало, умея это делать как врач. Само собой вышло, что я рассказала ему об Окоемове, не называя имен. Вы нарисовали картину фобий, вывел психиатр, есть основания утверждать, что ваш друг страдает фобиями. Фобия — страх, выказала я образованность. Страх, подтвердил он, великое множество людей чем-нибудь напугано. Чем, спросила я. Чем угодно, последовало объяснение, люди боятся войны, воды, лифта, крови, полетов, поездов, других людей, Сталин из своих фобий выстроил политику подавления и насилия, потому что его агрессия, вызванная фобиями, направлялась вовне, Ван-Гог отрезал ухо и написал десятки гениальных полотен, потому что его агрессия, направленная вовнутрь, взрывалась шедеврами, за которые плачено по полной программе, есть фобия как страх своего будущего и есть фобия как страх своего прошлого, ваш друг, судя по всему, относится к последним, и если вы хотите помочь ему... Напишите мне на бумажке ваши фобии, перебила я психиатра. Они не мои, и их слишком много, усмехнулся он. А вы напишите сколько-нибудь, предложила я. Его бумажка у меня перед глазами. На ней значат-

ся: аблютофобия — страх воды, клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства, базофобия — страх ходьбы, гедонофобия — боязнь наслаждений, ритифофобия — страх перед морщинами, между прочим, обезофобия — страх растолстеть, эргофобия — страх работы, прософобия — страх прогресса, метрофобия — навязчивый страх поэзии и так далее. Меня впечатлила метрофобия — пожалуй, я знала людей, боявшихся ритмов и рифм. Смотрите, не заболейте верминофобией, страхом микробов, предупредил психиатр, после сильных отравлений это приключается с пациентами. Но, доктор, так жить нельзя, простонала я. Только так и можно, возразил доктор, страх — нормальная реакция, предупреждающая об опасности, не будь страхов, человечество вымерло бы, надо всего-навсего научиться преодолевать свои страхи, и тут на помощь приходит воображение. Воображение, как бы приласкала я свое любимое слово. Да, воображение, повторил он, вообразите то, что с вами может стрястись, и вы перешагнете через страх, и ваш друг перешагнет, хотя с вашим другом весьма незаурядный случай, и если вы захотите, то есть если он захочет... Моего друга нет в живых, оборвала я разговор.

Я все время хотела посудачить с ним о *перекидчиках*. Но так и не посудачила. Я все-таки побаивалась, вдруг они возьмут да укутат меня в психбольницу.

А у меня есть какие-нибудь фобии, остановила я врача уже у двери. Да вы сами знаете, вздохнул он.

Я знала.

84

Я вышла из больницы в дождь. Небо затянуло тяжелым неровным серым покрывалом, как будто там, далеко над землей, невидимые обитатели укладывались спать, чтобы переждать зиму, которая не за горами. Горы вырисовывались там же, с размытыми, как бы опадавшими краями, в провалы между ними пробивались столбняки inferнального света. Больница находилась за городом — мы ночевали после Санькиного праздника на даче, «скорую» пришлось вызывать туда, — и Санька прислал за мной свой *дождь* с водителем. Муж улетел по делам в Лондон, надолго, так совпало, успел поцеловать меня по мобильнику из аэропорта и все, я была предоставлена самой себе. Мы ехали по мокрому шоссе, вдоль него стояли уже совершенно голые деревья, их черные сучья штриховали inferнальное небо, художник, похоже, пребывал в глухой безнадеге. В такую погоду хорошо вешаться. Водитель, тот же русоголовый парень со вздернутым носом, носивший, как выяснилось, странные имя и фамилию, Ваня Оболадзе, повернул ко мне круглое лицо: вы не мерзнете, а то могу прибавить. Я согласилась: прибавьте. В машине было тепло, но он заботился обо мне, и мне захотелось дать ему почувствовать, что я почувствовала.

Я ехала и думала. Нет, не думала, а так же чувствовала. Я выбралась. Меня предупредили? Кто? А кто помог выбраться? Не вдаваясь ни в философию, ни в теософию — сбилось то, о чем говорят: Господь помог. За добро платят добром. А что для Него добро? Быть может, оно и есть, наше перерождение? Я *перекидчик*. Я придумала Лику, и она воплотилась в живой образ. Или я перевоплотилась в нее. Чтобы действие перекинулось на нее. А на мою долю — чтобы ничегонеделание. По буддистским верованиям, наивысшее состояние духа. Хотя при чем тут буддизм. Она исполняла то, чем претило заняться мне. Собственно, и не надо ничем заниматься. Довольно подумать. Может, безотчетно. Подсознание само выполнит нужную работу. Вы не стремились и не рассчитывали, а за подсознанием как уследишь. В этом месте пришлось накрутить много сложных цепочек сравнений и уподоблений, метафор и метонимий, гипербола и гротесков, цезур и умолчаний, каллиграфии и игры в бисер, дабы в садах изящной словесности, в облачности и туманности ее, проявить конкурентоспособность с остальными, занятыми схожими накрутками с рассвета до заката. Я пропустила эту возможность ради прямого, как столб, смысла. Преступник не тот, кто выстрелил, а кто послал выстрелить. Слово опаснее деяния. Мысль опаснее слова. Какую задачу перед собой поставил, чего пожелал, пусть случайно, на какую тропу вступил, из легкомыслия или тщеславия, сколь бы тщательно ни спрятанного, — тут ищи. Заповедь врача *не навреди* — заповедь всякого человека. Значит, суд. Тот самый. Страшный. Где Сын человеческий отделит агнцев от козлищ, милосердных от немилосердных. Когда и где — знать не дано. Но ты, дитя человеческое, не оставляй

усилий, здесь и сейчас, верша свой суд, не над другими, чем по малолетству и малодушию, малознанию и малопониманию мы без толку заняты истово и каждодневно, а один-единственный, какой по-настоящему действен и по-настоящему заповедан, — над самим собой.

Серебряная молния, повторившая очертаниями черный рисунок голых деревьев, внезапно бесшумно пересекла небо, с задержкой на долгие секунды раскатился гром. Откуда вечной поздней осенью гром и молния не по сезону? Дождь припустил. Виды через стекло сделались не заплаканными, а зареванными. Потоки природных слез возросли с интенсивностью невероятной — впору включиться в этот процесс всемерного и всемирного оплакивания. Чего? Всего. Что придется оставить, и удалиться туда, куда до нас удалились знакомцы и незнакомцы численностью в миллиарды. Что по сравнению с этим кипучая суета, цели и задачи которой раздуты неимоверно, как бывает раздута какая-нибудь водянка, убивающая человека. Вода и водянка. Корень тот же, а одно — жизнь, другое — смерть.

И в эту самую секунду я поняла, что это конец.

Конец моего романа с Окоемовым.

Я заканчиваю. Я отказываюсь продолжать.

Я оставляю себе прекрасное не знаю, пространство вариантов, множественность путей, океан возможностей, когда за не знаю открывается бесконечность, лежащая восьмерка, кольцо Мебиуса, где таинственные плоскости переходят из одной в другую без пореза и без шва и где смерть кончается жизнью, а не наоборот, как бы ни настаивали те, кто знает.

Я прощаю.

Я прощаю всем, кому должна.

Мои неточности и сбивчивости, оговорки и проговорки сбивают с мысли, до сих пор сбивают, словно мне шестнадцать и все впереди.

Простите, если можете.

Я повторяю это и другое внутри себя, как заезженная пластинка, потому что все, как заезженная пластинка, повторялось в моем мозгу. Я знала одно, что больше не хочу жить чужой — не своей жизнью. То, что казалось важным, больше не кажется им, а важным оказывается совсем другое.

Афабазол. Лекарство от страха. Без возбуждения, потливости и сонливости.

В этот момент в сплошной пелене дождя на нас надвинулась громада трейлера без огней. Мгновение — и он раздавит нас.

Господи, помилосердствуй, успела шепнуть. А Ваня Оболадзе успел крикнуть: держитесь! — и со всей силы крутануть руль. *Додж* и мы в нем совершили цирковой бросок в сторону, удержались на своих на четырех, боком задели бетонный столб, то ли афишный, то ли электрический, металл заскрежетал, и — покатили дальше. Ваня Оболадзе, невозмутимый, даже не вышел поглядеть повреждение. Я перекрестилась и заплакала.

Что вы плачете, спросил он, ведь все кончилось хорошо.

Так, постаралась я сотворить улыбку сквозь слезы.

Сдвинутая реальность глядела через стекло.

85

Замечательный Леонид Озорин убеждал меня, что писатель должен обладать двумя вещами: стилем и запасом соображений. Воображений, о да, воскликнула я, не расслышав. Не воображений, а соображений, поправил он.

Увы.

Обнаружилось, что никакой я не поборник правды, тем более, соображения, а поборник воображения.

Мое не шло ни в какое сравнение с гениальным — Окоемова.

Когда то ли вымечтанная, то ли дарованная Лика возвратилась из Израиля, я свела ее с Опером. Между ними тотчас вспыхнул бурный роман, скрытый от глаз милой Тяпы. Санек прекратил писать талантливые романы для себя и уселся за талантливый сценарий для Лики, после чего их фильм получил отечественную ТЭФИ и рассчитывал на американский Оскар, с Оскаром, однако, не заладилось, и они разбежались так же стремительно, как сбежались, дав друг другу — ненадолго —

священный дар счастья и наградив друг друга — надолго — проклятым даром несчастья, Тяпа приняла Санька обратно без упрека и укора, есть женщины. Толян заделал повреждения *доджу* так, что тот стал выглядеть как новенький. Русоголовый водитель Ваня Оболадзе, увидев своего коня, обшел вокруг, причмокивая губами от удовольствия, как будто целовал воздух, окружавший коня. Очередная окружающая дама окучивала нашего Анатолия, демонстрируя выдающиеся черты: выдавались вперед глазные яблоки, выдавались обширные губы, выдавался нос. Кругами ходили вокруг фигуры, составлявшие фактуру, торжествовала фактура, обусловленная фигурами. Карусель жизни крутилась, сама по себе и подталкиваемая писаклами, подобными мне. Митя предложил Антонине выйти за него замуж, хотя бы фиктивно, чтобы помочь женщине с детьми перебраться из своей провинции в наши центры, но Антонина отказалась. Толя, который не наш, но который тоже наш, родил в своей семье третьего ребенка. Мэрия помогла Василисе устроить музей-квартиру Окомова, она ушла с работы, ездит с выставками мужа по миру, а на дому принимает экскурсии и отдельных посетителей. Каждый раз, когда мне хочется заглянуть туда, я останавливаюсь и беру себя в руки: не стоит, Оча, не стоит. Вышла пафосная биография Окомова в исполнении молодого, но уже прославленного писателя Димы Окова и уже успела получить премию *Русский Окер* по прозе, я не читала, но подержала в руках, биография открывалась благодарностью за дружескую и финансовую поддержку «Газпрому» и лично Василисе Окомовой. Про записки там не было ни звука. Из моего членства в «05» ничего не вышло, да, кажется, из клуба тоже. Дети мои приезжали и уезжали, до сих пор не известив мать, где они окончательно собираются жить и работать, здесь или там, но это отдельный полнокровный сюжет. Несколько подруг состарились настолько быстро, что я не успела заметить, как и когда это случилось. Езжу к ним раз в пару месяцев, чтоб успеть застать в живых и не казнить, если что. У меня был один друг, моложе их и моложе Сани Опера, а я не успела, и мне больно об этом думать. Муж мой, наконец, вернулся из Лондона, он все еще со мной и все еще терпит мои художества. Наш пес выдал при встрече с ним такой колотун радости, что я испугалась за собачью жизнь. А тот палевый песик пропал, и как мне ни хотелось не отпускать его с этих страниц в никуда, пришлось — я больше ни разу не встретила его и грущу по нему, словно он мне родня. Был ли хозяйский, или кто-то взял, или третий невеселый вариант — тогда опять *mea culpa*.

Я связываю в пучок житейские события для упорядочения повествования.

А после с головой ныряю в свое, местное, родное: свет, бьющий в глаза и бьющий из глаз; огненное лезвие заката; янтарная пленка на рыбном супе, который сварила; батарея сдохла, звук иссяк; человекозвери или зверолоды дурнее собак, что бежали вчера днем большой стаей по Большой Никитской и дорогу перебежали учено, когда машин не было, что они думали о нас, то же, что мы о них, или другое; попытка сознанием охватить сознание может быть сравнима с попыткой собаки укусить себя за хвост; горячее тепло спящего мужа, которое чувствую животом; заехать за фотографиями с дня рожденья Опера; внезапное воспоминание, как запускали мамино сердце после ее клинической смерти; грязное стекло, не работает стеклоочиститель, оттого все красные огни, сфокусировавшись в зрачке, образуют длинные светящиеся алые ленты, красиво, но опасно, создает ложные картины для зрения; рюмка водки под соленый опенок, собранный этой осенью у нас на даче; доча, напиши мне по е-мейлу что-нибудь хорошее, а не плохое; почему опыт страдания на весах истории, любой истории, перевешивает опыт радости; у Таси вернисаж, купить зеленые розы, она любит; у Оси глиобластома в правой лобной доле и операция; печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей; сбывча мечт; бессмертные Василий и Василиса Окомовы; я не держу больше зла на Люсичку, потерявшего папу и, как донеслось, интимного друга, того, что укладывал ноги на стол; до мозга гостей, написалось, а хотелось, до мозга костей; магия жизни, любовной, кухонной, уличной, ночной, взрослой, огромной, будь.

Может быть, кто-то, кому повезет щедрее, чем мне, когда-нибудь откроет, как открывают неведомую землю, бесценные записки независимого соглядатая, за которыми, возможно, охотились все российские спецслужбы. Если они не погибли в огне. Не спецслужбы, а записки. Если, допустим, хитрая, любящая, все понимающая Василиса схватила их до поры до времени, лет на двадцать или на все пятьдесят, чтобы, пока опасно, они лежали молча и не высывались, а высунулись бы, когда опасная

пора пройдет, и тогда публика узнает, что на самом деле знал, видел, пережил, запомнил и надумал о себе и о нас с вами, за все про все, что с нами случилось, ее выдающийся муж, пройдя реально огонь и воды и медные трубы. Мне — не довелось.

Что-то изменилось в мире. Какая-то огромная и неуловимая, как бы желеобразная, но невидимая живая субстанция перекинулась. Насытилась ли она общечеловеческими несправедностями до предела и погибала или переходила в иное, лучезарное, качество, и мы внутри ее и вместе с ней, — Бог весть. Оставьте мертвым хоронить своих мертвых — простая истина, а как долго до нее добираться. Перекинуться — это ведь и умереть. Умереть, чтобы умереть или умереть, чтобы возродиться. Обречены мы или нам светит надежда. Вопросы для малого круга моих людей и для цивилизации в целом. Мне, взрослой, навсегда адресована детская фраза Щелкунчика: что есть человек и во что он может превратиться?

А дальше произошло то, что у всех на слуху, весть взорвалась, как взрывается новая или сверхновая, и со сверхзвуковой скоростью разнеслась во все стороны нашего маленького земного шарика, что спутало карты странам и партиям, политикам и политологам, ученым-академикам и мигрантам-дворникам, и прочая, и прочая, суицид, сами знаете, кого, а была ли то, вправду, самоказнь, как писали, или, вправду, казнь, как болтали, или, может, гигантская мистификация, так и осталось тайной, по меньшей мере, до сегодняшнего дня, потому что вот кто был *перекидчик*, всем *перекидчикам перекидчик*, и окружение из *перекидчиков*, и хотя требовал мочить *перекидчиков* в канализации, дальних замочил, а ближних не успел, замочили ли его или сам это сделал, и означало ли это прощание с прошлым и наступление будущего или совсем наоборот, как знать. Потому что была ли то казнь, или самоказнь, или вообще гигантская мистификация... Я повторяюсь, как заезженная пластинка. Потому что это, как заезженная пластинка, повторяется в моем мозгу, хотя я не политик, и не политолог, и не мигрант-дворник, а вот поди ж ты.

Длилась вечная осень, переходящая в зиму, не зимнюю, а такую же осеннюю, без снега, сна и сновидений.

Еще ее называют земляничной зимой.

Время-*перекидчик* застыло на часах истории.

Перекидной календарь отрывался как хотел.

Телефон зазвонил.

4 сентября 2005 — 23 ноября 2006 — 16 февраля 2007

Ольга Постникова

...в упорстве самоотрицанья

Мрамор и гранит (Полы московского метро)

...Таков
И ты, поэт
А.С.Пушкин

Тому, что магмой рождено
И долгим плачем недр дано,
Не выдержать счастливой случки.
Когда же мрамор и гранит
В узоре пола породнит
Кичливый гений недоучки,

То изотрется белизна
И так принизится она,
Грязняся тяжестью попанья, —
В метанье заспанных теней,
Под миллионами ступней
И топом с матерною бранью,

Чтоб тот, кто был, как мясо, ал,
Из гладкой плоскости восстал,
Снеся ажиотаж футбольный,
Нет, не порфировой грядой, —
Трешиноватый и рябой,
Сгустивший холод безлюбивый.

Лишь беззаконная слюда
Средь кварца вкраплена сюда
И твердости дарит мерцанье.
Не так ли ты любви дуэт
Не можешь вытерпеть, поэт,
В упорстве самоотрицанья!

* * *

Воображение, желанье,
Пустое тело озноби,
Где ясно не воспоминанье,
А то до-виденье, до-знание,
Предвосхищение судьбы.

Преодолеть свою ночную
И темноту, и нищету,
Чтоб ощущать до поцелуя
Его немую теплоту.

Что я скажу, что ты ответишь,
Давно, подробно знаю я,
Когда уснешь и не заметишь
Границу слов и забытья.

И каждый стон, и шепот влажный,
И чернь полузакрытых глаз...
Как я люблю все, что ты скажешь,
Что мной угадано сейчас...

* * *

Запах желтой кувшинки был в доме твоём.
Мы остались вдвоем, испугавшись дождя.
Переулочек плескал, как большой водоем,
Халцедоновый отблеск у неба крадя.

И пока не могла я уйти по воде,
Допотопный «Аккорд» нам пластинку вертел,
И теперь эту лютню я слышу везде:
То, мечась меж столбами, ей вторит метель,

И по жести — капель, то трамвайный звонок
Вдруг нежнейшей тревожною нотой прожжет
И подсмотренный в ливне неловкий прыжок
В тот поток меня кинет, что схлынул давно...
А что каждый из нас навсегда одинок, —
Это музыкой не было предreshено.

Как услышу Вивальди, — реву в три ручья,
Синевой истекают глаза из-под лба.
Так прошла наводнением юность моя,
Вдох и выдох, а между ними — судьба.

* * *

Ты уезжаешь, точно умираешь,
Читаешь мне стихи в последний раз.
Как любишь ты тогда, когда теряешь,
Несдержанных не вытираешь глаз.

Гляжу в твои насмешливые губы
Над рюмкою дешевого вина.
Лишь кровь поэта, кровь четвертой группы
Принять согласна бедная страна.

Уже виски и смуглые надбровья
Засинены разлукой, как вдовством,
О, Господи, но больше, чем любовью,
Мы связаны, но больше, чем родством.

Запомни все и все прости заранее,
Когда я плакать буду, промолчи,
И карканье прости, и причитанье,
Сиротские пророчества в ночи.

* * *

Нет, не забыть, покуда жив,
Отчизны — пусть не кинет зова,
Ты будто демобилизован,
В подводном флоте отслужив.

Вот мир — он ломится извне,
А ты вдохнуть не можешь сразу,
К стерилизованному газу
Привыкнув в мертвой глубине.

И тошнотворной новизной
Он полон, моря запахов свежий,
Твой взгляд отчаяньем разрежен,
И ожиданьем, и виной.

Что сделал ты с твоим лицом,
Стоваттным солнцем души грея,

Где атомные батареи
Под знаком кости за свинцом!

И, проклиная немощь ног,
Все вспоминаешь, лоб обветрив,
Тот коридор в пятнадцать метров,
Где ты бродить и думать мог.

Казнен бесплодьем на века,
Ты думал, что спасен в побеге,
Но вновь зашкаливает «гейгер»
Над арматурой костяка.

Ты вечно помнить обречен,
Какою высушен отравой,
Какою выпущен облавой,
Каким сияньем облучен.

* * *

Все выжившие бабочки Москвы
В прощальный вечер к лампочке слетались.
А мы по тесной комнате метались,
Когда навеки расставались вы.

Мы перед смертью говорили с ним!
И ты, чернавка, губы подносила.
Земля чужая именем твоим
Его последний выдох погасила.

И все, что он шептал тебе — дотла,
До этих слез на лике горбоносом, —
Ты, письма подшивавшая к доносам,
Ты, женщина предавшая, взяла.

Всю маету безденежных недель,
Бред о ребенке (что он не был зачат)...
Но он тебя увидит в Судный день
И по тебе от жалости заплачет.

* * *

«Где со мною мой друг бродил»

А.Ахматова

Вот письмо твое за день до смерти
В иностранном синюшном конверте
(Полоса от угла до угла),
Обращения ласка и юмор...
Я не верю тебе, ты не умер,
Как и я умереть не смогла.

О, иди мне навстречу скорее!
Чернотой глаза обогрею,
Залюбуюсь носатым юнцом.
Этот день не затем ли погожий,
Чтобы тот, на тебя не похожий,
Стал, как ты, этим смуглым лицом...

Ты со мною в фаюмском портрете,
Занавеской закрытый при свете,
И таятся там сгустки кудрей,

И крещендо твоих интонаций
Бьются в сводах, в проемах томятся
Под охраной музейных дверей.

Но тебя в этот сумрак целебный
Снова спрячут Медвежий и Хлебный,
Я найти тебя выйду под дождь,
Проходными дворами блуждая,
Лишь на блестящем асфальте читая
Легкий оттиск неновых подошв.

В день рождения (двадцать седьмого)
Толстогубого, злого, родного
Снова жду я — живого! — но там,
После смерти в два разные круга
Попадем, не узнаем друг друга,
Там, за гробом, не встретиться нам.

* * *

Я уйду не в этот темно-серый, дождливый день,
когда по статистике
больше всего самоубийств и катастроф,
я уйду... только-только отцветет сирень,
и тополь на улицы звездчатый сбросит покров.

Да, в солнечную погоду, когда пыль воздуха
позолочена, ионизирована лучами до жгучести,
когда одышка лета не дает роздыха,
не обнадежит, не пообещает другой участи,

когда пуст дом
и будущего не знаешь,
когда ты, Родина, удушьем и стыдом
легкие и сердце разрываешь.

Денис Гуцко

Рассказы

Молчаливый Афанасий

В доме Алдановых прижился обычай лепить пельмени.

Молоденькая профессорская женка с чудным именем Эсфирь смотрела, как ловко управляется с тестом домработница Антонина Егоровна — месит, режет круги стаканом, заворачивает в них мясную начинку. И вот готов на диво ладный пельмень. «Научусь обязательно», — обещала себе Эсфирь.

Дородная сибирячка секретов не таила, но по неписаному женскому договору, как только на кухне появлялся Антон Васильевич, старательно делала вид, что это не Эсфирь у нее учится, а наоборот.

— И как это получается у вас, Эсфирь Львовна? — правдиво восхитилась Егоровна беспомощным кусочком теста.

Эсфирь довольно сморщила нос. Алданов сдержал улыбку. «Станиславский отдыхает!» Он поцеловал жену в белое от муки ушко и удалился в кабинет, чтобы погрузиться в свое вечернее чтение.

Эсфирь по неопытности вместо того, чтобы аккуратно стряхнуть муку, хлопнула в ладоши, и ее окутало мучное облако. Не утерпев, чихнул зависший под потолком князь Ордынцев. Женщины в недоумении уставились друг на друга. Не показалось ли?

Бесплотный князь — единственный, кто почувствовал, как ничтожное механическое действие, которое совершили ладони Эсфири, необратимо изменили существующий мир. Хлопок ладоней стал той микроскопической недостающей долей, которая, как мостик, соединила достаточные и необходимые условия и выстроила другой вариант будущего — один из тысяч возможных.

Князь глядел на Эсфирь с укоризной. «Столичная штучка. Не понимает, да куда ей... Однако хороша!»

— Эх, кушала бы профитролы в «Астории», так нет же — пельмени ей подавай! — посетовал он и снова чихнул.

— Говорю же, домовая тут живет, — испуганно прошептала Егоровна.

— Ну, конечно, — легко согласилась Эсфирь, дивясь природной склонности деревенских к различного рода чудесам.

У себя в кабинете Алданов потянулся было к зазвонившему телефону, но, услышав хлопок из кухни, задумался и трубку не снял. Разбили что-нибудь? Телефон умолк. «Если срочное — перезвонят», — решил Антон Васильевич и снова углубился в чтение.

«Эту страну называют Пероносной. Если ты видел вблизи, как идет сильный снег, то поймешь меня, потому что снег похож на перья...».

Алданов отложил книгу, подошел к окну. Каждое утро, проснувшись, он видел, как Эсфирь в полной неподвижности, будто оцепенев, смотрит через обледеневшее стекло. Непричесанная, в мужской рубашке, босиком... Что она видит? За окном валил снег неправдоподобно крупными хлопьями. Граница тайги терялась в белой мгле.

«Вот это и есть великая Геродотова Пероносная страна, — думал профессор, — здесь всегда падает похожий на перья снег. Придет весна — уедем отсюда...», — дал Алданов зарок.

* * *

— Существуют ли параллельные миры? — грозно блеснув глазами, задавал иногда в начале лекции вопрос своим студентам Антон Васильевич Алданов. И физики, почитающие себя самым прагматичным народом в университете, хором, как поют свои мантры буддистские монахи, отвечали: «Да, профессор, существуют!»

Наблюдатель, ставший свидетелем такого диалога, вправе усомниться в здравомыслии его участников. И все же Алданов знал, о чем говорил.

Один такой мир действительно существовал в семидесятих годах прошлого столетия в глухой тайге.

Ленск-42 населяли не души, отвергнутые Богом, а питерские физики, которые ненароком наткнулись на весьма перспективную для военки тему. Родина приметила умельцев и поселила их со чадами и женами невообразимо далеко от Северной Пальмиры, запрятав от дурного глаза и суеты. В больших кабинетах рассудили — так надежнее. Ученых никто не спросил, каково им будет после питерских прешпектов и закованных в гранит невских набережных оказаться у перекатов сибирской реки.

Атомщики жили небольшим, весьма замкнутым мирком, напоминающим старообрядческую общину с богом Вернером Гейзенбергом в красном углу. Вращаясь в узком, вполне самодостаточном кругу, профессура только изредка и без особого удовольствия выезжала в настоящий Ленск — тот, который можно было найти на карте.

Реальный Ленск — убогая деревушка, дороги, как это водится, — не пройдешь не проедешь. И не дороги, если уж быть точным, а дорога — одна-единственная. Вдоль нее — деревянные срубы с высоченными деревянными заборами. От кого прячутся аборигены, какого нашествия ожидают — непонятно. На пустынной площади между селпо и Ильичом в помятой железобетонной кепке — одинокий магазин, набитый водкой и консервами. Однако с харчами у местных был полный порядок. В каждом дворе хрюкали поросята, да и вообще — хозяйство.

У физиков другой расклад — спецобеспечение: икра красная и всякая, мороженые ананасы и бананы, и даже особого качества кофе в диковинных банках из логова потенциального противника номер один.

Деревенские, пронюхав такое дело, менялись. У всех физиков без исключения завелась на полу медвежья шкура, иногда воноющая до одури, но терпели — а вдруг выветрится, ну и рога оленьи, это уж само собой. Как ни странно, ненависти между коренным населением и «белой косточкой» не возникало. Да и какие распри могут быть между жителями параллельных миров? Изучали друг друга с большим интересом — и только.

Иногда в Ленск-42 забредал ненароком грибник-охотник и, если дело было вечером, садился на сбитый из фанеры ящик прямо напротив окна и наблюдал степенно в щелку между шторами незнакомую жизнь. Если хозяйева примечали такого наблюдателя, сердиться не было сил — чистое, безгрешное народное любопытство нарисовано было на испитой роже.

Коренные разговаривали вроде бы по-русски, но так быстро и матерно, что до смысла надо было еще уметь добратся. Некоторые деревенские лингвисты-любители на ходу придумывали столь виртуозные деепричастные обороты, наречия, представляли такие колоритные суффиксы, что обычные слова тушевались и блекли. «Экспромт — высший класс!» — не могли не оценить питерские. Физики тоже умели ввернуть, где надо, но тут проигрывали явно. Они просто не успевали понять, о чем, собственно, речь, переспрашивали стеснительно, просили говорить помедленнее и в общем и целом чувствовали себя немного чужими среди настоящих русских — всегда веселых и слегка пьяных людей.

Вылазки в реальный Ленск совершались с единственной целью: дети ученых должны были сдать экзамены в местной школе, дабы подтвердить свои знания. Добиться таких поблажек для детей физикам удалось не без труда. Властями предписывалось сдать детвору в школу-интернат, но тут они наткнулись на активное сопротивление, и в результате нешуточной борьбы ученым разрешили обучать ребят

своими силами. Тем более что и было-то их всего девять, отступление от буквы закона не столь уж вопиющее.

Дети параллельного мира номер сорок два учились в огромном гулком зале в доме Алдановых. Хозяина не бывало дома неделями. Антон Васильевич руководил небольшим коллективом молодых ученых, которые составляли костяк его только-только зарождающейся школы. Он неделями пропадал на полигоне в нескольких километрах от Ленска. И жене его Эсфири Алдановой, хорошенькой, избалованной питерскими развлечениями женщине, скучно было одной в пустом деревенском доме. Давным-давно этот особняк принадлежал известному светскому льву князю Ордынцеву, сосланному на поселение за какие-то грехи. Эсфирь полагала, что он был декабристом или кем-то в этом роде, защищал интересы угнетенных и малограмотных. Тут Алданова сильно промахнулась. Ордынцев изгнан был из высшего света за интрижку с женой весьма высокопоставленного человека. В ссылке он не умерил своего темперамента, если и занимался просвещением малограмотных окраинных народов, то совсем не так, как представляла Алданова. Ордынцев действительно организовал что-то вроде школы, но эпикурейского толка. В результате его несомненно просветительской по духу деятельности Ленск обогатился не свойственным северным народам генотипом.

Неисповедимы пути Господни, князь был родом из Питера, а теперь Эсфирь Алданова, коренная петербурженка, смотрела из этих же окон на погребенные под снегом земли. Князю не удалось больше вернуться на родину, и ей тоже казалось, что она навсегда останется здесь, в этих Богом забытых местах.

Весь день Эсфирь рассеянно прислушивалась к доносящимся из зала голосам, где занимались дети.

— Ставишь ручку в уголок клеточки и ведешь ее вниз, вниз. Стоп! Ну посмотри, вот у тебя и получилась единичка. — Жена одного из сотрудников лаборатории Алданова объясняла чрезвычайно серьезному первокласснику Афанасию, как писать цифру один.

* * *

Глаза Афанасия были похожи на маленькие черные щиты. Ничего не пропускали, ничего не отдавали наружу. Как писать единичку, он знал давно. Сейчас мальчик мог бы растолковать кое-что из математики самой учительнице, но предпочитал не вмешиваться в естественный ход событий.

Говорят, что на человека оказывают неизгладимое влияние те впечатления, которые он получил в глубоком детстве, вроде бы что-то там откладывается в подкорке или где-то еще. В нежном возрасте, когда другие дети, проснувшись, видят еще не совсем сформировавшимся зрением погремушки да розовых слонов, Афанасий рассматривал дифференциальные уравнения и прочие хитрые вещи. Так его родители, витавшие где-то очень высоко над бытом, декорировали обшарпанные стены квартиры — вместо обоев в мелкий цветочек обклеили их листами со своими студенческими лекциями. Скорее всего, если был бы выбор, Афанасий предпочел бы рассматривать слонов и прочую сентиментальную чепуху. Но выбора не было, и волей-неволей приходилось ему следить за приключениями странных знаков и символов. И, еще не понимая, к чему бы это приложить, сын талантливой ученой пары интуитивно понял великолепную гармонию, строгую логику абстрактных математических построений.

Родители Афанасия были людьми невосприимчивыми к житейским коллизиям, окружающая обстановка не интересовала их совершенно. Что есть, на чем спать — все это были малозначимые вещи. Идеальный выход для таких родителей — столовая за углом, что и наблюдалось в Питере. Счастливая семья дружно поела даже на вид жуткие котлеты с синюшным пюре. Но в маленькой деревеньке «столовой за углом» не было, и это оказалось почти неразрешимой проблемой. Отец Афанасия принадлежал к редчайшему типу мужчин, признающих за женщиной такое же право быть беспомощной в быту, как и за самим собой. Результат был сокрушающим — семья забомжевала. Желаящих готовить, а тем паче мыть посуду не было. К счастью, задавать вопрос «Кто виноват?» считалось дурным тоном, оставалось решить, что делать. Рассмотрели два предложения. Готовить по очереди? Но она не умела и не любила, а он не любил и не умел. Готовить вместе? Так и поступали, но выходили только макароны с консервами, макароны с икрой и макароны с яичницей. Не полу-

чалось особого разнообразия в меню. Ситуация казалась безвыходной. Два физика уныло поедали слипшиеся мучные изделия, виновато поглядывая на свое единственное чадо. А чадо с глубокомысленным выражением наматывало на вилку макароны, как спагетти. Афанасий, надо отдать ему должное, был всем доволен, он унаследовал от родителей прекрасную черту — пофигизм. И это действительно подарок, если он наследственный, а не приобретенный в результате каких-то ударов судьбы.

Возможно, Афанасий так бы и вырос в убеждении, что макароны — основная человеческая еда, но мир не без добрых людей. Алдановы поделились с молодой четой своим счастьем — Антониной Егоровной, домработницей, которая взялась подкармливать мальчишку, а заодно и его родителей. А Егоровна неожиданно для себя вдруг уловила и преклонилась, как это дано только русским людям, перед легкой вдохновенной сумасшедшинкой, как аура, витающей вокруг них.

Теперь каждый вечер Антонина Егоровна тихо позвякивала посудой на кухне и качала головой, прислушиваясь к звукам дома. Папа Афанасия, один из самых способных учеников Алданова, перед сном читал вслух своему сыну главу-другую из «Терциум Органум» Успенского, нимало не заботясь о том, что тот поймет из этого и поймет ли вообще хоть что-нибудь. «...человек, живущий во внешнем круге, находится под влиянием закона случая или, если он имеет сильно выраженную сущность, его жизнь больше управляется законами его типа или законами судьбы». Егоровна торопливо крестилась: «Господи, прости! Чем образованнее, тем малахольнее...» Мама Афанасия улыбалась — все хорошо под сиянием лунным.

Их единственный ребенок рос в странной атмосфере восторженной любви и абсолютного безразличия.

Вероятно, именно этот неординарный воспитательный процесс привел к страшноватому эффекту — Афанасий молчал. Наблюдал за родителями, за сверстниками, за Егоровной ничего не выражающим взглядом и молчал.

Поначалу мальчика затаскали по всяким врачам, но однажды молодой аспирант кафедры психических отклонений высказал мудрое предположение: «Боюсь, это осознанный выбор и ничего тут сделать нельзя. Самое лучшее — просто ждать, возможно, когда-нибудь он сам решит изменить ситуацию».

Молчание — весьма удачный наблюдательный пункт. Постепенно все привыкли к такому положению дел и вели себя в присутствии мальчика, как при индифферентной морской свинке, не стесняя себя ни в каких проявлениях. Лучшей пищи для размышлений и быть не могло. Никакое притворство не искажало сигналы извне, а внутри Афанасия раскручивал свой маховик «Терциум» Успенского, и «Бхагават гита» напевала что-то о карме и сансаре, Блаватская мрачно вещала с пыльных самиздатских страниц, а строгая математическая логика проверяла все это на соответствие реальной системе мира. И Афанасий пришел к определенному выводу. Он долго не мог сформулировать его, все никак не подбирались единственно верные слова. Но однажды, в очередную вылазку в настоящий Ленск, он стал свидетелем разговора местных работяг, запальчиво обсуждавших непреходящей значимости проблему: почему на двери сельмага опять висит замок и насколько это осложняет и без того тернистый путь к беленькой. Именно работяги подсказали Афанасию емкую и высокоэнергетичную формулировку — тайный вывод всех известных ему философских школ.

На следующий день вместо числа и месяца он написал на доске чудовищно непристойное выражение и спокойно сел на свое место. Преодолев последствия культурного шока, Эсфирь Алданова перевела это следующим образом: «Всеобщий и необратимый апокалипсис!»

* * *

Афанасий с любопытством наблюдал эволюцию отношений за соседней партией между восьмиклассниками Антоном и Полиной.

— Her dress was rimmed with lace. Ее платье было отделано кружевом, — Тошка трудился над английским текстом. Его соседка безразлично смотрела в книгу. Несмотря на прекрасную наследственность, учение не давалось Полине, и, если бы не добровольная помощь Антона, сидеть бы ей в двоечниках.

Афанасий считал, что это и есть идеальный вариант для мужчины и женщины. Глупость своей дамы мужчина способен вытерпеть, это, скорее, даже приятный

вариант. Глупость делает женщине честь! Если женщина умнее мужчины, она его бросит. Если она очень умна и к тому же беспринципна, то не покажет этого ни при каких обстоятельствах и будет пользоваться мужчиной, живя в свое удовольствие. Вопрос о равенстве — непростой вопрос. Наверное, только интеллигент в третьем поколении может отнестись к такому положению вещей спокойно.

Для Тошки и Полины все складывалось как нельзя более удачно — умом Полина не блистала, зато обещала вырасти премиленькой девушкой. Худенькая, белокожая, прелестные ямочки на щеках и угольно-черная челка, низко спускающаяся на глаза... Благо, никто не задавался целью пристальнее всмотреться в эти глазки. Даже Афанасия и того обманул ее вечно ускользающий взгляд. Науки ей действительно не давались — между академическим умом и житейской мудростью лежит пропасть. Нередко продавщица рыбы выстраивает свою жизнь грамотнее, чем кандидат наук. Полину природа наградила житейской смекалкой, а беспринципность придет потом.

Антон решал задачи за двоих, писал контрольные и сочинения, а девочка внимательно рассматривала аккуратные ноготочки, решая вопрос — пойдет ли ей французский маникюр.

Но именно она интересовала Эсфирь Алданову больше всех. У Полины был необыкновенной красоты голос. Эсфирь, имевшая в предках тамак с консерваторским образованием, такую же бабушку и прабабушку, не могла упустить эту девочку. Каким-то образом ей удалось донести до Полины, что если ей и светит что-то в этой жизни, то только в области вокала.

Теперь каждый вечер у Эсфири собиралась компания желающих обучиться пению и игре на фортепьяно.

Первым пришел Афанасий. Молча, не здороваясь, пробрался в угол и просидел так весь урок. Он ничему не учился, просто смотрел. Потом пришел Антон. Этот хотел играть на фортепьяно, по крайней мере, так он думал. И последней, как всегда опаздывая, прилетела Полина.

— Пожалуйста, Антон, пройдите за инструмент, — пригласила Эсфирь.

* * *

Антон уселся за древний, как мир, рояль, который достался Эсфири, наверное, еще от князя Ордынцева. И, скорее всего, после Ордынцева никто на нем больше не играл. Рояль был чудовищно расстроен. Эсфирь, понимая, что настройщика здесь днем с огнем не сыщешь, самостоятельно пыталась заставить инструмент звучать как должно. И кое-что у нее получалось. Но не держали старые колки, ослаблялось натяжение струн, и в свободное время Эсфирь нередко можно было видеть погружившейся в нутро немецкого монстра, лишь только торчал оттуда аккуратный аристократичный зад и доносились невнятные, но страстные уговоры не фальшивить.

Антон раскрыл ноты, громко объявил: «Танец Анитры!» и начал барабанить по клавишам. Текст он знал отлично, но музыкальных оттенков для него не существовало.

— Антон, это же Эдвард Григ, такая тонкость! Что же вы, мой дорогой... так его безжалостно?

— Я стараюсь, Эсфирь Львовна.

— Обратите внимание, как затихает звук, это страдает мать Пер Гюнта — она провожает сына в далекое странствие, неизвестность страшит ее... Вы чувствуете это? Чувствуете?!

— Да, конечно.

Антон был воспитанным мальчиком. Про себя он называл произведение утонченного Грига «Танец канистры», и действительно, стоило ему прикоснуться к клавишам, как пустая железная канистра начинала скакать по ступенькам, грохоча и звякая на каждый счет.

— И раз, и два, и три, и... считайте, детка, считайте, главное — ритм, — поморщилась Эсфирь.

Даже князь Ордынцев, любивший ее общество, и тот, не выдержав акустических ударов, взмыл из своего любимого кресла под потолок и погрозил оттуда Антону кулаком, а потом и вовсе исчез, просочившись сквозь стену.

— Антон, я вас умоляю, пьяно, пьяно, дольче... Вы знаете, жил когда-то великий пианист Владимир Горовиц, он исполнял в основном Моцарта и Гайдна. Играл он так,

будто за этим не стояло долгих изнурительных репетиций. Он вел себя совершенно свободно, мог подмигнуть залу, улыбнуться... Это и есть настоящее мастерство, когда исчезает ощущение титанического труда, — лишь легкость, полет... А вы будто мешки тяжелые таскаете!

Антон внимательно выслушал Эсфирь и вновь принялся пытаться несчастный рояль.

— Очень хорошо, значительно лучше, чем в прошлый раз, — подбадривала Эсфирь. — Будьте упорны, ведь талант — это всего лишь один процент успеха.

«Но когда его нет, то хоть головой о стенку бейся, а канистра все равно тебя достанет», — усмехнулся Афанасий. Он видел странное прозрачное облако рядом с Эсфирью и не мог понять, что это. Сия задача чрезвычайно занимала Афанасия, это выходило за рамки привычных, наблюдаемых повседневно явлений и по большому счету могло бы считаться чудом, если бы не слишком человеческое поведение «природной аномалии». «Аномалия» все время крутилась вокруг Эсфири. Приобнимала ее, укутывала полностью своим прозрачным шлейфом и лишь иногда, во время особо неудачных музыкальных пассажей Антона, нервно взвивалась под самый потолок. Были моменты, когда Афанасию казалось: «Вот оно, сейчас я увижу, что это». Над инструментом склонялся мужчина в старинном камзоле с пышными кружевами, напоминающий русского дворянина и итальянского сутенера одновременно.

Но «явление», будто издеваясь, только начав приобретать конкретные формы, снова развоплощалось и витало над Эсфирью невинным астральным облаком.

— Ну, все, достаточно. Спасибо, — сказала Эсфирь, когда Антон начал извлекать из многострадального инструмента совсем уж непотребные стоны, хрипы и барабанные дробы. Мальчик и рояль к обоюдному удовольствию расстались друг с другом.

— Афанасий, вы не желаете принять участие? — спросила для порядка Эсфирь.

Афанасий хранил глубокий покой, его имя как будто и не звучало в зале.

— Что ж, тогда вы, Поленька.

Эсфирь села за рояль, Полина рядом, и тогда стало понятно, зачем сюда пришел Антон и почему настырный Ордынцев вновь проявился из стены.

— До, ре, ми... Умница, теперь на октаву выше... До, ре, ми...

Полина, с фальшивой скромностью опустив глаза, распевалась. У Эсфири дрожали руки: «Как талантлива! Господи, дай мне силы не загубить...» Антон, не отрываясь, смотрел на Полину. Он пребывал в полной уверенности, что является ценителем музыки, не более. Даже Афанасий прикрыл глаза, потому что обычное выражение безразличия сменилось более человеческим.

— А теперь Гречанинов, «Молитва», — Эсфирь заиграла. Ясный, сильный голос Полины разлился вокруг:

Как ангел неба безмятежный в сиянье тихого огня,
Ты помолись душою нежной и за себя, и за меня.

«Божественно», — закатился в экстазе Ордынцев.

По домам дети разошлись поздно вечером, как раз когда приехал с полигона Алданов. Ребята шли темной улицей по местному аналогу тротуара — широкой, слегка обледенелой доске. Сугробы намело — Афанасию выше головы, и ему казалось, что он идет по бесконечному белому тоннелю.

Он шел между Антоном и Полиной, слушал их болтовню, иногда они принимались петь, и думал, что угадать их судьбу невероятно тяжело, хотя ведь начальные условия заданы. Математика, теория вероятности... Однако всегда остается возможность чуда. Есть вещи, которые принципиально нельзя предсказать. Чудо — отклонение от нормы... сбой во Вселенной, устроенной, как раз и навсегда заведенные часы...

* * *

Алданов приехал с полигона уставший страшно. Сгорбившись, сидел на кухне. Эсфирь подала на стол пельмени, которые научилась делать совсем недавно. Особые — огромные, как лапти, они получились слегка пересоленными. Антон Васильев

вич, обычно внимательный к жене, на этот раз пельмени не хвалил, жевал молча, видимо, мыслями был все еще на полигоне.

— Случилось что-нибудь? — осторожно спросила Эсфирь.

— Нет, пока ничего. Случится или не случится — выяснится завтра опытным путем.

— Как завтра?! Ты снова уезжаешь?

— Завтра решится, — повторил Алданов. — Не хочу больше тянуть, просчитали все уже тысячи раз, все проверили. Если что не так, то ошибка где-то в основании — фундаментальная ошибка, расчеты ни при чем тут абсолютно.

Он подцепил вилкой пельмень, осмотрел его, подумал: «Мутанты на кухне. Бог дал еду, а дьявол повара», но вслух сказал:

— Готовишь ты здорово, я бы и не додумался вот так поиграть с размерами.

Эсфирь довольно прижмурилась.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — задумчиво продолжил Алданов.

— О чем ты?

— Да я не о пельменях. Это безопасно, так я думаю, не бомба все-таки. Но энергия выделится колоссальная.

Эсфирь отошла к окну, а там только зима, снега... Алданов взглянул на жену.

— Скучаешь ты здесь... Ничего, закончим все — уедем домой.

— Никогда мы отсюда не уедем. Это навсегда. Всю жизнь здесь проведу. В валенках.

Алданов засмеялся, схватил ее за руку, потянул, притворно упирающуюся, к себе. И вдруг полетела с полок посуда и громынула об пол.

— Господи, что это?

— Не отвлекайся, просто тарелки твои находились в неустойчивом положении. Все в полном соответствии...

Но закон сохранения энергии был здесь ни при делах, это буянил Ордынцев. Не смел Алданов прикасаться к Эсфири. «Простолюдин, смерд! — завывал Ордынцев в бессильном бешенстве, пулей вылетев из своего бывшего дома. Догнал детей, злобно бросил им снег в лицо и понесся дальше. — Перста ее не достоин! — неупокоенный князь в бешенстве выписывал фигуры высшего пилотажа над необозримым полем, засеянным турнепкой, благо вес не был ему помехой. Добравшись до границы тайги, он в суицидной попытке кинулся, сломя голову, в сплошную стену деревьев. Но прошел сквозь них, как луч сквозь стекло, не испытал, правда, ни малейшего преломления. — Ну что ж, это к лучшему, — он сел на поваленное дерево. — У каждого свои преимущества, посмотрим еще кто кого. Смелее надо действовать, утратил квалификацию я, что ли?!».

Утром Алданов уехал. Эсфирь не проводила его, притворилась спящей — обиделась за то, что так мало побыл дома. Алданов знал, что она не спит, выпутал из одеяла ее голую ногу, поцеловал по очереди маленькие накрашенные ногти и ушел.

«Она обижена, прекрасно, прекрасно... — решил Ордынцев, наблюдая эту сцену. — Сегодня мой день!»

* * *

Афанасию с утра было нехорошо, он чувствовал необъяснимую тревогу. Что-то надвигалось неотвратимое, способное изменить течение жизни. Ему было страшно. Он хотел сказать родителям, чтобы не уезжали сегодня никуда, побыли с ним, но промолчал как всегда. «Пригорюнилась что-то моя деточка», — запричитала Антонина Егоровна, прижалась огромной, как алдановские пельмени, щекой ко лбу Афанасия, и, правда, стало спокойнее. Но лишь на время.

После обеда дети собрались у Эсфири. Урок шел установленным порядком, Антон трудолюбиво колотил по клавишам, стонал и дергался в конвульсиях старый рояль. В радостном возбуждении витал над Эсфирью князь Ордынцев: «Сегодня, именно сегодня. Сначала она испугается, конечно, но потом поймет и не пожалеет». Эсфирь не слушала игру Антона, она все вспоминала, что утром не проводила мужа, было жалко его, но больше все-таки себя. Потом распевалась Полина.

«От Бога ее голос или от черта?» — гадал Афанасий. Любыми мыслями он пытался отвлечься от возрастающего напряжения. Где-то далеко набирали мощь непонятные, но грозные силы, которые скоро обрушатся на этот маленький мирок.

Афанасий не мог сдержать накрывавшую его панику, хотелось бежать, бежать без оглядки. «Все великие люди были фаталистами, бежать — в любом случае не выход, истинный фаталист примет судьбу сдержанно». И Афанасий сидел неподвижно, полуприкрыв глаза. Ждал.

Физики не зря говорят о свободе и воле электрона. Каждый раз, проходя по самому краешку, там, где белый свет соприкасается с другими, неизвестными и пугающими мирами, эти глупые божки дети имеют смелость шутить, что Бог квантуется, то есть подчиняется принципу неопределенности. Помнят ли они о том, что иногда воля Наблюдателя способна повлиять на наблюдаемый процесс?

Эксперимент Алданова подходил к концу, когда произошла непредсказуемая вещь. Стая взбесившихся элементарных частиц вырвалась на волю, плеснула горячо на все живое, мигом поменяв состав крови и обозначив тем самым последнюю дату пребывания на Земле тех, кто попал в круг. В стратосфере планеты расцвели огромные неопишуемой красоты фиолетовые цветы — такой странный оптический эффект получился, когда излучение достигло высоких слоев атмосферы.

Похожие на лотосы всполохи были видны не только над Сибирью.

В нищем монастыре, затерянном где-то в Тибетских горах, при виде небесных бутонов, упали ниц оранжевые монахи. Прекратили свое вращение огромные, скрипучие молитвенные барабаны с вырезанными на деревянных боках несколько веков назад святыми текстами, смысл которых давно позабыт. Монахи, сменяя друг друга, день и ночь вращали свои барабаны, ибо каждый круг приравнивался к молитве посвященного человека, а тут застыли и в молчании слушали, как останавливаются древние машины.

Высоко над монастырем излучение творило с небом галлюциногенные чудеса. «Это знак всем, кто способен увидеть. Повернулась Махаяна — Большая Колесница. Уже слышна поступь того, кому Гаутама передал природу бодхисатвы. Наступает время Майтреи, шестого будды на Земле. Юный будда пришел на землю!».

Два эвенка, сидевшие на берегу своего холодного океана, тоже видели небесные лотосы, опадающие и вновь расцветающие в небе. Их невозмутимый проспиртованный взгляд лишь на секунду остановился на этом необычном зрелище. Водка вместо традиционного своего действия превратила их не в мистиков, как это бывает в большинстве случаев, а в убежденных материалистов. «Снова русские запускают тунгусский метеорит. Суетсяя...».

Когда уже ослабленное излучение достигло Параллельного мира № 42, Полина дотянула последнюю ноту и победно посмотрела на своих слушателей.

В тот же миг электронный вихрь ворвался в мозг Афанасия и произвел в нем необратимое действие. Афанасий вдруг понял, что далеко не все встретят сегодня родных. В живых остались только те, кто в силу необходимости был в бункере, защищенном свинцовыми плитами. Эсфири суждено было дожидаться своего мужа. А родители Афанасия, Антона и Полины погибли.

Полину возьмет на воспитание тетка, редкая сволочь, которая отточит характер своей племянницы. Впоследствии это поможет девочке воцариться в роли несокрушимой примы Мариинского театра. Антон и Афанасий попадут в интернат, и государство обеспечит им счастливое детство.

Спустя много лет, когда Антон успеет закончить физтех и спиться, они встретятся в любимом городе под колоннами Казанского собора. Питер к тому времени превратится в грязный захламленный мегаполис, и именно здесь, возможно, как нигде больше в России, будет ощущаться таинственное и страшное время распада великой империи.

* * *

Антон сидел на корточках с безумно дорогой бутылкой виски в руках, бог весть откуда взявшейся, и смотрел вверх, туда, где мощные серые колонны Казанского собора уходили, не кончаясь, в небо — так он видел. И бутылка виски не была здесь целью, она не была даже средством. К нему подошел человек, одетый в старенькие джинсы и ветровку, и сел рядом.

— Антон! — позвал он его.

— А-а-а, ты... Афоня...

Антон, кажется, даже головы не поднял. Он и так узнал Афанасия.

Позади Афанасия стояли человек пять, выглядевших странно. Ярко-оранжевые хламиды, лысые головы и костяные четки в руках. Кого теперь удивит лысой головой и оранжевой рясой? Но никто, похоже, и не собирался удивлять. Оранжевые напряженно склоняли головы, прислушивались к разговору.

— Ага, братья и сестры кришнаиты? — попытался как-то определить их Антон.

Возможно, в этой толпе действительно кроме братьев были еще и сестры, но все половые признаки тщательно скрывались.

— Кришнаиты — друзья Бхагават Гиты, танцуют и поют, праведно живут. Ты что ли кришнаитом стал, Афоня?

— Нет.

— Ну, а живешь как? В смысле — вообще.

— Да, — ответил Афанасий. Это означало, что «живу» и сам по себе этот факт довольно удивителен, к чему тут еще прилагательные вроде «сносно» или «как всегда».

— Это кто с тобой? — Антон указал на свиту Афони.

— Так, ходят...

Те, видимо, решили, что Афоня таким образом представил их своему знакомому и разом поклонились в пояс. От неожиданности и чтобы сгладить впечатление от этого синхронного поклона, Антон приветственно приподнял бутылку:

— Может со мной, братва?

Никто не ответил.

— Молчаливые они у тебя.

— Да, — сказал Афанасий.

Пятеро молчаливых были апостолами Афони, такой статус они сами себе определили. Когда Афанасия называли буддой, он не сердился, отмахивался равнодушно: «Что об этом много говорить, братья. Живу я — человек говенная рожа — и умру как-нибудь по-дурацки». Старенький православный монах отец Никон, обитающий в келье Свято-Донского монастыря, разговевшись однажды с Афоней кагором, про бурчал: «Ты, Афоня, пониманием богат, а тяжело, должно быть, нести этот крест...»

Ветер гнал по Невскому проспекту желтые листья и обрывки газет, прибывая летучий мусор к основаниям ребристых колонн Казанского собора. Оранжевые фанатично ловили каждое слово из беседы Афони и Антона, немного смущенно поглядывая на бутылку виски, которую Антон бережно прижимал к организму. Обычно Афоня разговорами их не баловал. Собственно, по его примеру и они не питали никакого доверия к словам. А тут вдруг учитель разговорился...

— Что ж, это хорошо, что друзья твои молчат. А вот смотри, музыка у меня, — Антон достал из-за пазухи маленький радиоприемник «Селга-405». Афанасий согласно кивнул, мол, вижу — музыка.

— И работает, — в доказательство Антон покрутил ручки, и в приемнике что-то зашипело.

— Да, — сказал Афанасий. Они сидели под колоннами и смотрели вверх, а приемник трещал, шипел, клокотал — принимал сигналы космического эфира и голос сверхновой звезды, которая вспыхнула черт знает когда в созвездии Геркулеса что ли, и только теперь свет этой вспышки и эфирная буря дошли до провинциальной Земли. «И спасибо, что так далеко. Еще одна счастливая случайность. Невероятно много благоприятных комбинаций...» Думая эти большие мысли, Афанасий заметил, что Антон прячет босые грязные ноги, как делал это на вечерних проверках в интернате, чтобы не заметила нянечка, пожилая дева, злая, как сатана, с вечным художественно припудренным синяком под глазом.

Няню звали почему-то Бельманда, из-за пристрастия к французским фильмам, наверное. Если на вечерней проверке она замечала непорядок, грязные ноги или книгу под подушкой, наказание следовало незамедлительно. Бельманда взашей вытаскивала провинившегося из палаты, и всю ночь сидел Афоня на ступеньках интерната, щелкая зубами от холода.

Афоня и Антон иногда намеренно инициировали ее гнев, бардаком в тумбочках, например. Пережив истощные крики и подзатыльники старой нянечки, они оказывались в тесном дворике интерната, где деревья сажали, наверное, еще современники Петра. Огромные, в полнеба кроны застилали звездное скопление Персея и рассе-

янное скопление «Семь сестер», но это было ничего, потому что в переплетении веток попадались на диво гостеприимные гнездышки, точно созданные для двух мальчишек. Отсюда открывался вид на питерские окраины, на все эти новостройки, торчащие, как пики, черные трубы и краны. Дух захватывало от ощущения бесконечного пространства и фантастической перспективы впереди. Вот когда совершенно ясно было, что где-то есть настоящая земля и реальный мир, а то, что происходит сейчас, — какая-то аномалия пространства и времени, петля, в которую они попали ненароком, да вот застряли надолго. Но петля эта обязательно распутается, поздно ли, рано — неважно, но распутается непременно.

Исчезнет серое здание интерната, канет в неизвестность Бельманда, разве что сад останется. Время распрямится, и все пойдет правильно. Снова будет Ленск-42, и все успеют спрятаться в бункере.

Удивительное дело человек — весьма далекое от логики. Стоило вспомнить о старой нянечке, которой уже и в живых-то, наверное, нет, и острое ощущение, то самое, что когда-то они умели вызывать в себе, сидя в лабиринтах ветвей, снова нахлынуло на Афанасия. Бесконечное пространство и фантастическая перспектива впереди!

Он сказал Антону:

— Подарок мой тебе.

И «Селга» вдруг запела чистейшим серебристым голосом — лучшим голосом Мариинки — на итальянском языке, которого ни один из них не знал, но и так понятно было, о чем идет речь.

Афанасий подумал: «Отец Никон да вот еще Антошка — кто еще есть у меня?»

Он не попрощался с Антоном, а тот, кажется, и не заметил этого. Кто-то из апостолов спросил Афанасия:

— Посвященный?

— В некотором роде.

Долгое время можно было наблюдать, как к вечно пьяному человеку, сидевшему под колоннами Казанского собора и прислушивающемуся к приемнику, в котором давным-давно сели батарейки, подходят какие-то люди и с поклоном оставляют рядом с ним еду. Потом этот человек куда-то исчез.

* * *

Афанасий очнулся и увидел маленького мальчика в зеркале, которое стояло в зале Алдановых. Он поразился на мгновение нелепому виду мальчишки: худющий, растрепанный, слишком короткие штаны, старенький ранец у ног... И тут же признал в этом отражении себя.

Антон и Полина щебетали о чем-то с Эсфирью, князь Ордынцев изнывал от неразделенной любви. В Ленске-42 события развивались своим чередом.

«Полный и необратимый апокалипсис!» — это были первые слова, которые произнес Афанасий после долгого молчания. Он сказал это отнюдь не по поводу своего будущего, он просто согласился с философами относительно общего состояния дел на планете Земля.

Эсфирь хотела возмутиться, она не любила ненормативной лексики, но передумала, все-таки самое главное, что этот странный мальчик заговорил.

Ордынцев, питавший к Эсфирь нежные чувства, тоже оказался восприимчивым к тонким энергиям. В момент вспышки на полигоне князь увидел с невообразимой скоростью несущийся к ним электронный смерч. Он предстал перед Ордынцевым сплошной красной стеной от земли и до самого неба. В момент, когда клубящаяся стена накрыла Ленск-42, Ордынцева резко подбросило вверх, и он за десятилетия своего бесплотного существования впервые почувствовал боль, ударившись головой о потолочную балку. Быть может, это была только фантомная боль, но она помогла ему прозреть — Алданов не чернь и не смерд. Ранг Алданова несопоставим даже с его княжеским титулом. «Он, наверное, один из всемогущих богов микромира, иначе как же... И я к его жене?! Господи, спаси и помоги!» Испуганный князь забился в угол под самый потолок, потускнел, сжался и едва совсем не развоплотился от расстройств. Но услышал мысленный голос Афанасия, которому наконец-то удалось разглядеть вождедеющее привидение: «Не падайте духом, князь! Эсфирь Алданова, конечно, не для вас. Материальности вам, пожалуй, не хватит для этой женщины. Советую пере-

ключиться на нашу Егоровну. Баба она добрая, легковверная, и хлопот с нею поменьше будет». — «А не пошли бы вы, сударь», — резонировал князь, нимало не удивившись установившейся связи с мальчишкой.

Дети собралась уходить, Эсфирь пошла провожать их, никто не заметил, что Афанасий не сдвинулся с места. Ему нужно было остаться одному и все обдумать.

Афанасий пристально смотрел на стакан с водой, который стоял на рояле. Стакан начал медленно двигаться к краю, пока не упал. Стекло разбилось, вода разлилась.

«Чудо — это отклонение от нормы, противоречие в установленном порядке, который создал Бог, а значит — бунт против Него. Наш мир несовершенен и нуждается в исправлении различных вопиющих несправедливостей и бессмысленных жестокостей — в постоянном вмешательстве посредством чуда. А значит, Бог способен ошибаться».

Афанасий вернул события немного назад, и стакан с водой снова начал двигаться по черной лакированной поверхности рояля, но на этот раз он не упал на пол. Стакан остановился точно на краю — стекло не разбилось, и вода не разлилась.

«Разумеется, можно повернуть события вспять и спрятать всех в бункере, за свинцовыми плитами, или не позволить ядерному распаду выйти из-под контроля. В этом случае Полину будут воспитывать родители, мягкие интеллигентные люди, им удастся сгладить ее бойцовский характер, и Мариинка не получит свой «золотой голос». Полина станет учительницей в музыкальной школе и выйдет замуж за Антона. Антон не сопьяет, блестяще закончит физтех и откроет какую-то важную и, на первый взгляд, невинную закономерность... И в конце концов мир еще долго будет ждать своего нового будду».

Я могу все это сделать, исправить установленный порядок. То есть совершить чудо. И, следовательно, признать невменяемость Бога. Но я-то знаю, что Господь изощрен, но не злонамерен, установленный им порядок есть единственно возможный. А значит, чуду нет места в нашем мире».

Так осознавший себя юный будда — Майтрейя — стал Буддой-наблюдателем, первым буддой на Земле, который выбрал позицию «неделания». И не потому, что был безразличен к людским горестям, а потому, что знал — так лучше. Те, кто умел разглядеть его истинную природу, прозвали его Молчаливым Буддой — из него по-прежнему тяжело было вытянуть хоть слово. А если и вытянешь, то не всегда приличное.

— Афоня, ты что это засиделся, уснул, что ли? Вставай, братишка, пошли! — окликнул его Антон.

Домой возвращались, когда стало темно. Шел снег. Обледенелый деревянный «тротуар» покрылся белым ковром и стал еще более опасным. Дети держались друг за друга, скользили, смеялись, пока Антон не поскользнулся, и все трое угодили в сугроб. Вставать не хотелось. Они лежали на снегу, и сверху тоже падал снег, все было белое, тихое. Афанасий закрыл глаза, на веки опускались белые хлопья, и постепенно он стал ощущать их тяжесть.

Антон увидел, как над сугробом вьется еле заметная дымка.

— Как ты думаешь, Полина, что это?

«Это провожает нас князь Ордынцев, — хотел сказать Афанасий. — Знает Ордынцев, что завтра Параллельный мир № 42 перестанет существовать. Нас всех увезут отсюда. Хорошо бы вычеркнуть из жизни завтрашний день, не видеть никогда или хотя бы не помнить лицо Полины в окне маленького с облупившейся по бокам голубой краской автобуса. И как Антон оттолкнет учительницу, хлопотливо застегивающую ему пальто перед тем, как посадить все в тот же автобус, и шепчущую ему на ухо: «Пока ничего неизвестно, вы должны верить...».

Мы уедем, полигон занесет снегами, потом дожди и ветры сотрут следы его существования. Только редкие в этих местах геологи, наткнувшись на странные разрушенные постройки, будут чесать языки насчет древней арийской цивилизации, от которой не осталось ничего, кроме заросших бурьяном бункеров. И еще будут ходить совсем уж неправдоподобные слухи о назойливом привидении, измученном ностальгией по человеческому обществу».

Но Афанасий, как всегда, промолчал.

— Я знаю, что это за дымка, — ответила Полина. — Это поднялся из какой-то берлоги звериный Ведогонь.

— Какой еще Ведогонь?

— У всякого зверя свой Ведогонь. Звери засыпают — караулят их Ведогони. Караулить скучно и зябко. От нечего делать дерутся. Беда: не осилишь, кончит свой век Ведогонь — и зверь сочтет во сне звериные дни¹.

— А у людей так бывает? — спросил Афанасий.

— Счастливый, кто родился в сорочке, — у того тоже есть свой Ведогонь. Вот ты, Афанасий, — счастливый. Засыпаешь ночью, а он выходит мышью, бродит по свету. И куда только не зайдет — на какие горы, под какие звезды! Погуляет, всего наглядится — и вернется к тебе. А ты видишь сны. Это все Ведогонь насказал и напел.

Полина глянула на Афанасия, страшно ему или нет? Показалось, что не страшно, и она продолжила трагическим шепотом, делая эффектные паузы.

— Но берегись: если дрема крепко уводит — твои дни сочтены. Ведогони драчливы; заденут друг друга — и пойдет потасовка, а после, смотришь, и нет одного: кончил свой век. И ты не проснешься... Немало счастливых гибнет в зимнюю пору неслышно...

«Артистическое дарование несомненное», — подумал Афанасий.

— Сама придумала? — спросил Антон.

— Конечно, сама!

«И врать тоже горазда».

— Ладно, хватит маленьких пугать. Вставайте, а то так и замерзнуть недолго, — Антон встал первым и подал девочке руку.

— А давайте лучше петь! — сказала Полина и начала своим чистым серебристым голосом.

Как ангел неба безмятежный в сиянье тихого огня...

Афанасий не имел никаких способностей к пению, старательно выводил, отчаянно фальшивя. Но снег поглощал звуки, и никто, кроме князя Ордынцева, их не слышал.

Майские праздники 2002 г.

Васильевский остров

Море Цаплина

С утра Димка какое-то время лежит в постели и смотрит в потолок. По потолку, перемахнув за грань оборвавшегося сна, катятся упругие блестящие волны, и усталый корабль, размеренно вдавливаясь в них то одним, то другим боком, торопится в порт, домой. Из разбившихся о борта волн на палубу сыплются шумные дожди. Димка пускает над мачтами горластых ширококрылых птиц, покрывает палубу скользким серпантинном водорослей и смотрит, как, прихрамывая, но не сбиваясь с курса, ковыляет своей трудной морской тропкой его «Стальной Кит», герой и первооткрыватель. Это он так придумал — «Стальной Кит». Спросит потом у папы, как на самом деле назывался его корабль, и переименует. И про водоросли спросит, какие они.

Оказывается, жизнь может меняться. Вдруг. Делает «ап» — и ты, разинув рот, обалдело хлопаешь глазами.

— Привет, мужичонка. А я, стало быть, твой папа.

На кухне теперь пахнет табаком, и квартира — пока как бы на пробу, пока на какие-нибудь временные, случайные места вроде спинки стула или подоконника — принимает незнакомые ей до сих пор вещи: мужские сорочки, брезентовый рюкзак, носки, кепку, зажигалку, брелок с крошечным перочинным ножиком. И самое главное: возле дивана стоит приоткрытая спортивная сумка, и в ней видна его тельняшка. Он пока не распаковывает эту тертую, кое-где расходящуюся по швам сумку. Там, под тельняшкой, наверняка прячется его морская форма. И может быть, даже кортик.

¹ Ремизов «Посолонь».

Димка пока не решается спросить про кортик. Папа пока тоже не решается поговорить с Димкой. Только потреплет иногда по плечу, скажет громко:

— Большой уже мужичонка-то. — А сам смотрит куда-нибудь мимо. Привыкает.

Димка не знает, каково взрослым, когда у них появляются дети. Тоже, наверное, нелегко им. Вот у Димки появился папа — и голова кругом.

— Не дергай его, хорошо? — как-то тревожно шепнула Димке мама.

Он и не дергает. Сам видит: папе не по себе. Из дома он не выходит и все время о чем-то думает. Иногда в задумчивости трогает мебель, занавески, знакомится с расставленными на комодах и шкафах предметами. Возьмет в руки, посмотрит и ставит на место. Ничего, привыкнет. Наверное, с ним то же, что было с Димкой, когда на прошлый день рожденья он прокатился на американских горках три круга подряд. Шел потом по неподвижному — снова неподвижному — парку, вдоль неподвижных клумб, и сама эта неподвижность казалась притворной, полной опасности. Выстроенные в линейку деревья, сонно кивающие над ним ветвями, казалось, притворяются тоже: только что мчались напрямик на него и вот остановились, за мгновение до того, как он на них взглянул. Даже усевшись на скамейку рядом с мамой, Дима еще озирался, будто и впрямь надеясь подглядеть, как, улучив момент, этот ровненько подстриженный и подметенный парк безобразничает и ходит вверх тормашками.

Но прошло ведь — и у папы пройдет.

Вечером они сели за стол, отметить возвращение папы.

Мама заткнула ему салфетку за ворот, и салфетка каждый раз, когда Димка наклонялся, пружинила и накатывала на тарелку. Пришлось есть, сидя с неестественно прямой спиной, отчего вилка поднималась ко рту бесконечно долго.

— Осанку блюдешь? — подмигнул ему папа, ссутулившись над тарелкой.

Дима подумал: на флоте у моряков тоже — осанка; больше у новичков, наверное; а старым морским волкам, как папа, можно уже без осанки, — и кивнул.

Мама спросила папу:

— Чего хлеба не берешь?

Он усмехнулся:

— Я на него еще долго смотреть не смогу. Столько его сожрал!

— А откуда на кораблях столько хлеба? — удивился Дима.

Папа смутился и непонятно как-то посмотрел на маму. Сказал:

— Так... в портах загружают. — И принялся сосредоточенно орудовать вилкой.

Дима потом весь вечер, рассеянно слушая взрослые разговоры, воображал, как на корабль загружают хлеб: в мешках, или, может, в ящиках, или в картонных коробках, в каких привозят печенье в магазин.

А по утрам все наспех. По утрам все мысли — как рисунки на песке, к которому подбегает волна. Морские картинки на потолке скоро исчезают: пора собираться в школу.

Когда кинжал часовой стрелки вплотную притиснут к тоненькой латунной стрелочке, выставленной в караул возле «семерки», за которой уже самое обычное, из однообразных торопливых минут составленное, утро, Димка спускает босые ноги на ковер и тянется к будильнику. Вдавливает кнопку, и будильник металлически икает, подавившись проглоченным в последний момент звонком.

Мама предупредила:

— Не буди его утром.

Так что, собираясь в школу, Дима старается не греметь и не топтать и потише пускать воду в ванной. Все это дается ему с трудом, каждый жест приходится тщательно выцеливать, замедлять на всякий случай. Поэтому Димка собирается дольше обычного. Мама, как всегда, ушла затемно. На кухне его ждут накрытый салфеткой бутерброд и чай в термосе.

Ему очень хочется еще раз посмотреть на папу. Ему кажется, что за ночь он успел забыть, как тот выглядит. Димка осторожно притрагивается к замочной скважине.

Вот рука заброшена на одеяло. Полоска солнца мазнула по плечу. Татуировки якоря на плече действительно нету. В подушке утонула лысоватая голова: на самой макушке ее черный цвет становится серым — будто там поработали стеркой.

Перед тем как уснуть, Дима слушал разговоры взрослых. Сначала испугался, что мама с папой ругаются, потом успокоился: показалось.

— И на кой нам были эти понты? — проворчал папа.

— Ну... сама не знаю. Мог бы и предупредить, что собираешься вернуться.

— И что мне теперь?

— Да не заморачивайся ты. Все утрясется.

Потом они закрыли дверь, и стало плохо слышно. Но самое главное — раз мама сказала «все утрясется», значит, папа собирается остаться. Может, больше совсем не пойдет в плавание?

Вообще-то все немного запутанно с папой. Сначала Дима думал, что папы у него совсем нет. Однажды он решил спросить у мамы.

— Уплыл твой папаня, — ответила мама, вытирая тарелку, и тарелка скрипнула. Мама всегда вытирает их до тех пор, пока они не скрипнут.

Дима переспросил:

— Как уплыл? Он моряк?

Мама поставила тарелку в шкафчик, почему-то посмотрела на него строго, отвернулась.

— Моряк. Моряк-исследователь.

Дима не стал тогда спрашивать дальше. Тем более почувствовал: мама скорей всего промолчала бы. Или даже рассердилась бы на его расспросы.

Бывает, Дима про себя удивляется: почему мама так редко с ним говорит? Будто обижается на что-то. После того разговора он стал думать, что вот и она — далеко-далеко в море, за горизонтом. Так далеко — не дозовешься. Тоже уплыла. Следом за папой.

На иве перед подъездом почки уже пузатые, крупные. Он срывает одну на ходу и растирает ее в пальцах. Пальцы становятся клейкими, приходится их облизать. От ивового клея вяжет во рту. Димка морщится, но на самом деле ему жутко приятно эта пронзительная горечь на языке — теперь, проходя мимо ивы, он будет смотреть на нее по-новому. Теперь он знает про нее кое-что особенное — про ее горький клей. Это делает их близкими знакомыми.

И вообще, Димке теперь кажется, будто весь мир заново с ним знакомится. Шагая к школе, он то и дело вертит головой, выбирая, на чем бы остановить взгляд.

На асфальт аллеи брошена скомканная сеть — тень от густых, но еще прозрачных крон. Димка любит смотреть на деревья. Особенно на большие. Интересно, папа тоже любил смотреть на деревья, когда проплывал мимо каких-нибудь диких островов? А мохнатые тропические пальмы выбегали на пляж и махали ему зелеными лапами: сюда, сюда. Вот бы папа пошел с ним завтра гулять...

Все досадное, всегдашнее, повторившееся сотни раз, сотни раз доведшее его до слез, сотни раз потом зевнувшее с хрустом ему в лицо, — мол, что поделать, такова я, твоя жизнь, — заканчивалось раз и навсегда.

Белые фасады девятиэтажек поднимаются над сутолокой ветвей, черепичных низеньких крыш, столбов и заборов. Сложив руки биноклем, Димка представляет, как папа рассматривает борт приближающегося лайнера, который очень даже похож на выросший посреди океана дом. Кто-нибудь, поднятый так высоко над водой, что до него не достают уже ни брызги, ни ее густой соленый запах, машет ему дурашливо рукой, кричит что-нибудь туристическое, веселое: «Эге-ге!», а папа молча улыбается и вспоминает о своих опасных плаваниях, о штормах, о сломавшейся рации и, может быть, — о самом Димке.

— Смотри ж, куда идешь!

Он отскакивает от старушки, досадливо качающей ему вслед головой.

Конечно, папы долго не было с ними. И, ясное дело, не только потому, что он плавал.

«Ежу понятно», — бормочет Дима себе под нос.

Они были в ссоре с мамой. Но это не его, Димкино, дело. Он знает, как бывает трудно говорить о том, о чем не хочется говорить. Так что он не собирается мучить взрослых расспросами. Разберется сам.

Главное, что жизнь может меняться.

«А в пустыне ты был?» — вот что он еще у него спросит. Пустыня — тоже интересно.

Стоя над пятном песка, окружившим песочницу, он рисует извилистые параллельные бороздки ребром кроссовки — и становится похоже на бархан из учебного пособия номер семь, которое Катерина Пална вешает на уроках «Окружающий мир».

Спохватившись, что опаздывает, он натягивает лямки ранца и пускается трусцой. Из-за угла булочной появляется школа. Тут и там с гулким стуком захлопываются открытые для проветривания окна: наверное, он все-таки опоздал, начинаются уроки. Закусив от досады губу, Дима ускоряет бег — но, завернув за угол булочной, снова переходит на шаг.

— О! Пернатый!

— Цапля! Лети сюда!

Подходить очень не хочется. Он научился терпеть и даже не плакать. Но теперь это снова трудно.

— Сюда давай, тебе говорят.

Все, конечно, с сигаретами, которые они держат и вставляют в рот чересчур небрежными жестами. Хотят выглядеть взрослыми.

— Я опаздываю.

— Че?!

— О! Говорящая Цапля!

Дима нехотя идет в их сторону, к скошенному навесу школьного пожарного выхода, где они развалились в пустом оконном проеме.

— Какой-то ты тормознутый стал, Цапля. Учили-учили тебя, все насмарку.

— Говорят, у вас мужик какой-то завелся?

— Не мужик. Мой отец.

— Твой отец... не мужик?

Они смеются так громко, что это уже не смех — истощный крик. Дима оглядывается: не видит ли кто из одноклассников.

— Говорят, он у вас серьезный в натуре уркаган, а? Ходка за ходкой. А, Цапля?

— Ты теперь тоже будешь травкой приторговывать? С собой-то есть?

Дима не понимает, что они ему говорят. Впрочем, он часто не понимает, что они говорят. Может быть, сказать им, кто его папа на самом деле?

— Э-эй, Цапля!

— Вот вам и говорящая Цапля!

Нет, не получается произнести ни слова. В ту ночь, когда он встал пописать и в коридоре наткнулся на какого-то человека и даже вскрикнул от неожиданности, а человек присел возле него на корточках, легонько щелкнул его пальцами по груди, сказал: «Привет, мужичонка. А я, стало быть, твой папа», — в ту ночь началось то, что никак не может существовать рядом со всей этой ерундой.

Дима натягивает лямки ранца и кидается к школе.

— Цаплин, опять опоздал.

— Извините, Катерина Пална.

Пока он идет на свое место, сыплются привычные шутки.

— Да Цаплю ветром снесло.

— Опять, небось, лягушек ел. Лягушки вку-у-усенькие.

Катерина Пална стучит карандашом по столу:

— Тишина! Записали число, открыли учебники.

Он садится, достает тетрадь и учебник и тихонько вздыхает: день начался.

Папа курит на балконе, Димка сидит в комнате на диване, смотрит мультик. Вернее, только делает вид, что смотрит. На полувозледивана — опустевшая спортивная сумка. Сдулась, как праздничный шар, забытый в каком-нибудь дальнем углу: вытаскиваешь этот сморщенный лоскуток и вспоминаешь, каким ярким и торжественным он был, пока хранил в себе тугий воздух праздника. На дне сумки теперь только узелок скрученных носков и электрическая бритва, обернутая собственным проводом. «Форму могли убрать в шкаф», — решает Димка. Но в шкафу, в пестрой колонне одежды, качнувшейся под его рукой, формы тоже нет. «А может, в химчистке? — думает он, возвращаясь на диван. — К выходным решили почистить».

С балкона возвращается папа.

— Мультки смотришь? — спрашивает.

И сразу ясно, как ему непросто говорить с Димой, быть с ним наедине: голос его какой-то ненастоящий. Папа будто бы хочет сказать каждым своим словом еще что-то, приласкать Диму.

Он садится рядом с ним на диван, смотрит в телевизор.

— Компьютерный? Сейчас все компьютерные крутят, да?

— Нет, не всегда. И рисованные тоже бывают.

— Да-а. А в мое время еще были кукольные. Видел когда-нибудь кукольные?

— Видел. Они неинтересные.

— Да.

Они сидят какое-то время молча, потом папа говорит, будто вспомнив что-то важное:

— Ты, Дима, вот что. Ты, если меня по телефону будут спрашивать, говори, что меня нет. И когда буду, ты не знаешь. Ладно?

— Ладно, — отвечает Димка и тут же решает, что объяснение этому он поищет потом.

Уроки в пятницу тянулись долго, невыносимо долго.

На последней странице черновика он нарисовал море Цаплина: похожие на гигантские эскимо, по горизонту плывут айсберги; в плотных облаках над ними — золотая клякса солнца; птицы висят, размашисто обняв небо; пущенный китом фонтан похож на собачий хвост, да и сам кит — взглядом, что ли, выражением морды — похож на собаку. А под водой — потому что море Цаплина это подводное море — кипит невиданными по форме чешуйчатыми телами, мерцает плавниками, перебирает щупальцами потайная подводная жизнь.

Очень хотелось домой.

До последнего урока Димка кое-как продержался. Но когда на контрольной по математике под костяное постукивание мела на доске начали расти коротенькие рядки примеров, он не вытерпел и расплакался. Цифры на доске вспухли. Подрагивая, поплыли по стене. В тетради, там, куда шлепнула скатившаяся по щеке слеза, «минус» превратился в рыбий скелет.

— Цаплин, ты чего плачешь, ты не готов к контрольной?

— Цапля ревет, смотрите!

И сразу загудело вокруг. Сзади толкнули в спину.

— Тихо! Цаплин, иди в туалет, умойся и возвращайся.

— Девчонка, плакса!

Когда-нибудь он придет в школу, держа натертую штурвалом сухую папину ладонь, — а папа будет в своей вычищенной и отглаженной форме, на которой сверкают пуговицы с якорями и погоны вышиты золотыми нитками. И они не посмеют, никогда больше не посмеют его обзывать.

На урок он не вернулся. Отсиделся на гряде сломанных стульев под лестницей. Дождь, пока отзвенел звонок, пока у него над головой, окликающая друг друга на бегу, глухо гремя пеналами в ранцах, пробегут один за другим классы. Шум, смех, хлесткий стук двери на тугой пружине постепенно ушли из школьного вестибюля — в нем остались лишь размеренные шаги вахтера: ток-ток, ток-ток.

Димка забежал в класс, когда Катерина Пална, сидя за своим столом, прятала в ящик стопку тетрадей. Одной рукой схватил учебник, другой — портфель.

— Цаплин, ты что? Сейчас же вернись!

Ваня Кочубеев, дежурный, вытиравший доску, кинулся ему наперерез, в дверном проеме ловко подставил ему ножку.

— Кочубеев! — успела крикнуть Катерина Пална, пока Дима падал, и снова: — Цаплин!

Дима растянулся посреди коридора.

Ничего, ничего. Папа, может быть, уже переоделся в форму. Да: решил встретить его из школы при параде. Сидит, смотрит задумчиво в окно, и кортик качается возле самого пола. Ничего!

Он бежит, на ходу оглядывая себя: сильно ли испачкался.

Нет-нет, теперь ему вовсе не хочется плакать. Все-таки вокруг разворачивается праздник.

Беленые стволы тополей приосанились, заполнили школьный двор, как прогуливающиеся по портовой набережной капитаны. А позади них — капитанские жены: усыпанные почками ветви лип похожи на нитки зеленых бус.

Посреди двора две кошки втянули под себя лапы, уложили хвосты колечком и дремлют, сплющив глаза в китайском прищуре. Первое клочковатое тепло: чуть в тень — и уже прохладно. Кошки не хотят в тень. Даже проехавший мимо велосипед не согнал их с места.

Димка вдыхает весну: травянистый запах почек и болотистый — нагретых на солнце луж и идет к дому.

Одышливое дыхание улицы, бегущей по ту сторону новостройки. Обрывки не слышанных, на ветру погибших фраз, оброненных прохожими, шипение велосипедного колеса, лихо перерезающего лужу пополам.

На игровой площадке покачиваются с вялым скрипом недавно опустевшие качели. Девочка, спрыгнувшая с качелей, уже далеко, подбегает к подъезду, мелькая икрами под клетчатой юбкой. За игровой площадкой экскаватор укусил ковшом землю у самого края длиннющей траншеи, да так и оцепенел.

— Надо было совсем не ходить в школу, — говорит себе Димка, и от этой мысли — от того, что в его голове появилась такая хулиганская, дерзкая мысль, — тихо улыбается.

Он не спешит, хотя сгорает от нетерпения. Ему хочется растянуть этот свой путь домой, этот первый побег из опостылевшего класса, где Катерина Пална оглушительно стучит карандашом в столешницу и кто-нибудь каждую минуту готов напомнить ему, что он тут самый слабый, самый трусливый, — и одновременно хочется сократить этот путь до одного последнего мгновенья, бежать, нестись домой, как та девочка с качелей, чтобы какая-нибудь неожиданная кочка была в подошву обжигающим хлопком и толстые дворовые голуби, не рассчитавшие его скорость, в последний момент прыскали в разные стороны, задевая его крыльями.

В море Цаплина сначала бывает страшно.

Особенно когда погружаешься.

Сначала — голубой, усеянный искрами суматошных рыб.

Потом — синий, в котором кружат большие медленные тени.

Потом синий цвет сгущается, становится неподвижным.

Потом к иллюминатору прилипает непроницаемая черная ночь.

А потом включается прожектор — и вырезает из ночи живое море.

И можно рассматривать его, как вынутый из арбуза кусок.

И как напичканные в арбузную мякоть косточки, сверкают перед замороженным взглядом все эти блики и огоньки подводной жизни.

Тайной, посеянной на спасительной глубине жизни.

Борис Хазанов

Пять новелл

Французский рассказ

Il y avais d'ja bien des annйes que...
Proust¹

История сближения женщины и мужчины всегда будет главным событием в жизни — не считая смерти, но смерть нельзя пережить, и, значит, смерть не есть событие жизни. Посетителей кафе на углу улиц Бюси и Св. Григория Турского, на Левом берегу, в двух шагах от бульвара Сен-Жермен, встречали две официантки, одна уже в летах, невозмутимо-чопорная и неторопливая, другая совсем молоденькая, щуплая, черноволосая и черноглазая, явно неопытная, чтобы не сказать бестолковая. Каждое утро турист, поселившийся рядом, выходил в прохладный переулок и усаживался перед крохотным столиком. Девушка приносила «малый завтрак»: бокал с апельсиновым соком, булочку, разрезанную вдоль и намазанную маслом, омлет, кофейник с жидковатым кофе. Она собирала посуду с соседнего столика, что-то забыв, возвращалась, бегала взад-вперед. Посетитель жевал хлеб, подносил ко рту чашку с кофе и смотрел на ее мальчишеские бедра. Ему не приходило в голову, что между ними может что-нибудь произойти.

Ближе к вечеру накрапывал дождь, но с утра обыкновенно светило солнце. Турист считал, что ему повезло. Он жил здесь уже две недели. С некоторых пор официантка улыбалась ему не совсем формально. Это значило, что к нему относятся как к завсегда. Однажды он спросил: давно ли она здесь работает? Она передернула плечами, вероятно, ей послышался упрек, и отошла к соседнему столику, за которым сидела газета. Видны были толстые пальцы рук и берет с хвостиком. Турист прихлебывал кофе, поглядывал на ее суетливые движения. Официантки привыкают к взглядам мужчин, но она была еще неопытна и оглянулась. Встав из-за столика, он мгновенно о ней забыл.

На другое утро он сказал: «Вы не ответили на мой вопрос».

«Какой вопрос?» Она больше не улыбалась. Он хотел узнать, как давно она служит в этом бистро. Завтрак был окончен, она собирала посуду.

«Почему вас это интересует?»

«Интересует», — сказал он. Турист расплатился и не думал о девушке до следующего раза.

На другой день приезжий, выглянув в окошко, увидел, что он сглазил погоду. Моросил дождь, было прохладно, поставщик товара приехал с опозданием, фургон загородил улочку. Шофер разгружал ящики с напитками, и тут же суетилась черноволосая официантка, поверх платья на ней была вязаная кофта. Над столами натянули тент, но посетители предпочли укрыться в помещении.

Он уселся снаружи. «Вас зовут Рене», — сказал он.

¹ Сколько лет прошло уже, как... Пруст

«Откуда вы знаете?»

«Догадался».

Она подняла брови, покачала головой.

На самом деле он слышал, как поставщик назвал ее этим именем.

«Рене», — сказал турист. Она пожала плечами, как будто хотела сказать: пожалуйста, если вам так нравится. Она снимала с подноса и ставила на столик то, что принесла; держа пустой поднос, как щит, перед грудью, спросила:

«А вы — откуда приехали?»

«Из Америки. Есть такая страна, далеко, — он взмахнул рукой, — за океаном».

«В самом деле? А я и не знала».

Ее окликнули: звала — или, может быть, призывала к порядку — старшая официантка. В ответ небрежный кивок; она все еще стояла с подносом.

«Но вы не американец».

«Почему вы так решили?»

«У вас не американский акцент».

Он сказал, что он русский, вернее, сын русских. «Я сам не знаю, кто я», — добавил он и, взбираясь по крутым улочкам Монматра к церкви Святого Сердца, вспомнил эту фразу: в ней было что-то кокетливое. Кроме того, он думал, что в этом городе, где «столько всего», трудно остаться самим собой.

Она, однако, хоть и выглядела подростком, была уже студенткой, об этом она сообщила на следующее утро и помедлила, держа поднос, как щит. Турист заговорил о французской литературе, что-то прочитанное Бог знает когда, Мопассан или кто там. Скоро двину восвояси, сказал он, отпуск кончается. Не желает ли она заглянуть к нему в гости?

Приглашение, неожиданное для него самого, разумеется, было сделано в шутку; видимо, так она и восприняла его слова, если не пропустила их вовсе мимо ушей. Возможно, ей уже приходилось выслушивать такие предложения. Вновь установилась чудная погода. Согласно плану, он должен был отправиться в музей д'Орсэ, выстоять очередь перед входом, слушать щебет японок, вместо этого, выйдя к набережной Вольтера, он повернул направо, дошел до Нового моста, нежиллся на скамейке под деревьями на узкой оконечности острова Ситэ, смотрел на реку и дальние мосты в солнечном тумане. И думал о том, что надо было приехать сюда в юности, пожить в этом городе, а может, и поселиться в нем навсегда. Нехотя он поплелся обедать, бродил, устал, так прошел день.

Турист набрал три цифры на щитке в подъезде старого дома на улице Григория Турского, толкнул дверь, высокий мрачный холл осветился, он ехал в кабине, вышел из лифта на предпоследнем этаже, стал подниматься по узкой загибающейся лестнице с железными перилами; наверху, на последней ступеньке, сидела, обняв колени, Рене. Он почувствовал беспокойство, притворился, что очень рад, и спросил, давно ли она ждет. Они вошли в квартиру, которая вряд ли заслуживала такого названия. Комнатка с невысоким потолком, с низким ложем, платяной шкаф, полки с растрепанными альбомами, романами, за перегородкой газовая плита, стол и кухонная утварь. Окно с видом на соседнюю крышу, а внизу глубокий двор-колодец. Жилец извинился за беспорядок. Он поставил на стол две тарелки, откупорил вино, разговор едва тлел, как сырые дрова.

«Ну что ж, — проговорил он, — пора на боковую. — Снял со шкафа матрас, перевязанный бечевкой, разложил на полу. — А ты, — сказал он, — ляжешь на постели».

Девушка возразила:

«Но я вовсе не собираюсь у вас ночевать».

Он снял телефонную трубку, вызвать такси.

«Сама доберусь». Он слышал, как громыхнула дверь лифта. Был ли он разочарован? Завтра пойду завтракать в другое место, подумал он. И вообще больше никогда ее не увижу. Он почувствовал облегчение, он не был любителем сомнительных приключений. Ему захотелось домой, в Нью-Хейвен, в свою квартиру и контору.

Минут через десять, — жилец чистил зубы в ванной, — постучались. Или ему показалось. Уеду, думал американец, и никогда не вспомню, и прекрасно; а завтра, куда же нам двинуться завтра? Ему наскучили музеи, он решил в оставшиеся дни

совершить паломничество на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, о котором кое-что слышал.

Пошел открывать. «Я передумала», — сказала она. И как будто ветер ворвался в комнату и сдул все мысли. Наутро он увидел на простыне пятна крови. Она не стала пить кофе, убежала, пока он брился; когда он спустился вниз и уселся под тентом, — небо снова заволочло тучами, сочился дождь, — официантка молча принесла завтрак, вернулась в помещение, вышла с другим подносом для толстого соседа с газетой. Турист расплатился и посидел еще некоторое время. Дождь перестал. У себя наверху он изучал маршрут. Долго ехал, сперва пригородным поездом, потом автобусом.

Турист бродил по безлюдным мокрым аллеям, сворачивал наугад на боковые дорожки, читал надписи на языке, от которого отвык: дворянские титулы, офицерские чины, евангельские цитаты. Набрел на высокий крест с надписью «Русская Освободительная Армия», это название ему ничего не говорило, он пожал плечами.

Найти знаменитостей было не так просто, спросить не у кого. Не нашел он и своих родственников, в существование которых плохо верил. Как вдруг наткнулся на камень с собственной фамилией, со своим именем. И даже год рождения тот же. Он наклонился и прочел: «Ибо я был странником, и вы приняли меня. Мф. 25: 35». И ему представилось, что он в самом деле приехал юношей в этот город, жил здесь и здесь умер.

Турист чуть не опоздал к закрытию, приди он к воротам на десять минут позже, пришлось бы ночевать на скамейке. Вечером, проходя мимо «своего» бистро, искал глазами официанток, одна была немолодая, знакомая ему, надменная и невозмутимая, другую он видел впервые. Заглянул внутрь. Рене не было, ее и не могло быть, ее смена кончилась. Зажглись огни, везде шатались туристы, было много японцев, он вышел к бульвару, где все теперь уже было знакомо, и постоял перед мрачной башней, на знаменитом перекрестке искусств и наук. К нему приблизился человек в рубище и шепнул: «Друг мой...» Турист думал, что у него попросят милостыню. Человек опасливо поглядел по сторонам. «Сейчас тебе кое-что расскажу. Открою секрет, хочешь?..» — но вместо этого махнул рукой и, пошатываясь, удалился. Приезжому стало скучно — впервые за все время.

Вспору было спросить самого себя: what the hell? Какого черта... Что он нашел в этой девчужке? Легкое косоглазие часто украшает женщин, но тут этого не скажешь. Черные глаза глядят не на тебя, а мимо тебя, на что-то сзади, и тянет обернуться. Короткие волосы заколоты над ухом. Такие девицы никогда не становятся зрелыми женщинами, вечно страдают малокровием, гландами, дышат ртом, шмыгают носом. Чахнут, вянут и в конце концов превращаются в существа без возраста и пола. Через каких-нибудь пять лет, — если бы он пожаловал снова, — весь этот дурман исчезнет. Ну и что, сказал он себе. Не в этом дело.

В том-то и дело, что «не в этом дело»; минутная страсть, которую, говорят, часто распалют худощавые темпераментные женщины, — тоже не объяснение. В этой Рене было что-то, чего он не понимал, — но что здесь понимать? Всякая юная незнакомка кажется таинственной. Потом оказывается, что никакой тайны, никакой загадки нет и не было; вечная история. Лучше сказать: вечно новая история. К тому же он совершенно не знал французенок. Да если бы и знал. В ней, какой она оказалась, с ее неловкостью, острыми коленками, слабым позвоночником, впалым животом, было что-то сбивавшее с толку. Была, вопреки всякому скепсису, тайна, вернее, она сама была тайной; громко звучит, но иначе не скажешь. Лишив ее девственности, — событие, похоже, не слишком ее взволновавшее, — он не приблизился к разгадке.

Он поплелся домой. Девчонка сидела на верхней ступеньке, подол между коленками, за спиной сума со студенческими книжками, ремешок между грудями. Он протянул ей ключ от квартиры, у меня два ключа, сказал он. Рене отказалась и ужинать тоже не захотела. Стояла под душем, космы слипшихся волос, глянцева кожа. Мужчина водил губкой по ее телу, по желобку на спине и ягодицам, под мышками и вокруг сосков, и она что-то пела фальшивым голоском, вероятно, чтобы скрыть волнение.

Утром нежались в постели, на этот раз она никуда не спешила. Надо подзубрить, объяснила она, предстояло что-то вроде промежуточного экзамена. Что тебе известно о дадаизме? Турист отправился в квартирное бюро на улице Святых отцов и

уплатил за жилье еще на неделю вперед. Каждый вечер он ждал, прислушивался к лифту, открывал ей, так прошло еще несколько дней. Чад вожделения рассеялся, для них наступило время взглядеться друг в друга. Американец лежал на спине, ладони на затылке.

«Щекотно?»

Она водила ладонью по волосам на его груди.

«Нет, — сказала она, — оставайся так».

Он остался «так». Он подвинулся, женщина пристроилась сбоку, так что он видел ее стриженный под машинку затылок, острые лопатки, симметричные ямки на крестце, ложбинку ягодич, сидела, поджав колени, как сидят японки, а это что, спрашивала она, словно видела впервые.

«Ты и так знаешь».

«Откуда же мне знать».

«Девочки всегда информированы лучше мальчиков».

Она возразила: «Ты так думаешь?»

Американец сказал:

«Разве слова что-нибудь значат?»

«О, да».

«Особенно такие, которые не принято произносить, да?»

«А это?» — спросила она.

«Осторожней».

«Тебе больно?»

«Нет».

«Приятно?»

«Пожалуй».

«Кладовая любви, — проговорила она. — Целых две кладовых...»

«Нам пора вставать. Я проголодался».

«Вот видишь».

«Что — видишь?»

«Между любовью и голодом прямая связь».

«Разумеется».

«Пора пополнить запас живчиков, да? Там, наверное, ничего не осталось».

«Все досталось тебе»..

«Но потом накопится снова?»

«Накопится снова».

«Для других женщин?»

«Для тебя».

«Ты хочешь сказать, что ты меня любишь?»

Он не ответил.

«Обожаешь?»

Он с важностью кивнул. Выдержав паузу, он проговорил:

«Видишь ли, как тебе объяснить. Существует мозг, и существует мысль».

«Ты хочешь сказать, что это не одно и то же?»

«Я хочу сказать, что без мозга мысль невозможна. Но свести одно к другому тоже невозможно. То же самое любовь. Без желез и гормонов, конечно, ничего не будет, однако...»

«Я не знала, что ты такой ученый».

«Но это общеизвестная истина».

«Пожалуйста, не говори так».

«Как?»

«Пожалуйста, не говори: общеизвестная».

«Почему?»

«Потому что то, что происходит между нами, происходит только между нами. У тебя было много женщин?»

Турист сделал неопределенное движение, как будто хотел сказать: что поделаешь.

«У тебя не было женщин, запомни это».

«Постараюсь».

«И сейчас у тебя никого нет, о-кей?»

«О-кей».

«Ни там, ни здесь?»

Он кивнул.

На ее лице появилось сосредоточенное выражение.

«Можно мне...?»

«Можно», — ответил он, не дожидаясь, когда она договорит.

«Откуда ты знал?..»

«Знал».

Девушка прищурилась и спросила:

«А вообще — кто ты такой?»

«Кто я такой? — переспросил он. — Я — это он!» — и показал пальцем вниз.

И оба засмеялись от счастья.

Договорились, что он будет ждать ее в вестибюле, Рене училась в Десятом университете в Нантерре. Два часа прошло, стеклянный холл опустел, турист поднялся навести справки, ходил из одной комнаты в другую, фамилию студентки он не знал, ничего толком не добился, не было даже уверенности, что она здесь была. Его охватил панический страх, выскочив из такси на перекрестке Григория Турского и Бюси, он поднялся к себе, там ее не было, он выбежал из подъезда. Он спросил у пожилой официантки, нельзя ли повидать Рене.

«Кого?»

Он повторил вопрос. Женщина пожала плечами, покачала головой. Она никогда не слышала этого имени. Турист описал внешность Рене. «Извините, — сказала официантка, — мне некогда».

Он догнал ее. «Но я сам слышал, как поставщик...»

«Может быть, — возразила она. — К сожалению, ничем не могу вам помочь». И то же самое он услышал от хозяина.

В эту минуту он увидел ее, она была без фартучка, быстро прошла между столиками и свернула за угол, он настиг ее и схватил за руку. Девушка стремительно обернулась, это была не она.

Он зашагал, лавируя между прохожими, по улице Дофина, отсюда до набережных рукой подать, нет, думал он, теперь от меня не уйдешь. Та, что шла впереди, торопилась, вероятно, заметила преследователя, в последний момент неожиданно свернула вправо — там находился театр, турист успел за эти недели основательно изучить лабиринт тесных улочек Левого берега. Может быть, она жила поблизости. Она изучала расписание спектаклей. «Рене... — пробормотал он, с гулко стучащим сердцем. — Рене, что случилось?..» Она не отвечала. Он сказал: «Ты на меня сердиться?» Незнакомка ответила: «Откуда вы знаете мое имя?»

Турист бродил по залам Лувра, ничего не видя, ничего не слыша, на следующий день с утра занес ключи в квартирное бюро по дороге на аэродром, а через двадцать четыре года, ослепший и наполовину лишенный рассудка, с безнадежным диагнозом, вспоминал солнечный туман над рекой и дальними мостами, высоко над городом похожий на сахарную голову белый купол церкви Святого Сердца, вспоминал человека с газетой, «малый завтрак» на углу переулка — название стерлось в его памяти — и ту, которую он так и не смог разгадать.

Сталь и плоть

Не каждому дано понять, в чем его предназначение. Долгое время тот, о ком здесь пойдет речь, жил так, как если бы смысл жизни состоял в ней самой: в том, чтобы просто жить и производить потомство. Правда, он не слишком заботился о своих детях. Переводя на язык чуждого ему племени, можно сказать, что он не был создан для семейной жизни. То было время, о котором когда-нибудь будут говорить как о золотом веке. Эпос соплеменников пополнится новым циклом сказаний. Никогда еще добывание пищи не было таким легким и приятным занятием, никогда не водилось столько лосей и кабанов. Отчасти из-за этого благоденствия он утратил бдительность.

Другая причина была та, что я как бы уже родился счастливым. Смутно

вспоминаю моих братьев и сестер, они погибли во время Большой облавы. Мать увела меня из родных мест в дальнее заречье, в непроходимые заболоченные леса. Отца я не помню. Я жил в удобном логове под вывернутыми корнями огромной упавшей ели, вход, прикрытый еловыми лапами, невозможно было заметить даже вблизи. Птицы кружили над моим жильем, привлеченные запахом гниющих костей и черепов, я любил этот запах. Невдалеке протекал ручей, это было очень удобно, в любое время дня и ночи я мог утолить свежей проточной водой жажду после одинокого пира. Такой у меня характер — я одиночка. Конечно, отыскать себе пару в конце зимы, когда на холодном солнцепеке, под слепящим небом старые ели роняют хлопья снега и наст начинает хрустеть и подламываться на полянах, для меня никогда не составляло труда. Я был красив! От моей матери я унаследовал богатый мех, серо-серебристый в сумерках, золотящийся на солнце, я гордо нес за собой длинный пушистый хвост, украшенный на кончике пучком черных волос. Я мог устроиться на дневку прямо на снегу, достаточно было лишь слегка его притоптать. Даже в трескучие морозы мне не было холодно. Живот у меня светлей, и там, где прячется мой пол, кожа особенно нежна и покрыта белым пухом. Я был красив и любил себя так, как самка любит самца, но моя страсть была неутолима.

Я никогда не потел, даже после многочасового изнурительного гона во главе стаи. Одно время я был вожаком. Но природное одиночество победило, и то же можно сказать о моих многочисленных любовных связях. У нас в обычае воспитывать волчат вдвоем и содержать их по крайней мере до тех пор, пока они не научатся сами добывать себе пропитание. Я же оставлял своих подруг и выводок где и когда мне вздумается. Возможно, это у меня от отца; как уже сказано, я не знал его. Зато мать стоит у меня перед глазами. Она происходила из старинного рода синеглазых волков, в ледяные ночи она показывала мне звездное логово предков к югу от Весов, там, куда простирала руку Кентавр. От нее я унаследовал неподвижный, ледяной, немигающий взгляд, который парализует жертву.

Теперь я могу начать историю, о которой упомянул вскользь; как уже сказано, я был на вершине лет, в расцвете сил, мужской красоты и потенции; вокруг на десятки, может быть, сотни километров не было человеческого жилья, и о повадках людей зверь, о котором идет речь, лишь знал понаслышке, не умел отличать запах человека, не был знаком с опознавательными зарубками на стволах, с красными ленточками, которые иногда привязывают к ветвям охотники. Никаких знамений, никакого предчувствия, как у других представителей его расы. И все это тоже сыграло свою роковую роль. Однажды ночью, на десятом году жизни, он угодил в капкан.

Не было ничьих отпечатков, никаких следов, кроме его собственных; должно быть, охотник отступал по своим же следам и забрасывал за собой снегом. Короткий клацающий звук, как будто щелкнула чья-то пасть, и стальные клещи сдавили левую переднюю лапу выше запястья. Капкан был весьма искусно установлен по проходному следу, центр полотна находился под самым отпечатком волчьей ноги, механизм в глубине был прикрыт белой бумагой, чтобы днем не просвечивать под снегом, и от него тянулась проволока к волоку.

Показалось сперва, что сломана кость, но кость была цела. Он дергал лапой, волок не поддавался, был каким-то образом закреплен, чтобы зверь не ушел с капканом. Волк потерял рассудок. Много часов он то дергал капкан, то падал рядом, забывался на короткое время, снова вскакивал, дергал и расшатывал крепления; лапа онемела, пальцы с когтями не шевелились, под утро пошел густой снег, рассвет застал волка лежащим без сознания под толстой белой пеленой. Днем должны были появиться люди. Нужно было собраться с мыслями. Он подпрыгнул несколько раз и упал в мягкую могилу. Снегопад продолжался и замел яму. Волк помчался к оврагу, где его поджидала мать. Он хотел заговорить с ней, зашевелился в снегу, боль пробудилась и поднялась от мертвой лапы к плечу. Подождав немного, он сделал новый прыжок и еще один в сторону, и еще один, и тяжелый волок как будто подался. Солнце, как заспанный глаз, проступило сквозь густые облака. Волк прыгал в глубоком снегу, волока за собой капкан, он искал убежище. Волк свалился в овраг. Так прошел день. Вечером он умер.

Ветер разогнал снежные тучи, волк пребывал по ту сторону жизни, простерся в сладостной истоме, не чувствуя ни боли, ни холода, радуясь тому, что не надо больше двигаться, не надо думать, не надо ничего. Уже третьи сутки он ничего не ел и не

чувствовал голода, что было естественно, ибо за пределами жизни надобность в еде и питье отсутствует. Любопытно, что в этом потустороннем мире все осталось прежним: снег, лесная чаща и медленно плывущие серые облака; я лежал на боку, на дне моей снежной гробницы, и почуял приближение людей. Это заставило меня одуматься; я понял, что вернулся к жизни. Было сумрачно, за деревьями дрожали огни. Люди стояли с факелами, не решаясь подойти ближе. Вдруг залаяла собака, за ней другие. Вот кого мы презираем еще больше, чем людей. В наших сказаниях есть миф о предательстве. Странно, что они медлят. К ночи я почувствовал себя лучше. А главное, я знал, что мне надо делать. В мертвой тиши над кронами деревьев стояла высокая белая луна. Я попытался встать на ноги, это удалось не сразу. Едва поднявшись, я снова упал, перевалился на живот, подтянул поближе омертвелую лапу в стальной подкове капкана и впился зубами повыше запястья; к моему удивлению это оказалось не очень больно. Я рванул кожу, почувствовал соленый вкус и увидел, как снег под капканом стал чернеть. Я услышал чье-то урчанье. Это был я сам, мои зубы терзали лапу, теперь она пылала от боли, я уперся в кость, предстояло главное испытание, насколько легче было бы, если бы кость была сломана! И я призвал на помощь призрак матери.

Она явилась, выскочила из тьмы и стояла надо мной, ничего не говоря и глядя на меня, как мне показалось, с вызовом. Ее шерсть была окружена лунным сиянием. С отвратительным хрустом нога надломилась, от боли я потерял сознание. Когда я очнулся, моя лапа со скрюченными когтями вместе с капканом лежала в черном от крови снегу. Я не знаю, кто это сделал. Моя мать исчезла. Я хватал комья снега, пропитанного замерзшей кровью, глотал их. После этого я отполз в сторону. Я был свободен!

Кто-то должен был первым подать голос, пернатый самец впервые в жизни подманивал самку, к нему присоединялись другие, небо светлело, становилось выше и шире, солнце зажгло верхушки елей, и вот уже вся тайга звенела и гомонила голосами птиц; наступила весна. Волк вышел на дорогу.

Он был уже не молод, но все еще красив, с большим серо-седым воротником вокруг шеи, темноватым седлом на передней части спины, с пушистым хвостом, сохранившим черные волоски вокруг кончика, знак его происхождения. Он стоял на трех лапах, поджав культю левой передней ноги, и неподвижно смотрел в просвет узкой просеки. Волк отказался от дневной лежки, чуял приближение лошади, слышал мерное хлюпанье подков по непросохшей дороге и поскрипыванье колес, чуял чело-века. Все было известно и разведано, он должен был выбрать подходящую минуту. Он отбежал в сторону, навстречу ветру, чтобы не беспокоить ноздри лошади, следил из густого подлеска за тем, как человек в шапке лисьего меха и сам похожий на лису, с раскосыми глазами, с ружьем за спиной, проехал на подводе, сидя на мешках и упершись в передок телеги полусогнутыми ногами. Это бывало нечасто, человек возвращался на займку с поклажей и был в это время нетрезв. Волк несся большими прыжками по дороге, услышав собачий лай, свернул в лес и появился с подветренной стороны. Дом в два окна с крылечком, крытый щепой, стоял под отлогой вырубкой по другую сторону ручья, рядом сарай и поленица под навесом. Волк брезгливо поглядывал на четырехлапое существо, которое бежало, беснуясь, вдоль проволоки взад и вперед от крыльца до сарая. Пес не видел гостя. Волк улегся в подлеске и ждал. Пес успокоился.

Солнце медленно опускалось в дымно-лиловые облака, это предвещало назавтра пасмурный день. Волк дремал и в то же время бодрствовал. Вдруг собака вскочила и залилась лаем на своем диалекте, который представлял собой испорченный язык волков. Собака предупреждала хозяина об опасности. Телега стояла перед домом, мужик удерживал дрожащую лошадь. Волк перебрался через ручей и стал на виду, поджав обрубок ноги. Человек вставил два пальца в рот и громко, протяжно свистнул. Собака рвалась с цепи. Волк поднял голову к темнеющим небесам и завыл, это было вступление.

«Здравствуй», — сказал он.

Человек ответил:

«Здоруво».

«Наконец-то мы увиделись».

«Цыц!» — прикрикнул хозяин, и пес взвизгнул, умолк, стал рыть передними лапами землю, заметался на проволоке.

«Вон там, — продолжал волк и кивнул в сторону леса, — лежит мой собрат, птицы выклевали ему глаза, его тело издает зловоние. Он попался в железные клещи. Это твоя работа».

Человек не отвечал, вскинул ружье.

«Бей, бей его!» — завизжал пес.

«Только попробуй», — сказал волк и широко открыл свои немигающие, тлеющие синим огнем глаза. Оружие выпало из рук человека, но он не уступал, угрюмо, не отводя глаз, смотрел на зверя.

«И вот это, — сказал волк, — твоя работа», — и поднял культю. Человек усмехнулся. Волк чувствовал, как ярость пса, точно жаркое дыхание, обдает его на расстоянии пятнадцати прыжков; он понимал диалект собак, но собака с трудом разбирала благородную речь предков. Волк не удостоил ее взглядом.

«Пусти ее. Она ни в чем не виновата», — сказал он, показав кивком на лошадь. Мужик швырнул вожжи на телегу, и лошадь помчалась прочь, гремя и скрипя колесами.

«Что же мне с тобой делать, — проговорил волк задумчиво. — Загрызть твоего раба? Раскидать крышу на твоей халупе, растерзать кур, убить поросенка? — Он покачал головой. — Не стоит труда».

Человек не двинулся с места, стоял как вкопанный. Пес, звеня цепочкой, пробежал несколько шагов назад и вперед, пролаял: «Не спорь с ним, не спорь с ним!»

«Видишь, он дает тебе хороший совет. Я поклялся тебе отомстить. И вот теперь... — он по-прежнему, не мигая, смотрел на своего обидчика, — теперь думаю, как бы это сделать так, — волк скрипнул зубами, — чтобы ты почувствовал».

Он хотел сказать: чтобы ты понял. Чтобы знал, насколько мы, наша раса, превосходим всех вас, да, при всей вашей хитрости, вашей изобретательности, при вашем умении истреблять все, что стоит на вашем пути; да, чтобы ты почувствовал, и тогда я буду знать, для чего я жил. Он хотел это сказать, но получилось бы слишком многоречиво, он привык выражаться кратко. «Становись на колени, — захрипел волк, — проси прощения, сволочь!»

Собака проскулила: «Не спорь, делай что он велит!» Мужик не шевелился. Волк повторил свою команду. Так они стояли друг против друга, и человек еле заметно покачал головой — то ли отказывался подчиниться, то ли удивлялся. Волчьи глаза потускнели, он обвел скучным взором избу, подводу, остановившуюся недалеко, охотника в лисьем треухе. Отбежав шагов на тридцать, зверь остановился и повернул голову. Мужик целился в него из ружья. Волк вздохнул и не спеша потрусил дальше. Эхо выстрела отозвалось в лесу.

Необходимое разъяснение

В этой главе моих воспоминаний я намерен рассказать об эпизоде, который в свое время породил немало толков. Теперь эта история забыта, как забыт и автор бульварной пьесы, изрядно позабавившей меня, но и доставившей, надо признать, несколько неприятных минут. Если я здесь упоминаю о ней, то исключительно ради полноты моей биографии.

Случилось это, если не ошибаюсь, в девяностых годах, к этому времени я уже был достаточно известен. Желание присоседиться к моей славе было побудительным мотивом для автора пьесы. Сам я никогда не видел ее на сцене, равно как не имел чести быть знакомым с г. Чеховым. Мне дали прочесть это сочинение. В пьесе нет действия, нет характеров, нет логической связи между отдельными сценами. Ни для кого не было тайной намерение автора оклеветать меня как писателя и человека. Я вынужден был защитить свое доброе имя, поместив в «Новом Времени» протест, который перепечатали другие газеты, и по моему настоянию пьеса была снята с репертуара. Мне попадались в печати упоминания о том, что ее поставил какой-то «общедоступный» театр в Москве. Насколько мне известно, она и там провалилась.

Помнится, незадолго до этого в Москве я был представлен одной популярной в

те годы актрисе, не сказать чтобы очень талантливой, но с большими претензиями, — довольно взбалмошной особе, успевшей вступить в тот опасный возраст, когда вместе с увяданием женских прелестей появляются признаки охлаждения публики. Как дворянин и воспитанный человек я неумеренно расхвалил ее игру, это чрезвычайно расположило ко мне г-жу Ирину А., мы стали встречаться, и вскоре выяснилось, что она безумно влюблена. Я сошелся с ней скорее из жалости.

Некто Шамраев, очень милый человек, отставной поручик, служивший управляющим в имении брата Ирины, позаботился о том, чтобы обеспечить нам возможность без хлопот и излишних затрат провести лето в имении, в одном из чудных уголков Средней России. Природу этих мест я описал в повести «Лето в деревне»; отзвуки тогдашних впечатлений можно найти и в других моих вещах. С братом Ирины, склеротическим чиновником в отставке, мы сошлись накоротке. Мне уже случалось рассказывать на этих страницах о моей страсти к рыбной ловле; этим летом особенно хорошо клевало.

К сожалению, наше пребывание в деревне было омрачено другим знакомством. Сын г-жи А., молодой человек, недавно вышедший из университета, без средств, без определенных занятий, вынужденный круглый год жить на хлебах у дяди, вообразил себя писателем. Я всегда относился с большим подозрением к так называемым непризнанным гениям. Многочисленные примеры показывают, что только те авторы, которые живо откликаются на жгучие проблемы своего времени, живут одними чувствами с соотечественниками, с народом, могут заслужить благодарность и любовь современников. Эти писатели достойны занять первый ряд в литературе. Если о Борисе Тригорине авторитетные критики писали — смею думать, не без основания, — что в его повестях и рассказах проявились лучшие черты гуманной, глубоко христианской по своему духу русской литературы, то о сыне Ирины А., которого все называли Костей (не помню его фамилию), можно было сказать обратное. Тут мы столкнулись с демонстративным презрением к гражданскому долгу, замороченностью какими-то якобы новыми формами и, разумеется, непомерной амбициозностью, которая так часто сопровождает отсутствие таланта. Да, он был бездарен, догадывался об этом и оттого был глубоко несчастен. К этому нужно прибавить низкое происхождение (бывший муж Ирины, провинциальный актер, был по паспорту нижегородским мещанином) и жалкое положение приживала. Нетрудно догадаться, что автор вышеупомянутой пьесы, который всеми силами старается возбудить у публики сострадание к этому персонажу и явно приукрасил его, изобразил в нем самого себя.

Что же касается меня, то в пьесе я представлен в самом непривлекательном свете. Вот один пример. Рисуюсь перед своей новой знакомой, писатель рассказывает о себе, следует непомерно затянутый монолог, и что же мы из него узнаем? Оказывается, этот господин только и делает, что бегает с блокнотом, записывает что попало — всякую чепуху, строчит одну повесть за другой, и все это называется искусством, творчеством. Хорош был бы я, если бы следовал такому образцу! — Таковы представления автора о работе писателя и назначении литературы.

Ни г-жи А., ни ее сына давно нет в живых, мне самому остается немного жить на этом свете (о моих злоключениях после еврейско-большевистского переворота, бегстве из России и парижских годах я расскажу, если Бог даст мне силы, в следующих главах), поэтому позволю себе коротко изложить дальнейшие события — как было на самом деле. Некая барышня, проживавшая по соседству, от скуки вообразила себя актрисой и, услышав о том, что в имение брата Ирины А. приехал из столицы знаменитый русский писатель, стала с необыкновенным упорством добиваться моего внимания. Сразу скажу, что впоследствии она действительно играла где-то в провинции, потом ее след окончательно затерялся...

Вышеупомянутый Костя имел, однако, на эту девушку, дочь богатых родителей, свои виды. Он вбил себе в голову, будто я хочу отбить у него будущую невесту, тогда как у меня и в мыслях не было заниматься амурами: я хотел спокойно провести каникулы вдаль от суеты, пожить на природе, насладиться вдоволь рыбалкой. Но барышня буквально преследовала меня, и это не могло остаться незамеченным. Ирина страдала, устраивала мне сцены. Ее сын возненавидел меня. Летний отдых был окончательно испорчен. В довершение всего моя новая поклонница стала грозить мне самоубийством. В конце концов г-жа А. увезла меня в Москву. Но и там m-lle

Заречная не оставляла меня своими домогательствами. Я ничего не мог поделаться; мы сошлись.

Из сказанного видно, до какой степени безответственно автор пьесы обошелся со своим сюжетом, извратил облик действующих лиц, которым даже не потрудился дать вымышленные имена. Приведу один пример. Сколько-нибудь серьезного писателя из этого Кости не получилось — тут автор пьесы не погрешил против истины. Но дальше по ходу действия молодой человек, ничего не добившись, совершает самоубийство. С помощью этого затасканного приема незадачливый драматург хотел спасти пьесу. А что было на самом деле? Я решительно отказался составить протекцию бездарному Косте. Видя, как он, не стесняясь в средствах, уморительно клеветая на старшее поколение, якобы захватившее все места в литературе, расталкивает локтями заслуженных коллег, хочет любой ценой пробиться и заодно отомстить мне за мой, повторяю, невольный успех у Заречной, — видя все это, я был вынужден пресечь его инсинуации. Косте был закрыт доступ в столичные журналы и на императорскую сцену. Тем временем дядя, впавший в маразм, умер, имение пошло с молотка. Костя, погрязший в долгах, не сумевший поправить свои дела выгодной женитьбой, пытался заняться биржевыми спекуляциями, вновь потерпел неудачу и в конце концов отбыл в провинцию, не то в Харьков, не то в Читу. Если бы он действительно покончил с собой, то, полагаю, г-жа А. сообщила бы мне об этом. Кстати, это было как раз в то время, когда я окончательно расстался с Ириной.

Люди, меня знавшие и, в отличие от меня, знакомые с Чеховым, могли бы подтвердить все здесь сказанное: известный критик Святослав Курицын, милейший Алексей Сергеевич Суворин и другие, а также моя старинная приятельница и поклонница (одно время мы были близки) Лидия Стахивна Мизинова. Могу упомянуть и Ваню Потапенко, моего protegé, многим мне обязанного. От них я, между прочим, узнал, что автор пьесы и прежде упражнялся в подобном роде, выводя в своих писаниях друзей и знакомых в неприглядном свете. Увы, и они уже в могиле.

Гости

Трудно поверить, что неловкое движение, минутная потеря равновесия могут обернуться такой неприятностью, еще труднее поверить в то, что тебе столько лет. Ведь еще живо в памяти время, когда сорокалетние внушали жалость. Когда же сорок стукнуло самому, можно было утешать себя: все-таки не пятьдесят. Когда стукнуло пятьдесят... ах, о чем тут говорить. И вот он просыпается, потрясенный чудовищной мыслью: жить остается каких-нибудь пять, восемь лет. Десять — уже неправдоподобный срок. В таком-то году будет то-то. А меня уже не будет.

Чем дальше смотришь назад, тем все укорачивается время. Месяц тянулся долго, каждый день — целая бесконечность, зато десять лет назад — словно позавчера.

Чувство времени превратилось в слух. Человек с белой ногой, торчащей из-под пледа, слышит, как поскрипывают на снегу валенки, как палка ощупывает дорогу, — скрипят секунды, плетется дряхлое время. Чудится слабое цоканье подков, за окном проплывает черный дом на колесах, некто в цилиндре покачивается на козлах. Снег покрыл его белой шалью. Сейчас возникни очнется от дремы и гаркнет: тпрру!

Нам всегда кажется, что виноваты не мы, а несчастные обстоятельства, погода, приметы, планеты. Если бы не вылез из дому, не упал бы на обледенелых ступеньках. Все дни была оттепель, как вдруг подморозило. Hausmeister¹ должен был посыпать крыльцо песком, но как назло подхватил грипп. На самом деле обстоятельства — это судьба. Ей нужен повод. Судьба является под маской дурацкой случайности, никогда не кажет лица, ибо у нее нет лица: сбросит маску, а там другая. Может быть, спросил он, это патологический перелом? Может, там опухоль? Он знал одного: танцевал с девушкой, вдруг нога подвернулась, бац — перелом. Оказалось, саркома.

«Перестаньте, — сказал хирург. — Через шесть недель будете сами отплясывать».

¹ Дворник (нем.).

Меркнет день. Звонят. Человек с гипсовой ногой смотрит на часы. Жена придет в семь. Звонят. Уловить движение минутной стрелки невозможно, он следит за пульсом секундомера. Между тем калитка открылась, кто-то взошел на крыльцо, топчет перед дверью, вероятно, отряхивает снег. Или уже крадется по коридору? Чепуха, там нет калитки, мы в городе. Никого нет. Шесть недель... Он вздыхает. Надо еще дожить! Снег идет за окном, а теперь и в комнате. Крупные снежинки падают на плед, на книгу, которая лежит на груди, он заложил палец между страницами. Чего доброго, еще размокнет гипс.

Меркнет день, человек в белом панцире покоится посреди сугробов, с бескровными губами, с заиндевелыми ресницами. Замело окно, на полу, вокруг ножек стула — всюду снег. Он подносит к глазам часы, прошло всего две или три минуты. Протянув руку с дивана, нащупывает упавшую книгу. Все кончилось, снегопад прекратился. Звонок в прихожей, настойчивый, звонят много раз. Дотянуться до костылей.

В гипсовую ногу вмонтирована скоба наподобие стремени, чтобы можно было понемногу ступать, но он боится, что кость опять сломается, прыгает на костылях, выясняется, что она не дождалась, отперла дверь своим ключом, — почему же она не входит?

Человек вглядывается: нищенка с ребенком на руках, это еще что за новость? Он видит, как в полутьме блестят глаза, шевелятся губы. Дитя сучит ножками, требуя, чтобы его спустили на пол. Юркнув мимо костылей, чуть ли не между ногами, малыш вбежал в комнату. Схватил книжку, вскарабкался на диван. Разве он умеет читать?

Она пожала плечами, озираясь, вошла в комнату, щуплая, малорослая, почти подросток. Молчание, оба смотрят то на мальчика, то друг на друга. Малыш отшвырнул книжку. Теперь он катался по полу на коньках.

«Шустрый ребенок», — сказал больной.

Она отозвалась:

«Весь в тебя».

Мальчик носился по комнате, подобрав лохмотья, — раз, раз, — налетел на что-то и шлепнулся. Они услышали его плач.

«Этого не может быть, — сказал человек в гипсе, — по разным причинам».

Он изложил эти причины: во-первых, прошло столько лет. Ребенок давно уже должен был вырасти.

«Ну и что?»

«Не перебивай меня. Во-вторых...»

Во-вторых, и это главное: откуда известно, что это его ребенок? Больной роется в кошельке, дать ей сколько-то, и пусть убирается вон.

«Ты когда-то был в меня влюблен».

«Я? влюблен?»

Молчание.

«Ну, хорошо, — сказал он, — допустим».

«Ты написал мне письмо».

«Это не доказательство».

Вместо ответа она вытянула из-за пазухи конверт, от которого пахло теплом и потом. Он узнал свой почерк. Да, но тут ничего нет.

«Как это, ничего нет?»

«Тут не говорится, что я с тобой спал».

Она тупо повторила:

«Ты меня любил».

Человек на костылях оглядывает гостью, спрашивая себя, неужели это могло быть. Отыскал глазами в углу спящего малыша. А как они, собственно говоря, здесь очутились?

«Я приехала к тебе».

«Как это так, без визы, без...»

«Ты прислал мне приглашение».

Он рассмеялся: вот это уж, моя милая, твоя фантазия.

«Хочешь, покажу?...»

Снова пауза, он копается в кошельке.

«Вот, — сказал он, — и катись».

Она качает головой.

«Ты прочти письмо-то... авось вспомнишь!»

Нечего вспоминать; мало ли что было. Было и сплыло. «И потом, — прибавилон, — ты на меня все равно не обращала внимания. Ты меня избегала».

«Я была несвободна».

«Ну, конечно. А я-то, лопух, все думал, что ты невинная девочка».

«Я не виновата. И ты тоже хорош. Мог бы догадаться».

«О чем?»

«Что ты у меня не первый».

«У нас ничего не было! — Он подумал и добавил: — Ничего не получилось».

«Что-то все-таки получилось. Ты там все ж таки побывал».

«Где это, там?»

«Сам знаешь».

«А он? — спросил гипсовый человек. — Кто он был?»

«Завуч».

О, это обратное время: чем дальше, тем ближе. Десять лет — словно позавчера. Он думает о том, что вот-вот вернется с работы жена. Войдет. Знакомься... моя одноклассница.

«Завуч? — сказал он. — Это твоя фантазия».

«Какая фантазия: они на фронте вместе с отцом воевали. Только папа не вернулся».

Хорошо, подумал он (или, может быть, сказал вслух), что же из этого следует? И почему вдруг завуч?

«Я была красивая», — сказала она.

Гипсовый человек пожал плечами.

«Я была самая красивая девочка в школе. У меня были груди, как у взрослой».

Ну и что дальше, спросил он или хотел спросить. Проворчал: «Досказывай, раз уж начала».

«Позвал как-то в кабинет, мялся, мялся...»

«А ты?»

«Я давно догадывалась».

«О чем?»

«О чем, о чем... Догадывалась, что он в меня влюблен».

Все в нее влюблены, надо же.

«Запер дверь на ключ, сел рядом».

Ах ты, дрянь, подумал больной, запрыгал прочь, обернулся, она по-прежнему стояла на пороге. Нищенка, попрошайка, — что осталось от ее красоты...

Он вспомнил.

«Слушай... он же был с протезом».

«Протез отстегнул».

«И ты не сопротивлялась?»

Она пожалала плечами. «Мне стало его жалко. Он так просил... Сказал, бросит семью».

Больной задрожал, кровь бросилась ему в голову.

«Ах ты... — подумал и повторил: — дрянь. Отвяжись от меня, дрянь, шлюха! (Он употребилеще одно словцо, покрепче.) Не хочу с тобой иметь ничего общего! Я уехал, и баста, меня больше нет, ясно?...»

Словно эхо, гремит в ушах его собственный, неузнаваемый голос.

«К чертовой матери вашу страну, катитесь вы все подальше, не хочу ничего знать о вас!..»

Он умолк.

«Что тебе от меня нужно?» — сказал он.

Она крикнула:

«Как это что? Он еще спрашивает... А кто алименты будет платить?»

«Алименты? Завуч пусть и платит — или кто он там...»

«Завуч давно умер. Подох, ясно? Все вы сволочи, кобели проклятые, вам бы только удовольствие получить...»

«Слушай, — проговорил он, дрожа от ненависти, — еще одно слово, и...»

«А ты меня не стращай. Чего мне бояться-то... Мне жить негде! — взвизгнула

она. — С ребенком! По вокзалам таскаюсь! Это твой ребенок, твой, попробуй только отказать!».

Не знаю и знать не хочу, думал он, и убирайтесь немедленно, чтоб вашего духу здесь не было. Ишь, моду взяли: по квартирам шастать. Бог подаст!

Лежа под пледом, переваливаясь с боку на бок, не мог успокоиться, найти удобную позу. Поднял книжку с пола — вдруг снова звонок. Да пусть она там хоть разорвется. Что это вообще такое? Ни доказательств, ни документов. Письмо... Кто же не пишет любовные письма девчонкам? Душный запах ее груди.

Звонок; наконец-то жена; он забыл, что у нее есть ключ, и снова тащится в прихожую.

«А я уж было решил, что вас увезли».

«Герр доктор! Какими судьбами?»

«Решил вас проведать. Узнать, как дела».

Больной укладывается, как положено пациенту, жметесь к спинке дивана, чтобы освободить место. Хирург сидит вполборота, потирая замерзшие руки.

«Тэк-с, вы, я вижу, молодцом».

В комнате полутемно.

«Зажечь свет?»

«Нет надобности».

«Выпьете чайку, доктор? Скоро жена вернется».

«Благодарю... Разве вы женаты?»

Врач постукивает по белому футляру, гипсовая нога — как протез. Щупает пальцы ног. Нет ли чувства онемения? Что ж, прекрасно.

«Я думаю, — говорит он, — хорошо бы вам на следующей недельке... В понедельник у меня операционный день, так что лучше во вторник».

«Я должен взять Termin?»¹

«Приезжайте так».

«Доктор. Но вы же говорили... через шесть недель?»

«Что? Да, конечно. Гипс будем снимать через шесть недель. А пока что...»

«Чашечку чаю? Жена скоро придет».

«Разве у вас есть жена? Тем хуже. Послушайте, я не заметил. Здесь плохое освещение. У вас на щеках румянец. Ай-я-яй!»

«Зажгите свет... вон там».

«Нет, нет. Искусственное освещение не дает правильно оценить симптомы. Да у вас лихорадка», — сказал врач. Он обвел глазами комнату, книги, паркет, на котором остались царапины от коньков. Тяжко вздохнул и, закрыв лицо руками, разрыдался.

«Доктор, — пролепетал больной, — успокойтесь...»

«Не могу... Не надо было мне приходиться... Не надо было вообще вас оперировать. Лучше бы кто-нибудь другой».

«Вас встревожило, что у меня температура, разве это так важно?» — спросил человек в гипсе, цепляясь за последнюю надежду.

Хирург покачал головой, потом кивнул.

«Это симптом», — сказал он, сморкаясь.

«Симптом чего?»

«Вы знаете сами».

«Патологический перелом? Опухоль? Зачем же вы от меня скрывали?»

Хирург развел руками.

«Это было всего лишь подозрение. До свидания, — сказал он. — До вторника».

Гипсовый пациент пробегает глазами несколько строк, у него не хватает сил добраться до конца абзаца, книга лежит на груди, он слушает нарастающий рокот литавр, оркестр тишины. Кто же не знает, что тишина может оглушить, может быть мелодичной или какофонической; вальс тишины, менюэт тишины, дикий канкан тишины! И он лежит, зажмурившись, с мучительной миной, заткнув пальцами уши.

Надо переждать. Опускает руки. Тишина играет анданте.

Дверь распахивается сама собой.

«Оставьте меня в покое!» — кричит он.

¹ т.е. договориться с регистратурой.

Из-за того, что стало совсем темно, не разберешь, кто стоит на пороге.

Кто им дал право, в конце-то концов.

Человек входит в комнату, придвигает к дивану стул, садится, некоторое время оба молча изучают друг друга.

«Что ты читаешь?» — спросил гость.

«Да вот...»

«Интересно?»

«Так себе. Слушай, — пробормотал больной, — кто ты такой? Слушай... Если я не ошибаюсь...»

«Не ошибаешься».

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Интересная получается история, — сказал больной, — выходит, мы вроде как бы...»

«И да, и нет. Впрочем, — гость показал глазами на книжку, — для читателя научной фантастики это, наверное, не новость. Или там у каких-нибудь немецких романтиков. Вообще довольно затасканный сюжет. Но в жизни бывает по-разному. Все-таки мы с тобой не совсем одно и то же!»

«Да, но... Не понимаю. У меня голова идет кругом, — сказал человек в гипсе. — Может, это сон, кошмар?»

«Что тут понимать. Я же говорю: с одной стороны, да, мы одно и то же лицо. А с другой — у нас разная жизнь. К примеру, эта девица».

«Потаскуха», — проворчал больной.

«Я говорю, к примеру. Ничего подобного. В моей жизни все было совсем не так. История с завучем... может, ты помнишь, как его звали?»

«Забыл».

«Я тоже забыл. Он действительно соблазнил Юлю».

«Да, да, вспоминаю, — проговорил больной. — Ее звали Юля».

«Она сама мне все рассказала».

«Ты не можешь себе представить, как я ее любил...»

«Почему же не могу, я тоже был по уши влюблен».

«А ребенок?»

«Не было никакого ребенка. Это, дорогуша, все в твоей жизни: сначала завуч, потом еще кто-то, потом еще, и пошло-поехало. А потом ты уехал».

«Как же она меня-то нашла?»

«Вот уж этого я не знаю. Я-то ведь никуда не уезжал. У тебя были разные неприятности, обыски, то да се, тебя даже, если не ошибаюсь, арестовали. А я... я с властью не ссорился. У меня было все в порядке. Мы с Юлей поженились. У нас родилась дочь, родился сын. Ты даже не представляешь, как нам было хорошо...»

«Ты говоришь: было».

«Да, — сказал гость. — Моя жена умерла».

Тот, кто лежал на диване, думал о чем-то, задумался и гость. Человек на диване взглянул на сидящего и что-то проговорил.

Тот не расслышал.

«Я хочу спросить, — сказал больной, — что заставило тебя... чем я, так сказать, обязан честью?..»

«Честью моего визита? — Гость усмехнулся. — Дело в том, что наши дороги снова соединились. Я болен».

«Болен, чем?»

«Не стоит об этом».

«А все-таки?»

«Какая разница... — устало возразил человек, сидевший возле дивана. — Диагноз был поставлен примерно тогда же, когда это случилось с тобой. Мне осталось немного. Как и тебе, дорогой мой... Ничего не поделаешь. Мы ведь все-таки, что ни говори... тот же самый, затасканный сюжет!»

Человек в гипсе обводит глазами комнату. Снова звонят. Он не торопится отвечать. Тем более что там уже открыли своим ключом. Дверь распахнулась. Что-то косматое, — может быть, визитер напялил медвежью шкуру. Театр, думает больной, ведь сегодня святки или как там это называлось. Что-то дымчатое, без лица, без рук.

Больной кашляет. Не сумерки короткого дня, а черный дым проник в его жилье. Бесформенное черное существо растет и заняло всю комнату, расплзлось по полу, загородило окно — еще минута, и дымом станет он сам.

Чтение

С тяжелым портфелем под мышкой писатель вошел в мрачный вестибюль бывшего императорского университета, рассчитывая увидеть свой портрет на доске объявлений. Немногие студенты покидали здание, уборщица возила шваброй по каменному полу. Портрета не оказалось, и не было никакого объявления. Писатель поднялся по широкой лестнице и отыскал аудиторию № 112; к дверям была прикреплена записка: вечер состоится в гуманитарном корпусе. Писатель полагал, что это и есть гуманитарный корпус; пришлось спуститься, но сторожиха плохо знала расположение аудиторий и ничего не слыхала о вечере. До начала оставалось пятнадцать минут. Он тащил свой портфель по безлюдным коридорам, ему помог сориентироваться висевший на пожарном стенде план эвакуации на случай стихийного бедствия.

Наконец он увидел рядом с входом в Большую аудиторию красиво отпечатанное объявление с фотографией. От руки было приписано, что встреча переносится в Малую аудиторию. Он припомнил, что Малая аудитория находится этажом выше. Перед открытой дверью прогуливался человек. Видимо, публика уже сидела в аудитории. Там стоял стол с лампой и графином и полтора десятка стульев. «Не знаете ли вы, — спросил он, — где будет чтение?» — «Здесь, — ответил приветливый молодой человек, — только автор еще не пришел». — «А где же народ?» — «Может быть, соберутся», — сказал слушатель.

Немного погодя писатель снова обратился к молодому человеку: «Как вы думаете, может, не стоит ждать?»

Слушатель улыбнулся. «Я пошутил. Я ведь сразу узнал вас. Хотя на фотографии вы гораздо моложе».

«Онегин, — сказал писатель, — я тогда моложе, я лучше, кажется, была». Ему было не по себе, и он хотел смягчить неловкость шуткой.

«Может быть, начнем?» — предложил слушатель.

Романист сел за стол, а публика в единственном числе поместилась в первом ряду. Писатель положил перед собой толстый манускрипт, включил лампу, надел очки и налил воды в стакан. Потом снял очки и окинул взглядом пустую комнату. «Дорогие друзья... — проговорил он, не зная, с чего начать. — Я имею в виду вас, мой единственный слушатель и, будем надеяться, читатель...»

«Просим», — сказал молодой человек и похлопал в ладоши.

«Этот роман, — продолжал писатель, — первый том задуманного мною цикла, который должен составить основной труд всей моей жизни, так сказать, *opus magnum*... Я представляю его себе как широкое эпическое полотно... Панорама жизни и подвигов нашего народа за последние... скажем, пятьдесят лет. Но прежде хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на мой вечер. К сожалению, сегодня мало кто интересуется серьезной литературой».

«Каждый писатель мечтает о том, чтобы когда-нибудь написать свою главную книгу. Но для этого нужна такая степень сосредоточенности... — от волнения он не мог найти нужные слова и сделал глоток воды, — которая требует освобождения от всего постороннего, от всяких меркантильных соображений. Конечно, такая книга пишется не в расчете на немедленное признание!»

Он значительно, почти с укором посмотрел на слушателя.

«Но будущее нас рассудит. Ну-с, а теперь я хотел бы... — он искал рукой очки, — прочесть несколько глав из второй части. Я забыл сказать, что роман состоит из трех частей с прологом и эпилогом, действие первой части происходит в наши дни, а вторая часть переносит нас в прошлое. Что же касается третьей части...»

«Простите, — перебил его молодой человек, — я, конечно, не могу вам указывать. Может быть, лучше начать с самого начала?»

«Сначала? — проговорил писатель, листая рукопись. — Вы предлагаете начать сначала. Ну что ж».

И он начал читать, и читал сорок минут.

Когда, потрясенный размахом своего замысла, чувствуя, что никогда еще проза не удавалась ему так, как удались эти страницы, романист снял очки и поднял глаза на публику, ему показалось, что комната полна людей.

«Может быть, будут вопросы?» — спросил он, дождавшись, когда утихнут аплодисменты.

Слушатель поднял руку. «У меня вопрос. Не могли бы вы дать мне почитать эту вещь? Она произвела на меня большое впечатление».

«Правда? — Писатель был растроган. — Спасибо. Мне важно было узнать, какой отклик моя работа встречает у молодежи. Но, видите ли, мне очень жаль, это мой единственный экземпляр».

«Как, — удивился слушатель, — разве у вас нет копий?»

«Увы. Перепечатка стоит очень дорого. Мне придется делать копии самому. Раньше, конечно, это было проще...»

«Раньше? Угу. А можно мне взглянуть?» Молодой человек встал со своего места и подошел к столу.

Писатель пробормотал:

«Кое-что придется еще подшлифовать. Подсократить кое-что... Например, вот это место... Вам не кажется, что монолог отца несколько затянут?»

«М-м? — рассеянно отозвался молодой человек. Он перелистывал рукопись. — Нет-нет, ничего не надо сокращать; все прекрасно».

«Сознайтесь: вы сами пробуете себя в литературе? Я угадал?»

Молодой человек скромно улыбнулся.

«Как вам сказать; пожалуй. Но мне все-таки придется попросить вас...»

«О чем?»

«Я же вам сказал. Отдать мне рукопись».

«Ну, знаете», — сказал писатель.

«Я бы не хотел прибегать к насилию».

«Этого только не хватает, — усмехнулся писатель. — Да кто вы такой?»

На лице молодого человека изобразилось сострадание, он наклонился и поднял прислоненный к стулу портфель.

«Я думаю, нам не стоит ссориться, — промолвил он, показывая писателю служебное удостоверение, — кстати, по поводу вашего утверждения, будто сейчас никто не интересуется литературой. Я с вами не согласен».

«Что вы имеете в виду?» — растерянно спросил писатель.

Он смотрел на молодого человека, тот держал наготове раскрытый портфель, и писатель, как во сне, опустил туда свое сочинение.

«Я имею в виду интерес нашего народа к художественной литературе, тот высокий престиж, которым она пользуется у широких масс. Это может привести к тому, что массы примут всерьез то, что на самом деле никакой литературой не является, поверят всему, что там написано».

Эти слова укололи писателя, он нахмурился.

«Вы хотите сказать, что моя книга... что это — не литература?»

«Я думаю, вы и сами это понимаете», — ласково возразил молодой человек.

«Позвольте, — заговорил романист, вне себя от возмущения, — кто вам дал право... Всякий сопляк начнет тут меня учить!»

Молодой человек вздохнул, взглянул на часы.

«Вы, кажется, забыли, что я при исполнении служебных обязанностей, — сказал он холодно. — Позвольте вам также напомнить, что мы — я имею в виду Федеральную службу — не ошибаемся. Если ваше произведение арестовано, значит, на это есть серьезные основания».

«Основания, — буркнул писатель, — знаем мы ваши основания. Это произвол! Я буду жаловаться. Пойдите-ка, — спохватился он, — вот вы говорите — не литература. Чего ж вы тогда ее хвалили?»

«Я сказал, что вещь произвела на меня большое впечатление. Это не обязательно означает похвалу. К сожалению, — добавил молодой человек, который, несмотря

на свою молодость, имел чин капитана, — у нас мало времени, мы должны еще произвести у вас обыск».

«Обыск?!» — вскричал писатель.

«Господи, почему вас это удивляет? Я вижу, вы все еще живете старыми представлениями».

«Нет, это вы живете старыми представлениями! Вы думаете, вам все позволено. Можно прийти к старому, заслуженному литератору и отнять у него труд всей жизни. Нет, дорогой мой! Ваше время прошло. У нас теперь демократия».

«Вы меня не дослушали, — сказал офицер. — Мы говорим об одном и том же. Я тоже хотел вам сказать, что теперь не старые времена. В старые времена, — он усмехнулся, — поверьте мне, вас бы пальцем никто не тронул. Комитет занимался настоящими писателями, талантливыми людьми. А вы, простите... псевдописатель. В этом вашем, как вы называете, труде жизни — судя хотя бы по тому, что вы прочли, — нет ни одной правдивой страницы, ни одной свежей мысли. Искусство, — и он с презрением указал на портфель, — во всей этой писанине не ночевало!»

«Тогда в чем же дело? — пролепетал писатель. — Я не понимаю».

Капитан сказал:

«Выпейте водички на дорогу... Тем хуже для вас, если вы не понимаете. Литература — это государственное дело. Литература должна служить народу, должна воспитывать эстетические вкусы. А халтуры мы не потерпим. Весь этот, знаете ли, социалистический реализм, все эти герои труда, труженики полей и матери-героини, тысячестраничные эпопеи... нет уж, хватит! Мы будем беспощадно бороться и с партийностью, и с народностью, и с бездарностью. Против литераторов-прихлебателей, против лизоблюдов, за духовность, соборность, за независимость искусства, за благородную идею башни слоновой кости».

Он вернулся на свое место, где лежал портативный радиопередатчик, вытянул антенну и произнес несколько слов в микрофон.

«Через пять минут машина будет у подъезда, — сказал он, — прошу».

Александр Тарасов

Право на убийство

Размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме

Постсоветское российское неолиберальное государство, именуящее себя, разумеется, «демократическим», при случае — особенно где-нибудь в европах — всегда готово похвастаться своим гуманизмом. Один из примеров этого «гуманизма»: отсутствие смертной казни. То есть смертная казнь в России вроде как есть, но не применяется. Мораторий.

Гуманно.

С другой стороны, в стране ежегодно совершается 30 тысяч убийств. А еще около 15 тысяч человек в год пропадает бесследно. А еще около 30 тысяч человек в год умирает от «тяжких телесных повреждений», причиненных им преступниками¹.

Интересно.

То есть получаем: государство у нас «гуманное», оно по суду не убивает. Действительно, не государство вроде бы давало жизнь, а Природа — не государству ее и отбирать. А частному лицу можно? А группе граждан можно? А части государства — армии, тюрьме — можно?

Чудовищные условия содержания в тюрьмах, прямо приравняемые специалистами к пыткам и являющиеся зачастую *растянутым во времени убийством*, — это, значит, гуманно? Заражать на зоне заключенных резистентным туберкулезом — это гуманно? А убивать в «Белом лебеде» Салмана Радуева (никто же не сомневается, что его убили) — это что, более гуманно, чем его же, Салмана Радуева, расстрел? А то, что в пресловутом «Белозерском пятаке» (ИК-5, «Огненный остров»), где содержат приговоренных к смерти с заменой пожизненным заключением, еще ни один человек не прожил свыше семи лет — это гуманно?

Идем дальше. А вот приказ президента Путина «найти и уничтожить» убийц российских дипломатов в Багдаде — это как? На них, стало быть, мораторий не распространяется?

При этом, когда человека приговаривают к смерти, это происходит в суде. У подсудимого есть возможность защищаться, есть шанс доказать свою невиновность — допустим, призрачный, но есть, — шанс, что судьи или присяжные учтут смягчающие его вину обстоятельства. Есть, наконец, право апелляции и право просить о помиловании.

Когда «найти и уничтожить» — ничего этого нет! Ни публичности, ни состязательности сторон, ни адвоката, ни присяжных, ни судей, которые должны — пусть формально, но ведь *должны!* — беспристрастно рассматривать дело, ни шанса на изменение законодательства в благоприятную сторону — скажем, введение того же моратория на смертную казнь. Достаточно, видимо, отчета Патрушева: нашли и уничтожили.

Интересно, кстати, на каком основании президент Путин приписал себе право на такой приказ: убить. Где в Конституции написано, что президент обладает правом

¹ Такое интересное в сегодняшней России законодательство: если пострадавший умер не сразу, а спустя несколько часов, а уж тем более дней, — то это уже можно смело квалифицировать не как убийство, а как «причинение тяжкого вреда».

на бессудные убийства? Насколько мне известно, такой статьи там нет. Это недоработка. Не пора ли менять Конституцию? Законодатель должен чутко реагировать на изменения в жизни общества, приводить законодательство в соответствие с действительным положением дел.

Кстати, *американская* пресса пишет, что в Ираке бывший посол США в Багдаде Джон Негропonte создал — по образу и подобию стран Латинской Америки — «эскадроны смерти»¹. Негропonte по таким делам спец: он эти «эскадроны» создавал в Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре². А что будет, если вдруг выяснится, что российских дипломатов убили именно эти «эскадроны» — чтобы заставить Кремль приблизить свою позицию по Ираку к позиции Вашингтона? Тоже «найдут и уничтожат»? Сомневаюсь. Кишка у Путина тонка.

А вот когда Зелимхана Яндарбиева наши «рыцари плаща и кинжала» убивали, было у них судебное постановление или нет? Или приказ «найти и уничтожить» отдан уже давно, просто озвучили его недавно?

Да-да, конечно, это «борьба с терроризмом». А как насчет того, кому принадлежит право определять, кто террорист, а кто нет? И, наконец, кто сами «борцы с терроризмом»?

И чем вообще взрыв бомбы в машине, совершенный в Дохе, отличается от взрыва бомбы в машине, совершенного в Грозном? Только тем, что первый устроили подчиненные Патрушева, а второй — «чеченские боевики»? Тогда *какая разница* между ними? Почему вторые — «террористы», а первые — «борцы с терроризмом»? Потому что за спиной первых стоит государство, именующееся «Российская Федерация»? Шаткий довод. Во-первых, это называется *право сильного* — и для таких вещей вообще не нужно государство. А во-вторых, где гарантия, что через пятнадцать лет Российская Федерация не исчезнет, как исчез пятнадцать лет назад СССР? И не провозгласят ли тогда сегодняшних «борцов с терроризмом» «террористами»? И не скажут ли о них: «найти и уничтожить»? Где гарантия, что этого не будет? Нет такой гарантии.

Вот чеченская бойня — это что? Является ли развязывание войны более тяжким преступлением, чем терроризм, или нет? Вроде бы очевидно, что является. Террористы могут убить несколько человек, несколько десятков, несколько сотен, хорошо, в пределе — несколько тысяч. В войнах убивают сотни тысяч, *миллионы, десятки миллионов*. При этом чужими руками и, как правило, *безнаказанно*. Бывает, впрочем,

¹ См., например: *Newsweek*. 8.01.2005.

² И эта преступная деятельность Негропonte ни для кого не является секретом. Созданные им в Центральной Америке «эскадроны смерти» похитили и убили (включая выкраденных с никарагуанской территории и замученных в Гондурасе никарагуанских патриотов) не менее 75 тыс. человек. Об этом написаны сотни статей — в том числе в США. Об организованных Негропonte «эскадронах смерти» можно прочитать в книгах: *Бульчев И.М.* Заговор против народов Центральной Америки. М., 1984; *McCuen G.E.* Political Murder in Central America. Death Squads and U.S. Politics. Hudson (WI), 1984; *Benites Manaut R., Lozano L., Bermudez Torres L.* EE. UU. contra Nicaragua. La guerra de baja intensidad en Centroamerica. Madrid, 1987; *El Salvador* Death Squads. A Governmental Strategy. Sidney, 1988; *Harvest of Violence. The Maya Indians and the Guatemala Crisis.* Norman (OK) — Oklahoma City, 1992; *Death Squads in Global Perspective: Murder with Deniability.* L., 2003; *Wilkinson D.* Silence on the Mountain. Stories of Terror, Betrayal, and Forgetting in Guatemala. Durhan (NC), 2004; *McCoy A.W.* A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror. N.Y., 2006. Говоря иначе, Негропonte давно должен предстать перед судом как организатор массовых убийств. Но этого, конечно, не случится: в 1984 г. сенат США уже заслушивал специальный доклад Аллана Найрна об «эскадронах смерти» в Сальвадоре. Из доклада следовало, что создание «эскадронов смерти» являлось совместной тайной программой ЦРУ, Пентагона и Госдепартамента США, и руководил воплощением этой программы в жизнь Джон Д. Негропonte. Кадры для «эскадронов смерти» готовились из числа офицеров армии и полиции центральноамериканских стран в пентагоновской «Школе обеих Америк», а затем и на базах «контрас» на территории Гондураса. 400-страничный доклад А. Найрна был напечатан всего в двух экземплярах, и сенат после слушаний наложил запрет на его публикацию и распространение (*The Progressive*, 1984. May. P. 1, 20–29). Стоит ли удивляться, что после должности посла в Багдаде Негропonte 21 апреля 2005 г. был назначен на пост Директора национальной разведки США, а 13 сентября 2007 г. повышен до должности первого заместителя госсекретаря США?

что победители судят побежденных — как в Нюрнберге или в Токио. Но это — *исключительные* случаи.

Будут ли Ельцина, Путина, Черномырдина, Грачева и т.д., и т.д. судить за массовые убийства в Чечне? Не смешите меня. Ведь это же «борьба с сепаратизмом» и «борьба с терроризмом». Хорошая отговорка. Действует безотказно.

Отсюда вывод: всякое убийство заранее оправданно, если оно достаточно массово, совершается властями предрешенными и не подтверждено никакими судебными решениями. Наказуемы только «самодеятельные» убийства, то есть совершенные теми, кто не у власти (в крайнем случае теми, кто власти лишился).

Впрочем, можно и не настаивать на массовости. Можно и «малыми дозами». Власти не смогли убедительно доказать, что взрывы домов в Москве — дело рук «чеченских террористов». Закрытый суд над людьми, которые что-то — они сами не знают, что — привезли в Москву (может, гексоген, а может быть, и нет), — это, простите, не доказательство. А вот противоположная точка зрения выглядит достаточно убедительно — и даже без сакраментального вопроса «qui prodest?». Достаточно один раз посмотреть российско-американский фильм «Недоверие» или французский «Покушение на Россию», достаточно один раз задуматься над пресловутой «рязанской историей», чтобы понять что к чему. Достаточно, на худой конец, подумать, почему власти, если правда на их стороне, так упорно срывали просмотры и «Недоверия», и «Покушения на Россию».

Разумеется, России есть на кого равняться. Возьмем для примера некоторые другие государства, раньше России вставшие на путь неоллиберализма, именующие себя, разумеется, «демократическими» и, подобно России, все последние годы постоянно с кем-то воюющие (простите, «борющиеся с мировым терроризмом»). В США в семнадцати штатах нет смертной казни и еще в трех смертная казнь формально существует, но не применяется с 1976 года. В Великобритании на смертную казнь был наложен мораторий в 1999 году, а в 2003-м она была официально отменена. В Израиле смертная казнь формально существует для особо тяжких преступлений и преступлений против человечества — в качестве *исключительной* меры наказания, которая, кажется, не применялась с момента повешения Эйхмана.

Помешало ли все это США и Великобритании устроить Иракскую бойню под смехотворным предлогом «разработки в Ираке оружия массового поражения»? Убить 220 тысяч¹ человек? Нет, конечно, не помешало. Кстати, когда стало ясно, что никакого оружия массового поражения в Ираке нет и не разрабатывалось, в Вашингтоне и Лондоне, не смутившись, признали: да, мы развязали войну, чтобы свергнуть Хусейна и установить в Ираке дружественный нам режим. То есть марионеточный. Так до сих пор и устанавливают — каждый день десятки убитых.

Но тут уж ничего не поделаешь: это же, как и в России, «борьба с терроризмом». Кстати, кто террорист?

В 1984 году Генеральная Ассамблея ООН — в развитие и уточнение решения 36-й сессии Генеральной Ассамблеи (1981) — дала определение *государственного терроризма*. В соответствии с этим определением государственным терроризмом являются действия, направленные на свержение неугодных правительств в других странах и/или на изменение общественно-политического строя в других странах. Это — часть действующей сегодня системы международного права. Никто этого решения Генеральной Ассамблеи не отменял. Следовательно, после Югославии, Афганистана — и уж тем более Ирака — и президент США, и премьер-министр Великобритании, и правительства этих стран, и их вооруженные силы, и спецслужбы — *международные террористы*. Ну и что? Плевали они. Поскольку именно они у власти, именно они и определяют, кто будет считаться «террористом». Как говорил, если я правильно помню, Геринг, «это я решаю, кто еврей, а кто — нет».

Кстати, как Кремлю хорошо бы поубедительнее доказать, что правдива его версия взрывов в Москве, так и Вашингтону не мешает *доказать* свою версию 11 сентября 2001 года. Слишком уж белыми нитками шита официальная версия. Слишком уж неправдоподобна история с огромным «боингом», способным *лететь горизонтально ниже высоты своего фюзеляжа* — и не то что не пропахать траншею, а не

¹ Это по словам нынешнего президента Ирака Джалаля Талабани. Только я ему не верю, поскольку это — проамериканский марионеточный президент. По сведениям старейшего медицинского журнала «Лансет», издания заведомо аполитичного, в результате войны в Ираке погибло 655 тысяч человек, в большинстве своем, конечно, мирных граждан (<http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/061012/2006101207.html>).

задеть ни фонарей, ни оград — и затем врезаться в стену Пентагона, оставив там маленькую дырочку¹. Слишком уж неправдоподобно, что почти не умеющие пилотировать камикадзе из «Аль-Каиды» смогли безошибочно попасть в башни ВТЦ. Слишком уж странно, когда без всяких причин рушится третье здание ВТЦ, куда никакой самолет не попадал, но где расположены секретные разведывательные учреждения². Слишком уж смешно, когда обнаруживается, что якобы погибшие «шахиды» спокойно разгуливают по разным странам и даже дают интервью западным журналам, тщетно пытаясь привлечь внимание Белого дома к тому факту, что они живы и здоровы³. Слишком уж подозрительно, когда выясняется, что высшие чины ЦРУ за несколько дней до 11 сентября заработали миллиарды долларов на бирже, играя акциями именно тех компаний, чьи офисы были расположены в «башнях-близнецах»⁴. И т.п. Неудивительно, что, по последним данным, 51 процент американских граждан не верит официальной точке зрения об 11 сентября. Чтобы перестать верить правительственной версии, достаточно прочитать книгу Тьерри Мейссана или посмотреть фильм «Разменная монета»⁵.

Или возьмем Израиль. Когда очередная выпущенная с вертолета ракета уничтожает где-то в Газе или в Наблусе очередной дом — то это, конечно, «борьба с терроризмом». А когда потом оказывается, что убито несколько детей и женщин, официальные лица объясняют, что, по разведанным, в доме находились активисты ХАМАС. Но активистов ХАМАС там почему-то не оказалось, а вот дети погибли. В Израиле, напоминая, смертная казнь хоть и существует формально, но не применяется. Судебного решения о казни пресловутых активистов никто не выносил. Да и не вынесет: вон арестованный лидер вооруженных отрядов ФАТХ «Танзим» Марван Баргути сидит в израильской тюрьме — и вовсе к смерти не приговорен. А ведь это лидер, а не рядовой активист!

И, конечно, никто за убийства женщин и детей наказан не будет: ни те, кто отдавал приказы, ни те, кто их исполнял. Не накажут, конечно, и тех руководителей израильского государства и израильских спецслужб, которые в конце 70-х — начале 80-х *насаждали* в Палестине исламистов, чтобы их руками вырезать левых ооповцев (из Народного фронта и Демократического фронта), коммунистов и баасистов. Не накажут и тех представителей оккупационной власти, которые специально отводили войска и полицию, позволяя исламистам устраивать погромы левых. А ведь именно эти люди создали все условия для расцвета ХАМАС в Палестине и последующей победы ХАМАС на парламентских выборах⁶.

Ах, ну да! «Аль-Каида» тоже ведь была создана ЦРУ — для борьбы с советскими войсками в Афганистане. «Независимая Ичкерия» тоже ведь была порождена непосредственно Ельциным, призвавшим «братъ суверенитета столько, сколько сможете проглотить», и Гайдаром, передавшим Дудаеву половину всего арсенала, складированного в республике. Дудаев для них тогда был *союзником*: он же разогнал в Грозном «коммунистический парламент»! Как говорил Франклин Рузвельт об Анастасио Сомосе-старшем, вырезавшем 150 тысяч человек в крошечной, тогда 800-тысячной, Никарагуа: «Сомоса, конечно, сукин сын, но это — *наш* сукин сын».

Недавний пример: израильские войска арестовали в Рамалле главу военной разведки Палестины, бывшего руководителя личной охраны Арафата 50-летнего Махмуда Дарму (Абу-Авара). У израильтян к нему давние претензии: он с Израилем воевал и даже лично подбил когда-то израильский танк⁷. А у палестинцев к руководи-

¹ *The Washington Times*. 21.09.2001; Мейссан Т. 11 сентября 2001 г. Чудовищная махинация. М., 2002. С. 16–21; *Свободная мысль-XXI*. 2004. № 1. С. 93–94.

² *The New York Times*. 4.11.2001; Мейссан Т. Указ. соч. С. 30, 35–36; *Свободная мысль-XXI*. 2004. № 1. С. 95.

³ *The Washington Post*. 10.12.2001; Мейссан Т. Указ. соч. С. 62–62; *Свободная мысль-XXI*. 2004. № 1. С. 98.

⁴ *San Francisco Chronicle*. 29.09.2001; Мейссан Т. Указ. соч. С. 64–69; *Свободная мысль-XXI*. 2002. № 10. С. 4; 2004. № 1. С. 102, № 2. С. 67–68; <http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?artiled=386>; <http://iosco.org/iosco.html>

⁵ <http://www.ioosechange911.com/>

⁶ См. подробнее: *Rochet P. La Grande Fievre du monde musulman*. P., 1981. P. 156–157; *Le Monde diplomatique*. 1983. N 353; *Randal J. La guerre de mille ans*. P., 1984. P. 215; Игнатенко А.А. Халифы без халифата. Исламские неправительственные религиозно-политические организации на Ближнем Востоке: история, идеология, деятельность. М., 1988. С. 149–150; *Независимая газета*. 10.04.1996; *Свободная мысль-XXI*. 2002. № 12. С. 30.

⁷ <http://www.polit.ru/news/2006/09/05/razvedarest.html>

телям израильских спецслужб претензий, конечно, нет! Те, конечно, ни с кем не воевали и никого не убивали.

Разумеется, власти предержавшие в Москве и Вашингтоне, Лондоне и Тель-Авиве убеждены, что «борьба с терроризмом» все спишет — включая убийства, которые по суду никогда бы в этих странах не были разрешены, кроме США, да и там не во всех штатах. Очень гуманно.

Убивать ведь, кстати, можно по-разному. Не обязательно с помощью грубой силы. Можно умерщвлять людей голодом и нищетой. И это ничем не отличается от убийства с помощью оружия. Это, между прочим, еще две с лишним тысячи лет назад знал Мэн-цзы — и так прямо и писал.

Так вот, в «демократической» неолиберальной России, как известно, население, несмотря на приток переселенцев из бывших республик СССР, ежегодно сокращается почти на миллион. Я, правда, помню времена, когда люди вроде Мариэтты Чудаковой в ответ на подобные слова говорили: «Вы что, «Советской России» начитались?». Теперь никто так не отвечает: статистика — упрямая вещь. Конечно, когда об этом говорят Гайдару или Чубайсу, они упорно начинают рассуждать о «снижении рождаемости», хотя рождаемость уже несколько лет растет. Но если заглянуть в «Российский статистический ежегодник», то можно убедиться, что никакого *катастрофического* снижения рождаемости не было, а вот катастрофический *рост смертности* налицо. И что это прямо связано с обнищанием подавляющего большинства (80 процентов, если точнее) населения страны (что не может быть компенсировано феерическим обогащением 2 процентов), с ростом алкоголизма и наркомании, преступности, с утратой возможности получать квалифицированную медицинскую помощь, с ростом числа самоубийств, с приближением баланса питания к голодным сталинским сороковым годам. Есть вполне корректные расчеты, с использованием сложных математических методик, из которых следует, что за первые тринадцать лет реформ в России *противоестественно*, то есть, сверх обычных показателей, умерло 15 миллионов человек¹. Есть признание такого «столпа» «демократической» обществу, как академик Заславская, что за три года самых радикальных реформ «сверх нормы» в стране умерло 12 миллионов мужчин². Есть признание депутата Госдумы от «Единой России», зампреда Комитета по охране здоровья Николая Герасименко, что такой смертности, как в России, нет нигде, кроме территорий Африки, массово пораженных СПИДом³. Что это, если не растянутая во времени (как на зоне) смертная казнь? Что это, как не массовое убийство — без приговора суда — *богатыми бедных*?

Зато на смертную казнь *по приговору суда* у нас — мораторий. Полный триумф гуманизма.

А если кто правящих «гуманистов» за весь этот их «гуманизм» станет в будущем судить — и, что вероятно, приговорит к расстрелу, — «весь цивилизованный мир» это безобразие, конечно, осудит и таких людей назовет «антигуманистами». И может быть даже «террористами». А то и, страшно сказать, «небольшевиками».

В реальной жизни — не в области политических деклараций, юридических абстракций и моральных пожеланий, а в *реальной жизни* — правом на убийство обладает тот, кто сам себе это право присвоил. Если это один человек — то один человек, если группа людей — то группа, если организация — то организация, если государственный орган — то государственный орган, если государство в целом — то государство.

И отнять у них это право невозможно именно потому, что оно — *самовольно* присвоенное. Уголовное законодательство всех стран запрещает убийство — но убийства постоянно происходят, как мы знаем. Единственное, что здесь можно сделать (и традиционно делается) — это ввести институт *мести, возмездия* как отчасти компенсирующий «самоуправство» убийцы, отчасти призванный сдерживать потенциального убийцу, поскольку тот как представитель вида *Homo sapiens* должен обладать способностью к элементарному прогнозированию и, следовательно, должен стремиться избежать возмездия (мести). Институт возмездия издревле существует в

¹ Свободная мысль-XXI. 2004. № 2. С. 147–153.

² Новая газета. 28.03.2005.

³ <http://www.polit.ru/news/2006/07/13/deathrate.html>

разных вариантах — начиная от *кровной мести* и кончая *государственным наказанием* за *частное* преступление — например, убийство с целью ограбления, которое безусловно не является государственным, то есть политическим, преступлением.

Известно, однако, что ни ужесточение наказаний, вплоть до введения не просто смертной казни, а смертной казни в особо жестоких формах, ни смягчение наказаний (отмена смертной казни в государственных масштабах или, как в средневековом «обычном праве», введение всего лишь *штрафа* или выкупа за убийство — вергельда, виры) не влияло радикально на число убийств, поскольку те совершались часто под воздействием эмоций, по глупости — из убеждения, что убившего не найдут, из жадности и страсти к наживе, из-за голода и, наконец, по религиозным и политическим соображениям, когда наказание или возмездие, включая смерть, не могли служить сдерживающим фактором — идеалы ставились выше собственной жизни.

В опровержение этого можно, конечно, привести пример царской России и СССР / постсоветской России и указать на то, что число тяжких преступлений, в частности убийств, у нас в стране достигло дореволюционного уровня только в конце 90-х годов XX века, — и связать это с тем фактом, что в царской России смертная казнь за уголовные преступления была отменена, а в СССР большее время существовала и лишь в постсоветские времена на нее был наложен мораторий. И в качестве дополнительного аргумента сослаться на многочисленные мемуарные свидетельства каторжан (скажем, П.Ф.Мельшина-Якубовича) или изучавших каторгу литераторов (скажем, Власа Дорошевича), которые лично сталкивались с феерическими типами дореволюционных убийц — людьми, убившими с целью ограбления по 30–50 человек, попавшими на каторгу, бежавшими оттуда, убившими еще 30–50, вновь пойманными и вновь отправленными на каторгу, где они как «Иваны», уголовные авторитеты, находились на привилегированном положении и не слишком-то горевали.

Но, во-первых, даже тот же Влас Дорошевич специально указывал, что, когда на Сахалине постоянно вешали (смертная казнь полагалась за нападение заключенных или ссыльно-каторжных на представителя администрации, так как, с точки зрения дореволюционного законодательства, это было уже *государственное* преступление), регулярно происходили убийства тюремщиков и надзирателей доведенными до отчаяния каторжанами, а когда вешать перестали, «загадочным образом» и убийств такого рода не стало. И тот же Дорошевич просто и ясно разъяснил этот парадокс: до назначения губернатором Сахалина генерала Мерказина на Сахалинской каторге процветали зверства — людей по любому поводу и, главное, без повода нещадно били и секли, сплошь и рядом засекая до смерти. При Мерказине это прекратилось, сечь стали умеренно и мотивированно. То есть администрация Сахалинской каторги *перестала провоцировать* заключенных и ссыльно-каторжных на ответное насилие!

А во-вторых — и в самых главных, — поскольку подавляющее большинство убийств носило и носит *корыстный* характер, следовательно, чем больше социальное и имущественное расслоение, чем шире распространены бедность и нищета, чем больше положение человека в обществе определяется тем, сколько у него денег, — тем больше стимулов для совершения преступлений вообще и убийств в частности.

Следовательно, в Советском Союзе, где уровень социального расслоения был низким, главенствовали эгалитарные установки и, более того, не было стимула накапливать (воровать) большие суммы денег, поскольку в силу запрета на частное предпринимательство невозможно было легально вложить эти деньги в бизнес и заставить приносить доход, отсутствовал главный побудительный мотив большинства убийств. Поэтому в пресловутый «период застоя» большинство убийств были убийствами по неосторожности, по пьянке, на почве «личных неприязненных отношений», из ревности, «по хулиганке» и т.п.

Говоря иначе, когда наше неолиберальное государство демонстрирует «гуманизм», отменяя смертную казнь за убийство, но одновременно создает *все социально-экономические условия* для роста корыстных преступлений (включая убийства), оно всего лишь проявляет *цинизм* и *ханжество*. Неолиберальная доктрина предлагает в качестве высшей ценности личный материальный успех, а нормой поведения — воинствующий индивидуализм, «войну всех против всех». При таких установках аб-

сурдно рассчитывать на снижение уровня преступности в целом и убийств из корыстных побуждений в частности¹.

В подобных условиях отмена смертной казни за убийство — это не «гуманизм», а скорее поощрение уголовного мира, как это было де-факто в царской России. И причина этого очевидна. Правящие неолiberaлы хорошо знают, что *защищены* от убийц-уголовников своим *социальным статусом*. Много ли у нас убили в последние годы с целью ограбления президентов, премьер-министров, просто министров, генералов, олигархов? Вот то-то. Следовательно, корыстные убийства совершаются в основном на более низких этажах социальной лестницы. А раз так — зачем за них наказывать смертной казнью? Пока это «быдло» «там внизу» «копошится», «мочит» друг друга, наша «элита» спокойна: внимание «быдла» от нее, «элиты», отвлечено. Интересам неолiberaльной власти, жизням правящих неолiberaлов ничего не угрожает.

Любопытно, однако, что современное российское законодательство не предусматривает смертной казни и за *политические* преступления (в отличие от царской России). Логика действий неолiberaльного государства тут ясна. Политическое противостояние предполагает, что интенсивность конфликта определяется степенью радикальности поведения любой из сторон конфликта. То есть достаточно одной из сторон политического конфликта — обычно сильнейшей — перейти к прямым убийствам, как это развяжет руки всем остальным.

Фактически мы сталкиваемся с той же логикой мести, то есть *возмездия*. Но если в случае убийства частным лицом или группой лиц предельно ясно, кто убийца и кому мстить, то по отношению к государству все не так просто. Частному лицу, или группе лиц, или организации не по силам убить государство, мстя за смерть своего товарища. Ведь что такое государство? Бездушная машина, с помощью которой одна часть общества — социальные верхи — держит в повиновении и устрашении другую часть общества — социальные низы. Машину убить нельзя, она неживая. Можно, конечно, убить государственного служащего. Но в том-то и дело, что, когда речь заходит об убивающем государстве, далеко не очевидно, кто должен стать объектом возмездия. Законодатели, принявшие соответствующий закон? Эксперты, разработавшие его? Представители исполнительной власти, утвердившие этот закон? Судьи, вынесшие приговор? Палач, приведший этот приговор в исполнение? Следователи, тюремная и судебная охрана и т.п. — то есть все те, кто способствовал тому, чтобы убийство совершилось? Прокуроры как представители надзирающей инстанции? Ответственность *размазывается*, но размазывается не на все государство вообще, а на большую группу государственных служащих, в первую очередь высокопоставленных. Это значит, что, если вы вводите в государстве смертную казнь за политические преступления, вы тем самым побуждаете сторонников и соратников казенных к актам мести по отношению к широкому кругу чиновников достаточно высокого ранга.

Неолiberaлы, пришедшие к власти, достаточно умны, чтобы не подставлять себя под удары возмездия. Ведь всякое убийство по суду, то есть смертный приговор, отличается той неприятной особенностью, что — в силу бюрократического характера государства — в каждом отдельном случае можно с большей или меньшей достоверностью очертить круг причастных к этому приговору и ответственных за него.

Поэтому неолiberaлы предпочитают *массовые бессудные убийства* — такие, когда ответственных за каждый конкретный случай найти очень трудно, если не невозможно, и когда все, что сделано, можно списать либо на «эксцессы исполнителей», либо на «вражескую пропаганду». Идеальный случай тут: война, «контртеррористическая операция». Неолiberaлы, то есть, предпочитают известную фашистскую доктрину *коллективной ответственности*, полагая, что к ним самим такую доктрину никто применить не решится.

Тут необходимо вкратце остановиться на том, что такое *неолiberaлы* и чем они отличаются от *либералов*, поскольку у нас в стране эти два понятия постоянно

¹ Кстати, упомянутый уже В.Дорошевич, изучая нравы уголовного мира на Сахалине, специально отметил, что основной принцип жизни уголовников такой: каждый должен заботиться о себе, своем процветании. Это — откровенно неолiberaльная догма, просто в начале XX в. понятия «неолiberaлизм» еще не было, и такое поведение в приличном обществе, в отличие от сегодняшнего дня, считалось *постыдным*.

путают. Отличаются же они вовсе не приставкой «нео». Неолиберализм вообще не имеет прямого отношения к классическому либерализму и не является его приемником. Не случайно сам термин «неолиберализм», заведомо пропагандистский и демагогический, утвердился только в англоязычном мире и — под идеологическим давлением США — в Латинской Америке. В остальных развитых западных странах неолибералов называли и называют, наоборот, «неоконсерваторами». То есть подчеркивали и подчеркивают их принадлежность к *правому* и *ультраправому* спектру¹.

Итак, *либералы* считают, что формально-юридически все люди равны и от рождения обладают определенными правами (правами человека) и что им должны быть предоставлены — независимо от расы, национальной, религиозной и культурной принадлежности и т.п. — равные права и возможности (гражданские права), созданы равные стартовые условия — а дальше пусть реализуют свои возможности, соревнуются. И государство в это вмешиваться не должно. Чем меньше государства — тем лучше (знаменитое «laissez faire, laissez passer» или, в английском варианте, «leave alone»). То есть идеология либерализма — *эгалитарная*, гуманистическая, и это — *идеология развития*, она предполагает, что *каждый* человек представляет собой ценность и *каждому* человеку должны быть созданы условия для развития, духовного роста и реализации заложенных в него природой способностей.

Разумеется, либералы *лукавят*. Они сознательно обходят тот факт, что в классовом обществе в *имущественном*, социальном плане люди не рождаются равными — и, следовательно, у них далеко не равные возможности, и богатые изначально имеют значительные преимущества перед бедными, а следовательно, и «соревнование» между ними — отнюдь *не честная игра*. Но либералы считают это *естественным* и очень не любят вопросов о том, *как именно* разбогатели богатые, поскольку — отдадим либералам должное — они знают, что предки нынешних богатых стали богатыми именно потому, что сделали бедными предков нынешних бедняков.

Неолибералы тоже хорошо это знают, но в отличие от либералов не прячут голову в песок, а делают из своего знания вполне конкретные практические и политические выводы. Неолибералы уверены, что люди не равны (даже формально-юридически) и что равные возможности для всех представляют угрозу тем, кто уже находится в привилегированном положении. Неолибералы считают государство важнейшим инструментом — и считают главной своей задачей *захватить управление* государством, чтобы затем силой государства подавлять «чужих» и создавать благоприятные условия для «своих». Это *точная копия* системы мышления *фашистов*. Просто классические (довоенные) фашисты заменяли индивидуализм корпоративизмом, публично отрицали (или ставили на второе место, превращая в бутафорию) систему парламентаризма. Неофашисты 60-х годов XX века — так называемые *новые правые* — уже этого не делали и, таким образом, уже ничем не отличались от неолибералов. Не случайно во многих странах термин «новые правые» применяется именно к неолибералам.

Классические фашистские движения, хотя они и приходили везде к власти *только* с помощью и при согласии традиционных элит и крупного капитала, сами по себе были движениями «среднего класса», пытавшегося потеснить у руля государства традиционные элиты. Отсюда и антикапиталистическая риторика традиционных фашистов, и их стремление к государственному вмешательству в экономику, хотя и без посягательства на «священный принцип частной собственности». «Новые правые», и неолибералы в том числе, уже были прямыми агентами крупного капитала — отсюда их ненависть к любым попыткам государства или общества ограничить произвол крупного капитала и их стремление технократически *манипулировать* «средним классом», навязывая ему идеологию и интересы большого бизнеса (крупного капитала), с тем чтобы «средний класс» не мог осознать своих собственных, отличных от крупного капитала интересов и тем более объединиться вокруг этих интересов.

Отсюда — массивная, настойчивая и действительно оголтелая пропаганда идей неолиберализма, на которую выбрасываются грандиозные средства, отсюда — технологии *атомизации* общества, направленные на разрушение всех видов социаль-

¹ В США термин «неоконсерваторы» («неоконы») тоже в ходу — так называют христианско-фундаменталистское, откровенно реакционное, самое правое крыло неолибералов. Именно неокконы определяют сегодня политику в Белом доме.

ной солидарности и на превращение населения в дезориентированную аморфную массу, которой можно манипулировать по фашистским образцам (это хорошо видно на примере «цветных революций»).

Логика мышления неолибералов совпадает с логикой мышления фашистов. Иконе неолибералов Маргарет Тэтчер принадлежит известное, широко растиражированное высказывание: «Нет никакого общества, есть только мужчины и женщины, вступающие между собой в отношения на рынке». Чилийскому неонацисту Аугусто Пиночету, которого так любят прославлять наши неолибералы, принадлежит не менее известное похожее высказывание: «Нет никакого “чилийского общества”». Это — выдумка марксистов. Есть чилийская армия, чилийская нация, чилийское государство, чилийский бизнес, чилийская церковь, чилийская семья — а “общества” никакого нет!» Это совпадение не случайно: оба высказывания восходят к одному и тому же источнику — к «Доктрине фашизма» Муссолини, где и содержится отрицание существования общества при признании существования корпораций, государства, нации, бизнеса и семьи.

Итак, идеология неолиберализма — это идеология *элитаристская* (оправдывающая неравенство и защиту интересов элиты, противопоставленных интересам всего общества), *антигуманная* («человек человеку — волк»), и это — идеология *консервативная, охранительная, реакционная*, она отказывает *каждому* человеку в праве на самостоятельную ценность, на развитие, духовный рост и самореализацию. С точки зрения неолибералов, право на развитие имеют лишь *богатые*, представители социальных верхов, а интересы социальных низов должны быть подчинены *интересам рынка* и интересам крупного капитала и связанного с ним государственного аппарата. Неолиберал не относит себя к обществу, он относит себя — как и полагается фашисту — к *корпорации*: корпорации предпринимателей, корпорации чиновников, корпорации «экспертов», обслуживающих за большие деньги интересы предпринимателей и чиновников.

Отсюда и стремление избежать личной ответственности за убийство (а в случае *убийства по приговору* это невозможно), и пристрастие к массовым убийствам, когда возможная ответственность неизбежно размазывается по всей корпорации — по всей государственной машине. Каждый чиновник-неолиберал, даже будучи винтиком государственной машины, остается, конечно, человеком, то есть в данном случае — индивидуалистом-бизнесменом. Это хорошо видно из всех бесконечных коррупционных скандалов — и не только у нас в стране, а во всем мире, — которые очень наглядно показывают, что чиновники неолиберального государства свои *частные интересы* никогда не забывают, не «растворяют» в интересах государства. Но чиновник понимает, что на своей должности он превращается именно в *винтик* бездушной машины, в *чистую функцию*. А функцию наказать нельзя.

Поэтому Путин, например, может так публично реагировать на вопросы о ракетном обстреле рынка в Грозном (после которого убитых женщин и детей — а именно они в основном на рынке и торговали — складывали штабелями): «Да кого там убили? Никого не убили! Ну, может быть, случайно одного-двух». Это зафиксировано в фильме «Недоверие». Здесь устами Путина говорит не человек, а *функция*. У *функции* не может быть детей. Поэтому Путин не воспринимает погибших детей как детей. В конце концов, это *не его* дети. Вот если бы что-то случилось с его детьми, он мгновенно превратился бы из *функции* в человека.

Другой пример. В 1999 году тогдашнего госсекретаря США Мадлен Олбрайт спросили на пресс-конференции: «В результате санкций США против Ирака из-за отсутствия медикаментов умерло 500 тысяч детей. Вы полагаете, такая жестокость оправдана?» «Разумеется, да!» — ответила Олбрайт¹. Почему? Потому что мадам Олбрайт тоже была не человеком, а *функцией*. И чтобы она почувствовала себя человеком, нужно, чтобы кто-то *ее* детей убил путем лишения их медикаментозной помощи.

Понятно, что неолибералов вдохновляют примеры безнаказанности. Рейган мог устроить интервенцию на Гренаду и в Панаму — и не понести никакого наказания. Международный суд в Гааге признал действия США против сандинистской Никарагуа *агрессией* — и опять-таки никто наказан не был. Можно бомбить Сербию и Ирак — и

¹ *Weekly Mail and Guardian*. 25.03.1999.

перед судом предстанут не те, кто, как уже выше было сказано, является, с точки зрения международного права, *террористом*, а свергнутые лидеры Сербии и Ирака.

Но вот пример Пиночета выглядит очень показательным. Оказывается, можно совершить военный переворот, свергнуть законно избранное правительство, устроить резню, установить диктатуру — и затем, годы спустя, спокойно — с опорой на новую, пиночетовскую, конституцию — передать власть гражданскому правительству, заключив соглашения, в соответствии с которыми преступления *первого месяца* диктатуры (когда было убито 30 тысяч человек) не расследуются и не наказываются (поскольку сам Пиночет еще в 1978 году всех виновных амнистировал). Но вот убийства уже не десятков тысяч, а отдельных лиц в *более поздний период* — и бессудные, и по суду — вдруг оказываются объектом разбирательства и в Европе, и в Чили, Пиночет лишается неприкосновенности, которой он сам себя одарил в качестве президента и пожизненного сенатора, оказывается под судом, избирает преследования «по состоянию здоровья», вновь оказывается под судом и домашним арестом, всплывают все новые и новые данные о его личной ответственности за убийства политических противников не только в Чили, но и за рубежом, о его личном участии в пытках политзаключенных на так называемой Вилле Гримальди — причем только *очень богатых* заключенных, после чего деньги с их банковских счетов почему-то исчезали, а на личных счетах Пиночета появлялись, и немалые — 7 миллионов долларов!.

Как известно, Пиночет избежал суда и приговора — успел умереть раньше. Но каков пример! Пока чилийские фашисты, то есть неолибералы устраивали массовые убийства, развязав де-факто гражданскую войну, они оказывались безнаказанными. Как только дело дошло до *частных случаев* — убийств в соответствии с действовавшей тогда юридической процедурой — тут же возникла угроза наказания. Это касается не только Пиночета. Бывший начальник пиночетовской охраны генерал Контрерас был в 1995 году осужден за убийство в Вашингтоне в 1976 году министра иностранных дел правительства Народного единства Орландо Летерьера, в то время как по фактам совершенных Контрерасом многочисленных убийств в ходе военного переворота даже следствие не проводилось!

Так что не неолибералам и не неолиберальному государству выставлять себя «гуманистами». Все разговоры об отсутствии смертной казни как признаке гуманизма такого государства — не более чем *демагогия*, отвлекающая нас от *сути дела*.

Государство, по моему мнению, имеет право на смертную казнь. Но только такое государство, которое представляет интересы общества (то есть *большинства* общества, а не его меньшинства), использует смертную казнь как форму самообороны общества от врагов общества, как способ *общественного возмездия*. Однако *неолиберальные* государства, государства, которые устраивают войны ради *нефти*, ради *обогащения правящей верхушки*, убивая в этих войнах *сотни тысяч*, государства, которые убивают *без суда* своих граждан нечеловеческими условиями содержания в тюрьмах, голодом и нищетой «на воле», — это *преступные* государства.

5 сентября 2006 — 22 июня 2007

Леонид Волков

Русская весна

Опыт исповеди бывшего нардепа

Главы из книги

Прошло почти двадцать лет со времени событий, отразившихся в записках Леонида Волкова. За эти годы выявились как предпосылки и масштабы происшедшего, так и механизмы, использованные для слома косной идеологии и старого государственного аппарата. Ломка обернулась крушением страны, предложившей миру новую, более справедливую модель обустройства человеческого сообщества, привлекая сочувственное внимание лучших людей Европы, но так и не реализовавшей грандиозный социальный проект.

События 90-х отразились в тысячах статей, сотнях книг, десятках фильмов. Почему же мы сочли нужным вернуться к этой теме, отрефлексированной художниками и аналитиками разного калибра?

Дело в том, что записки Л.Волкова привносят в общеизвестную картину нечто новое, приоткрывают дверь в неприглядную политическую кухню начала 90-х. Депутат Верховного Совета и едва ли не главный генератор идей «ДемРоссии» (во всяком случае, так позиционирует себя автор записок) волею обстоятельств оказался на острие событий — там, где, по преимуществу экспромтом, предлагались и принимались судьбоносные для народа решения. На склоне лет бывший политтехнолог, без ложной скромности называющий себя «политическим Эйнштейном», решил обнародовать малоизвестные и многозначачие подробности борьбы крепнущего Ельцина со слабеющим Горбачевым — Российской Федерации с СССР. Ельцина и его соратников не пугали последствия — экономический коллапс, разоривший народонаселение и отбросивший Россию на десятилетия. Их не заботил баланс сил в мире — результат огромных усилий международного сообщества: его крушение обернулось катастрофой для миллионов... Они руководствовались краткосрочными целями: властью, собственностью, шестой пункт Конституции... Точно так же, получив рычаги управления, поступят вслед за ними «младореформаторы».

Время доказало экономическую несостоятельность и моральную ущербность подобных действий. Одно из последствий реформ 90-х годов анализируется в статье А.Тарасова «Право на убийство», публикуемой в этом же номере.

Почему же, не разделяя принципиальных оценок мемуариста, мы обнародуем его записки?

Для того, чтобы высветить малоизвестные факты, дорисовать картину событий, по сей день волнующих общество.

На последних страницах записки Л.Волкова, вырвавшись из тисков фракционной ангажированности, обретают глубину и серьезность: «"Русская весна" позволила русскому народу заглянуть в себя. Она побудила его, пусть и робко, вступить на зыбкую почву собственных творческих сил. Она неоспоримо поколебала то чувство незыблемости устоев — советских, российских, имперских, — с которыми,

Волков Леонид Борисович — народный депутат РФ 1990—1993 годов. Член Конституционной комиссии, член комитета по международным делам. Юрист, политолог. До 1990-го старший научный сотрудник ИНИОН АН СССР, кандидат юридических наук. Участник демократического движения, сооснователь и сопредседатель Социал-демократической партии России 1986—1998 годов. В «Дружбе народов» опубликован его рассказ «Коврик» (№ 12, 2003).

хорошо ли, плохо ли привык жить этот народ. Она позвала его куда-то в новую творческую даль. В какую? Этот вопрос остается пока открытым».

На долю нынешнего поколения россиян выпало много ошибок и тягот страны, ее увязание в «зыбкой почве», порой неуверенное продвижение по кочкам. Однако я убежден, что эти блуждания не обернутся историческим поражением, ибо русский народ привнесет в «новую творческую даль», которую ему предстоит обрести и освоить, все лучшее, что было отринуто в годину амбициозной политической борьбы и хищного реформаторства.

Александр ЭБАНОИДЗЕ

Прошлый век вошел в историю человечества героической попыткой России создать справедливый общественный строй. Нынешний, XXI век ознаменовался крушением этой попытки. Советский Союз был далеко не идеальным государством. Однако его несовершенство состояло не в принципах, на которых он был основан, а в несовершенстве людей, стоящих в нем у власти. Более того, именно их несовершенства и пороки — неразумие одних и алчность других — уничтожили шанс подлинного воплощения в жизнь социалистической идеи. Несовершенный общественный строй сменился несправедливым (еще более несовершенным).

Общие причины крушения Советского Союза общеизвестны. Конкретные обстоятельства до сих пор остаются во многом невыясненными. Публикуемый ниже текст рассказывает о некоторых из них.

В начале было Слово

Для чего я вот уже добрый десяток лет, а то и все полтора занимаюсь с долгими перерывами писанием этой книги? Время бежит. Вот уже не только Горбачев, но и Ельцин почти забыты. Кажется, забыт даже Сахаров. Где-то в разных уютных или неуютных норах закопались бывшие герои демократической весны — Попов, Афанасьев, Румянцев, Филатов, Станкевич, Пономарев, Якунин. И сам я уже разменял вторую пятилетку в Германии.

А резвые кони демократии нынче понуро бредут по русским необъятным полям и просторам. И неизвестно, куда они бредут, «управляемые» выучеником КГБ с джентльменскими замашками вышедшего в люди дворового огольца. И уже потерявшие терпение близкие говорят: «Ты пропустил время, теперь это вряд ли кому интересно». И сам я знаю, что об этом времени писаны мемуары разных современников. Да и многие из тех наблюдений и мыслей, которые я высказывал, вернее записывал в роли первооткрывателя и пророка, теперь стали едва ли не общими местами журналистики и политического бомонда.

Так для чего, почему? И кому эта книга была нужна или еще нужна? Поиски ответа на эти мучительные вопросы и заставляли меня надолго обрывать работу. Что движет мной? То ли терзает меня историческое тщеславие — как-никак я прикоснулся к истории и кое-что для нее сделал. То ли требуется польстить естественному тщеславию подруги, ожиданиям старых друзей, а заодно и своим. Или все-таки есть надежда через переживания «Русской весны», прошедшие перед глазами и пропущенные сквозь сердце живого участника, пробудить угасший или искореженный интерес к веснам политической свободы, где бы и когда бы они ни случались — в Венгрии ли 56-го, в Праге ли 68-го, в Вильнюсе 89-го или в Москве начала 90-х?

Или же тщусь я с помощью этой истории, увиденной глазами «включенного наблюдателя», просто помешать искажениям действительности, ее фактов и оценок, что сплошь и рядом можно видеть в легковесных, хотя и претенциозных телефильмиках, в важных интервью, на страницах газет и просто в болтовне обывателей разных стран. Да, я был на протяжении лет включенным наблюдателем. Включенным, но Наблюдателем, обладающим некоторым запасом юридических и политологических познаний.

Впрочем, я живу уже почти три четверти столетия. Я родился и учился под Сталиным, умирал вместе с расстрелянными в годы сталинских репрессий, подростком переживал войну с нацизмом, возрождался в хрущевскую оттепель, страдал от брежневского застоя, вновь ожил с приходом к власти моего университетского однокашника Горбачева, выходил на улицы, а потом кипел в парламенте, когда увидел несостоятельность последнего генсека. Я творил Конституцию, выступал с экранов и микрофонов, стал создателем партии, общался с сотнями и сотнями самых разных людей — от шахтеров Воркуты до иностранных канцлеров и министров.

Словом, в некотором смысле я — динозавр эпохи. И, пожалуй, это самое главное, что превращает в обязанность мое право высказаться о ней.

События первой половины 90-х годов я воспринимал как весну и потому для себя назвал мой мемуарный проект «Русская весна» — отчасти по аналогии с «Пражской весной» 1968 года, по сути дела увертюрой к несостоявшемуся действу под рубрикой «Социализм с человеческим лицом». Увертюра эта, однако, как и некоторые великие увертюры к неосуществленным операм, вошла в историю как эпизод самого честного и самого мирного «штурма неба», как тогда казалось — счастливого неба достижимой человеческой свободы. И весенний аромат ее духа, ее звучания навсегда остался в памяти и проник в мою кровь, как и в кровь многих моих друзей и единомышленников.

Наша революция была восстанием джентльменства против хамства. Мы хотели не богатства, а благородства. Вот почему мы были избраны вопреки всем прогнозам. Вот почему так легко проходили наши благородные формулы — в регламенты, законы, проекты Конституции. Мы все пылали страстью, и нашим предметом была дама благородных кровей — так мы понимали демократию, так мы понимали историю, так мы понимали Россию. Не исключая многих коммунистов, все хотели блистать перед ней. Мы фехтовали, как Атос, были галантны, как Арамис, отважны и бедны, как Д'Артаньян, хотя нередко и щеголяли фальшивой позолотой демократических портупей, как Портос.

Но любовь имеет свои фазы. Фехтование может превратиться в позерство. В страсти зазвучат земные мотивы. И красота портупей станет измеряться реальной толщиной позолоты. Так имеет ли смысл эта страсть? Нужно ли дерзко целовать историю? И можно ли, любя, познать незнакомку? Или она остается все такой же неуловимой, той — блоковской, которая в конце концов из-за спящей мглы «снежной россыпи жемужной» выступит оборотнем — похабной девкой, способной только на nepотpeбcтвo и хамство? Что породила наша любовь? Дьявольщину дурной бесконечности порочного круга? Кроваво-коричневый кошмар макашовщины, жириновщины, сталинщины? Кавказские разборки? Второе издание крымской войны? Катастрофу? Пустоту? Съедобный, но на редкость невкусный злак полусвободы? Или из горького семени русского освобождения все же вырастет сладкий плод русской демократии? Я пробую еще раз заглянуть незнакомке в глаза. И понять вновь: любит — не любит, плюнет — поцелует. И гадать, с кем же ее подлинный или подлый флирт. И к кому ее истинные чувства. Кому верна, кому изменяет, над кем потешается и с кем ведет двойную игру. И, заглядывая, ловить в этих глазах отражения себя, своих врагов и друзей.

Итак, что же мы сделали — кучка идеалистов, если действительно мы были идеалистами? Были ли мы идеалистами — that is the question?! Это вопрос, который не дает мне покоя. И еще: надо ли все-таки быть идеалистами? И так ли уж необходимо приправлять и подправлять жизнь утопией, как это казалось мне еще недавно.

Допустим, мы пытались, вестернизировать иррациональный русский мир и излечить Россию от безнадежного сталинского рака. Но мы делали это, стараясь не обращать внимания на то, что в попытке удалить социндустиалистическую опухоль желудка страны мы оперируем на ее доисторической душе. Мы, я думаю, и впрямь ощущали себя политическими онкологами. И, как вправдашним онкологам, нам думалось, что мы творим благо, даем организму шанс. Добро бы еще мы были специалистами! Но специалистами мы не были, иначе по крайней мере заметили бы, что и сам Запад далек от рациональности и демократической благодати, которые мы ему приписывали. Так можно или все-таки нельзя было приступать к операции? Это тоже — вопрос. Теперь, когда кривая совковая рожа поперла изо всех пор нашей кашеобразной демократии и нашего щербатого капитализма, мы видим — ничего

существенно изменить не удалось. Но мы уже знаем, что и на Западе дела обстоят ненамного лучше. И у него тоже — рожа. Потолще, порумяней, но со следами тех же пороков. Так, может быть, следовало просто подождать, пока юный народ повзрослеет?

Или дело просто в том, что были мы политическими (и экономическими) дилетантами. И вместо того чтобы, как черви, вгрызаться в подпочву жизни, ковыряться с заскорузлыми практиками, как на свой лад это сделал Ельцин, но вместо Ельцина спешили птицами пропеть, прокричать звонкогласые прописные истины, послужившие, в конечном счете, не более чем смазкой на пути к власти, к новосовковой власти как раз для тех или в основном для тех, кого эти прописи были призваны напугать и политически изничтожить?

Или я, мы, вы, они — были веселыми игроками, вырвавшимися на свободу детишками, «мальчиками в коротких штанишках», которые вдруг почуяли, что пришел, пусть и ненадолго, их час торжества, в то время как серьезные дяди и тети задавлены житейскими заботами?

И, может быть, правы консерваторы, когда они говорят о бессмысленности и даже о греховности попыток улучшить мир, в котором царит первородный грех человека?

Скорее всего нам не хватало элементарного чувства социальной ответственности. Чувства, которое требует соединить слово с делом, а дело понимать не только как общечеловеческое, но и как просто человеческое. Нам — это демократической интеллигенции, или, если угодно, — интеллигентным либералам. Когда я вспоминаю речи ярчайших персонажей из «Московской трибуны», я как будто перечитываю «93-й» Гюго или речи Милюкова в Государственной думе начала века. Но вспоминаю и Гамлета: «слова, слова...» Как красиво, как мужественно звучали эти слова в перерывах между бутербродами и кофе и как пламенно отзывались они потом на митингах. Но дело, повседневное дело политики, тягомотину администрирования должен был делать кто-то другой. Ельцин, Народ, Запад... У вас (нас) как бы всегда было лишь начало. Верно, «в начале было Слово». Но здесь это было как бы лишь начало слова. Словно начало фразы, которую оратор не знает, как закончить. Или заявка септ-аккорда, у которой нет разрешения. Или знаменитый советский долгострой.

Но, боюсь, что и сам критик со своими ближайшими коллегами был немногим лучше (а может быть, и хуже). Ведь и у него не было чувства ответственности за власть, которая шла к вам, к нам в руки. У меня было другое — чувство ответственности перед Историей, перед Разумом, может быть, перед Правом. И еще у меня была готовность порядочного человека как-то помочь людям, моим избирателям, вернее, готовность порядочно отнестись к их душевным нуждам, за что они были мне благодарны, но от чего в конечном счете было немного толку. Обо всем этом, однако, речь впереди.

Уже одно то, что я буду повествовать о порыве к свободе, в отличие от рабского рвения в колбасный ряд, должно оправдать мою повесть во времена, когда сама свобода даже в благополучных странах стала всего лишь гарниром к той же самой колбасе.

Многое (и многие) сегодня кажется проходным, забытым, отлитым в готовые формулы. Но стоит ли торопиться забывать то, что было жизнью огромной страны на протяжении лет и осталось, на самом деле, совершенно не подвергнутым настоящему анализу и оценке его в перспективе будущего. Да и сам по себе в высшей степени романтический и одновременно драматический сюжет «Русской весны», разве менее он интересен, чем детективные романы Марининой или философическая анатомия любви Милана Кундеры? И разве не нужна здесь реторта алхимика, чтобы попытаться выделить в пламени свободного эксперимента философский камень истины из той смеси представлений о роли хаоса и порядка, которая окрашивает большинство нынешних подходов к «ельцинскому» времени, будь то на академических конференциях, в журналистике, телевидении или просто в обывательских салонах.

В заключение хочу предупредить, что автор, он же герой мемуарного повествования, по его собственной оценке, принадлежит к породе тех, кто в своей деятельности искал не славы, а результата. Но если бы «слава» пришла к нему, то ему самому

не ясно, была бы она славой Героя или Герострата. Или, может быть, героя-герострата. Пусть об этом судит читатель.

Но есть по крайней мере одно, во что я пока еще твердо верю: распад СССР — не только неизбежность, но и историческое благо. Надо было раз и навсегда покончить с империей зла, или, вернее, с империей беды, или с империей темноты, в общем — с империей. И, значит, стоило быть тем, другим или третьим хотя бы во имя Декларации о государственном суверенитете.

Рычаг Архимеда

С этого, nepocтижимо как сквозь фильтры советского мышления прорвавшегося акта, покотился, как гром вслед молнии, закат «всесоюзной» империи. Для нее вдруг просто не осталось пространства на закрашенной красным географической карте.

Да, 12 июня 1990 года 1-й Съезд народных депутатов РСФСР под председательством Бориса Ельцина принял Декларацию о государственном суверенитете Республики. Мало кто знает, однако, подробности рокового события. Рискну сказать — история повторима. Был когда-то аббат Сиейес и был зал для игры в мяч в Тюильри. И был зал заседаний в высотке на Калининском проспекте. Были Камилл Дюмулен с пистолетом в руке и штурм Бастилии. И был, да простят мне откровенность, «Эйнштейн в политике» — то есть нардеп Леонид Волков — не с пистолетом в руке, но с «рычагом». В голове... В общем, не всегда надо слушаться большинства.

Пасмурный майский день. Кремль. Странное помещение — архитектурное подобие увеличенного в тысячуразгробового ящика. Неизменный Ленин тянет ладошку над трибуной. Телекамеры. Софиты. Микрофоны. И — бунт. Настоящий бунт. Тысяча с лишком людей со значками свежеизбранных народных депутатов стоят и бунтуют за своими пюпитрами. А напротив, на сцене, длинноногий, длиннотелый, но до безликости маленький Некто. Некто боится смотреть в зал. Некто обращает взгляды к балкону, где сидит человек с исторической красной кляксой на лбу, всем своим мрачным видом показывая — нет! Но вот клякса отворачивается...

Я вижу в этой толпе себя. Не слишком-то заметного для телевидения — черт побери, я всегда был самым маленьким в классе. Я стою, я — московский депутат, Леонид Волков, по прозвищу «Эйнштейн». Стою вместе с депутатами икс, игрек, зет — самой что ни на есть номенклатурой из райкомов и обкомов, которые тоже стоят на ногах и кричат. Я стою и не верю себе. Неужто свершается? Неужто свершится? Неужто эти несколько изобретенных мною слов и впрямь способны вызвать историческую бурю. Я оглядываю зал. Кажется, на ногах вся тысяча тех, за которыми 150-миллионная земля. На ногах — в порыве благородного несогласия. Как нобили в старинном польском сейме: «Нье позволям! Не позволю!». На ногах — в страстном порыве внезапно возникшего колдовского единодушия.

Да, моим ощущением был тогда восторг. Восторг открывателя, чья дерзкая формула блестяще подтвердилась в эксперименте. Сознаю, я переживал тогда удовлетворение полководца, сделавшего точный тактический шаг, и — победа! Я кожей чувствовал трепетное дыхание истории, в ткань которой я сам вписывался как ее часть и, трудно поверить, как один из ее демиургов. Я был взволнован и горд. Ай, Пушкин! Ай, молодец! Ай, Волков... И еще я видел себя Архимедом: «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар». Ведь всего-то и требовалось — понять принцип. А потом изобретать и строить, изобретать и строить... Архимеда осенило. Мудрец постиг могущество рычага. А там мир машин закрутился, завертелся... Шар земной грек не перевернул. Знал, что нет под это яичко точки опоры. Но земля ведь не только тело в космосе.

Страна и люди

Меня всегда поражало — как может огромная земля, где все такое разное — люди, солнце, ландшафты, речь, быть в то же время такой одинаково советской.

Каждую осень на своей маленькой машине я отправлялся в дальнюю дорогу — на юг, на север, на запад, на восток. И всюду были те же унылые вывески обкомов, райкомов, исполкомов, горсоветов. Те же выцветшие полотна «Слава КПСС». То же бездорожье. Те же обшарпанные жилые дома и однотипные дома культуры или «политбеседки». Те же объявления о партсобраниях, о соцсоревнованиях, о выпуске «чугуна и стали». Те же доски почета, сильно напоминавшие стенки колумбариев. Те же гипсовые «ленины» на фоне домодельных плакатов, порочивших язвы пьянства и прогулов. И те же, при всем различии этнических оттенков, биндюжные лица и унтер-офицерские нравы советских начальников, больших, малых и совсем маленьких. И те же серо-коричневые очереди. И та же гнилая пустота в магазинах. И те же задымленные и захимленные малые и средние города с большой и всегда немного секретной промышленностью. А за изгородью серой унылости — то живописные наличники северных деревень, то белизна украинских хат под тополями. То синее море Одессы, то бархатистые горы Прикарпатья. То острая южная речь, то дерзкий неторопливый северный юмор. И хранящая в сундуках и в домашних музеях яркая пестрота местных нарядов, пасхальных яиц, писанок, платков, рушников.

Чем больше я ездил, тем зримее становился этот убийственный контраст. Как будто бы тысячи тысяч живых душ накрыли одной застылой маской. И маской этой была власть. Ее горбатые законы, ее лысое мыслями начальство, ее бесвкусные одежды. Ее вульгарные трюки. Ее охраняемая мертвой хваткой привычек шакаля корысть.

И все же то, что государства, многонационального Союза ССР, вообще нет, а есть всего лишь многонациональный мохнатый паук власти над опасным для нее многообразием страны, я по-настоящему понял, когда зашла в тупик горбачевская перестройка.

Итак, уже к маю 1990-го было ясно, что, несмотря на либидонозное очарование миссис Тэтчер, потенциал Горбачева иссяк. Ему так и не удалось завоевать любовь России, которую, к сожалению, не могла заменить любовь Раисы. На сцену выходил другой герой-любовник.

Ельцин

Между прочим, когда я впервые узнал Ельцина — а было это в апреле 1977-го — я не мог не почувствовать магнетизм его личности. Подвиги его в роли партийного Гарун аль-Рашида были уже известны. На этот раз 2000 москвичей были приглашены на встречу с новым секретарем МК. Я тогда увидел живого члена Политбюро. До тех пор встречи проходили с бонзами чуть меньшего калибра. И бонзы эти, от директоров и министров до первых и вторых секретарей, были все на одно лицо. Вернее — на одну маску. Они глядели мертвее самых мертвых. И речи их были такими, как если бы мертвец заговорил. Без тени живой мысли. Без признака тепла живого сердца. Как можно было их любить? Должно быть, и женщины их были такими же. И, возможно, какой-нибудь партийный клирик повторил под грифом «сов. секретно» знаменитую буллу папы римского, предписавшего католическим женам шевелиться во время супружеской близости, дабы не совершилось греха соития с трупом. Впрочем, в данном случае партийная булла должна была бы скорее адресоваться мужьям.

Здесь же перед двухтысячной аудиторией стоял совершенно живой человек. Человеку был явно интересен он сам, его дела и люди, с которыми он общался. Да, в манерах его было что-то от массовика-затейника. А в речах то там, то сям вдруг пламенели язычки комиссарского запала эпохи Павки Корчагина. Но улыбка была обаятельной. И речи, в общем, разумными. Он говорил, стоя на ногах, шесть часов подряд. И его все слушали и слушали. И чем ближе к концу, тем сильнее разгорались глаза женщин. Но на выходе легкий румянец оживления появился и на щеках мужчин. Уже тогда московская Татьяна казалась готовой полюбить уральского Бориса. Зачарованным вышел и я. Но под слоем возникшей симпатии билась и сильная тревога.

Ночью я проснулся в холодном поту. Этот симпатичный мужик жестко сказал: «Мы пошлем профессоров торговать за прилавком. Не пойдут — поставим к станку». В то время в Москве среди множества дефицитов объявился дефицит продавцов. И

уж, конечно, был избыток всяческих научных контор. Но мне стало страшно: а если профессора к станку не пойдут, тогда — к стенке?

С тех пор утекло немало перестроечной воды. В ее грязных партократийных стоках и в просветленных ручейках сахаровской оппозиции прошел свое крещение и Ельцин. Он вышел уже не тем модернизированным Павкой Корчагиным, каким казался мне впервые. Он вышел любимым интеллигенцией и народом и, похоже, полюбившим в себе эту любовь. Есть у Чехова фраза: «Человек должен себя любить. И любить в себе то, что любит в нем другой человек, женщина, его женщина». Ельцин, по-моему, искренне полюбил то, что полюбила в нем наша многоликая Татьяна. В том числе и любовь профессоров. Да как будто и самих профессоров. Но к непростой теме «Ельцин» я еще вернусь, и не раз.

Белый дом в мае 1990-го

И вот май 1990-го. В Белом доме идет неохотная подготовка к приему новых обитателей. Не по разнарядкам свыше, а самим народом избранных депутатов. Еще бы, старый Верховный Совет РСФСР заседал три-четыре раза в году по паре дней, штампую «указы» своего Президиума, точнее, его председателя, а еще точнее — стоявшего над ним всесоюзного начальства. В вознесенном над городской суетой «народном предствительстве» РСФСР неторопливо жил лишь «аппарат» товарища Воротникова. И прохладные лабиринты огромного дома в мае 1990-го еще ошеломляют гулкой пустотой. Оживление лишь в обеденный перерыв, когда группки удивительно гладких и удивительно похожих друг на друга чиновников обоого пола устремляются под колпак спецстоловой, как будто взятой у времени напрокат из добрых сталинских 50-х. Зрелище это отдавало чем-то ненатурально желтым и нафталиновым. Особенно для тех, кто попадал сюда с шумных и голодных московских улиц и с не менее шумных, голодных тусовок, где звенели надежды и бился горячий нерв сомнений.

Мне, вольному исследователю, либеральному обладателю частной жизни, было очень странно войти в этот, как будто покрытый фальшивым золотом храм власти. Так чем же он станет, этот новый парламент России? России, которая еще не Россия, а всего лишь «РСФСР» — эдакий колониальный ярлык к расползшейся по городам и весям огромной и сплошь изъеденной изнутри ржавчиной и гнилью империи. Это было в тумане и для тех, кто пламенел демократическими страстями, и, наверное, для тех, кто ограждал себя от них высокими парапетами и дубовым величием дверей.

Не было ясно это и тем, кто собрался в мае 1990 года в здании на «Калинина, 27» (ныне Новый Арбат, 19) и зарегистрировался в качестве депутатов от «Демократической России». Всего нас оказалось 221 человек. Из 1067 народных депутатов. Так, где-то неполных 25 процентов. Вроде бы и неплохо, во всяком случае куда больше, чем в лучшие времена Межрегионалки на Союзном съезде. К тому же — далеко не только Ленинград и Москва. Правда, количество не всегда переходит в качество.

На радостях я подошел к одному молодому, очень худому и бледному «провинциалу» и, чтобы ободрить его, начал было товарищеский разговор вроде тех, что мы привыкли вести в Народном фронте. И тут я получил высокомерный отпор. Я не предполагал тогда, что этот парень пришел не столько с верой в демократию, сколько с верой в свою большую карьеру. И он сделал ее, побывав на разных высоких финансовых и налоговых должностях.

По правде говоря, щелчок по носу озадачил меня — какая же тут солидарность? Но тут в полутемном актовом зале, устроенном почти как римский форум, началось действие. Верховодили «сенаторы» — Травкин и Бочаров. Они ведь были пока еще и союзными депутатами. Бочаров к тому же был директором нашумевшего своими экспериментами концерна «Бутэк», а Травкин — Героем Социалистического Труда и ярким оратором. Помню, как Борис Золотухин, с которым мы как-то быстро сошлись на той исторической тусовке, восхищенно обернулся ко мне во время речи Травкина: какой самородок, какой талант. Талант несомненный, подумал я. Жаль, что не стал писателем — уж больно сочен язык. Но не удивлюсь, если этот народный демократ

через пару лет обернется фашистом. Я ошибся. При всех популистских заносах и демагогических перегибах речей, при всем его самолюбии Николай Ильич фашистом не стал. А вот другой герой той тусовки...

Ленинградцы. Декрет о власти

Ленинградская группа сразу выделилась в этом собрании. Во-первых, в ней была легендарная Бэлла Куркова — создатель «Пятого колеса». Во-вторых — обязательнейший и умнейший красавец Олег Басилашвили. В-третьих — сразу два Толстых. Оба физики и оба из той самой фамилии. Отец — совершенно замечательный старый джентльмен. И сын, несколько суровый и казавшийся надменным. Впрочем, вся делегация (кроме Басилашвили и старшего Толстого) явно держалась особняком. Знакомый ленинградский стиль — знай, мол, наших.

Но по-настоящему «знай наших» загремело, когда два ленинградца пошли в атаку на власть. Загремело, между прочим, поскольку оба обладали голосами, способными перекрыть любой микрофон. Один — могучим дискантом, другой не менее могучим интеллигентным басом. «Знай наших» прозвучало как проект «Декрета о власти». Представили его дискантом депутат Варов и басом — депутат Константинов. «Декрет» был артистично задуман как символ завершения эпохи. С известного декрета о власти началось — декретом о власти кончается. Кто мог тогда подумать, что два года спустя интеллигентный бас зазвучит совсем на других тусовках, там, где будут бесноваться красно-коричневые и запахнет кровью.

«Декрет» сразу поднял градус заседания, напоминавшего в начале собрание потерянных первоклашек. Все понимали, что, несмотря на грандиозный прорыв москвичей и ленинградцев, фракция демократов слишком мала, да и не очень устойчива. Между тем перед нами действительно стоял вопрос о власти. И стоял очень остро и сложно.

Дело было не только в том, что горбачевская демократизация дошла до своих границ и затрещала под напором всесоюзной номенклатуры. Дело было еще и в том, что «ястребы» надеялись взять реванш именно в РСФСР. Огромная Россия должна была лечь к их ногам. Где же, как не в России с ее вековым великодержавным рабством, надлежало им дать бой проклятой интеллигенции, всем этим демократическим жидовствующим, распоясавшимся при попустительстве чужака Горбачева. Утвердив «нашу» власть в России, можно было остановить опасный для них распад «державных» традиций. Здесь открывалась возможность истребить в самом зародыше просачивающийся через вчера еще незыблемые рубежи военного противостояния либеральный дух Запада. «Где вы, власти, о, где ты, рука-владыка?» — так писала их поэтесса Ольга Фокина в их «Современнике». Отсюда, из России, казалось естественным повести контраступление, вернуть всю огромную «коммунистическую» империю в традиционное русло. На этом строилась политика тогдашних красно-коричневых, или красно-черных, или красно-белых, почти в открытую выражаемая их лучшими литературными перьями — Беловым, Бондаревым, Прохановым и мириадами бездарных журналистов, критиков и поэтов... Захват руководящих позиций в РСФСР мыслился этой публикой как удар одновременно и по Горбачеву, и по демократам, которые в то время тесно сошлись с Ельциным. Так я понимал тогда ситуацию.

Экономический суверенитет. Полозковщина

План двойного обхода — демократов и Горбачева — был задуман неплохо. Тогда в воздухе носилась идея суверенитета. В самом деле, в Конституции СССР, как ни странно, было записано, что союзные республики суверенны. Правда, было разъяснено, что основные государственные полномочия переданы ими сугубо добровольно «союзу нерушимому республик свободных». В Конституции 1936 года это было обозначено еще прямее. Хитроумная эта статья, сохранившая понятие «суверенитет» в последнем варианте Основного закона, по-моему, просто по недосмотру, — ибо СССР давно уже не был «союзом» и республики отнюдь не были «свободными», — дала, однако, повод, прежде всего прибалтам, заговорить о своем суверенитете всерьез. У «демороссов» идея была также на слуху, и сам Ельцин в предвыборных

речах как-то обмолвился о суверенитете. Но, по всей видимости, никто толком не представлял себе, что же реально стоит за этим приятным для одних и страшным для других словечком.

И вот теперь, в преддверии Съезда, некие умные люди наполнили понятие содержанием. С благословения Горбачева России теперь предлагался «экономический суверенитет». Занятная формула, следуя которой можно было бы предположить, что республика становится экономически независимой от Союза, то есть может устраивать свою экономику как ей вздумается — хоть рыночную, хоть феодальную, хоть рабовладельческую. Что она может свободно и самостоятельно выходить на внешний рынок, иметь свою валюту. Правда, и при этом оставалось бы непонятным, как поступать с находящимися на территории «экономически суверенной» РСФСР союзными предприятиями — основой экономики всей империи. На самом деле, суть звучной формулы «экономический суверенитет» была сведена к эффекту хлопушки. Депутатам делался подарок в виде республиканской «русской» компартии, русской республиканской Академии наук и некоторого, не очень определенного, расширения бюджетных возможностей республиканского правительства. Ведь до сих пор даже этих атрибутов государственности, дозволенных остальным республикам в составе СССР, республика Россия не имела. В обмен депутаты должны были провалить Ельцина и избрать на высший республиканский пост то ли номенклатурного предсовмина Власова, то ли даже крайнего в ретроградной для меня «красно-коричневой» команде — Полозкова.

Понимал ли Горбачев, какая мина тем самым подкладывается под его власть, уж не говоря о перестройке, я не знаю. Похоже, что ослепленный враждой с Ельциным, он больше ничего не видел. А может быть, его устраивал такой итог «перестройки». Устраивало же его брежневско-сталинское большинство всесоюзного Съезда. И не кто иной, как Горбачев, сделал возможным создание по сути своей враждебной ему КПРФ, во главе с Полозковым. Боюсь, что «внутренний Горбачев», так же, как и истинное отношение М.С. к августовскому путчу 91-го года, навсегда останется тайной. Даже для него самого.

Итак, «экономический суверенитет» стал главным тактическим инструментом «тихого» антиельцинского, а по сути и антигорбачевского заговора, сведения о подготовке которого поступали уже давно. И вокруг этого плана шла в лабиринтах Белого дома работа, к которой хитрый Воротников привлек и некоторых «демократов». Разделяй и властвуй! Окажись этот план успешным, не понадобился бы ГКЧП в августе следующего года. Его роль спокойно выполнило бы российское правительство.

И тут громом с не слишком ясного неба ударил «Декрет о власти». «Знай наших» стало вдруг не ленинградским, а всероссийским. Все встrepенулись. Знай наших — «Демократическую Россию»! Декрет звучал очень радикально. В РСФСР упраздняясь конституционный статус КПСС. Запрещалось совмещение бюрократических и выборных должностей. Объявлялась ликвидация КГБ и «департизация» армии, госучреждений. Вся власть передавалась Советам. Короче — Советы без коммунистов — держись коммунистическая фракция!

Быть или не быть?

Однако энтузиазм по поводу декрета потускнел, как только «демороссы» перешли к обсуждению вопроса о выдвижении кандидата на высший в республике пост. Председатель Верховного Совета по тогдашней Конституции был как бы президентом и председателем парламента в одном лице, полномочным главой Республики. Другое дело, что сама Республика, накрытая колпаком Союза ССР, существовала пока в основном на бумаге. И вот здесь заключалась главная интрига. От выборов председателя зависело, куда и как дальше пойдет Россия. Иными словами — «быть или не быть» Ельцину Председателем, а значит — «быть или не быть» демократическим реформам.

Ответ на этот вопрос казался не слишком оптимистическим. С разных концов форума двинулись к журавликам микрофонов «демороссы», чтобы «профессионально» доказать — рассчитывать при выборах Председателя Верховного Совета фракция «ДемРоссии» может только на свой 221 голос. Особое впечатление на собрав-

шихся производили скрупулезные подсчеты, что, мол, не только явные «аппаратчики», но и 70 процентов Съезда — номенклатура: директора школ, завруно и райздравы, главврачи, главные специалисты и т.п. Стало быть, это большинство за демократами не пойдет. Значит, и нет надежды добиться избрания Ельцина Председателем Верховного Совета. И повисшее на фоне этих трезвых подсчетов уныние быстро переросло в поиски «реалистического» компромисса. Конечно, Ельцина нужно выдвигать, но, поскольку он заведомо не пройдет, следует договориться о наиболее приемлемой кандидатуре номенклатуры. «Во втором туре надо голосовать за Власова», — раздавались голоса. В зале повисла тоска. Вот-вот будет принято безнадежное решение.

«Эйнштейн» принадлежал к 5—6 депутатам, для которых ошибочность подобной оппортунистической логики казалась очевидной. «Позитивизм» подсчета политических сил по должностям и мундирам уже был опровергнут ходом выборов. Как же было не уечь, что в переломный исторический момент под одеждой мелких чиновников может забиться растревоженное гражданское сердце. Иначе зачем бы им было идти в этот депутатский котел? Конечно, это еще не значит, что они проголосуют за Ельцина. Но надо понять эти сердца. И найти к их тревогам точный психологический ключ. Здесь драматический зов истории!

Ясно, что «Декрет о власти» не тот ключ. Очень радикальный, он отдавал большевистским старомодьем и был адресован непонятно кому. Он не объединял, а скорее разъединял. И если это чувствовали депутаты-демократы, то чего же ждать от остальных депутатов? Нужно было срочно найти нечто такое, что объединило бы самых разных депутатов. Нечто новое, ошеломляющее, вдохновляющее, как расщепление ядра, и столь же действенное. Нужно было придумать такое, чтобы одним убедительным ходом отпарировать заговор красно-черно-коричневых, обойти колеблющегося Горбачева и двинуть Россию из арьергарда в авангард демократических процессов. Короче, нужен был Рычаг. И нужна была точка опоры. Депутат «Эйнштейн» нашел точку опоры в своих новых коллегах, в тех самых, российских депутатах — завах, замах, директорах, главврачах, которых «позитивистская» логика записала в резерв «коммунистической» черной сотни.

Рычаг «Эйнштейна»

И я мысленно сконструировал рычаг, способный поднять Съезд. «Декларация о государственном суверенитете РСФСР» — молнией сверкнула мысль в пылавшей лихорадочным жаром голове. На листке клетчатой бумаги, вырванном из записной книжки, я набросал несколько пунктов «Декларации о государственном суверенитете РСФСР». Она была краткой. Но я сразу почувствовал, какой в ней огромный запал.

Во-первых, само название. Это не взятый из большевистского позавчера «советский» декрет. Это декларация нового завтра. И она адресована не мифическим советам, а прямо народу России и союзной власти.

Во-вторых, она заставит коллег вспомнить о том, что РСФСР и СССР — *не одно и то же* и что Россия, *народными депутатами которой они избраны, сегодня — вовсе не государство*. А уж это точно должно заставить биться сердца. И мое собственное сердце быстро забилось, когда идея, опьяняя, ударила в голову.

В-третьих, идея декларации снабжала сердца не только кровью, но и мозги — логикой: реальным *государством* в «союзе нерушимом республик свободных» должна быть именно огромная и живая Россия, а не надстроечный «Советский Союз». Это крутой поворот в представлениях. Это должно пробудить и собрать в один тактический узел в рамках общей демократической стратегии чувства самых разных народных депутатов.

Словом, *экономическому «суверенитету» РСФСР я придумал противопоставить суверенитет государственный*. И это сразу должно было политически выделить Россию из Империи. И это должно было создать совершенно новое политическое и духовное пространство для *всех* тогдашних народных депутатов. А стало быть, собрать по крайней мере их значительную часть вокруг инициативы «ДемРоссии» и ее кандидата Ельцина. Идея государственного суверенитета побуждала по-новому осмыслить и почувствовать то, что черносотенцы и «почвенники» пытались оседлать

раскачкой «русофильского» национализма. «Национальное» приобретало смысл не возврата россиян к рабской участи всеимперского и всемирного жандарма, а наоборот, к широкому избавлению от этой чертовой роли. Уже много поздней интеллигентные мальчишки из МИДа на Комитете по международным делам Верховного Совета задали мне ехидный вопрос: «О каком, собственно, "освобождении" России идет речь?». Им это было непонятно.

Мне тогда это было как будто понятно. Но я был очень удивлен, когда несколько лет спустя на некоей конференции в Кельне профессор Герхард Симон назвал «Декларацию» националистической. Сам я попал на эту конференцию случайно. Меня затащил туда Толя Шабад, приехавший из России со специальным сообщением о Чечне. Физик и математик, Толя — замечательного ума и мужества человек — действительно был в своем роде Дюмуленом русской революции. Интеллигент до мозга костей, он мог в критической ситуации пустить в ход даже силу. А прославился он еще в 1989 году тем, что своей энергией заставил обратить вспять позорное решение Академии наук — не избирать Сахарова кандидатом в народные депутаты СССР. Этот его подвиг произвел огромное впечатление на Юрия Карякина. Но почему-то знаменитый исследователь Достоевского решил, что Шабад — это я, хотя сходство между нами весьма отдаленное. Каждый раз, когда мы с Карякиным оказывались вместе на какой-нибудь тусовке, он с обаятельной улыбкой тыкал в меня пальцем и говорил: «Вот человек, который пробил избрание Сахарова». Разумеется, Карякин встречал и слышал меня на разных собраниях, но все-таки Шабадом я не был, хотя мы с Толей сдружились на почве общей демократической работы и интернационалистских убеждений. Разочаровывать Карякина я, однако, не решился.

И вот теперь, когда Толя Шабад торжественно представил меня как творца Декларации, я в этой немецкой аудитории оказался вдруг в роли русского националиста. Я был настолько шокирован, что вопреки регламенту встал и пробормотал какие-то возражения. Ибо русским националистом, и вообще националистом, я себя никогда не считал. Напротив, я как-то сочинил даже «Антинационалистический манифест», которым очень гордился.

Но вот я вновь и вновь пытаюсь проникнуть в мотивы деяния моего героя. Почему, зачем ему тогда все это было нужно? Какие импульсы, какие токи в душе, нервах, мозгу заставили или позволили ему одним историческим броском загнать мяч политики в сетку исторического поворота.

Разумеется, Декларация была прежде всего ярким политическим маневром. Это ее творец, то есть мой герой, то есть я — депутат Волков понимал. Но только ли маневром? Тогда что же еще побуждало его к этому шагу? Не дешевый же национализм? Ведь я ничего не имел против других республик. Я например, идя на выборы, вполне готов был дать свободу даже «автономному» Татарстану, не говоря уже о Прибалтике. И меня вовсе не интересовала такая вещь, как «Россия для русских». Меня от подобного тошнило. И, по правде сказать, у героя этой исповеди не было и ясной мысли о развале Союза. Разве что в подсознании. Но, в самом деле, не была ли идея декларации подготовлена его многолетним неприятием «империи зла» и вообще — «державности»? Разумеется, я вижу, как в нем вспыхивает инстинкт открывателя, изобретателя и исследователя. Интуиция Архимеда и унаследованная еще со школы эйнштейнова вера в нетривиальные решения. Он ведь еще и экспериментатор. Он ставит исторический эксперимент и в своем как бы со стороны смотрящем воображении видит его успех. И в то же время сомневается в нем. Он чувствует, что наступил исторический момент, но не вполне еще отдает себе отчет в его последствиях. Но всегда ли отдавали себе отчет во всех последствиях своих движений крупные исторические деятели?

Так что, по зрелом размышлении, я готов надеть на себя шляпу русского националиста, однако же, именно шляпу, а не фуражку и не дурацкий колпак.

Да, я готов теперь признать, что мы были русскими националистами. Но лишь в том классическом смысле, что означает подъем государственного народа против узурпаторов государства: королей, деспотов, царей, все равно — «своих» или пришедших извне. И потому мы были «националистами» без «национализма», без того развернувшегося в XX веке расистского, шовинистического, ксенофобского и, по меньшей мере, традиционалистского, который у нас в стране представляли коммунистические почвенники и великодержавные «патриоты». Мы были демократами-

народниками и выступали против имперского национализма великодержавных «руссофилов», которым нужна была кулачная держава с КПСС и КГБ в качестве ее кулаков: «Где вы, власти, о, где ты, рука-владыка...»

Но я забежал вперед.

Итак, задуманная Декларация позволяла, как мне казалось, собрать в один горячий узел самые разные национальные и политические настроения — справа и слева. Гулявший во многих умах иррациональный национализм благодаря Декларации приобретал рациональную направленность. Он поворачивался в сторону строительства нового государства, а понятие «нация» из этнического и ксенофобского становилось гражданственным и надэтническим. Тем самым вышибалась почва из-под чаяний тех, кого я убежденно называл коммуно-черносотенцами.

На объединение депутатов вокруг Декларации должен был сработать и другой момент, ибо как «правых», так и «левых» не устраивали Горбачев и его правительство.

В то же время Декларация, прямо не провозглашая выход РСФСР из Союза, могла бы объединить противоречивые настроения депутатов, трансформировав их в творческий государственно-правовой план. Ибо вторым важнейшим пунктом в ней провозглашалось верховенство российской Конституции и российского закона. Проблемы, таким образом, из сферы чистой политики переносились в сферу права. Но верховенство национального «российского» одновременно означало верховенство права, чего вообще не существовало в «союзе нерушимом» — ни в Конституции, ни на практике. Это был прямой вызов союзному администрированию и антиправовому мышлению. С принятием Декларации вопросы взаимоотношений разных уровней власти переносились бы в конституционную и вообще в правовую сферу и должны были решаться с участием судов. Для закрепления этого был придуман еще пункт о том, что споры по применению соответственно законодательства России или СССР решаются в судебном порядке. Проект включал также пункт о приоритете прав граждан (то есть устранял приоритет государства).

Наконец, сама форма — Декларация, а не Декрет — должна была восприниматься как новая и гибкая. Она позволяла создать движение, прецедент, но не ставить последние точки над *i*.

Итак, теперь радикальный поворот был эффектно упакован в плотную эмоциональную оболочку. Здесь были серьезные шансы на успех, несмотря на все унылые расчеты. Должен признаться, что такому пониманию помог не только мой дерзкий эксперимент с выборами. Наверное, в этой импровизации отразилось все прошлое «Эйнштейна». И теория личности в условиях опоздавшей модернизации. И школа профессора Левина, гонимого еще в сталинские времена за «космополитическую» книгу «Суверенитет». Школа, продолженная в годы аспирантуры под его руководством. И опыт строительства социал-демократической партии. И просто политическая интуиция. Может быть, эта декларация и была главной песней в жизни «Эйнштейна». Но тут на сцену выходит другой персонаж — очень еще тогда молодой депутат Олег Румянцев.

Депутат Румянцев

Собственно, почему вдруг Румянцев, а не сам «Эйнштейн»? Да просто потому, что так и должны совершаться витки истории. В данном случае «Эйнштейн» за несколько минут до ставшего историческим выступления Румянцева успел засветиться другим выступлением.

Я имел дерзость предложить высокому собранию заключить со своим харизматическим кандидатом на главный государственный пост некую Хартию — свод программных обязательств и гарантий. Демократы были шокированы. Ельцин, я думаю, тоже мне это запомнил, хотя лицо его оставалось неподвижным. Однако, в самом деле, если уж начинать демократическую реформу, то не с собственной ли внутренней конституции? Дело, казалось бы, для любой политической партии элементарное. Тем более что и вождь как-никак пришел в эту партию извне. Как будто всем нам, а ему, быть может, в особенности, не предстояло еще учиться и учиться правилам демократии?

Но там, где встает вопрос о правилах, о документе, там с русской точки зрения

уничтожается доверие. Демократы были недовольны. Король выше подозрений. Зал, до этого момента доброжелательно поддакивавший моей речи, затих. Кто-то даже зашикал. А эрудит Шейнис позднее откомментировал предложение так: «Анна Иоанновна тоже заключила "кондиции". И тут же разорвала их». Как будто в этом дело. Как будто «разорванные» кондиции не действуют иной раз сильнее, чем не разорванные. Что ж, депутатов можно понять, хотя, как мне и сейчас видится, предложение «Эйнштейна» было достаточно прозорливым.

Итак, мой билет использован. По списку ораторов слово — Румянцеву. В те времена мы были политически тесно спаяны. И, в частности, на всяких собраниях обычно находились поблизости друг от друга, всегда в готовности оперативно обменяться мнениями. Мы были одной маленькой футбольной командой, в которой Олег был центр-форвардом, а я скорее — тренером на поле. Вот и тогда Олег сидел со мною рядом, настраиваясь на выступление. «Выступайте с "Декларацией о государственном суверенитете РСФСР"», — шепнул я ему, когда его выступление уже было объявлено. Олег отличался замечательной способностью схватывать мысли на лету, он был на редкость способным игроком. Он задержался, и я начал скороговоркой нашептывать ему пункты. Но тянуть с выходом на трибуну было больше нельзя, и я протянул Олегу мой листок. С этим листком в руках он и бросил демократам сработавшую мною бомбу.

Без боязливой дроживпасть в грех преувеличения я рискнул бы сказать: не будь этой бомбы — вряд ли состоялось бы тогда избрание Ельцина со всеми его историческими последствиями — светлыми и темными. Я вновь и вновь возвращаюсь к этой мысли, когда передо мной встает запечатленная телевидением сцена тысячи депутатов, вставших на ноги во имя защиты пункта о Декларации. Не обошлось, конечно, и без «помощи» совсем утратившего в тот момент политическое чутье генсека. Но об этом — ниже.

И здесь, переносясь с мемуарной машиной времени в 2007 год, я должен сделать детективное отступление...

Все, рассказанное выше, я уже описывал в каких-то публикациях. И даже в интернете появились материалы обо мне, как авторе Декларации о государственном суверенитете, такого типа: «И тут на трибуну Съезда вышел депутат Волков...». Хотя на трибуну Съезда по поводу Декларации я не выходил. И даже на трибуну «Демроссии» вместо меня с проектом Декларации тоже вышел Румянцев. Но вот спустя много лет я наткнулся на неожиданное и довольно сильное сопротивление моим представлениям. Возник спор о приоритетах — прямо-таки детективный сюжет.

То один, то другой из моих бывших коллег настойчиво уверяли меня, что идея и проект Декларации были разработаны задолго до моей спонтанной инициативы и даже при моем якобы участии в коллективном процессе. Признаться, это очень меня раздражало. Как-никак, Декларацию я искренне считал своей «гениальной находкой», а себя, хотя и оставшимся в тени, но на самом деле политическим деятелем, сыгравшим в критический момент решающую роль в исторической драме 90-х. Давний коллега по социал-демократии, симпатичный Кирилл Янков, напоминал мне о предсъездовских бдениях в гостинице «Россия» в номере Румянцева. Коллега Мамут — о своем проекте, на котором была фиксирована дата — март 90-го года. Бдения в «России» действительно имели место, но я точно знал, что это было сразу же после описанного выше собрания. А значит, как раз после того, как я подал Румянцеву свою записку и именно в результате этой записки. Что касается проекта Мамута, то спорить с его приоритетом во времени было бессмысленно — на бумаге стояла дата и подпись депутата Дмитриева. Но дело в том, что это был совершенно другой проект, на мой взгляд, никакого отношения к политической проблеме избрания Ельцина и всего, что за этим следовало, не имевший.

Что до меня, то у меня никаких бумаг и никаких доказательств моей исторической правоты не было. Переданная Румянцеву записка, конечно, пропала. Разные промежуточные документы затерялись в архивах. Рассчитывать можно было только на память и добрую волю самого Румянцева. Он был единственным свидетелем правды. Не в суд же идти!

В суд я, конечно, не пошел. Годы бежали. Мемуарные тексты неторопливо накапливались в компьютере. Встречи со старыми коллегами если и случались, то

очень редко. Но вот, в конце 2006 года у Олега Германовича родилась идея издать материалы тогдашней Конституционной комиссии. И тут я узнал, что в качестве исторического пролога к Конституции предлагается опубликовать именно проект Декларации о суверенитете коллеги Мамута. Ну как было с этим мириться? Рушились все мои представления. Из истории образования демократического государства «Россия» исчезал не только ее герой «Эйнштейн», но и все тонкости, все драматические перипетии борьбы за избрание Ельцина. А значит, исчезала сама история. Исчезал аббат Сиейес, исчезал Мирабо, исчезал Дюмулен... Надо было исправлять это.

Мы встретились с Олегом. С трудом он вроде бы вспомнил искомый эпизод. И тут же стал рассказывать мне, как задолго до Съезда мы все вместе разрабатывали основы конституционного строя будущей демократии. Ну что мне было ему сказать? Действительно, Олег еще в конце 80-х выступил на наших тусовках инициатором «конституционного процесса». Я это хорошо помнил. И он действительно сыграл впоследствии выдающуюся роль в разработке и продвижении новой Конституции России. Но какое отношение перспективная разработка основ будущего конституционного строя имеет к сиюминутной политической находке — связать кандидатуру Ельцина на высший республиканский пост с Декларацией о провозглашении Российской Федерации самостоятельным *государством* внутри России со своим собственным, не подчиненным Союзу законодательством?

Разговор закончился ничем. Затем наступила очередь Леонида Соломоновича Мамута. В самом деле, слово «суверенитет» и слово «декларация» были произнесены и записаны моим добрым коллегой, по крайней мере, за пару месяцев до собрания на Калинина, 27. Я, правда, об этом не знал. Но, может быть, потому Олег Румянцев так ухватился за мою записку, что что-то он об этом уже слышал, как-то уже об этом уже думал. К тому же в проекте Леонида Соломоновича упоминалось разделение властей. А это было одним из ключевых понятий для большинства мечтавших о новой Конституции. Но в этом проекте не было политически главного — идеи *государственного* суверенитета и идеи *верховенства* российской Конституции и российского права по отношению к союзным нормам. Не было, да и не могло быть. Ибо ко времени составления декларации Мамута еще не был кем-то придуман хитрый ход с «экономическим» суверенитетом РСФСР.

Но без этих двух пунктов вся конструкция легко сводилась к традиционной формуле «суверенитета союзных республик», которая и без всякой «декларации о суверенитете» значилась и в тогдашней Конституции СССР (ст. 76) и в тогдашней Конституции РСФСР (ст. 68).

Признаюсь, я не сразу и сам разобрался в этом. Но после нескольких дружеских бесед с Леной мы, кажется, пришли к взаимопониманию. Вернувшись в Германию, я написал ему письмо, на которое он ответил по телефону полным согласием. А тут как раз нашелся и проект Декларации Волкова. Официальная распечатка. Правда, это был один из многих промежуточных вариантов, переработанных и, на мой взгляд, сильно ослабленных по ходу обсуждений в созданной по инициативе Румянцева специальной комиссии, а затем комиссии съезда. Но тут я сажусь в машину времени и возвращаюсь в 1990 год.

На самом деле сначала идея Декларации вовсе не была принята на ура нашими с Олегом коллегами. Реакция на выступление Румянцева была вялой. Но не тот человек был Олег Румянцев, чтобы это могло его смутить. Олег проникся идеей. И в тот же день началась бешеная работа.

Идея становится материальной силой

Это было время, когда можно было иной раз увидеть Ельцина с Румянцевым в обнимку. Большие надежды подавал (и на самом деле питал) наш вундеркинд перестройки, быстро ставший вундеркиндом демократии. Энергии у Олега было не отнимать. Присутствовала и харизма. Отсутствием трудолюбия он также не отличался. И первое, что сделал будущий секретарь Конституционной комиссии, — договорился с Бочаровым о выделении помещения для заседаний комиссии по подготовке Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Есть помещение — в него идут люди.

Народные депутаты. Есть помещение и люди — значит, есть комиссия. Пока это в сущности неформальная комиссия парламентской фракции «ДемРоссии». Собственно, и парламента еще не собрался. И регламента у него еще нет. И фракции, стало быть формально, тоже не существует. А комиссия между тем работает. И начинает работу, разумеется, со споров. Ибо довольно быстро выясняется, что взгляды депутатов-«демороссов» далеко не едины. Есть «демороссы»-демократы, есть «демороссы»-либералы, есть «демороссы»-консерваторы, есть «демороссы»-интернационалисты и «демороссы»-державники. Последних, на мой взгляд, представляли председатели маленьких конституционно-демократической и христианско-демократической партий, Михаил Астафьев и Виктор Аксючиц. Естественно, главный спор шел о том, как в условиях *государственного* суверенитета РСФСР строить отношения с Союзным государством и с центральной союзной властью. Насколько я помню, и Астафьев и Аксючиц, как и некоторые другие, реже появившиеся в этой неформальной, но очень важной комиссии депутаты, опасались слишком радикальной редакции Декларации. И эти опасения упирались прежде всего в формулу о верховенстве российской Конституции и российского права. Как совместить эту формулу с необходимостью сохранения Советского Союза и с традиционным решением вопроса о передаче или о разделении полномочий между суверенной республикой и суверенным же Союзом.

Возможно, некоторые участники комиссии воспринимали Декларацию как чисто спекулятивный маневр. Возможно, они на самом деле вообще были против Декларации и даже не были уверены в необходимости избрания Ельцина. Я же отнесся к Декларации всерьез. И не только как к крупному политическому маневру, но и как к инструменту исторического поворота — создания из марионеточной РСФСР реального государства, и притом демократического.

Как юрист не только с теоретическим, но и с практическим опытом, я видел необходимость заложить в Декларацию практические механизмы ее реализации. И потому всячески стремился сохранить в тексте внесенное мной положение о том, что споры между РСФСР и Союзом ССР разрешаются в судебном порядке. Это было совершенно новое, непривычное и многим даже непонятное решение. Но именно оно открывало реальный путь для выхода Республики, в том числе ее народного хозяйства, из-под административного контроля союзной бюрократии. Я достаточно хорошо представлял себе судебную процедуру и понимал, что, пока какое-нибудь спорное распоряжение или решение, принятое на территории РСФСР, дойдет до Верховного Суда Союза, пересмотр его станет почти невозможным. Это означало передачу компетенций явочным порядком от Союза к Республике. Но это означало бы нечто гораздо большее. Это означало бы формирование новых отношений не административным, а естественным путем снизу, в живой жизни. А значит, и формирование своего рода живого права, что было бы поистине благом для формирования как демократии снизу, так и рынка снизу. Забегая вперед, должен сказать, что уже на Съезде мне удавалось довольно долго поддерживать эту формулу, на сторону которой стал было сам Ельцин. Но потом, к моей большой досаде, кому-то удалось переубедить его и заменить эту конструкцию другой, упрощенной и куда менее дальновидной. Я попытался, правда, вновь попросить слова, но Ельцин подал мне почти по-приятельски знак рукой — не надо, мол. И я сдался.

Ельцин — кандидат от Декларации о государственном суверенитете

Итак, наша маленькая неформальная комиссия срочно готовит развернутый текст Декларации. До открытия Съезда остается всего несколько дней. Работа кипит не только в помещении на Калинина, 27. В снятом каким-то образом Румянцевым номере гостиницы «Россия» напротив Кремля до поздней ночи сидят и наши ближайшие соратники по социал-демократической партии. Наконец, текст готов и передан Ельцину. Депутату Ельцину. Члену делегации Урала, который по распределению мест сидит где-то даже не в первых рядах Съезда. Но, кажется, нет депутата, который после открытия Съезда не оглянулся бы раз-другой-третий на эту высокую фигуру. И он это чувствует. И он это знает. И он знает, что именно его выступления ждут. И знает, с чем он выступит. Уже знает. Он выступит с Декларацией о государственном

суверенитете РСФСР, текст которой пока лежит перед ним на депутатском пюпитре. Не от движения «ДемРоссии», а от Декларации о государственном суверенитете России выступил ее будущий президент... Но об этом пока знают лишь немногие.

В своем эпохальном труде о взлете и падении российского парламента мой коллега и друг Виктор Шейнис рассматривает множество факторов, которые, по его мнению, вопреки всем ожиданиям, привели к избранию Ельцина на высший государственный пост в Республике и к последующему роковому историческому повороту в судьбе России и судьбе Союза. Только на один фактор мой дорогой коллега не указывает, на Декларацию о государственном суверенитете, хотя и отмечает «немногочисленные, но энергичные и четкие выступления Ельцина»¹. Зато спрошенный Виктором Леонидовичем бывший горбачевский идеолог Вадим Медведев без обиняков прямо кивает на главное — русский фактор, вот источник победы Ельцина и «демороссов». В конце концов и Шейнис, вслед за горбачевцами, упоминает идею российского суверенитета, за которую Ельцин, по их словам, «ухватился... только на 1-м Съезде народных депутатов РСФСР»². Очень интересное признание.

Да, рядовой в тот момент народный депутат Борис Ельцин выступил на открывшемся 16 мая 1990 года Съезде именно с идеей Декларации о государственном суверенитете РСФСР. И он зачитал притихшим народным избранникам текст проекта этой декларации. Да еще как зачитал, выделяя и торжественно чеканя слово «государственный». Не знаю, смог ли бы так поиграть голосом и мимикой актер студенческого театра Горбачев. До сих пор звучит у меня в ушах этот голос. Очень уж точно схватил Борис Николаевич главную идею. А он вообще отличался удивительным умением схватывать нечто новое и главное. Но идея-то была чья? Что ж, неисповедимы или все же исповедимы пути господни? А дальше происходило следующее.

Пошли дурака богу молиться...

По действовавшему тогда закону открывать съезд и руководить им до избрания конституционного Председателя съезда (формально — Председателя Верховного Совета) должен был председатель избирательной комиссии. Это и был тот высокий худощавый человек, который в единственном числе занимал все места в президиуме съезда, объявлял вопросы, предоставлял слово и проводил голосования. Фамилия его была Казаков.

Естественно, что первым же вопросом съезда было утверждение повестки дня. Проект повестки был представлен так называемой подготовительной комиссией, поработавшей под руководством бывшего председателя Президиума еще старого Верховного Совета РСФСР, товарища Воротникова. Уж кто и как попал в эту, по сути тоже неформальную, комиссию, не знаю, но вопрос о принятии Декларации о государственном суверенитете в этот проект включен не был. Она вообще не упоминалась. Там значились: регламент съезда, избрание Председателя Верховного Совета, избрание самого Верховного Совета — хитроумная конструкция, призванная превратить в постоянно действующее народное представительство (парламент) лишь в лучшем случае одну треть народных избранников. Вообще, представление о том, что парламент — это политическое представительство всего народа, а не просто узкая коллегия профессиональных законодателей, отнюдь не господствовало в умах участников съезда. И еще менее — в умах тех его организаторов, кто, с одной стороны, не придавали этому съезду особо большого значения, а с другой — уже накопили на союзном съезде опыт манипулирования поведением депутатов по простому принципу: разделяй и властвуй. Разделяй — означало также «отделяй», «отбирай», «фильтруй». Этой нехитрой хитрости служил принцип выделения из состава народного представительства чисто «законодательного» «парламента», Верховного Совета. Да еще двухпалатного. Тут, в интересах поднаторевших в играх в духе «демократическо-го централизма» партийных лидеров работало все — и конкуренция между депутатами как бы двух уровней, двух классов, облегчавшая манипулирование ими. И постоян-

¹ Шейнис Виктор. Взлет и падение парламента. Переломные годы в российской политике (1985—1993). Москва: 2005. С. 303.

² Там же. С. 305

ная угроза ротации. И, наконец, просто возможность создавать в небольшом Верховном Совете молчаливо-послушное большинство. Да еще при необходимости сталкивать палаты. Но то, что работало на огромном союзном съезде, где едва ли не большинство составляли депутаты от разных союзных республик, а также отобранные посланники «трудовых коллективов» с их специфическими представлениями о политической культуре, то не всегда оказывалось столь простым в российском парламенте с несколько иным менталитетом большинства его депутатов. И так получилось с повесткой дня. Казалось бы, ясный и второстепенный вопрос оказался ключевым и сыграл роль поворотного пункта в истории России.

У меня есть видеозапись этого поворота. Незадолго до того я привез из поездки в Англию видеомэгафон, который в автоматическом режиме записывал транслировавшиеся тогда заседания Съезда. Впрочем, они должны храниться и в архивах российского телевидения.

Так вот, в розданном депутатам проекте повестки дня, разумеется, не значился вопрос о Декларации. Зато там стоял рассчитанный на длительную работу съезда общий пункт: отчет тогдашнего Предсовмина РСФСР Власова и утверждение бюджета РСФСР. Малоприметная и уж во всяком случае политически абсолютно серая фигура Власова рассматривалась некоторыми даже в кругах «демороссов» как возможный компромисс при выборе Председателя Верховного Совета. Интрига же состояла в том, чтобы в тяготящем и расплывчатом отчетно-бюджетном пункте утопить всякую попытку демократов и Ельцина затеять игру вокруг суверенитета. А заодно «представить» или подставить депутатам резервного Власова. Депутаты от «демороссов» между тем уже заявили от микрофонов требование включить вопрос о принятии Декларации в повестку дня съезда. Казаков отвечал им, что вопросы расширения полномочий РСФСР могут быть обсуждены по отчету Власова и в ходе утверждения бюджета. Это и была стратегия «экономического» суверенитета России. Наступил момент, когда голосование по повестке подошло, наконец, именно к этому обширному пункту. И вот тут началось.

— Прошу слова по повестке... Предлагаю включить отдельным пунктом вопрос о Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Прошу поставить на голосование...

— У нас есть пункт об отчете Предсовмина РСФСР и бюджете. Там можно...

— Я по повестке... Предлагаю включить пункт о Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Требую поставить предложение на голосование... Вы обязаны...

— У нас есть уже пункт об отчете Предсовмина РСФСР тов. Власова и о бюджете. Там...

Выходит третий «деморосс», выходит пятый, выходит восьмой, уже не из явных «демороссов». Казаков не знает, что делать. Вертится, как угорь на сковородке. А сковородка — это вдруг докрасна накалившийся зал. Тут уж не до партийных различий...

Будь Казаков самостоятельней и умнее... Да что там Казаков. Будь генсек... Кто знает, может быть, поставили бы сразу пункт на голосование, и не набрал бы он то самое триумфальное большинство. И пошла бы тут столь любимая моим дорогим Виктором Шейнисом историческая «развилка» в другую сторону. Хрупкая это штука — развилка. Но произошло то, что произошло. Встал зал, весь зал встал на ноги под свет софитов, рев микрофонов и жужжание телекамер. И не было больше знаменитой кляксы на балконе. То есть физически она еще была, только это уже не имело значения. Вот здесь, в этот момент проиграл Михаил Сергеевич свою игру, даже если ее еще не выиграл Ельцин. Но ее уже выиграла Россия. И выиграла с подачи «демороссов». А значит, и Ельцина. Вопрос был поставлен на голосование и 1074 депутата из 1077 голосовавших нажали свои кнопки за включение Декларации в повестку дня. Двое из трех проголосовавших «против» тут же заявили, что нажали кнопки «по ошибке». Это был на редкость убедительный ответ Горбачеву, о котором еще должны будут писать историки будущего. Все-таки — более тысячи людей, избранных народом. Такая вот выборка. Но это было и нечто гораздо большее.

Мы не думали еще тогда, что это уже был народный приговор Союзу ССР. Но это был потрясающий на фоне всех пессимистических расчетов перелом в настроении съезда. И мне было ясно — теперь Ельцин пройдет. А значит, развилка истории

пойдет в направлении, за которое мы боролись. Спасибо тебе, русский съезд. Да и тебе спасибо, депутат «Эйнштейн»! Спасибо за рычаг Архимеда!

Но, может быть, все-таки и Михаилу, Мише Горбачеву, моему студенческому камелетону спасибо?

«Эйнштейн», Генштаб, Ельцин

Маленький секрет избрания Ельцина

Итак, первый раунд исторического бокса выигран. Декларация о государственном суверенитете прочно связана с фигурой Ельцина. В организме съезда — глубокая трещина, если не перелом.

23 мая народные депутаты вплотную подошли к роковой черте. Ни остановить, ни хоть как-нибудь повлиять на избрание конституционного Председателя длинноногий и длиннорукий временный председательствующий Казаков уже не мог, сколько бы ни поглядывал наверх на ложу Горбачева, сидевшего там с каменным лицом.

Следует ли пытаться представить теперь, что бушевало тогда под каменной маской? Думал ли мой бывший однокашник о том, что плохо подготовился к «русскому экзамену». Виктор Шейнис ведь до сих пор удивляется, как это там, наверху, не заготовили заранее убедительную альтернативу Ельцину. Или просто зашло у Миши ретивое, закипела страсть, ревность, ненависть — как отдать Татьяну вероломцу Борису? Или проснулся трезвый государственный расчет, мудрость искренней ответственности за судьбы огромной страны, вдруг повисшей в этом угрюмом зале на тонкой нитке, с риском упасть в руки легкомысленного авантюриста? Скорее всего, бурлило и переливалось все вместе. Но ясно, что нависшую вдруг опасность он понял и принял всерьез.

Противники и сторонники Ельцина между тем исчерпали свои аргументы. Можно было так и остаться за каменной маской. Сохранить царственное достоинство и тщательно обдумать дальнейшие шаги. Можно было просто покинуть съезд, дав понять «своим» — решайте! Генсек, президент, любимец Европы поступил иначе. Король действительно покинул ложу и спустился, сошел с союзного Олимпа вниз, на российскую территорию, приземлился «в съезд» и встал за ораторский пюпитр — такой некрупный после гиганта Ельцина. Но это уже не была каменная маска. Лицо, сколько я помню, дышало недоброй энергией.

Не знаю, заготовил ли он свой поступок и свою речь заранее или был это экспромт, всплеск, эмоции, нервы. Только в руках однокашника не было бумажек. И речь его была не только страстной, но и абсолютно свободной, без всяких этих незаконченных фраз, полуслов, полубормотаний, просторечных намеков, которыми он так любил пользоваться, ведя, например, заседания союзного съезда. То была на удивление грамотная и правильная речь Цицерона, ораторский полет: *Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?*¹ И я как-то даже возрадовался за однокашника. Вот он, оказывается, какой — не зря мой факультет кончал. Вот только орация эта Цицеронова зазвучала не в римском сенате, членом которого оратор не был. И не было на нем красной тоги, и не могло быть. Не по праву была эта драматическая речь. И не в благоприятный для оратора момент. «Эйнштейн» это сразу почувствовал и подумал: «На кого же ты работаешь, дорогой однокашник?». Негоже было союзному президенту как раз в надвинувшийся момент истины российского суверенитета столь неделикатно вмешаться в свободу волеизъявления российских же представителей народа.

Кто знает, не будь этого страстного вмешательства, неизвестно как еще повернулось бы дело. Тонкая штука — психология истории. Или, может быть, даже не штука, а шутка. История ведь еще и большая насмешница — покачает стрелки своих капризных часов туда-сюда, остановит — и вот вам шекспировская трагедия. Покача-

¹ *Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?* (лат.) — «Доколе же, Катилина, будешь ты испытывать наше терпение?» — из речи Цицерона, оратора, писателя и политического деятеля Древнего Рима против Катилины, его политического противника.

ет опять с усмешкой — комедия. В данном случае разыгрывалась, пожалуй, драма, психологическая. Инвективы Горбачева, смысл которых сводился к тому, что Ельцин, мол, не строитель, а разрушитель, его страстно-страдальческие призывы не избирать Ельцина воспринимались многими как истерика, как самозащита, как нечто слишком персональное. Как слабость. И это как усилитель колебаний действовало на негативный эффект речи. Боюсь, что даже самые яростные противники Ельцина испытывали некоторую неловкость за генсека. А преданных верноподданных у короля здесь, по-моему, уже не было или почти не было.

И скоро я убедился в этом.

Первый тур выборов состоялся на следующий после драматического выступления Горбачева день. Тот, кого он призывал низвергнуть, сразу же получил относительное большинство голосов тысячи с лишним народных депутатов. За «разрушителя» нажали роковые кнопки 497 народных представителей, 47 процентов. На целых 24 голоса больше главного соперника, горбачевского политического пасынка, антиперестроечника Полозкова. Что там говорить об остальных двух совсем уж слабых претендентах. Это была бомба. Невероятная политическая, психологическая победа после всех унылых выкладок «демороссов», едва рассчитывавших на собственный 221 голос. Завоевано большинство, пусть и относительное. По цифрам — относительное. По эффекту, по предстоящей цепной реакции — качественно абсолютное. Стало ясно если не всем, то многим, куда клонится стрелка исторических часов. И все же необходимо было подтолкнуть ее. Слишком многое поставлено на карту. Слишком опасны шутки исторических часов. Слишком велик риск того, что противники способны перевернуть карты, что, кстати, они и попытались сделать, заменив Полозкова менее одиозным российским министром Власовым. Часы тикали, стрелка дрожала.

С подполковником Сережей Юшенковым мы познакомились еще во времена народных фронтов и прочих демократических тусовок. И как-то быстро прониклись взаимными симпатиями, несмотря на, казалось бы, полную несовместимость. Сережа — молодой, вальяжный военный с обаятельной улыбкой на широком русском лице. И я — сугубо штатский, маленький, щуплый, узколицый с горбинкой на носу и лет примерно на двадцать старше Сережи. Молодые люди Сережиного возраста и даже еще много моложе, впрочем, были тогда отнюдь не редкость в моем окружении. Или сам я был при них и чувствовал себя вполне естественно. Так же как и они со мной. «Здрав штаны, бегу за комсомолом...». Это началось еще с клуба «Демократическая перестройка» и альтернативного Союза ученых, в котором я, единственный из старшего поколения, стал на сторону молодых против «партийных» замашек пожилых докторов.

Теперь Сережа был тоже депутатом и в перерыве заседаний мы встретились и сели за длинный стол в кремлевском буфете. Были только что объявлены результаты голосования. Жуя дефицитные бутерброды, мы с Сережей обменивались мнениями в гудевшем голосами зале буфетной и несколько удивились, когда на скамью напротив опустился еще один депутат в погонах генерал-полковника. Генерал как знакомый кивнул Сереже, а потом обратился ко мне.

— Знаете, — сказал он, — я ведь ученый, я профессор, доктор наук, специалист по связи.

Мне стало смешно. Похоже, генерал и впрямь принял меня за Эйнштейна. Внешность у меня, что ли, такая? Я иногда и вправду бывал похож на мудрую знаменитость. Впрочем, на кого только я не бывал похож, в зависимости от времени года, подруги этого времени и длины волос. Подвыпивший бригадир рабочих, срочно ремонтировавших мою машину, упрямо называл меня Бетховеном. Какой-то молодой прохожий ранним рублевским пасхальным утром вдруг, глянув на меня, вскрикнул:

— Иисус Христос пришел!

А однажды мне сделали комплимент, сказав, что я похож на любимого моего Гоголя. Каким их своих образов заинтересовал я генерал-полковника, не знаю, но, судя по всему, он посчитал меня большим ученым. Мы заговорили. Вообще-то я не то чтобы большой поклонник генеральского сословия. Но разговор стал принимать интересный оборот. Обсуждали, кто мог бы войти в президиум съезда, и генерал вдруг с необычной теплотой отозвался о Шейнисе. Еврея Шейниса в замы Председателя — такого от военной косточки, да еще генеральской, ожидать было трудно. Да,

Виктор в самом деле смотрелся весьма убедительно. Даже моя будущая немецкая жена скажет потом о нем с присущим ей остроумием: «Отец нации». Замечательно представительная внешность. Блестящая и в то же время сдержанная речь. Ощутимая доброта и порядочность. Легко угадываемое, и много раз подтвердившееся, мужество — все это не могло не производить впечатления и будить у самых разных людей глубоко где-то скрытую тоску по дефицитной подлинной интеллигентности. В том числе и в политике. Даже Хасбулатов отдавал должное Шейнису, хотя и воспротивился в свое время его назначению на проектировавшийся пост директора парламентской библиотеки. И именно по мотиву пятого пункта. Тем более приятной неожиданностью показалось мне высказывание генерал-полковника, хотя было ясно, что практического значения оно не имеет.

— Генерал-полковник Кобец, заместитель начальника Генерального штаба, — негромко представил между тем генерала подполковник Юшенков.

— Я заместитель начальника Генерального штаба по связи, — улыбнулся генерал. — А здесь я курирую группу военных и КГБ.

Да, шутница-история явно пододвигала стрелку своих веселых часов ко мне, к нам, к Ельцину. Упустить такой шанс было нельзя. И я решился. Как и на собрании «демороссов» на Калинина, 27, — к черту стереотипы!

— Скажите, генерал, что вы думаете насчет Ельцина? Вам очень дорог Горбачев?

Услышав рискованный вопрос, Сережа молча повернулся ко мне, потом посмотрел на генерала. Завязывалась интрига, и на умной Сережиной физиономии отобразились легкое волнение и явное любопытство — чем это кончится.

— Да, знаете, — вдруг развернулся ко мне грудью генерал, — вызывал меня сегодня инструктор в ЦК и накачивал... — Генерал неожиданно употребил крепкое слово: — Надоело...

— Так, может, поговорим поподробнее, так сказать, на научной основе, — предложил я.

Генерал посмотрел на улыбающегося Юшенкова и сказал:

— Не пройти ли нам в курилку...

Так, в кремлевской курилке, у дверей мужского туалета состоялся наш негромкий секретный разговор, а вернее, политические переговоры между представителем высшего генералитета СССР, куратором парламентской группы военных и КГБ, с одной стороны, и совершенно неформальным представителем демократов и Ельцина, депутатом Эйнштейном — с другой. Неисповедимы пути госпожи истории.

Сейчас уже трудно воспроизвести в подробностях содержание этих переговоров в сигаретном дыму и запахе фиксатуара. Я не стал его записывать. Не до того было, хоть и жаль. Насколько сохранилась поистершаяся за семнадцать лет память, я говорил о перспективах Ельцина, о российском факторе, об исчерпании Горбачевым своих ресурсов. О провинциализме и ничтожности Полозкова и стоявших за ним кругов.

Не знаю, насколько генерал Кобец и его коллеги уже сами задумывались над всем этим. Наверняка задумывались, о чем наша демократическая тусовка с ее стереотипами имела весьма слабое представление. (В том, насколько слабо интеллигенция понимает военных, я убеждался потом не раз, в частности, во время «спасательного» вылета с генералом Громовым в 28-ю дивизию в Нахичевань.) Но задумываться можно по-разному, и выбор у военных тоже мог быть разный. Можно сделать ставку на Ельцина, а можно и на условных «полозковых». А можно и вообще никаких ставок не делать — сидеть и ждать, что будет.

И того не знаю, поколебали ли, убедили ли в чем-то мои речи генерала Кобца (или, как его некоторые склоняют, — Кобца), но только он дал понять, что в его кругу имеются определенные симпатии к Ельцину, хотя многое и смущает. Особенно волнует военных позиция Ельцина по Курильским островам. Еще бы, Ельцин в своем программном выступлении широко жестом обещал вернуть южные Курилы Японии. Пришло время покончить с этой затянувшейся историей и извлечь выгоды из мирного договора, заявлял Ельцин.

— Никак нельзя этого делать, — объяснял мне генерал Кобец. — И не из каких-то там ура-патриотических, а из очень серьезных стратегических и экономических соображений.

И тут меня осенило:

— А не хотели бы ваши коллеги встретиться с Ельциным? — спросил я.

— Я как раз об этом подумал, — ответил Кобец, — но я должен посоветоваться с коллегами.

— Хорошо, а я переговорю с Борисом Николаевичем.

Мы условились встретиться в ароматной курилке на следующий день.

Сегодня, когда из далекой Германии — можно сказать, от самого края жизни, я всматриваюсь в эту ярко освещенную отраженным в мраморе электричеством сцену, она кажется мне странной и мало реальной. Банальность туалетных запахов. Сигаретный дым. Два не очень молодых человека, совершенно не похожих один на другого. Один в блестящей генерал-полковничьей форме с орденами. Другой — в скромненьком штатском костюмчике. И какая-то беседа во время перекура, как у многих других, стоящих рядом. А между тем — это драматический момент готовящегося поворота истории. Заговор. Военный совет в Филях — в перспективе. Поставить эту сцену на театре, и у зрителей дыхание замрет от интриги. Что там Шиллер! И от смеха одновременно, если подпустить в зрительный зал запахи.

Мы встретились в утренний перерыв в курилке, и профессор сказал, что его коллеги к свиданию с Ельциным готовы. Я побежал в зал заседаний. Гроб был почти пуст, но несколько человек тусовались на подиуме за столом президиума. Среди них возвышалась ельцинская фигура.

Я со своим ростом был глубоко внизу, а он со своим высоко надо мной. Тем не менее, я сделал ему снизу едва заметный знак, и он показал, что понял его. Он здорово умел все понимать. Я сделал еще знак, и он с высоты своего географического и общественного положения сильно склонился ко мне.

— Есть важная информация, Борис Николаевич, — сказал я почти шепотом. — Надо выйти.

В этот момент дверь гроба открылась, и в зал своей вальяжной походкой вошел Юрий Афанасьев. Улыбаясь, он шел мимо меня, явно намереваясь общаться с Ельциным, кажется, даже с протянутой рукой. Но Ельцин, кивнув ему, показал мне жестом на дверь в фойе и двинулся к ней, по дороге слегка взяв меня под руку. Еще одна маленькая театральная сценка. У меня ведь были свои, как бы это сказать, никогда не обсуждаемые, но молча понимаемые шершавые моменты с Афанасьевым, которого я высоко ценил и уважал.

Итак, мы с Ельциным, Пат и Паташон, перед носом у Афанасьева выходим в фойе, и я рассказываю Борису Николаевичу про беседу с генералом и про намерение генералитета Генштаба встретиться с ним. Отклик мгновенный и положительный. Рассказываю и про Курилы. Реакция спокойная. Вот такой я подлец, оказывается, — скажут мне потом мои американские друзья. Ради успеха главного общего дела пожертвовал мирным договором с Японией. Не знаю, отдал ли бы когда-нибудь Курилы Ельцин, будь у него такая возможность, но Генштабу он пообещал этот пункт из своей программы исключить и обещание это публично выполнил.

Увы, я не помню точной даты исторической секретной встречи Ельцина с Генштабом. Произошла ли она сразу после первого тура выборов или после второго. Несколько лет назад мы обсуждали этот вопрос с Шейнисом, и тогда мне казалось, что она была после первого тура. Но, в конце концов, это неважно. Процесс обработки группы Кобца в пользу голосования за Ельцина в любом случае должен был занять некоторое время. А генерал Кобец определенно сказал мне, что его группа теперь в основном проголосует за нашего кандидата. И если во втором туре Ельцин прибавил всего 6 голосов, в то время как Полозков потерял 15, то в третьем туре (уже против Власова) наш кандидат получил еще 32 — примерно как раз состав группы Кобца. Невероятное стало очевидным. Еще один маленький, но роковой сценарий сработал. Мы с Кобцом подтолкнули-таки стрелочку часов нашей новой истории.

Вопреки всем пессимистическим прогнозам и калькуляциям, посмеявшись над неопытностью или стереотипностью мышления большинства наших доморощенных политиков и политологов, Ельцин оказался избранным главой Съезда, главой Верховного Совета, главой повернувшегося лицом к суверенитету российского республиканского государства. После трех туров? Вот будь избран Ельцин сразу, да еще огромным большинством, это было бы странно и подозрительно. Что за фокус? Особенно если вспомнить полную безнадегу демократов перед началом съезда. Но

тут я перехожу на скучный «аналитический» язык. Победа после трех нарастающих туров стала политическим барометром и для демократов, и для съезда, и для общества. Она показала шаткость привычных стереотипов, показала возможности демократической политики и указала на наличие в ней людей, способных эту политику осуществлять.

Не знаю, смеялся ли на самом деле Ельцин, но я определенно смеялся. Да и как не смеяться? В самом чудесном сне могло ли мне привидеться, что именно я, человек немыслимо и принципиально цивилизный, стану вдруг историческим посредником между потоком, ломающим судьбы страны, и высшими военными генерально-го штаба, призванными охранять ее неприкосновенность? Смеется, однако, тот, кто смеется последним. Так нужно ли было приводить Ельцина к власти?

Мое отношение к Ельцину, так же как, думаю, отношение России-Татьяны, постоянно меняло свои оттенки на протяжении прошедших пятнадцати — семнадцати лет. И это видно по текстам разных фрагментов моего мемуарно-сатирического романа. Но основное во мне сохранялось. Татьяна так и осталась бы навсегда в обличье провинциальной бабки с чертами старой девы, если бы не молодежавая «Ельцинская» революция. Похожая на Кромвелевскую, хотя и не ставшая Кромвелевской.

— Был ли прорыв? — спросил недавно в одном выступлении Юрий Афанасьев.

Справедливый вопрос. Видимо, он еще не состоялся, глубокий прорыв исторический. Возможно, Россия еще на какое-то время вернется к своим слишком глубоко зарытым в подпочву архаическим корням. Но свежий политический прорыв в свободу был, и большой силы. И впервые в русской истории обошелся этот «Ельцинский» прорыв в свободу без пушкинского бунта, и без гражданской войны. Я не раз говорил об этом, в том числе своим зарубежным коллегам и оппонентам. И когда историки будущего смогут и захотят заинтересованно и непредвзято вернуться к этим временам, они, надеюсь, вспомнят и Декларацию о государственном суверенитете и эти фантастические судьбоносные выборы.

Ну а генерал-профессор Кобец успел после того побывать русским военным министром, руководителем обороны Белого дома в августе 1991-го. Но пришли другие времена и привели его, как ни странно, в тюрьму. Действительно ли он проштрафился по части коррупции. Или это была расправа бывших «своих» за «предательство», ставшая хитрой модой ближе к середине 90-х, я не знаю. Тогда таких попыток, на которые всегда есть мастера в известных органах, было немало. Революции ведь любят, как Сатурн, пожирать своих детей. Помню, что Сергея Станкевича пытались достать даже в Польше, и я послал тогда в его пользу письмо своему знакомцу, президенту Квасьневскому.

Ельцин не захотел или не смог защитить генерала. А мне жаль его. Он был мне симпатичен.

Итермедия: двоепутчие, двоевластие

Ботинки Тима

Холодный ветер сентябрьской ночи. Пустынная полутьма плоской крыши. Странно выросшие силуэты телекамер. Металл наверху, электрическая панорама Москвы внизу, красная звездочка Кремля посередине. Пока мы подымались неопрятными коридорами, вдоль нескончаемых труб, вентиляций и прочих технологических внутренностей новой гостиницы, Тим (кажется, его звали Тим) почему-то снял один ботинок и, слегка прихрамывая, со вторым ботинком в руке вышел на поверхность. Черт его знает, может быть ботинок просто был ему не по ноге. Но в этот ночной час, после того как би-би-сишное «вольво», тогда еще достаточная редкость в Москве, примчало меня к незнакомому зданию, где в ослепительности мраморного блеска бородатые молодые люди и утомленно улыбочивые девицы сновали среди телеэкранов, компьютеров, электрокофейников и прочих иностранных штучек, в моем подсознании этот снятый ботинок отобразился чем-то символическим. Возможно, в причине Тима было нечто общее с зигзагами нашего Ельцина, всего несколько часов назад распустившего своим декретом мой недолгий «долгий парламент». К тому же в своем парламентском захолустье я, старый москвич, понятия не имел об иностранке «Рэ-

диссон-Киевской», выросшей за три депутатских года по соседству с «настоящей», «Киевской». И это как-то усиливало лихорадящий холодок исторической ночи и одновременно отвлекало, как и ботинок Тима. Впрочем, может быть, его звали не Тим. И, возможно, московское Би-би-си той ночью прислало за мной не «вольво», а «фиат» или «крайслер». Но незнакомый мне английский паренек, как я узнал позднее, был в тот момент ведущим комментатором ВВС, и мне жаль, что не помню точно его имени и фамилии, как, впрочем, и наверно, и он — моих.

Тем временем Тим, перекинувшись несколькими словами с уже поджидавшим нас на крыше добродушным бородачом-оператором, вдруг снял второй ботинок и, оставшись в одних носках, поднялся на установленный перед объективами металлический ящик. Даже сквозь подошвы собственной обуви я, кажется, ощущал холод бетонной пустыни. Зачем Тиму понадобилось английское джентльменство по отношению к коробке из металла, мне было неясно. Может быть, он привык вести репортажи босиком и ботинки на ногах мешали ему так же, как меня отвлекали они в его руках. А может быть, пожалел дорогую коробку. Между тем он приподнялся на носки, и тогда я подумал, что просто ему не хватает роста, для того чтобы вписаться в московскую панораму. В этом и был секрет. Лицо Тима в исторический момент должно было появиться перед поужинавшим только что английским телезрителем непременно на фоне широкой панорамы «живой» Москвы. Потому-то мы и взобрались на крышу неудобной «Рэдиссон-Киевской».

Тим между тем начал свой репортаж. Он говорил негромко, и холодный ветер уносил его слова в сторону Москвы-реки. Но я понял, что английский журналист не слишком одобряет акцию Ельцина. И тут оператор подтолкнул меня к ящику. Секунду я колебался, нужно ли и мне, соблюдая английскую вежливость, тоже снять ботинки. Но соображения политического здоровья взяли верх, и я решительно поставил кожаные подошвы на алюминиевую поверхность телевизионной коробки.

О каком, однако, политическом здоровье могла идти речь — с этой ночи я уже не был депутатом. Да нет, я, кажется, перестал им быть уже 23 сентября днем. И когда по просьбе русского журналиста помчался в Останкино разъяснять политику Ельцина, милиционеры просто-напросто не пустили меня даже к внутреннему телефону. Я оказался, однако, в неплохой компании. Сергей Ковалев, Гриша Бондарев. Хитрый Гриша был очень раздосадован моей попыткой предъявить милицейским депутатское удостоверение. «Ах, да надо было просто показать паспорт!» Действительно надо было. Но не мне. Прождав минут десять, пока не стало ясно, что приказ исходит от перетрусившего Брагина, я распростился с коллегами, уговаривавшими меня подождать еще, и сев в пока еще предоставляемую каждому из нас распоряжением Филатова депутатскую «волгу», поехал в Кремль. Ах, Брагин, Брагин! Демократ из секретарей райкома, с которым вместе мы штурмовали кабинеты Хасбулатова, а потом распивали выигранную мною у Филатова на «конституционное» пари бутылку виски. Брагин, незадолго до того назначенный хозяином «Останкино», Брагин отдал приказ никого не пущать и исчез. Впрочем, может быть, это случилось уже после рэдиссоновской ночи. Днем.

Итак, я стоял на поверхности алюминиевой коробки, под прицелом объектива и прожектора телелампы, и вчерашний, наверно, депутат Волков, рост которого был на полголовы ниже невысокого Тима, представлял собой непростой объект для добродушного оператора, решавшего задачу совмещения камеры, головы в космическом обруче огромных наушников и горевшей вдали кремлевской звезды.

Там, под звездой, — должен был понимать телезритель — сидит набравшийся, наконец, решимости Ельцин и, лихорадочно потирая тренированные ладони теннисного победителя, ожидает, что будет дальше.

Депутат Волков знал, что будет дальше. Пришла пора положить конец внутрироссийскому двоевластию — так же, как в свое время это необходимо было сделать в отношении внутрисоюзного двоевластия. Это депутат Волков понял уже давно. Еще весной я отправил Бурбулису секретную записку. Отнести ее на Старую площадь я поручил своей помощнице Ирине. Этой женщине, по-моему, в любом возрасте способной сохранить облик очаровательной девочки, обладательнице особого теплого шарма, я наказал вручить запечатанный конверт только Геннадию лично. Еще бы! В записке был поставлен вопрос о радикальных мерах по ликвидации двоевластия. Я сообщал Геннадию Эдуардовичу, а стало быть, и Ельцину, о возможной реакции заграницы на подобные меры. Судя по моим встречам с политиками на Западе, она

была бы не просто нейтральной. Хотя отношение к Ельцину оставалось скептическим, но там уже куда более трезво оценивали ситуацию. Мне особо запомнилась беседа со статс-секретарем бундестага г-ном В. Занимаясь судьбами российских немцев, он очень неплохо знал наши дела. На осторожный вопрос, как отнесся бы Запад к роспуску российского парламента, В. ответил пристальным взглядом и отрубил:

— Мы давно ждем этого!

Однако в секретной бумаге содержалось кое-что еще. Там был набросан, где прямо, а где намеками, некий «тонкий» тактический эскиз. Имелось в виду следующее. Под техническим предлогом типа экстренного ремонта или обнаруженной бомбы перевести парламент из Белого дома под крышу и бдительный надзор Кремля. Под такого же рода предлогом (нехватка помещений) отменить совместные заседания палат Верховного Совета, ограничив его деятельность заседаниями комитетов и палат. Забросать палаты инициативами. Установить прямой контакт исполнительной власти с палатами и их руководством. Осуществление подобного плана неминуемо и относительно легко приводило к изоляции «второго папы». В помещениях Кремля и при переносе всей оргработы на уровень автономных палат Председателю Верховного Совета просто нечего было бы делать. Вся тонко сплетенная паутина подкупов и интриг, позволявшая Хасу властвовать над парламентом и отчасти над страной, немедленно опадала, обнажая самого паука, бьющегося в бессильной злобе. Тем самым де-факто устранялось «двоепапство». На авансцену выходили нормально конкурирующие структуры палат, а депутатский корпус возвращался от политической интриги к нормальной законодательной работе. Параллельно с помощью демократической общественности предполагалось инициировать конституционный референдум. По его результатам юридически последовательно закрепить разделение властей, реформу парламента и затем провести новые выборы.

Надо сказать, что наказ мой Ирина выполнила. Вернулась она возбужденная, но довольная и, сверкая черными глазами, начала рассказывать.

— Понимаешь, они ни за что не хотели меня пропустить в кабинет.

— Да чего вы боитесь, мы передадим бумагу в полном порядке, — уверял ее референт Бурбулиса, пытаюсь то лаской, то таской отобрать запечатанный конверт.

— Но я держалась стойко, — захлебываясь от волнения, продолжала Ирина. — Твердила одно: «Леонид Борисович сказал: «Только Геннадия Эдуардовичу в руки»».

В конце концов, посоветовавшись с шефом, ее пропустили в кабинет. А может быть, госсекретарь и де-факто глава правительства сам вышел к ней. Я поцеловал верную Ирину. Я не очень представлял себе, что последовало бы, попади записка или ее содержание в определенные руки. А что такое предательство помощников, я уже знал. Немедленной реакции на записку не последовало. Но несколько позднее мы побеседовали с Геннадием на эту тему. Я думаю, что нечто подобное уже приходило ему в голову, да, наверное, и не ему одному. Он задал мне несколько вопросов относительно деталей и многозначительно кивнул головой. Похоже было, что он настроен положить подобный план на стол президента. Но президент не слишком охотно воспринимал советы на предмет тонких игр. Особенно, если советы шли от неспортивных интелов. Между тем тут требовалось политическое искусство не ниже британского. И это-то было отнюдь не в духе президента. Тем более что он всегда опасался оказаться в зависимости от людей, которые могут делать политику на ином, чем он привык, уровне. Так или иначе, но дальнейшего развития идея не получила. Хотя кое-что, наиболее технически простое, было пущено в ход после 23 сентября, но уже без Бурбулиса.

Меня, однако, не покидала тревога, и в марте я передал в «Известия» статью. Это был сильно сокращенный вариант пространного сочинения на темы нашего двоевластия. Совершенно новой в ней была постановка проблемы «легитимности» самой Конституции, в нарушении которой обе власти постоянно обвиняли друг друга, но которую невозможно было не нарушать. Имеет ли смысл кричать о «неконституционности» действий властей, если сама Конституция в силу ее особой природы просто не действует? Да и как могут действовать неуклюжие механизмы наспех перештопанного и залатанного сталинско-брежневского «Основного закона РСФСР», который никогда не был рассчитан на реальное применение? Но тогда встает вопрос об основаниях деятельности обеих властей — ельцинско-президентской и хасбулатовско-парламентской. И это как раз вопрос о степени демократической «легитимности»

каждой из них. Отсюда вытекал и совершенно новый взгляд на перспективу «диктатуры», которой коммунисты и «хасбулатовцы» ежедневно пугали народ. Тут грех не вспомнить еще один забавный эпизод.

Летом 1992 года я выступил на заседании Конституционной комиссии, где под председательством Хасбулатова гремели модные речи об угрозе президентской диктатуры. Я сказал:

— Президентская диктатура — штамп. И парламент может привести к диктатуре, если превратится в орудие власти одной личности. Вспомните робеспьеровский Конвент!

Затем я набросал картинку перерождения нашего народного представительства в нечто вроде бюрократического «министерства» при Председателе Верховного Совета. Впрочем, мне не требовалось даже заниматься малоприятным делом приведения примеров, благо театр интриг, подкупов и подачек — все то, что получило кличку «хасбулатовщина», происходило у депутатов на глазах. Как ни странно, Хас меня не прерывал. Но когда я кончил, он начал бормотать, да, именно бормотать нечто маловразумительное, в чем, однако, различались слова: «Подумаешь, диктатура, парламент...». Продолжалось это ни к кому не обращенное бормотанье минут десять. Депутаты различного окраса недоуменно переглядывались между собой. Забавнее всего, что впоследствии я так и не смог получить стенограмму этого заседания у секретаря нашей комиссии Гольцבלата.

Так вот, в марте 93-го я отнес Боднаруку в «Известия» статью, в которой развивались те же идеи, но при этом подробно рассматривался вопрос, о «законности» и «легитимности» наших конституционных порядков. Вопрос первостепенной важности, поскольку поддержанные коммунистами заявки Хасбулатова на высшую власть росли с каждым днем, и прорастали они не в последнюю очередь из двусмысленностей и уму непостижимых противоречий конституционных текстов. В самом деле, хотя СССР к тому времени уже давно перестал существовать, но из Конституции никак не удавалось устранить статью, говорившую о вхождении Российской Федерации в СССР. Так что, согласно Конституции, «Российская Федерация — Россия» (так изысканно теперь называлась страна, народ которой я представлял в парламенте) была одновременно независимым демократическим государством, опиравшимся на политический плюрализм и свободу частной собственности, и в то же время единственной «союзной республикой» в составе исчезнувшей с карты международного права другой федерации — Союза Советских Социалистических Республик.

Главное, однако, заключалось в том, что старая Конституция объявляла Съезд народных депутатов высшей представительной, законодательной и *распорядительной* властью. Хотя по ходу работ Съезда это положение было изменено и дополнено новеллой о разделении властей, но осталась статья, предоставлявшая Съезду право принять к своему рассмотрению *любой вопрос*. По традиции, это положение рассматривалось как обязательность исполнения «любых решений» Съезда — распорядительных и даже судебных. Я как-то спросил одного из коллег:

— А что, если Съезд примет решение казнить Петрова, Иванова или Сидорова?

Ошеломленный вначале этим вопросом депутат размышлял, однако, недолго. Такое решение должно быть исполнено. К счастью, подобных решений Съезд не принял, хотя предложения о расстреле Ельцина и демократов иногда звучали.

Но Конституция сохранила от прошлого еще одно важное положение. В старой Брежневской Конституции существовало несколько странное должностное лицо — Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. Вроде бы — глава государства. «Вроде бы» потому, что и государства такого — РСФСР — на самом деле не существовало, и реальная власть по всей территории СССР принадлежала партийным органам. А странным это было еще и потому, что, строго говоря, этот «глава государства» с юридической точки зрения являлся лишь председателем коллективного органа — Президиума, решения которого формально принимались большинством голосов и только подписывались Председателем. Более того, из Конституции можно было сделать вывод, что функции председателя — в основном организационно-технические. Поэтому в старых советских учебниках государственного права упоминалось понятие «коллективный глава государства», под которым подразумевался именно Президиум Верховного Совета. В результате конституционных реформ горбачевского периода Председатель Президиума Верховного Совета превратился в Председателя Верховного Совета, а роль Президиума была сведена на нет. Получа-

лось, что теперь Председатель должен рассматриваться и как глава государства, и как глава народного представительства, и как технический председатель «малого парламента», каким стал Верховный Совет по отношению к «большому парламенту» — Съезду народных депутатов.

Эта чисто совковая «китайская» конструкция при отсутствии Советов и «направляющей и руководящей» уже с самого начала предопределяла нечеткость властных полномочий, а значит, и неустойчивость самой власти. После же введения президентства она стала юридически бессмысленной, но политически очень опасной. Последовательная трактовка внесенных в Конституцию в 1990—1993 годах новелл подвела к пониманию роли Председателя Верховного Совета как обычного парламентского спикера. Однако ряд совершенно выпадающих из общего контекста положений, а еще больше «советская» традиция позволяли при очень большом желании придать этой должности смысл второго главы государства, соперника президента или даже «начальника» над ним. Очень большое желание у Хасбулатова было в полном наличии. И к концу своего председательства он нередко так и высказывался — я, мол, высшая власть. Это прекрасно поняли коммунисты и вся антиельцинская оппозиция. И потому они держались за Хасбулатова, хотя лично большинство из них его недолюбливало или просто ненавидело. А он держался за них. И все это превращало конституционную сцену в театр абсурда. Между тем натиск «хасбулатовщины» осуществлялся под барабанный бой и свист боевых дудок, возвещавших: вот идет рать защитников Конституции. Действительно — вся королевская рать. Вот почему казалось особенно важным публично этому нечто новое и убедительное противопоставить.

Я не хочу перелагать статью. Отмечу только, что, указав на опасность прикрываемого «конституционностью» двоевластия, я сравнил перспективы двух угроз. «Диктатура может придти на смену Конституции», — писал член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Леонид Волков. Но она будет террористической, типа робеспьеровского Конвента, и долгой, как диктатура Советов, в случае, если двоевластие разрешится в пользу «хасбуламента»¹. Но она будет мягкой — в манере умеренного авторитаризма — и не очень длительной, если победит Ельцин. События показали, что прогноз был весьма близок к истине. Но это случилось позже. Тогда же, в марте, мне по наивности казалось, что статья способна произвести эффект разорвавшейся бомбы. В самом деле, она бросала совершенно новый взгляд на всю ситуацию. Она сводила на нет демагогию хасбулатовского лагеря. Она не была примитивно проельцинской, но предлагала выбор наименьшего зла. И потому создавала новые аргументы, которыми могли воспользоваться демократы, и новую политико-правовую перспективу, в рамках которой Ельцину подсказывались некоторые практические решения.

Именно это я кратко объяснил при первом телефонном разговоре с редакцией газеты. Однако наученный долгим опытом общения с претенциозными авторами зам. главного Боднарук, выйдя ко мне в вестибюль «Известий», кисло пробормотал что-то насчет того, что в редакции уже есть статья конституционалиста, профессора И., а потому... Я знал профессора И. Знал тогдашний стиль его конституционного мышления, не говоря уже о политическом. Видимо, взгляд мой в ответ на реплику Боднарука был достаточно выразителен, поскольку зам. главного как-то заерзал.

— А вы посмотрите статью, — сказал я, поднявшись.

— Я вам позволю, — ответил Боднарук.

Действительно, через пару часов он позвонил мне. Статья была напечатана и как ударный материал попала даже в тогда очень оперативное телеобозрение. Похоже, что именно Боднарук натравил на нее тележурналистов. С ними, однако, кажется, в первый и единственный раз, у меня вышла какая-то заминка.

Вот и теперь, стоя на ящике почти что в космическом полете над Москвой и над историей, я вдруг ощутил щипок «заминки». Тема была в сущности та же, но реальность обстоятельств — более суровой. Как оказалось, не менее суровой, чем тогда, в августе 91-го. И как тогда, говорящий по-английски депутат Волков должен быть ясным, четким и твердым. Ведь как и тогда его будет слушать не только Англия, но и весомая часть англоговорящего мира.

Я примерно представлял себе, каким будет первый вопрос Тима, хотя в отличие

¹ После 5-го съезда я приклеил это «мо» к нашему попавшему под авторитарный контроль Хасбулатова парламенту.

от обычной практики мы не имели с ним предварительной беседы. Действительно, представив меня, он спросил, как я, член распущенного парламента, член конституционной комиссии и юрист по профессии, рассматриваю акцию Ельцина.

«Во всех этих качествах я признаю и принимаю это нелегкое решение, хотя мне бы хотелось, чтобы оно состоялось раньше, а метод ликвидации двоевластия был бы несколько иным», — пронесся в моей голове молниеносный ответ.

— As an MP and democratic politician I accept and support this decision, although as a constitutionalist I would prefer, that it should be better taken earlier and by slightly different method, — сказал депутат Волков в микрофон.

Естественно, возник вопрос о «конституционности» действий президента, и мне пришлось вкратце повторить все те аргументы, которые были изложены в известинской статье. Самым трудным оказалось объяснить, что такое двоевластие.

Двоевластие

В самом деле, за этим брошенным когда-то Лениным словечком «двоевластие» стояла незаурядная интуиция человека, прекрасно уловившего момент, когда успех даже политически слабому, но волевому и одаренному практически сам валится в руки. Какой-то маленький никому не известный г-н Львов в один день едва не перевернул русскую историю, задумав путем нехитрой или хитрой манипуляции соединить летом 17-го Корнилова с Керенским в общем выступлении против Советов. Что уж говорить о Ленине, который десятилетиями готовил себя к власти, за которым стояла дисциплинированная партия, нешуточная идеология, и который таки перевернул историю, но против Керенского, Корнилова и в пользу Советов.

Идея двоевластия поразила мое воображение еще в студенческие годы. Потом я, кажется, о ней забыл. И вспомнил лишь когда в моей восьмиметровой каморке, спустя пару лет после венгерских событий, появился Великий человек, мой бывший студенческий одноклассник и частый собеседник Алик Штротас.

Алик приехал из Литвы, где после аспирантуры работал скромным адвокатом, и немедленно превратил мое миниатюрное жилье-бытье в нечто среднее между студенческой обжоркой, залом заседаний подпольного парламента, мини-кабаре и мини-борделем.

Начать с того, что при отсутствии у меня в то время холодильника он заполнил комнату кулями с продукцией процветающего литовского сельского хозяйства. Главным среди них был так называемый «кумпис» — здоровый ком жирного мяса, слегка прокопченного, вкусного и сытного, на который он с аппетитом Гаргантюа набрасывался каждое утро. Обжорство Штротаса было, однако, в моих глазах извинительным. Я сам пережил голод. Но пережил его в Москве 42—43-го года. Штротас же голодал в немецком концлагере, из которого ему удалось сбежать, кстати, не без попустительства пожалевшего мальчишку немецкого солдата. И это был совсем другой голод.

Затем Алик стал почти каждый вечер приглашать в мой дом людей, которые уже тогда составляли цвет фрондирующей интеллигенции. Звезда довоенного ИФЛИ, Леонид Ефимович Пинский, литературовед, энциклопедист, философ, остротой не без злости заточенных афоризмов, а отчасти и внешностью почему-то вызывавший во мне ассоциации с Троцким. Леонид Ефимович отсидел свой некроткий срок в сталинском ГУЛАГе, где, по-моему, и познакомился с другим выдающимся посетителем. Это был не кто иной, как тогда еще довольно молодой Григорий Соломонович Померанц, всеми запросто именуемый Гришей. Гриша был карикатурно классическим интеллигентом. Чем-то похожий на Мандельштама, он тихим голосом очень четко выговаривал слова, которые постепенно вырастали в ясную и сверкающую, как «чистый бриллиант», мандельштамовскую мысль. Партнером обоих философов был казавшийся уже тогда очень немолодым «Мира» — Мирон Григорьевич Харлап. Несмотря на добродушно опущенную на волю нижнюю губу, а может быть, благодаря этому высокий Мира был похож на англичанина и, более того, именно на Бернарда Шоу. И верно, хотя высказывался он не очень часто, но зато вызывал неудержимый хохот даже у серьезного Пинского неожиданными взрывами разящего остроумия. На самом деле Мира, с которым дружба у меня сохранилась до самой его смерти, был в высшей степени серьезным и разносторонним исследователем —

музыковедом, пушкиноведом, культурологом, но при этом еще и музыкантом, шахматистом и политическим мыслителем. Это ученое трио иногда дополнялось явлением уже приобретших известность поэтов, таких как Владимир Корнилов или Александр Аронов. А на другом краю наших тайных вечеров размещалось младшее поколение. Тогда еще поразительно розовощекий, светловолосый загадочно улыбочивый Алик Гинзбург, начинающий режиссер, вскоре вошедший в историю как создатель самиздата. И как бы в контраст к нему — словно отлитый из горячей смолы поэт Саша Тимофеевский, тоже вошедший потом в историю облетевшей страну чебурашечной песенкой крокодила Гены. И целый комплект великолепно заряженной атомами бунта молодежи обоего пола. Это яркое соцветие умов и талантов в возрасте от девятнадцати до шестидесяти пяти, если не старше, нередко в количестве до тридцати человек умещалось, тесно прижавшись друг к другу, на импровизированном диване или, болтая ногами, на огромном, унаследованном мной от предков письменном столе, который не совсем уверенно держался на трех с половиной резных ногах. При этом Штротмас ухитрялся еще угощать общество приготовленными им самим мини-бутербродами, к которым я обычно прибавлял пару бутылок дешевого и доступного тогда полноценного Цинандали или Мукузани. И вся эта компания, стараясь говорить не очень громко, но часто забывая об этой предосторожности, дискутировала и дебатировала нередко до первого рассветного метро. Благо, некоторые из великих появлялись не раньше двенадцати ночи, а сам Штротмас никогда не ложился спать раньше четырех утра...

Мы жили тогда событиями венгерского восстания. Мы шли по его следам к нашим собственным реалиям и судьбам. И вот тогда уже Штротмас принес в наш ученый парламент ставшую потом как бы осью его политологических конструкций теорию «второго стержня». Действительно, французская революция началась с Генеральных штатов и Зала для игры в мяч. Октябрьская стала возможной благодаря наличию наряду с временным правительством «второго стержня» власти в виде Петроградского Совета. Венгерская революция, правда, видимого «второго стержня» не имела, по крайней мере — в начале событий, ибо Имре Надь пришел к власти через «первый стержень» — партию. Но тут как раз и начинается загвоздка. В самом деле, не образ ли «двоевластия» привел Ленина к последующей модели советской политической системы. Она ведь изначально оказалась выстроенной в виде двуглавого дракона: партия — Советы. Система эта, доведенная до шизофренического «совершенства» Сталиным, означала, что СССР никогда не был полноценным государством. Партия обладала властью, но не имела юридической легитимности государства. Советы были юридически государством, но не имели политической власти партии. Хитрая игра эта усугублялась тем, что решения партии были по большей части тайными, а на поверхность выходили «хорошие» законы и постановления Советов, которые, начиная со знаменитой «сталинской конституции» — «самой демократической конституции в мире», — как правило, не исполнялись. Остается только пожимать плечами: как такое «двоевластие» могло продержаться столько лет? Тут, правда, приходит на память знаменитая формула Ханны Арендт о «коллективной шизофрении». Но даже Ханна Арендт не догадалась, что шизофрения была заложена в самой политической системе сталинского «двоевластия». Точно так же, как гениальный изобразитель тоталитаризма Оруэлл, изобретя «двоееречие» и «двоемыслие», не обратил внимания на «двоевластие». Его, впрочем, извиняет то, что ленинско-сталинской ошибки «двоевластия» вожди других тоталитарных государств себе не позволили. Там партии были полностью подчинены государству и самостоятельной власти не имели.

Шизофрения, однако, когда-нибудь должна была кончиться. И внезапный крах советского тоталитаризма оказался во многом связанным именно с заложенной в нем миной «двоевластия». Или, пользуясь терминологией Штротмаса, — «вторым стержнем». Советы внезапно восстали против партии. Запущенная брежневским руководством и полностью омертвевшая идеология уже не могла служить оправданием партийного «стержня» власти. Не случайно первые лозунги демократов из Народных фронтов были связаны с требованием передачи всей власти Советам.

Впрочем, теорию «второго стержня» тогда, в конце 50-х, я не принял. С одной стороны, мне казалось, что это всего лишь повторение другими словами старой ленинской формулы «двоевластия». С другой, причины краха авторитарных или тоталитарных режимов казались мне куда более глубокими, чем выходявший на револю-

ционную поверхность «второй стержень». Среди главных я уже тогда считал изменение того, что впоследствии было названо политической культурой. Новые представления, новые ожидания, новые интересы — то единственно самоизменяющееся, что заложено в человеках, в отличие от животных и природы, — вот истинная причина революций и залог их успеха. «Второй стержень» — лишь инструмент, который к тому же вовсе не всегда появляется на исторической арене. А для понимания перспектив мыслитель Волков считал важным другое.

Еще до этих споров я выстроил себе теорию «промышленного феодализма». СССР со всеми своими заводами-гигантами, фабриками и военно-промышленными городками живет еще в XVII веке. Если не в XVI. Его культура — средневековая. А его «социализм» — феодальный, в котором вместо лордов земельных господствуют лорды военно-промышленные (а кстати, и аграрные) — связанные чем-то вроде ленных отношений «расщепленные» полусобственники заводов, колхозов, совхозов и целых территорий. Была ведь еще в сталинские времена такая теория расщепленной собственности, предложенная рисковавшим головой гениальным юристом Венедиктовым.

Сегодня, спустя почти полвека, это стало как бы общим местом. Тогда же Алик приволил странное возражение: «В России, мол, вообще никогда не было феодальной системы». Разумеется, столь чистой, как в Японии, не было. Может, в этом один из секретов ее никак не складывающейся модернизации. Но феодализм «российского образца» был. О чем не один том написан далеко не только Павловым-Сильванским. Но даже если бы его, феодализма, в историческом прошлом России не было, ничто не мешало ему прорезаться в живущей стереотипами средневековья советской России по ходу сталинской индустриализации. Занятно, что, опять же много лет спустя, на «средневековый» характер самого марксового социализма обратил внимание Эрнст Нольте. Но все это, в том числе и цепкость российского «феодального сознания», выяснилось потом.

И все же, применительно к судьбам России, Штротас оказался прав, независимо от того, как назвать эту правду — «вторым стержнем» или «двоевластием». Более того, ни он сам, ни я тогда не представляли себе, насколько сложна и насколько глубоко эшелонирована эта правда. А ведь двоевластие пронизывало не только советско-партийные отношения. Двоевластие было ишемической болезнью федеративной системы СССР, закончившейся ее инфарктом. Особенно это относилось к собственно России. РСФСР, большая часть территории и населения «империи», была ее сердцем, но сердцем, которое билось в аритмии. Сталин был достаточно хитер, чтобы в отличие от других республик не давать РСФСР ни своей партии, ни своей академии, ни, главное, сколько-нибудь серьезных руководящих кадров. Правительство, Верховный Совет, да и почти все иные республиканские институты РСФСР в отличие от других союзных республик при Сталине, несмотря на всю горячую любовь кремлевского горца к русскому народу, владели самым жалким существованием. И то же продолжалось при Брежневе.

Когда же Горбачев допустил реальные выборы на территории РСФСР, то тут-то и вышел на поверхность «второй стержень». На одной огромной, начиненной городами и заводами территории образовались две властные надстройки, ужиться которым даже без победы демократов представлялось мало реальным. Развод был лишь вопросом времени. Но и варианты развода были бы прямо противоположными. Либо поворот к демократии, либо — конец перестройки. Но в любом случае они были бы направлены против Горби и, я думаю, в той или иной степени против СССР как федеративной надстройки над Россией. Если бы тогда в мае-июне 90-го к руководству Верховным Советом в РСФСР пришел, как того хотел Горбачев, серый совбюрократ Власов, а новую КПРФ возглавил бы антигорбачевец Полозков, то борьба между двумя «стержнями» была бы едва ли менее острой, чем при Ельцине.

Антиперестройщики сделали бы все, чтобы сместить ненавистного им и презируемого ими Горбачева. Но у них в то время вряд ли хватало бы сил и мужества для открытого путча. И потому их политика, так же, как и в начале — наша, свелась бы к перетягиванию каната власти во «второй стержень», в РСФСР. Не случайно ведь с такой быстротой и с такой охотой после принятия «Декларации» под суверенитет РСФСР стали переходить так называемые «союзные» предприятия. Так что во многом это выглядело бы очень похожим на то, что происходило в 1990—1991 гг. при Ельцине. Правда, при этом «второй стержень» был бы антиперестроечным, держав-

но-националистическим и застойным. Такому исходу, однако, как мы видели, помешала Декларация.

Объективно Декларация, конечно, усиливала «двоевластие», ибо провозглашала явление новой реальной российской государственной власти на место эфемерной «республиканской». Она возвещала появление второй реальной власти над территорией 150-миллионной РСФСР, но с перевесом в сторону демократии и с перспективой ее быстрого усиления. Объективно тем самым расшатывалась вся сталинско-брежневская система. Декларация подрывала, если не закрывала, перспективы реставрации империи. Разумеется, она наносила удар и по Горбачеву. Но это был опережающий удар по политической импотенции генсека с целью спасения начатого им дела от него самого и от шакалов, готовых уже сегодня наброситься на завтрашний труп «перестройщины». Так что в данном случае создание «второго стержня» — реального государства на территории РСФСР с видами на последующее полное избавление от превращенной в надстройку «империи зла» — было достаточно осознанной политикой. Теперь же, на крыше «Рэдиссон-Киевской» и там, вдали, в Кремле и в Белом доме, речь шла о двоевластии уже не в СССР, переставшем существовать еще в 91-м, а в самой новой России. Злой рок Двоевластия никак не хотел выпускать эту страну из своих длинных, как когти ее двуглавого орла, лапок. Но как объяснить это западным слушателям?

Тут эфир раскололся, и я вдруг услышал знакомые голоса.

Оказывается, я был на крыше не один. Где-то там, за тысячи километров, но ясно, как если бы рядом, к интервью были подключены милейший Арчи Браун, с которым мы не раз встречались в Москве, и не менее приятный Арон Леон, с которым мы как-то имели долгую беседу в Вашингтоне.

— I am very glad so unexpectedly to meet old friends, — сказал я в эфир, после чего мы кратко обменялись воспоминаниями. Дружелюбие — вещь, конечно, приятная, но полной уверенности в том, что английский и американский коллеги поймут и разделят мою позицию, у меня не было. Оказалось, однако, что оба политолога держатся примерно таких же взглядов, причем Арчи, по-моему, выразил их даже более радикально, после чего их отключили.

Все время, пока продолжалось интервью, Тим героически стоял в своих носках, поставив изящные туфли рядом. И все время, напрягаясь в стремительной игре вопросов и ответов, я не мог отвести взгляд от этих туфель, все время получая тревожные подмигивания оператора. Телеинтервьюируемый обязан смотреть в дырочку. По идее, сопереживание ледяного холода, который должен был испытывать британский Муций Сцевола, должно было помочь мне избежать поевживания на ледяном ветру, гулявшем по вознесенной над Москвой-рекой крыше. Но, слава богу, оно кончилось, это интервью. И, как я надеюсь, Тим в отличие от римского собрата, сжегшего свою руку, не потерял отмороженную ногу. Но, когда мы возвращались теми же слепыми коридорами в офис Би-би-си, он покашливал и несколько раз доставал носовой платок. Однако ботинки продолжали оставаться в его твердых, как традиции Альбиона, руках.

Я позавидовал британской стойкости, когда, вернувшись в мраморную тоску офиса, узнал, что на меня уже сделало стойку ВВС-радио, а вслед за ним телевидение и радио Канады. Все это были старые знакомцы, и уже поэтому отказать им было невозможно, хотя время приближалось к двум часам ночи. Даведь это был мой долг. Увы, я был одним из немногих, едва ли не единственным демократическим депутатом, достаточно свободно владевшим английским. Wonder-child of perestroika — Олег Румянцев — к этому моменту уже превратился в enfant terrible «ельцинской» демократии. Владимир Лукин сидел послом в Вашингтоне. А где был мой школьный одноклассник и председатель Комитета по международным делам Женя Амбарцумов, я не знаю — по-моему, тоже в какой-то командировке. Думаю, однако, что ставший традицией вызов меня к английским, канадским, африканским микрофонам был связан также со сложившейся еще с середины 80-х репутацией демократического ветерана, которой все же не имели ни Лукин, ни Амбарцумов.

Где-то ближе к рассвету то же самое «вольво», а может быть, тот же самый «фиат» или «крайслер», прокатив депутата Волкова почти через половину пустынно-спокойной Москвы, доставил меня домой. Спать уже не имело смысла. И сентябрьский холодный рассвет я встретил, вспоминая другой рассвет, теплый и приветливый — августа 1991-го.

Игорь Яковенко

Об Опонском царстве, жареном петухе и пользе стоматологии

*Беседу с доктором философских наук, профессором
Игорем Григорьевичем Яковенко ведет Ирина Доронина*

И.Д.: Игорь Григорьевич, «Национальная культура в опасности! Она гибнет!» — этот стон несется над Россией. Причем «гибель» национальной культуры трактуется как одна из наиболее существенных причин всех прочих бед — и экономических, и экологических, и демографических, и межнациональных... Мне хотелось бы узнать ваше мнение о нынешнем состоянии русской национальной культуры. Но прежде нужно, наверное, определить, что же такое национальная культура с точки зрения науки и действительно ли она столь важна для жизнедеятельности общества?

И.Я.: Давайте начнем с того, что в России нация, как ее понимают в западной культуре, не сложилась. Нация возникает там, где складывается национальное государство, есть частная собственность, частный интерес, где произошел распад традиционных общностей. А Россия по существу была империей до 1991 года, где формирования нации (повторю, в общепринятом на Западе смысле слова) не произошло. Да и после 1991 года наше развитие не пошло в направлении формирования национального сознания. В последние годы нам энергично втолковывают, что русские — это значит православные. А ведь национальное сознание по сути своей секулярно, оно предполагает, что вера — частное дело каждого. Конфессии не скрепляют нацию. Так было лишь в Средневековье. Подданные австрийских Габсбургов были по преимуществу католиками. И если ты был католиком, то никакого значения не имело, венгр ли ты этнический, немец или хорват. Так же как и в Российской империи: в православие перешел — значит, ты русский, а на каком языке ты разговариваешь дома с детьми — не важно.

Нация в новоевропейском смысле — это такое ЗАО (закрытое акционерное общество). Его создают люди, объединенные в национальное государство культурой, историей, гражданством. Конечно же любой нации присущ национальный миф, свод идеалов, каталог ценностей. Но прежде всего нация и национальное государство консолидируются и воспроизводятся во имя реализации интересов своих граждан. Заметьте, парламентские демократии и устойчивая демократическая культура формируются в тех странах, где сформировались зрелые нации. Происходит это потому, что демократия обеспечивает самый эффективный механизм выявления и защиты интересов граждан.

Как вы понимаете, в России и прежде, и сейчас доминируют другие ценностные ориентиры. Но это совсем не означает, что здесь не сложилась собственная культура. В нашей стране сформировалась своя зрелая и вполне уникальная культура. Человек вне культуры не существует. Если русская культура гибнет, значит, вместе с нею исчезает народ — ее носитель. Я отношу высказывания такого рода к традиции интеллигентского катастрофизма. Но то, что наша культура переживает сегодня очередной кризис, вне всяких сомнений.

И.Д.: Очередной?

И.Я.: Да, я настаиваю на том, что принципиально нынешний кризис не отличается от кризиса начала прошлого века. Когда говорят о «крахе национальной культуры», действительно предполагается, что все знают, что такое национальная культура, и не сомневаются, что национальная культура — это безоговорочно хорошо. Я хотел бы повернуть наш разговор в плоскость реальности.

Социология чтения показывает, к примеру, что знакомство массового читателя с Пушкиным ограничено скромным школьным курсом. Полагаю, что и «Войну и мир» люди в массе своей знают по фильмам, а не по толстовскому тексту. Однако это ситуация, свойственная не только современной русской культуре. То же происходит и с англичанами, и со шведами, и с французами. Однако национальная культура не сводится к литературе и чтению. Как вы думаете, о чем конкретно радеют те, кто скорбит об утрате национальной культуры?

И.Д.: Кто о чем. Кто-то имеет в виду культуру бытовую, кто-то художественную, высокую и массовую, городскую и сельскую, этническую, доминирующую культуру и субкультуры, даже контркультуру, а также культуру физическую и массу других составляющих, каждая из которых несет национальные особенности и каждая из которых теперь якобы утрачивает их, а вместе с ними и былый высокий уровень. Не забудем еще и культуру политическую.

И.Я.: Вот-вот, очень кстати насчет политической культуры. Она-то в России обладает невероятной устойчивостью. Российская политическая традиция стоит на том, что власть здесь является единственным политическим субъектом, а все население объектно. Это идет с XIII века, от Андрея Боголюбского как минимум, до сегодняшнего дня включительно за вычетом краткосрочных эпох распада общества и последующего его структурного преобразования, которые в русской истории называют «смутами». Во времена смут государство в России проседает, и в обществе начинают доминировать иные политические традиции. Однако проходит время, и по мере стабилизации нового государства возвращаются устойчивые политические традиции. С семнадцатого века этот сценарий проигрывался три раза. В нормальном, устойчивом состоянии российская власть субъектна по преимуществу, а население — верноподданно. Это принципиальный элемент нашей национальной политической культуры. Он что, размывается? Я полагаю, мы, напротив, наблюдаем укрепление этой политической традиции.

И.Д.: Зато высокая культура, коей Россия прежде гордилась, похоже, действительно приходит в упадок.

И.Я.: С высокой культурой дело обстоит следующим образом. В России советского периода высокая культура была в известном смысле «аристократической». Были люди, производившие высокую культуру, — и был мощный по объему слой советских интеллигентов, которые ходили себе на работу, где им зачастую платили зарплату лишь за то, что они являлись в девять часов утра, а уходили в шесть вечера. На работе можно было пить чай, устраивать бесконечные перекуры, заводить романы... На работе, кстати, прекрасно читалось. Советский интеллигент, получавший то, что я для себя называю «пособием по скрытой безработице», весьма скромное, но гарантированное, имел массу времени, чтобы читать, ходить на Таганку, быть в курсе разных событий в области культуры.

Эта реальность сейчас коренным образом переформатировалась. Всеобщая богадельня кончилась. Люди попали в жесткие конкурентные условия. Сегодня нужно быть компетентным, отвечать за себя, много работать. Надо быть подвижным, постоянно осваивать новое, «быть в форме». Радикально изменился жизненный контекст, и с ним в значительной мере изменился характер художественной культуры. Пришел масскульт. Признаем, масскульт был и в советское время — вспомним исторические романы массово-культурного типа, соответствующие фильмы, музыкальные произведения... Но тогда были свои критерии высокого и низкого, добротного и низкопробного. Здесь надо сказать, что реализовывавшийся в Советском Союзе коммунистический проект нес в себе культурно-просветительскую идеологию. Вспомните: лозунг «Знание — сила», общество «Знание»...

И.Д.: «Культуру — в массы», «Народное просвещение»...

И.Я.: Идея просвещения неотделима от некоей шкалы ценностей: есть высокое искусство, накопленные народом художественные сокровища — и есть миссия интеллигенции, деятелей науки и культуры нести «в массы» лучшее, воспитывать вкус

читателя и зрителя, способствовать личностному культурному росту. Отметим: с концом советской эпохи просвещенческая парадигма кончилось. Параметры культурного процесса задают иные детерминанты, прежде всего — рынок. А на рынке востребованы те формы культуры, которые адаптивны с точки зрения выживания в сегодняшнем мире. Так как мир этот жесткий и, по небезосновательному мнению многих, бездуховный, то востребованными оказываются те формы культуры и те произведения, которые помогают человеку вписаться в окружающую действительность.

И.Д.: Например, «Кривое зеркало», брр.

И.Я.: Я, разумеется, не утверждаю, что это справедливо в отношении всех без исключения членов общества, но в массе это именно так. Если то, что ты читаешь, видишь в кино и театре, слышишь по телевидению или радио, повышает в тебе уровень конфликтности, рождает протест против окружающего мира, выталкивает тебя из него, то такой тип культурной продукции будут потреблять лишь небольшие группы людей с обостренной совестью или развитыми культурными потребностями. А «массовый человек» ищет развлечений, которые позволяют ему отдохнуть и вписаться в этот мир. Нынешний масскульт как раз этим и занимается — вписывает «среднего» читателя-зрителя-слушателя в изменившийся жесткий, несентиментальный мир.

И.Д.: А насколько такая «культура» вписывается в российскую традицию?

И.Я.: Я убежден, что нельзя быть автором, живущим в России, говорящим на русском языке, воспитанным в этой среде, и создавать нечто, совершенно чуждое местной традиции. Это просто новый лик русской традиции. Масскультовский лик. Он может отталкивать. Для какого-нибудь белого эмигранта советская литература 20-х — 30-х годов была не менее чудовищна, и он темпераментно отказывал ей в праве иметь какое бы то ни было отношение к русской традиции.

И.Д.: То есть в наше время массовая художественная культура создается и потребляется с целью психического самосохранения «среднего» индивида?

И.Я.: Вы абсолютно правы, я только хочу эту мысль сформулировать более общо, придать ей статус закономерности. Во все времена и повсюду люди выбирают в современной им художественной культуре то, что позволяет осмысливать окружающий мир, минимизируя конфликт между собой и миром. Конечно, это не касается пророков, людей, склонных стремиться к изменению действительности, либо, напротив, удаляющихся от нее в скиты. Но таких — всегда меньшинство. А средний человек ищет и в религии, и в идеологии, и в мифах, и в литературе, и в искусстве то, что примирит его с миром и впишет в него.

И.Д.: Но высокая культура создается незаурядными людьми и не должна быть подвластна конъюнктуре.

И.Я.: Революционеры в области духа являются революционерами в тот момент, когда они творят, а через некоторое время созданные ими образы покрываются патиной, они превращаются в столпов классики, и в наступающем, изменившемся мире их произведения уже помогают огромному числу людей находить внутреннюю гармонию.

И.Д.: И таким образом тоже осуществляется преемственность национальных традиций в культуре?

И.Я.: Несомненно. Глядя на советский период нашей истории, мы не можем не видеть, что он был плотью от плоти России, русского духа. Он был выношен и рожден русской логикой. Так же и сегодняшние процессы, происходящие в нашей стране, рождены русской историей и непосредственно ее советским этапом. Они его отрицают, отторгают, они с ним не совпадают на тактическом уровне, но в глубинных основаниях это та же традиция.

И.Д.: А в чем, с вашей точки зрения, состоит эта самая «русская логика», которая пусть в разных обличьях, но неизменно проявляет себя на протяжении нашей истории?

И.Я.: Поясню на конкретных примерах. Давайте вспомним, что мы читали у русских эмигрантов, проигравших Гражданскую войну: Россия кончилась, она исчезла, сгинула в три дня. Но что они называли Россией? Самодержавие, православие, народность — самые простые вещи. Если так формулировать суть, то да, Россия кончилась. Но если мы заглянем вглубь, увидим, что суть России не в самодержавии, православии и народности, а в верности одной-единственной универсальной идеоло-

гии, в идеократии — либо православной, либо коммунистической. В тоталитарном характере власти — будь то самодержавный царь, будь то генеральный секретарь. И эти существенные черты нашей культуры тоже вполне сохранились.

Сохранился и ее имперский характер. Полноценная империя возникает при Иване Грозном. После Смуты Романовы собрали и расширили ее. Далее империя была восстановлена в ходе Гражданской войны и достигла максимальной мощи при Сталине. Современные сталинисты в один голос утверждают, что достижение предельного в отечественной истории имперского величия было высочайшим завоеванием сталинской эпохи. Сегодня мы часто сталкиваемся с идеологическим использованием понятия «российская цивилизация». Для политиков и идеологов, обращающихся к идее российской цивилизации, характерно имперское видение России. Как мне представляется, имперское видение России живет и в массовом сознании. В этом смысле я никакого исчезновения российской духовной традиции тоже не усматриваю. Другое дело, насколько все это адекватно реальности и исторически перспективно. Но это — тема для специального разговора.

Таковы некоторые универсальные характеристики русской культуры. На каждом историческом этапе они по-своему формулируются и новые формулировки могут показаться неискушенному наблюдателю отрицанием традиции, но по сути это все одно и то же: нужно, чтобы была одна религия, одна идеология, один правитель, одна культура...

Часто ли мы наблюдаем в сегодняшней действительности толерантность, способность без предубеждения воспринимать иное мнение? Является ли разномыслие для нас духовной ценностью? Думаю, что минимально. Это тоже традиционно для России и никуда не девается.

Кто-то говорит, что Россия — страна, в традициях которой жить «без денег» или «мимо денег». Это неправда. Она была «вне денег» разве что в советскую эпоху, да и то, скорее, на уровне деклараций. Социальная практика была гораздо шире советского канона. А до революции... Конечно, в России никогда не было настоящей частной собственности, а было условное держание, которое давала власть, но рынок, торговля, если и не были главным, магистральным элементом русской реальности, присутствовали постоянно. И был частный интерес, и было многое из того, что есть и сегодня, просто в другой пропорции.

И.Д.: Для России как многонациональной страны, очевидно, чрезвычайно важна и еще одна составляющая понятия культуры — этническая культура, или этнические культуры, учитывая полиэтничность ее населения. После начала перестройки в стране пошли мощные миграционные процессы, которые не могут не размывать этнические культуры.

И.Я.: Это важнейшая тема, давайте поговорим. Чем любопытен советский этап нашей истории и что в нем, помимо всего прочего, совпадало с дореволюционной эпохой?

Известно, например, что до революции института прописки в России не было. Тем не менее далеко не каждый мог ехать куда хотел. Крестьянин должен был для этого получить паспорт.

И.Д.: Что было непросто сделать.

И.Я.: А в жесткие эпохи степень прикрепления людей еще возрастала. Петр Первый отменил даже право перехода монахов из монастыря в монастырь. Люди так или иначе были пришиты к месту. В советское время было то же самое. А что сегодня? Надо отдавать себе отчет в том, что полноценный рынок включает в себя три компонента: рынок товаров и услуг, рынок капитала и рынок рабочей силы. Если в России создается рыночная экономика, общество должно отказаться от прописки (явной или не явной) как инструмента, привязывающего человека к месту, и создать свободный рынок рабочей силы, который будет работать на конкуренцию. Эта объективная необходимость ломает ту устойчивость, о которой мы говорим. Быть может, поэтому она так трудно пробивает себе дорогу.

Между тем с начала 70-х годов, то есть уже более 30 лет, в России изменился вектор этнических потоков. До этого времени количество русских, выезжавших из Российской Федерации в национальные республики, превышало количество граждан иных национальностей, приезжавших из своих республик в Центральную Россию. Иными словами, русский мир распространялся вширь. Но с 70-х годов баланс изменился на противоположный.

И.Д.: Почему именно с 1970-х?

И.Я.: Такова эмпирика. В этот период кончается русская деревня, в которой женщины рожали по 5—6 детей, разворачивается демографический переход. А это означает, что к 70-м годам XX века русские перестали на чисто биологическом уровне соответствовать задачам вечно расширяющейся империи. И это произошло впервые в истории русского народа. Начиная с X—XII веков русские все время расширялись пространственно и ассимилировали огромные массы других народов — финно-угров, тюрков, народов алтайской языковой семьи, кавказцев... Но такой процесс в принципе не может быть бесконечным. Существуют законы истории. Римляне всасывали в себя другие народы, ассимилировали, романизировали. А потом наступил предел, и римский мир схлопнулся. Мое убеждение состоит в том, что Россия переживает сегодня типологически близкую ситуацию. Начался обратный процесс: «они» поехали сюда, к нам. А к этому русское сознание исторически и психологически не готово. Что говорят специалисты, работающие в сфере этнической психологии? У малочисленных народов в сознании живет иррациональный страх перед собственным исчезновением: мы растворимся; завтра моя дочь выйдет замуж за инородца, и мои внуки уже не будут говорить на языке своего деда. Это касается народов, для которых проблема самовоспроизводства остро актуальна.

И.Д.: И для русских она стала актуальна в последние годы.

И.Я.: Прежде русские никогда этим не страдали, они самовоспроизводились и в своем окружении ощущали себя народом доминирующим. Объективно, повторю, эта ситуация себя исчерпала три десятка лет тому назад, но осознаться начала лишь в последние пятнадцать. Отсюда — страх. Враждебный настрой к «инородцам» и даже убийства на национальной почве питаются из этого источника. Природа подобных эксцессов очень темна, разбираться в ней — тема совершенно особая. Я бы не хотел сейчас входить в то, кто за ними стоит, какие силы и в каких целях их провоцируют. Но на базовом уровне субъектами подобных эксцессов руководит примитивный архаический страх: придут чужие мужчины и возьмут наших женщин. Это подтверждает, что начинается осознание новой проблемы, не находящей привычных решений. Запад попал в эту ситуацию после Второй мировой войны. Негры и арабы жили, конечно, там еще между войнами, но после Второй мировой и Франция, и Германия, и другие европейские страны подверглись массивированному «нашествию» выходцев из Африки, Турции, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая. В Европе и США накоплен огромный опыт — и позитивный, и негативный — совместного проживания в модернизированном обществе. Об этом много говорят и пишут, в том числе и в вашем журнале, но для России данная проблема психологически нова, и традиционное сознание пока не находит приемлемого ответа на нее. Ведь надо привыкать к той мысли, что рядом с тобой, в твоём «доме», будут жить *другие*, надо отрешаться от образа «саиба», «старшего брата» — образа, который особенно не декларировался в советскую эпоху, но вполне открыто формулировался до революции, — можно почитать М.Меньшикова и других авторов этого круга. Однако изменения в сознании всегда отстают от изменений в объективной реальности, и чем сильнее они запаздывают, тем болезненней становится проблема.

И.Д.: Это проблема обоюдная. И у тех, кто уходит из привычного традиционного окружения — а они тоже российские граждане, — возникает множество сложностей. Они тоже отчасти утрачивают свою идентичность, поскольку вынуждены говорить на чужом языке, следовать чуждым обычаям...

И.Я.: Вы совершенно правы. Но давайте отметим важную вещь: когда азербайджанец приезжает в Москву, он совершает осознанный выбор. Для него есть два города на земле: один называется Москва, а другой — Стамбул. Стамбул — столица тюркского мира, один из блистательных мировых мегаполисов, там тоже масса рабочих мест. Если азербайджанец едет не в Стамбул, где говорят на понятном ему языке, а в Москву, он, повторяю, осознанно совершает выбор: он готов учить русский язык, он готов к тому, что его дети пойдут в русскую школу. То есть он готов на известную культурную ассимиляцию. И если не сходить с ума и не впадать в паранойю, то, учитывая, что в основном эти люди занимают сейчас на рынке труда те ниши, в которые русские не идут, мы могли бы это только приветствовать.

Процесс ассимиляции естествен, он проходит через всю историю человечества. На земле нет ни одного этнически «чистого» народа — это мифология. Люди могут утрачивать свою этническую культуру, поступаться ею по собственному выбору

или под давлением обстоятельств. Понятно, что рядовой житель Кавказа в XIX веке в Москву или Петербург не поехал бы, потому что тогдашний культурный барьер был для него непреодолим. За 70 лет советской эпохи жители «окраин» СССР закончили одинаковые с русскими школы, научились говорить по-русски, так же водить автомобили, пользоваться компьютерами и сотовыми телефонами, и барьер оказался перейден. Теперь эти люди могут свободно приезжать в Россию. Наша ситуация ничем не отличается от прочих постколониальных, когда жители колоний наводняют метрополии.

И.Д.: Но если, проведя некоторое количество лет в бывшей метрополии, эти люди возвращаются на родину, они оказываются там уже не совсем своими (как и русские, возвратившиеся из бывшего республик СССР), их и там не очень радушно принимают, и здесь. Не грозит ли это большой (учитывая масштабы нынешней миграции) массе людей утратой этнической самоидентификации, а следовательно, и социальной дезориентацией?

И.Я.: Это проблема тоже универсальная. Однако у нее есть не только негативное, но и позитивное измерение. Простой пример. Я люблю бывать в Турции. Приезжаешь в захолустный город и находишь там небольшую гостиницу. Ее владелец десятилетиями работал в Швеции. Он там заработал не только деньги, но и опыт в деловой сфере, навыки и умения, которых не могла дать ему родная почва. Он возвращается и открывает в родном городе скромный туристический бизнес и тем самым обеспечивает работу соотечественникам, создает благоприятную среду для развития туризма. Такие возвращающиеся эмигранты полезны своим странам. Они обогащают и собственную экономику, и культуру. При этом кто-то, тут уж ничего не поделаешь, воспринимает их как людей, утративших чистоту национального духа и традиции.

И.Д.: А насколько важна эта «чистота национального духа», этническая культура и просто традиционная бытовая поведенческая культура? Почему их утрата воспринимается так болезненно?

И.Я.: Да ведь этой «чистоты» уже нигде нет. Что вы называете «чистой этнической культурой»? Русскую крестьянскую? Это какую? Когда женщина сама ткала холсты, сама их белила, сама шила одежду? Когда это было? Где тот рубеж, за которым традиционная культура перестает быть «чистой»? Советское крестьянство 50-х годов XX века это традиционная культура? Мы там найдем массу примет отнюдь не «традиционных» — радиоприемник, трактор, чтение газет... И женщины рожали уже не дома с повивальной бабкой, а в роддомах... Процесс размывания традиции неуклонно идет с начала модернизации, то есть с XVIII века. На традиционных прялках начала XIX века не редкость увидеть нарисованные колесные пароходы: они плыли по реке мимо деревни, и их образ входил в сознание и отражался в народном творчестве. На этих крестьянских прялках можно увидеть и дам в кринолинах с кавалерами в цилиндрах, но эти прялки остаются, тем не менее, артефактами сугубо народной культуры.

Традиционная культура постоянно развивается, видоизменяется, размывается... Лучина это традиция? А керосиновая лампа уже не традиция? А «лампочка Ильича» и тарелка громкоговорителя на стене?

И.Д.: А язык?

И.Я.: Ах, язык! А где тут критерий: когда кончается традиционный язык и начинается новый?

И.Д.: Я не это имела в виду. Конечно, если вместо лучины появляется керосиновая лампа, то и в языке для нее появляется новое слово. Я говорю об утрате национального языка. Ведь до сих пор на улицах, скажем, Киева или Алма-Аты весьма широко звучит русский язык. Это ли не проблема для национальной культуры?

И.Я.: Это совершенно другой вопрос. Царская Россия и Советский Союз были традиционными империями. Как и в любом государстве такого рода, там насаждался доминирующий язык и параллельно шел процесс интеграции. В национальных столицах жили русские государственные чиновники, специалисты, ученые, которые тоже несли русский язык. И он глубоко внедрился. Восстановление национальных языков и культур — действительно проблема для всех постсоветских стран, тем более что там сохранились большие русские общины. Абсолютно естественно, закономерно и ожидаемо, что государственная политика в постсоветских странах направлена на восстановление в правах родного языка.

И.Д.: Это так. Если на улицах отовсюду слышен русский язык, то в государственном учреждении с вами будут говорить только на национальном.

И.Я.: Конечно. Нужно быть клиническим идиотом, чтобы предполагать, что государственные институты, скажем, независимой Украины будут ставить перед собой цель торможения национальной консолидации.

И.Д.: А возрождение национального языка ведет к национальной консолидации?

И.Я.: Вне всяких сомнений. Есть, конечно, страна Ирландия, которая говорит по-английски, но в общем национальный язык безусловно являет собой консолидирующее начало. В культурологической теории есть гипотеза Сепира-Уорфа, которая утверждает, что язык несет в себе модели, в которых человек описывает мир. В языке в скрытом виде содержится культурный космос его носителей. Русский, говорящий по-русски, воспроизводит русский культурный космос, русское видение мира, русское переживание мира... А для того чтобы быть таджиком, надо говорить на таджикском. Таджикский культурный космос нельзя адекватно, во всей полноте выразить по-русски. В равной мере литовский культурный космос идеально выражается только на литовском языке, грузинский — на грузинском, армянский — на армянском.

И.Д.: Вот! Это самое интересное. Национальный культурный космос. Он существует? Он неизменен? Он является основой национальной культуры?

И.Я.: Культурный космос в главных своих характеристиках устойчив и, безусловно, существует. Пока жив народ и жив, заметим, его язык, жив и культурный космос. В общем смысле культурный космос представляет собой совокупность принципиальных оснований той или иной культуры. Второстепенные же черты меняются, и меняются весьма прихотливо.

И.Д.: А что бы вы назвали константами русского культурного космоса?

И.Я.: Это огромная тема. Я назову лишь некоторые его универсальные черты, которые до сегодняшнего дня воспроизводились при любых изменениях в сфере культуры.

Русский космос несет в себе некий идеал. Смысл его состоит в том, чтобы все со всем было соединено и ничто не выделялось и не расчленилось. В русской крестьянской среде существовала традиция социальной утопии. Народное воображение помещало идеальное общество в трансцендентное далёко и называло его Опонским Царством, Беловодьем. Как они описывались? В этом мире правит крестьянский царь, который сам пашет землю. Там нет ни купцов, ни ростовщиков, ни богатых, ни бедных. Это мир, где все равны, где люди не разделены ни по профессиям, ни по богатству, ни на городских и сельских жителей — никак.

Давайте вспомним более близкие времена и хорошо знакомую нам дисциплину под названием «научный коммунизм». Помните характеристики коммунистического общества? Слияние города и деревни. Слияние труда умственного и физического. Расцвет и сближение социалистических наций. Отмирание государства, то есть снятие разделения на власть и подвластных. Разумеется, при коммунизме не будет ни бедных, ни богатых. Коммунистическая мифология не додумалась разве что до слияния мужчины и женщины с образованием гермафродита. Все остальное там полностью сливается. Для традиционного российского сознания утопии, которые предполагают нераздельность мира, обладают бесконечной притягательностью. В науке такое состояние социокультурного космоса описывается понятием синкрезиса. Все связано со всем, все во всем, ничто не выделилось. Традиционным сознанием такое состояние переживается как абсолютный идеал.

В сущности, этот идеал фиксирует параметры догосударственного бытия. Перед нами идеализированный образ общества до образования государства, до цивилизации, до социального расслоения. И здесь мы имеем дело с чрезвычайно устойчивыми структурами сознания. Почему какой-нибудь немолодой, придерживающийся традиционных взглядов гражданин Российской Федерации не приемлет душой владельца предприятия — капиталиста, при том что вполне терпимо относился к советскому директору того же завода? Потому что капиталист разорвал связь власти и собственности, а директор завода был одновременно членом райкома партии (власть небесная) и членом исполкома (власть земная). Дробления власти и собственности традиционное сознание не принимает. И это — тоже важная характеристика русского культурного космоса.

В обществе, которое живет в истории, такого рода идеал противостоит самой

логике исторического процесса, ибо объективное содержание истории — процесс постоянного дробления исходного синкретизиса. Отсюда проистекает вторая основополагающая черта русского духа, или русского культурного космоса: *русское сознание эсхатологично*, оно существует под знаком ожидания конца этого мира, который все больше погрязает в несправедливости, дробится, уклоняется от должного. Но однажды — то ли новый мессия придет, то ли коммунизм настанет — все это недолжное снимется, и воцарится идеальное бытие, где все будут одинаковы, всё со всем связано, ничто не расчленено.

Дальше. Русская культура мыслит мир в категориях должного и сущего. Должное — это идеал, который *в принципе* не может быть воплощен на земле, потому что он противоречит природе вещей. Но этот идеал воспринимается как норматив. На бытовом языке данную ситуацию можно сформулировать следующим образом — чаще всего так не бывает, но так должно быть. А сущее — это профанный мир, в котором мы живем. Вспомним типичного интеллигента последних советских десятилетий. Квартира у него разваливалась, жена стирала руками, потому что стиральная машина не работала, лампочка постоянно перегорала, а он сидел на кухне и за рюмкой чая с друзьями страстно обсуждал Бердяева, то есть пребывал в сфере духа, радел о должном, о высших законах справедливости, о том, каким надлежит быть миру.

Тем временем «мещанин» обустроивал свой мир, делал его удобным, строил дачу, что-то выращивал, а выше помянутый интеллигент презирал его. Вот вам еще одна характеристика. Для западного человека окружающий мир не презренная сущность, а объективная реальность, которая подлежит постоянному усовершенствованию. С точки зрения русского духа, мир, в котором мы живем, улучшению не подлежит, и то, что делает Запад, с позиций традиционного русского космоса, — путь бессмысленный, мало того, ведущий к бездуховной жизни. Возможно лишь преобразование мира: однажды происходит чудо — революция или еще что, — и мир *чудесным образом* преобразуется. Почему — вопрос бессмысленный. *В рамках этого сознания преобразование мира — акт магический.*

И.Д.: Раньше вы обмолвились о том, что русская логика, или русский дух, или русская национальная культура — имперские по своей сути. Что это означает в философском смысле?

И.Я.: Традиционные для России идентичности носят идеологический характер. Слова «я — православный» или «я — советский человек» фиксировали принадлежность к мировой религии. А мировые религии универсальны. Русское сознание не мыслит каких бы то ни было границ русского мира. Этот мир стремится к экстенсивному росту, в пределе — к охвату всей земли. Помните советский герб? Пятиконечная звезда возвышалась не над СССР, а над земным шаром. Почитаем российских традиционалистов и узнаем, что цели у России только идеальные, неземные, духовные. Можно подумать, что Россия — нечто вроде Тибета, страна, находящаяся ближе к небу, где люди много молятся и читают «Добротолубие». А эмпирически Россия — империя, которая устойчиво стремится к доминированию в мире. Иными словами, существует дистанция между идеальной моделью и реальной природой российского универсума.

В строчках Высоцкого о стремлении к горизонту выражены глубоко лежащие и важные для русского сознания сущности. *Русская культура экстенсивна*. Это — важная сущностная характеристика нашей культуры. Пространственная экспансия — только одна из форм выражения ее экстенсивной природы. Если Запад идет по пути интенсификации и возделывает свой ограниченный объем ресурсов и пространства, постоянно его улучшая, то Россия устойчиво реализует экстенсивную стратегию развития. Вот вам еще одна характеристика русского культурного космоса.

Недавно ушел из жизни замечательный русский философ и культуролог Александр Самойлович Ахиезер. Он говорил, что русская культура — культура манихейская. Манихейство — религиозная доктрина, которая предполагает наличие двух космических сущностей: Света и Тьмы, духа и материи, добра и зла. Они ведут между собой вечный бой. Я с ним согласен. Вы можете мне объяснить, почему студенты, которые летом отрабатывали так называемый третий семестр, назывались «бойцами стройотрядов»? Почему строительство коровников должно быть боем? Вспомните советскую фразеологию: трудовой фронт, идеологический фронт, соратники, классовая борьба, «Битва в пути»... Советская культура была пронизана манихейским

пафосом. В России массовый человек все окружающее воспринимает сквозь призму борьбы, всех со всеми, света и тьмы, «нас» и «их». Соседка по коммунальной квартире, с которой ты поругался, представляется воплощением вселенского зла. Это принципиальная для русского культурного космоса характеристика. В одной из своих работ Александр Ахизер делает тонкое замечание: когда мы читаем «Житие Бориса и Глеба», то видим, что Святополк Окаянный, который предстает убийцей отроков, не становится плохим и потому убивает своих братьев, а *изначально, от рождения, является* носителем зла. Это глубоко манихейское представление. Для манихеев, например, любые переговоры есть вещь ненужная и опасная. Если инициатива в переговорах принадлежит противнику, значит, он стремится выиграть время и разоружить тебя. По существу же переговоры не могут ничего изменить. Компромисс для манихея всегда нравственно сомнительная вещь. Если западный человек ищет компромисса, считая, что худой мир лучше доброй ссоры, то в России стратегия обострения конфликта первична.

И, наконец, *русская культура есть культура гностическая*. Основной посыл гностицизма состоит в том, что мир, в котором мы живем, не создан благим и совершенным Создателем. Мир онтологически несовершенен. Боль и страдания пребудут, пока он существует. Практически это означает, что наш мир нельзя улучшить, и, следовательно, любая деятельность по его улучшению (постройка красивого дома, организация удобного образа жизни) — бесплодна, ибо мир порочен по своей природе. В нем не может быть ни добра настоящего, ни радости настоящей. Поэтому-то монашеское отречение от мира в русской традиции есть высший подвиг. Идея мироотречности органична русскому культурному космосу. И только в магическом преображении — во Втором Пришествии или вследствие еще какого-нибудь чуда — наш мир способен стать другим. Попытки же его усовершенствовать — дело бесовское. Человек успешный — красивый, богатый, жизнерадостный, удачливый — в традиционном сознании вызывает иррациональную неприязнь. Почему? Потому что этот человек не страдает, а бытие должно быть страданием. Вам известна такая широко распространенная в нашей стране практика, как обмен негативными новостями? «Как дела?» — «Ой, ужас! Ребенок болеет, муж совсем замучил, на работе неприятности...» — «А у меня еще хуже!..» Этот обмен носит почти ритуальный характер.

И.Д.: Да уж, просиять белозубой улыбкой и ответить: «У меня все прекрасно!» — это не по-нашему.

И.Я.: А на самом деле смысл подобного обмена негативной информацией в том, что один русский говорит другому русскому, что он настоящий гностик. В мире могут быть только плохие новости, хороших не бывает. Оптимист в России — существо как минимум странное.

И.Д.: Но ведь в последние полтора десятка лет произошли такие существенные изменения в нашем обществе, неужели они никак не отразились на национальном сознании?

И.Я.: Давайте посмотрим на среду, которая вокруг нас складывается в последнее время. Все-таки появился рынок, появилась потребительская психология. Хотя скажем честно: они не родились из русской почвы, а пришли «оттуда». Но привычный советский мир, хорошо нам знакомый, мир не только аскетичный, но и принципиально безрадостный, мир неудобных вещей, унылых серых улиц пока жив. И это неудивительно, потому что он является не только выражением особенности социализма как типа экономики, но чем-то более глубоким. Вспомним: венгры, или гэдэровские немцы при том же социализме создавали более уютный, более мещански обустроенный и комфортный мир. В русском универсуме мироотречности больше, чем это нам представляется.

И.Д.: И все же сейчас описанный вами русский культурный космос переживает глубокий кризис. У приверженцев традиции новые веяния вызывают большую озабоченность и печаль, но молодежь в значительной массе своей эти новые веяния осваивает.

И.Я.: Что я могу сказать в утешение традиционалистам? Между 1900-м и 1917-м годами в России наблюдались точно такие же тенденции. Ведь до того русское дворянство если и обустривало свой мир, то делало это не в качестве частных лиц, а в качестве носителей определенной государственной функции, то есть как люди, причастные к Власти. А вот приватное буржуазное стремление к личному комфорту громко заявляет себя лишь с начала XX века. Но в 1917 году народ поднял-

ся — неумоготу было видеть людей, которые пытаются как частные лица жить хорошо, удобно и красиво (это разрушало святые устои), — и смел этот мир. Правда, сейчас я не вижу сил, которые могли бы подняться. И в этом смысле у традиционалистов есть основания для беспокойства, потому что мир, удобный для человека, мир комфортный имеет свойство затягивать. А традиция, к сожалению, — а может быть, и к счастью, — не вечна.

И. Д.: Значит, происходит все же разрушение, или видоизменение национальной культуры? Возможно ли, что описанный вами русский культурный космос действительно изменится?

И. Я.: Видите ли, когда мы говорим о разрушении, то, отдавая себе в этом отчет, или не отдавая, вносим в это слово некую оценочную характеристику. Я думаю, что та традиционная культура, которую я попытался описать, говоря высоким научным стилем, исчерпала возможности дальнейшего развития. Люди, которые живут в соответствии с ней, в сегодняшний мир не вписываются. Нужно либо этот мир отменить, но я не представляю, как это можно было бы сделать, если не принимать в расчет ядерную войну и уничтожение всего человечества (пока, слава богу, эти сценарии в России не актуальны; разве что в мире исламских радикалов, где наблюдаются некоторые сходные тенденции), либо меняться самим. А меняться частично уже невозможно. Комплекс характеристик, которые я перечислил, не может уходить частями, поскольку все элементы в нем взаимосвязаны. Я думаю, что мы находимся в процессе, который в науке называют фазовым переходом. Мы стоим на грани качественных изменений. Тот традиционный культурный космос, который я попытался охарактеризовать, уходит в прошлое. Последние его носители — поколение Великой Отечественной. Последующие уже в той или иной степени от него отошли. А любые сегодняшние попытки разных политических сил склепать симулякр традиционного мира бесперспективны по причине неадекватности этих культурных ориентиров современности.

И. Д.: Как вы сами сказали, в нашей истории уже предпринимались попытки изменить традиционную культурную парадигму, но они оказывались безуспешными. Вы считаете, что сейчас у перемен появился шанс?

И. Я.: Видите ли, культуры живут тысячелетиями, и может возникнуть иллюзия, будто национальная культура вечна. Но где сейчас культура Древнего Египта, где античная греческая и римская культуры? Длинное не значит вечное. Культурная традиция уходит в тот момент, когда перестает быть эффективной в базовом смысле, то есть когда она перестает эффективно воспроизводить своего носителя. Однажды античное миропереживание, античное понимание мира, способ жизни на этой земле оказались бесперспективными. Мысля и чувствуя по-старому, нельзя было рожать детей, успешно воспитывать их, идти вперед. И на смену античному миру пришло христианство — более эффективная на тот период модель бытия. Кто-то скажет: прошлые языческие боги умерли, и им на смену пришел истинный христианский Бог. Это — идеологическое суждение, верующий христианин имеет на него право. Но человек, принадлежащий пространству гуманитарного знания, скажет по-другому: античный политеизм исчерпал себя. Христианский монотеизм оказался более адаптивным, он успешнее описывал изменившуюся реальность, вписывал человека в мир.

Так и наша культура. Она существовала достаточно долго, пока позволяла обществу быть эффективным, пока оно, российское общество, себя воспроизводило. Сейчас у нас коэффициент рождаемости меньше показателя 2,1, который необходим для самовоспроизведения. Культура себя не воспроизводит, а значит, переживает кризис.

И. Д.: Как вы считаете, насколько власть предрержающая способна повлиять на изменение культурного космоса в нужном для выживания общества направлении?

И. Я.: В том, как вы сформулировали вопрос, содержится имплицитная установка, будто власть обязательно действует на культуру в том направлении, которое соответствует стратегическим задачам общества. Между тем совсем не всегда власть исходит из стратегических интересов народа. Скажите мне, в какой степени власть кайзеровской и фашистской Германии действовала в соответствии со стратегическими интересами немецкого народа? Она погубила огромное количество немцев и загнала страну в исторический тупик. Таких примеров немало. В принципе в эпоху

кризисов власть может кое-что сделать. Но для этого она должна видеть дальше, чем видит население. Она должна быть на уровне тех долгосрочных исторических задач, которые стоят перед обществом. Отнюдь не всякая власть способна выйти на такой уровень понимания и видения.

И.Д.: А вообще бывает такая власть?

И.Я.: Бывает, но, между прочим, иногда она кончается трагически. Если власть по уровню понимания равна населению, она не может мыслить стратегически. Если же слишком далеко ушла вперед от массы, ее политика не сработает, такую власть сметут. Помните, в Иране был шах, который активно модернизировал и вестернизировал иранское общество? Он плохо кончил. Есть еще один пример, против которого наверняка восстанут многие традиционалисты, но он показателен. В последние полтора века истории Византии правящая элита постепенно осознавала, что православная империя исторически проиграна. А это означало, что единственный выход для Византии был в союзе с Западом, то есть с католическим миром, ненависть к которому сама же Византия веками пестовала. Однако такой союз был возможен только на условиях Запада. За полтора десятка лет до 1453 года, когда турки взяли Константинополь и Византийская империя рухнула, ее элита — император, патриарх и их окружение — провела огромную работу, расставила нужных людей на нужные места и создала предпосылки к созыву собора, на котором должна была быть утверждена религиозная уния православия и католицизма. Уния была непременным условием военно-политической помощи Запада. В 1439 году Флорентийско-Феррарский собор состоялся, и уния была подписана, но все пошло прахом. В самой церкви произошел взрыв — масса не приняла решения элиты. Постановление Флорентийского собора было проклято и отменено. После этого Византия просуществовала менее десяти лет. Вот пример, показывающий, что власть не может позволить себе слишком сильно отрываться от населения. В этом диалектика политики. Политик должен быть выше толпы. То, что представляется бесспорным широким массам, настоящий политик обязан проблематизировать в своем сознании. Но при этом он не может позволить себе слишком далеко отрываться от массового уровня понимания и мышления.

Возвращаясь к вашему вопросу. В критические моменты истории можно и нужно разрабатывать стратегию изменения общественного сознания. Но поскольку никто не может сказать точно, каковы должны быть оптимальные параметры завтрашнего общества, в такие эпохи власть среди прочего должна всеми силами создавать более плюралистическую ситуацию: препятствовать монополии одной идеологии или одной конфессии, не создавать жесткого исторического мифа и так далее. Надо поощрять создание разных учебников отечественной истории, литературы и позволять школам выбирать, по каким учебникам преподавать. Надо создавать предельно плюралистическую ситуацию в культуре, в науке, в искусстве, потому что в этом плюрализме тенденций вырабатывается механизм изменений. Выявляются более эффективные тенденции, наиболее интересные точки роста. Разумное поведение в ситуации глубокого кризиса состоит в том, чтобы доверять некоторым механизмам самоизменения, которые проявляются в самом обществе.

Насколько я могу понять, за последние 16 лет вектор нашего культурного развития разворачивается в прямо противоположную сторону. Ситуация 1992–94-го годов была более плюралистична, чем ситуация 1998-го, а ситуация 2007 года менее плюралистична, чем ситуация 2000-го.

И.Д.: Так что же делать?

И.Я.: Вообще говоря, и общество, и элита, и политическая власть в принципе могут какое-то время игнорировать объективные тенденции. Например, пока есть «железный занавес», можно плыть против течения. Но такая политика кончается утратой адекватности окружающему миру, резким падением эффективности и очередной экономической, политической или военной катастрофой. Вспомним конец николаевской России и Крымскую кампанию. В российской истории есть такая волшебная птица, появление которой маркирует завершение этапа очередного застоя. Ее зовут... жареный петух. Так вот, говоря метафорически, игнорирование объективных тенденций кончается этим самым жареным петухом, который клюет в известное место. Если и сейчас дойдет до этого, ситуация будет переформатирована и начнется следующая фаза нашего развития.

И.Д.: Надеюсь, все же по спирали, а не по замкнутому кругу.

И.Я.: В книге «Русская история: конец или новое начало», которую написали Ахиезер, Клямкин и я, мы рассматривали эту проблему. Наш вывод такой: русской истории свойственна цикличность, но это не движение по замкнутому кругу. С каждым циклом некоторый объем качественных перемен входит в общество. Россия сегодня не равна России 1907 года. Уровень модернизации, уровень встроенности общества в эпоху Модерна несопоставимо выше. В этом смысле время не проходит впустую. Исчезла та противостоявшая историческому развитию традиционная крестьянская культура, которая была решающей силой в начале предыдущего века. Общество меняется. Другой вопрос, достаточны ли эти изменения? Мы ведь живем не на планете Россия, а на планете Земля. История отбраковывает те общества, в которых изменения происходят в недостаточном темпе. А сказать точно, достаточны ли изменения, которые происходят в нашей стране, к сожалению, невозможно, оценка может быть лишь чисто экспертной. Мне представляется, что изменения, которые у нас происходят, гигантские. Если сравнить ситуацию двадцатилетней давности и сегодняшнюю, то видно, что страна изменилась радикально. Но при этом заведомо недостаточно.

И.Д.: Еще одна наша особенность? Замедленность динамики развития?

И.Я.: Да, Россия все время делает сегодня то, что нужно было сделать позавчера. Мы устойчиво запаздываем на полтора-два шага.

И.Д.: И это зеркально отражается даже в нашей бытовой культуре.

И.Я.: Да-да. Это стратегическое запаздывание. Ведь русский идеал повернут в сторону, строго противоположную движению мировой истории. Если идеал наш лежит в каком-то абсолютном «догосударственном послезавтра», то как мы можем поспевать за историческим движением? Когда немцы, французы или англичане изжили то, о чем мы с вами сегодня говорим? Ну никак не позже эпохи Реформации и Контрреформации. Были крестьянские войны, было восстание Уота Тайлера, были табориты, был Мюнцер... Но когда средневековая христианская эсхатология себя исчерпала, началось совсем другое развитие. А в России те идеи, которые вдохновляли сторонников Мюнцера, жили еще в начале XX века. Я очень хорошо помню людей, которые не с трибуны, а в бытовых спорах сокрушались: ну разве с такими людьми коммунизм построишь?! Для них коммунизм не был фикцией или пустой идеологической формулой, они искренне полагали, что его можно построить на земле. Это кончилось всего лет сорок назад.

И.Д.: И теперь еще можно встретить таких людей.

И.Я.: В любом обществе есть, скажем так, не совсем адекватные маргиналы, и я сегодня еще найду вам убежденных троцкистов и в Испании, и в Англии. Но в той же Англии коммунисты всегда были крошечной сектой. Там что фашистская, что коммунистическая партии составляли не более 6 000 человек. Совсем иное дело у нас. И речь не о политиках. Политики могут быть циничны и руководствоваться честолюбием или иными личными соображениями. Дело в том, что в России в эти идеи действительно верили. Это была фундаментальная установка, которая исходила из совершенно иного понимания человека, его природы, роли технического прогресса. Такие установки в принципе не компануются в реальность. Либо ты веришь в коммунизм — либо ты живешь в реальном мире. Я не даю никаких оценок, но, если люди понимают мир неадекватно природе вещей, общество, в котором таких людей много, разумеется, сталкивается с большими проблемами.

И.Д.: Изменения таких масштабов, о каких вы говорите, всегда идут крайне медленно, и в высшей степени болезненно. Какие силы в обществе и как могут облегчить, ускорить этот процесс и сделать его менее мучительным? Если такие силы существуют в принципе.

И.Я.: Государство, несмотря на то, что мы уже о нем сказали, может сыграть здесь свою роль, может ее сыграть политическая элита и те, кого мы называем интеллигенцией. Есть ли сегодня интеллигенция или она исчезла с окончанием советской эпохи и ее место заняли так называемые интеллектуалы, — тема особая. Но во все времена и во всех странах существует некая духовная и интеллектуальная элита. И в любом обществе есть люди, в той или иной мере наделенные гражданским темпераментом. Они связывают свою жизнь, жизнь своих детей и внуков со своей страной, а не с какой-то другой, они хотят, чтобы их внуки говорили на родном языке, а не на других языках, а это означает, что в их интересах менять окружающий их мир, развивать его, делать адекватней. В эпоху глубокого кризиса и смены парадигмы не

только власти могут и должны сыграть свою роль, свои роли должны исполнить и деятели культуры, и интеллигенция, и творческие люди. К сожалению, то, что я вижу по телевизору и читаю в газетах в последние 7—8 лет, меня очень сильно разочаровывает. Общество в лице своей элиты оказывается не на уровне тех исторических задач, которые стоят перед страной. Пока общество не разобралось с накопившимися проблемами, пока оно не сделало выводов из собственных исторических поражений хотя бы XX века, не выявило их причин и истоков, не назвало вещи своими именами, надеяться на позитивные перемены мудрено. То, что я вижу сегодня, — это консенсус, который складывается между правящей элитой и массой: надо, мол, создать некую обобщенную, упрощенную мифологию недавней истории и забыть обо всех больших вопросах. Это путь как минимум к очень большим проблемам завтра и послезавтра, если не к большим потрясениям. Я не пугаю. Я лишь обращаю внимание на то, что, если бы мы располагали неограниченным временем, то можно было бы надеяться, что кто-то когда-нибудь во всем разберется и что-то изменится. Но мы живем в реальном масштабе времени.

И.Д.: Видите ли вы в сегодняшнем российском обществе силы, которые если не сегодня, так завтра окажутся способными повести за собой к этим необходимым переменам?

И.Я.: Люди безусловно есть. Вопрос в том, слышат ли их широкие массы, имеют ли они выход к источникам информации. Пока общество живо, пока есть люди с умом, совестью, наделенные интеллектуальным мужеством, а это совсем не часто встречается, надежда остается. Существуют такие понятия, как стратегическое видение и тактическое видение будущего. Что показывает история? Когда общество на подъеме, его правители видят мир стратегически. Можно по-разному оценивать Ленина. Я антикоммунист, мое отношение к этому персонажу однозначно. Но, независимо от того, было ли это реальное понимание мира или чистая мифология, Ленин был стратегом, он верил в Мировую революцию. Сталин безусловно был стратегом. Он был человеком имперским и целеустремленно клепал Великую империю. Даже Хрущев принимал Программу КПСС, обещал построение коммунизма через двадцать лет. Но начиная с Брежнева идет сползание к сугубо тактическому политическому мышлению. То, что я вижу сегодня в нашей политике, никакого отношения к стратегии не имеет, сколько бы ни говорили о планах и ни произносили с трибун слово «стратегия». Сегодняшняя политическая элита решает некие тактические задачи, и я сильно подозреваю, что не в последнюю очередь — свои личные и корпоративные. Если изменятся какие-то параметры — экономические, политические, — очень многие из тех, кто отрабатывает сегодня генеральную линию, быстро перекарасятся, перестроятся и будут исповедовать совсем иные идеи. Мое убеждение состоит в том, что та политика, которая сегодня реализуется, не соответствует стратегическим интересам народа России.

Она может быть достаточно популярной и находить поддержку в обществе: изменения всегда болезненны, а застои и популизм всегда комфортны. Но в эпохи застоя проедаются ресурсы и утрачивается историческое время. В это время другие страны, в том числе и наши соседи, проводят необходимые преобразования, наращивают свою конкурентоспособность. Когда нам придется выходить из очередного застоя, общеисторическая ситуация будет менее благоприятной, чем в его начале. Можно залепить дырку в зубе жевательной резинкой и вместо того, чтобы идти к стоматологу, ходить на пляж. Но когда зуб разболится по-настоящему, лечение будет куда дороже и гораздо болезненнее. И это еще не самый худший вариант. Зуб могут и удалить, давайте об этом помнить.

И.Д.: Возвращаясь к исходному тезису о кризисе российской культуры, как вам видится перспектива его разрешения?

И.Я.: Я скажу следующее: если перед обществом стоят проблемы и оно находится в кризисе, значит, это общество живо. Кризис как минимум дискомфортен, а может быть ужасным и даже трагичным. Однако всякий кризис активизирует иммунные механизмы, включает системы самосохранения общества и культуры. В этом смысле кризис сам по себе несет и шанс на выздоровление. И чем острее кризис, тем мощнее реакция жизнеспособного общества на тот исторический вызов, который его породил.

«Я хочу рассказать вам...»

Литературные события 2007 года

Роман Арбитман, литературный критик (Саратов)

На что способно чистое Слово?

«Слово — серебро, молчание — золото». Ну и что с того? Жизнь — не ювелирный магазин, где все решают цены за унцию и за карат. Серебро, между прочим, в отличие от золота, помогает от вампиров. Пока наши рты не забиты глиной, лучше уж не молчать, господа. Не жевать, а говорить. Произносить, артикулировать, расставлять точки над *i*, плакать, смеяться, понимать...

Из книг, прочитанных мною в прошлом году, выберу три, объединенных темой Слова. Все три так и запомнились — вместе, несмотря на то, что принадлежат к разным жанрам.

Событие года, прошедшее мимо большинства моих коллег-критиков, — роман киевских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко «Vita Nostra» (М., «Эксмо»). Мир состоит из людей-чисел, но изменить его могут лишь люди-слова. Сила их велика, однако процент ничтожен, а истинная природа чаще всего скрыта от самих уникамов. Правда, их способности можно развить, если подобрать ключик к каждому, быть настойчивым и абсолютно не стесняться в средствах... Марина и Сергей создали в узнаваемых бытовых реалиях притчу, мрачноватую и завораживающую. Сашка Самохина, главная героиня романа, долго не подозревает, отчего ее преследуют и почему направляют ее судьбу, определяя ее после школы в странный Институт специальных технологий в городе Торпа. Ускользнуть невозможно. Одна ошибка — и за твое непослушание здоровьем (как минимум) расплатятся твои же родные и близкие. Увы, Институт ничуть не похож на благообразный Хогвартс из сказки про Гарри Поттера. Скорее, это механическая пыточная машина из рассказа Кафки; удавка, из которой не вырвалась бы даже люк-бессоновская Никита; беспощадная корпорация «Бросайте курить!» из рассказа Стивена Кинга. Тут все всерьез: не хочешь — заставим, не можешь — зароем. Страх — главная мотивация, остальные в расчет не берутся («Вы внутренне незрелы, поэтому вас надо заставлять, и заставлять жестоко...»). Бесплезно вкатывать права человека: педагоги — давно уже не люди. Более того, профилирующие дисциплины должны и студентов к третьему курсу превратить в некую философскую абстракцию, совокупность символов, архимедов рычаг. К финалу выясняется: возможности выпускников Торпы (кто выживет) будут безграничны: солнце останавливать — без проблем, разрушать города — дела на один чих. Но что вообще такое — перестать быть человеком? И на что способно чистое Слово, бывшее когда-то девочкой Сашкой Самохиной? Ответы остаются за рамками сюжета. Впрочем, фантасты Дяченко выросли в литературоцентричной стране, и мысль о том, что «одно слово правды весь мир перетянет» им близка — пусть и с поправкой на специфику *fantasy*...

А вот цитата из другой книги: «Вскормленные языковой лебедой и языковой мякиной, учителя в свой черед питают той же сухомяткой черствых и мертвых словес все новые поколения ни в чем не повинных ребятишек». С 1972 года, когда вышло первое издание книги «Слово живое и мертвое» Норы Галь, знаменитой переводчицы (Камю, Экзюпери, Драйзер, Лондон, Мюзе, Брэдбери и др.), эта гневная фраза ничуть не устарела. Напротив: доживи автор до наших дней — и число собранных с грядок словесности языковых нелепиц, жутких и смешных, возросло бы многократно. Однако книга Норы Галь — не только страстное «Я обвиняю!», но и палочка-выручалочка для переводчиков, редакторов, писателей; это своеобразный ликбез для начинающих и в то же время напоминание маститым. Показав, «как не надо», автор разъясняет, КАК исправить недочет и в итоге уберечься от роковой фразы «непереводимая игра слов». В новое, седьмое по счету издание (его выпустило московское «Время») вошли статьи, стихи, переписка с коллегами, издателями и читателями, а также целый раздел воспоминаний об авторе плюс библиография ее работ. О некоторых примечательных фактах мы прежде не подозревали. Например, о письме Норы Галь в защиту братьев Стругацких, когда в середине 60-х по ним ударили из «известинского» калибра. А известно ли вам, что первая публикация «Маленького принца» на русском в журнале «Москва» (1959) состоялась благодаря поддержке Льва Овалова — зама главного редактора журнала и, кстати, автора небезызвестных рассказов о майоре Пронине?..

Последняя из книг, о которых пойдет речь, — тоже о цене Слова. 21 августа 1968 года советские танки вошли в Чехословакию: кремлевские руководители опасались, что чешский социализм может обрести «человеческое лицо». Спустя четыре дня Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская и Виктор Файнберг в полдень вышли на Красную площадь с плакатами, протестуя против оккупации. За «несколько минут свободы» всем участникам демонстрации пришлось расплатиться годами тюрем, ссылок, психушек. Книга Натальи Горбаневской «Полдень» прежде выходила четырежды иностранными изданиями, но в России впервые опубликована лишь в конце 2007-го: московское «Новое издательство» выпустило ее одновременно с известными мемуарами «И возвращается ветер...» Владимира Буковского. Авторский текст в книге Горбаневской занимает не так уж много места, зато обильно представлены документы тех лет — тексты кассационных жалоб адвокатов, открытые письма, статьи, свидетельства. Особое место занимает запись заседания Мосгорсуда. Речь прокурора — замечательный образчик советского новояза: «К сожалению, среди нашего 240-миллионного народа имеются морально неустойчивые... их объединяют антиобщественные поступки, неудержимая страсть к спиртным напиткам, к разврату и тунеядству... Они не только сами неправильно мыслят, но и распространяют заведомо ложные... своими действиями нарушили работу транспорта, мешали пришедшим на Красную площадь знакомиться с достопримечательностями...» Стилистика, знакомая до боли. Дурно пахнущие мертвые слова, подобные этим, кажется, вновь прорываются сегодня с трибун. В этой связи давняя книга Горбаневской, похоже, становится чертовски актуальной. «Полдень» выглядит не только воспоминанием о прошлом, но, увы, и предупреждением на будущее.

Сухбат Афлатуни, прозаик (Узбекистан)

Читайте, выздоравливайте

Приходит читатель на прием к литературному критику. Взял номерок, высидел нудную очередь. Заходит в кабинет, переминается. Критик (в очках, из-за стола): «Так. На что жалуетесь?» Читатель: «Аппетит, знаете, полностью утерян. К чтению. Особенно к современной, этой самой, литературе. Совсем не могу ее потреблять.

Даже мелкого размера и в гляцевых капсулах. Что только не пробовал, и солененькое, и остренькое, и эту, с клубничным наполнителем. А про постмодернизм, так вообще не говорю: проглочу пару страниц и, извиняюсь, все обратно». Критик (треплет бородку, встает из-за стола): «Так. Типичный случай. Ну-ка, откройте рот. Покажите язык...» Читатель: «Ы-ы-ы...». Критик: «Так. Все понятно. Проблемы у вас с языком. С языком современной русской литературы. Вы поэзию как, читаете?». Читатель (усиленно вспоминая): «Ну да. Пушкина... Пастернака еще...» Критик: «Ну, это, конечно, из рациона не исключайте. А вот современную? Перед сном, хотя бы пару страничек?» Читатель: «А почему именно поэзию?» Критик: «Лечебный эффект сильнее, концентрация языка выше. А рекламы вокруг нее никакой. Пухлую прозу можно приобрести почти в каждой аптеке, поэзия — хорошая, разумеется, — продукт редкий, гомеопатический!

...Итак, называю поэтические книжки 2007 года, чьи лекарственные свойства для меня очевидны.

Алексей Макушинский, «Светзадеревьями» («Алетейя», Санкт-Петербург, 2007). Стихи — настой европейских трав, полупрозрачных, произросших на сытных атлантических ливнях (автор живет в Германии). Лекарственный эффект возникает от многообразия — перечисления — разных ингредиентов, как полезных, так и сомнительных, но — дорогих:

Она курила папиросы «Север» и питалась швейцарским сыром
(пастилой, крепким чаем). Мне нравилось держать ее за руку
с неразгивавшимся мизинцем (в который, как она утверждала,

ее укусил скорпион, в Ташкенте, в эвакуации).

Она читала мне взрослые книги, Толстого,
но и какие-то советские повести из тогдашних журналов...

Или:

Уже прошлое похоже на материк,
обведенный фломастером, со штрихами
дожда на западе, пустынями на востоке.
Но еще мы собираем сумку и едем в город,
где до сих пор не бывали. Солнце
бежит по каналу вдоль темных лодок...

Упаковка полностью соответствует названию и настроению книги: квадратные пятна домов, прозрачные щеточки облетевших деревьев. Принимать: вместе со швейцарским сыром и крепким чаем. Эффект: ощущение покоя, мягкой задумчивости, удивленности перед многослойной и шуршащей структурой мира.

Глеб Шульпяков, «Желудь» («Время», Москва, 2007). Желудь — продукт натуральный, лекарственный. Возможно, отсюда — усиливающийся лаконизм одноименной книги, ее вязкая, горьковатая материя:

невысокий мужчина в очках с бородой
на чужом языке у меня под луной
раскрывает, как рыба, немые слова,
я не сплю, ты не спишь, и гудит голова —
значит, что-то и вправду случилось со мной,
пела птичка на ветке, да стала совой,
на своем языке что-то тихо бубнит
и летит в темноте сквозь густой алфавит

Принимать: желательно, прочитав и предыдущую книжку Шульпякова, «Щелчок» (хорошо читаются вместе: двойной эффект). Побочные действия: легкие галлюцинации, лирический шум в голове.

Санджар Янышев «Природа» (М.: Издательство Р. Элинина, 2007). Для ценителей восточной медицины, верящих в целебные свойства исырка, заговоров «куф-куф», магического троекратного повторения слова «халва».

Один повар мне и говорит:
 Притворись Хусаном, будь иногда Хусан.
 Пусть жена по четвергам тебя не будит, пока солнце не зайдет,
 А сама тем временем твои ступни, живот и мочки твоих ушей
 Натирает этим именем; пусть настаивает его
 В темном сухом месте — да хоть бы и в чреве своем —
 А потом по одной средней пьялушке два раза в сутки тебе дает.
 Это будет разумно, ибо ты рожден не один.
 Ты — близнец. Погляди-ка в крышку моего казана:
 Вот этот кусочек коричневой луны — это ты,
 А вот этот, побольше, — твой брат...

Ощущение: восточное барокко; долгая затычка кальяном среди суетливого, пришибленного глобализацией мира. Применять: как и сказано — натирание, дав настояться в темном сухом месте — растянувшись и зажмурившись на западно-восточном диване.

Легким наркотическим действием обладает и последняя книжка Александра Кабанова «Облака под землей» (М.: Издательство Р. Элинина и серия «Русский Гулливер», 2007).

Не глазей на меня, перламутровый череп сатира,
 не зови за собой искупаться в парной чернозем.
 Облака под землей — это горькие корни аира...
 ...и гуляют кроты под слепым и холодным дождем.

Мы свободны во всем, потому что во всем виноваты,
 мы — не хлеб для червей, не вино — для речного песка.
 И для нас рок-н-ролл — это солнечный отблеск лопаты
 и волшебное пенье подвыпившего рыбака.

Ощущение: пьяный Куинджи или увлекшийся фовизмом Айвазовский — встряхивает. Восхищает. Слегка утомляет играми с аллюзиями и цитатами — при передозировке. Хранить от детей.

Тем, кто верит в целебные свойства меда — скальдического Меда Поэзии, — книга Ирины Ермаковой «Улей» (М.: «Воймега», 2007). Мед Ермаковой настоян на изумительном дегте — дегте городских окраин, сырых подъездов и прокуренных кухонь:

Темная ночь, но почти не темно.
 Светится лифт — позвоночник подъезда,
 ползает, старый скрипач, и фонит.
 Взвод фонарей вдоль Москва-реки вместо
 светится звезд. Телевизор горит.
 Светятся окна — как в прошлом столетии,
 в синей конфорке светится газ,
 и, как еще не рожденные дети,
 мертвые, бывшие, — светятся в нас.

Эффект: полета, отлипания от зароговевших поверхностей, парения над городом (так, кстати, и выглядит Упаковка: фрагмент аэросъемки неизвестного города с черной трещиной реки). Принимать: лучшее время — вечер, при первом, еще осторожном, свете фонарей.

Вот, пожалуй, для начала хватит. Читайте, выздоравливайте...

(В заключение попрошу у коллег по цеху прощение за несколько несерьезный тон, каким рекомендовал-рекламировал их книжки. Постараюсь — как компенсацию — в ближайшее время опубликовать на каждую из названных по маленькой, но очень серьезной рецензии.)

Дмитрий Быков, поэт, прозаик, литературовед (Москва)

Литература отдувается за все

Отделаться рассказом об одной книге в этом году никак не получится — потому что знаковых (и не самых раскрученных) книг было несколько десятков. Литература, как всегда, отдувается за философию, политологию, социальную психологию и дюжину других дисциплин, нащупывая реальность и осмысливая тенденции.

Россия становится страной все более кафкианской — и немудрено, что лучшим романом, напечатанным в 2007 году «Амфорой», выглядит «Дом» Оксаны Бутузовой; написан он два года назад, но пришелся ко двору только сейчас. Бутузова, правда, утверждает, что ситуация, при которой таинственные надсмотрщики сначала начисляют домостроителям баллы по мере роста благосостояния, а потом выгоняют из дома и обнуляют счета, не социальна, а экзистенциальна (Виктор Топоров назвал «Дом» консьюмеристским романом, — воистину у кого что болит). Автор утверждает даже, что надсмотрщики — как и наставники у Стругацких в «Граде обреченном» — скорее метафора совести, нежели внешнего угнетения. Все так, и тем не менее атмосфера несвободы, давящего неуютя, доминирующая в сказочном романе Бутузовой, красноречива. Метафора, лежащая в основе книги, универсальна: некие голые люди на голой земле вынуждены начинать жизнь с нуля, отыскивают убогие стройматериалы, сколачивают сначала кривые, а затем все более приличные и прочные дома (некоторые этого не умеют и прозябают в картонных коробках в надежде на удачное замужество или иную внезапную помощь); некоторые дома выстроены на деревьях, некоторые разъезжают на колесах и с оглушительным треском сталкиваются — у Бутузовой все в порядке с фантазией, и трактовать ее метафоры можно как угодно. Чего не отнять, так это нарастающего и неумолимого авторского презрения к любым попыткам обуздать мир, спастись от катастрофы, обустроиться, обставиться вещами, заслониться от пронзительного ужаса бытия. Роман жестокий, но милосердный — ведь ничто так не утешает, как твоя тайная боль, названная по имени.

Другой яркий роман этого года, тоже женский и тоже петербургский, — «Она что-то знала» Татьяны Москвиной. Москвина — мастер проговаривания вслух неназываемых вещей: об одних мы умалчиваем, потому что они слишком печальны, о других — потому, что они слишком тонки и не в наших силах вербализовать их. Для Москвиной этих преград нет: она способна артикулировать вслух то, в чем и наедине с собой не признаешься. Как и в первом романе («Смерть — это все мужчины»), детективная интрига выстроена небрежно и аляповато: прямо скажем, Москвина — не Агата Кристи, ей скучно учитывать мелочи, детектив нужен ей как приманка, хотя на фоне первого романа определенный прогресс налицо. Страшный стишок-пророчество, загадочные садомазохистские игры в советском пионерском детстве, мастерское нагнетание жутковатых обещаний и намеков — во втором романе Москвина все решительней избавляется от публицистичности и честно играет по готическим правилам, хотя то и дело сбивается на пародию. Но не в интриге суть: образы — вот где сила, и героини Москвиной на этот раз действительно оживают, не сводясь к схемам и опровергая собственные декларации. Впрочем, настоящая сила Москвиной — во внутренних монологах героинь, и здесь ей равных нет. Даже у Петрушевской (никогда, впрочем, не претендовавшей на интеллектуальность) не было такой социальной точности, таких убийственных диагнозов; Москвина, конечно, слишком зависима от гендерной тематики, она зациклена на этой теме так же, как иной крупный художник-почвенник — на ксенофобии; и все-таки всеобщая теория теток, выведенная главной героиней, или мечты безумной Розы о новом этапе богостроительства принадлежат к лучшим страницам русской прозы нулевых. Главное же — книга Москвиной дышит страстной тоской по главному современному дефициту, по той самой человечности, которая одна способна противостоять государственной лжи или мещанской тупости. Россия сегодня — очень бесчеловечная страна, в самом простом и буквальном смысле: людей мало, и они почти ничего не могут. Роман Москвиной — о людях, подлинных и несомненных, о сострадании, таланте, ответственности, то есть

обо всем, что делает человека человеком и страну страной. Русская идиллия из последней главы откровенно иронична — а все же автор сам готов верить в собственную провинциальную утопию, и читателя зовет туда же. Без некоторой собственной толики наивности не напишешь хорошего романа — этот совет Москвина-критик наверняка дала Москвиной-прозаику, и слава богу, что автор не боится трогательности и сентиментальности. Те, кто решил, что у лучшей петербургской критикессы в жилах «муравьиный спирт вместо крови», — жестоко обманываются: ее ненависть ко всякого рода арт-подделкам и полит-мнимостям — не от самомнения или кислой спеси, а от хорошего воспитания и доброго нрава. Мы забыли, что христианин должен быть по-честертоновски непримирим к возгордившемуся и распоясавшемуся злу; книга Москвиной на самом деле — очень христианская, и не зря она заканчивается обещанием бессмертия. Что до четырех авторских ипостасей, явленных нам изобретательно и пластично, — суммарный образ автора оказывается редкостно обаятелен. Хорошо, что в Москвиной есть и лукавая лицедейка, и обиженная семидесятница, и страстная ветхозаветная человеконенавистница, и православная мать семейства, и прохладная свидетельница нашей жизни, «агент письма», лирическая героиня, сознательно лишенная индивидуальности. Эта книга останется, хотя Москвина наверняка напишет еще лучше.

Третья писательница, опубликовавшая в 2007 году хороший маленький роман, — Виктория Токарева, чья «Одна из многих» заставляет говорить о серьезной и неожиданной эволюции признанного и всенародно любимого автора. Токарева никогда еще не писала так голо. Ей — как и Нилину, и Пановой, — сослужила хорошую службу кинодраматургия с ее вынужденным лаконизмом, точным диалогом, минимумом пейзажных и портретных зарисовок, не говоря уж о лирических отступлениях, которые сценаристу вообще запрещены. «Одна из многих» — готовый сценарий, но в нем нет той кинематографической — опять-таки вынужденной — внятности, однозначности, которой самое массовое из искусств требует от сочинителя. Это отнюдь не классическая история провинциалки в Москве: такие истории предполагают два варианта — либо историю о хищнице, завоевывающей столицу, либо драму чистоты, поруганной столичными хамами и хапугами. У Токаревой драма более глубокая и всеобщая: «Одна из многих» — хроника тотального вырождения. Ни в ком нет нравственного стержня, никто не удерживается от аморальных, жестоких, а главное — глупых поступков. Никому не приходит в голову оглядеться и осознать ничтожность происходящего. Был какой-никакой оплот, твердыня — малая родина героини, берег Азовского моря, степь; но и там в конце строят казино. Что неизбежного осталось в мире? Луна. К ней и устремлен авторский взгляд в последних строчках — в поисках хоть какой-то чистоты и постоянства. Жалкость, мелкость, жадность — всеобщий удел; странно, что мягкая, всепрощающая, снисходительная Токарева написала такую хлесткую и безрадостную вещь. Хотя что ж тут странного? «Достать», что называется, можно и Токареву. Если бы она считала сограждан безнадежными — незачем было бы рассказывать им эту историю, в которой никто не может противостоять соблазнам: все вызывают брезгливость — но и жалость. Москвина тоскует о человечности — Токарева тоскует по твердыне, по этическому императиву; все кругом даже слишком человеческое — каждый только и делает, что потакает себе. А ведь еще в «Рараке» героиня мучилась недостаточностью, ущербностью «просто жизни» — без вертикальной шкалы она ничтожна. Сегодня эта шкала упразднена — только Луна и осталась себе верна.

Что до мужчин, они радовали скупо. Максим Кантор выпустил «Вечер с бабуином» — сборник из семи черных комедий, развивающих тезисы гигантского романа «Учебник рисования». Преимущество пьес перед романом в том, что авторский указующий перст тут не столь заметен, а пафос вообще отсутствует: Кантор с великолепной точностью, избочливающей прицельный глаз живописца, изображает либералов, консерваторов, интеллигентов, работяг, чиновников, правителей — всех взвешивает на весах и находит очень легкими. Не зря в одной из пьес таксист оказывается Хароном, перевозящим нашего современника в небытие; выдержать канторовский взгляд непросто, и уж чего-чего, а снисходительности в его пьесах нет ни грамма. Выручает гротеск — он всегда оптимистичен: пока у человека есть силы преобразовывать мир, подвергая его осмеянию, — шанс не потерял.

Александр Житинский после долгого молчания (прерванного в 1997 году рома-

ном-буфф «Фигня») издал «Государя всея Руси» — отвязную, но вполне серьезную фантазмагорию, в которой главные особенности национального характера сформулированы с трогательной откровенностью: «Мы самые добрые, самые сильные, самые честные и никому не желаем зла». Утопия эта — уже вторая после романа Москвиной, вышедшая почти одновременно с нею и во многом сходная. Как всегда, правильной Россией оказывается сельская, и въезд туда сопровождается поломкой транспортного средства, словно сама природа говорит «Стоп, машина!». Аршином общим не измерить. Автор этих строк не без удовольствия прочел историю города Быкова. Вообще чего у Житинского не отнять — так это патриотизма. Он любит Россию не державной и грозной, а сострадательной и слегка растяпистой. «Государь», плюс ко всему, едва ли не единственный русский сатирический роман. В другое время книга могла бы сыграть серьезную роль в запоздалом строительстве нации... но теперь нация озабочена не поисками общих ценностей, а освобождением от любых ограничений и ценностей вообще. Думаю, эта книга по-настоящему сдетонирует лет двадцать спустя, когда основы идентификации придется выдумывать даже не с нуля, а от минуса.

Со стихами в 2007 году все тоже обстояло благополучно: как обычно, на высоте оказался все тот же Петербург, где вышла книга Али Кудряшевой «Открыто». Кудряшевой двадцать лет, она бывает и вторична, и чрезмерно экзальтирована, и порой «с усердием вламывается в открытые двери», но отрицать ее удивительный талант невозможно. Велик соблазн умилиться, как умиляются ее бесчисленные поклонники в ЖЖ, — ограничимся лишь констатацией, что во всей генерации нынешних студентов свой голос есть у нее одной, хотя отдельные удачные стихи есть у множества ровесников и ровесниц. Если упомянутый восторженный хор девичьих (и не только) голосов не собьет Кудряшову с пути и не отнимет у нее драгоценного раздражения против себя — без которого не бывает настоящего поэта, — у нас будут все основания ждать от нее действительно выдающихся достижений. К сожалению, автор этих строк сам поучаствовал в распространении опасной моды — писать длинные стихи в строчку, как прозу; возникает соблазн многословия и самоподзавода, с которым молодому автору особенно трудно бороться. Я знаю эти грехи за собой и легко обнаруживаю у других. Но у этого способа письма есть и преимущества — органика, снижение пафоса, сюжетность; Кудряшова живет бурно, трудно, и ей есть о чем говорить. В общем, «Открыто» — вполне открытие, и по непосредственности и оригинальности дарования сравнить Кудряшеву можно только с другой петербурженкой, Ксенией Букшей, у которой к 25 годам уже 12 написанных и 6 изданных романов. Букша пишет стихи между делом, отрываясь от занятий прозой, журналистикой или экономикой, но они так хороши, что закончить этот краткий обзор моих симпатий в литературе-2007 хотелось бы именно ими.

Вообще-то я ничего не боюсь,
А боюсь я только грозы.
Как услышу гром — сразу лезу под стол
И зажимаю глаза.

Вообще-то я ничего не боюсь,
А боюсь я только мышей.
Как увижу мышь — сразу лезу на стол
И затыкаю уши.

Но однажды в грозу я увидел мышь!

И не смог ни шагу шагнуть:
То ли влезть под стол?
То ли влезть на стол?
Что замурить, а что — заткнуть?

Я теперь обожаю встречать мышей,
И в грозу я просто влюблен,
Потому что нет ничего смешней,
Чем опасность со всех сторон.

Так и надо.

Николай Веревокин, прозаик (Казахстан)

Гнездо из полыни, гнездо из окурков

Есть экономный, исключаящий большие разочарования, способ следить за современной литературой. Для этого необходимо иметь трех друзей, литературному вкусу которых ты доверяешь. Читать следует лишь то, что все трое настоятельно рекомендуют прочитать. Это избавляет от изнурительной погони за новинками вслепую, чтения-поглощения и оставляет время для неспешного чтения-беседы.

Но для человека пишущего вынужден сделать самоубийственное признание: читаю в основном великих мертвецов. Точнее сказать, перечитываю. Вряд ли покажусь оригинальным, если скажу, что «Войну и мир» перечитал в пятый раз. «Степь» — в шестой. И не могу сказать точно, сколько раз возвращался к «Шинели», «Носу», «Пиковой даме».

В отличие от нас, ныне пишущих, классики более современны.

Особенно те из них, кто, как и мы, пережили свое крушение империи: философы Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой, Л.И.Шестов. Мне понятна пронзительная ностальгия И.А.Бунина, В.В.Розанова, других менее известных писателей, живших в эпоху перемен, как в эмиграции, так и в России. Их книги проясняют сегодняшний день. Так уж заведено: все, что читаешь, соотносишь со временем, в котором живешь.

Однако в последнее время непреодолимо тянет перечитать таких далеких от общественных потрясений авторов, как Лонгфелло («Песнь о Гайавате»), Торо («Уолден, или Жизнь в лесу»), Сетона-Томпсона, Паустовского (повести и рассказы о средней полосе России) и особенно Пришвина. Среди этого ряда — алма-атинский писатель Максим Дмитриевич Зверев. Как жаль, что новое поколение читателей незнакомо с ним.

Пытаясь разгадать ностальгию по авторам, которые не просто сторонились политических страстей, а явно убежали от них в невозмутимый мир природы, я, кажется, понял, в чем дело. В их выборе — рецепт: как не поддаться отчаянию в самых безвыходных ситуациях, сохранить чувство собственного достоинства и просто остаться человеком. Они не растворились без остатка в политических страстях, как в кислоте. Они выбрали одиночество. Но это одиночество особого рода. Великим счастьем, писал Пришвин, не считать себя особенным, а быть как все люди. Но при этом нужно «так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу».

Почувствовать в природе свою душу.

Редким это удается. Не каждому дано подняться над видовыми заблуждениями, над человеческим шовинизмом. Между человеком и Богом — природа. Мы забываем об этом.

Первым этот спасительный путь слияния с природой, которую мы с энтузиазмом продолжаем уничтожать, открыл мне Максим Дмитриевич Зверев, ученый и писатель.

В годы перестройки я работал в экологической газете. Однажды позвонил знаменитому земляку с предложением о сотрудничестве. Меня очень смущало вознаграждение, которое могла предложить газета старейшему и уважаемому в республике писателю. Но, когда я заикнулся об этом, Максим Дмитриевич отменил мои сомнения, сказав, что он ничем не отличается от прочих авторов. Мы договорились о теме его выступления. Я спросил, когда можно зайти за статьей в его домик на Грушевой, где на правах членов семьи проживали мудрый говорящий ворон и скворец, подражающий перестуку старенькой пишущей машинки. Максим Дмитриевич попросил не лишать его повода для прогулки.

Было ему в ту пору за девяносто лет. Далеко за девяносто.

Зверев появился в редакции точно в условленное время. По-медвежьи большой, грузноватый и в то же время подвижный человек с удивительно ясной для его возраста головой. Специально к его приходу мы сбросились и купили электрический самовар и

чайный сервиз. Увы, мало что запомнилось от той беседы. Кроме одного совета: писать нужно только о том, что любишь. Я писал фельетоны (жанр этот не то чтобы умер, а как бы растворился), мне приходилось писать о том, что я ненавидел, и совет этот пропустил мимо ушей. Когда же пошел провожать писателя к лифту, то с удивлением узнал, что Максим Дмитриевич, лесной человек, уже много лет лифтами не пользуется. Застряв лет пятьдесят тому назад, относится он к ним с большим подозрением. К нам он поднялся по лестнице. Надо сказать, что редакция наша располагалась на девятом этаже, а писатель-долгожитель приближался, как я уже сказал, к столетнему юбилею.

Представляете, как неловко я себя почувствовал.

Вечером того же дня «Простор» собрал авторов, сохранивших ему верность, несмотря на то, что журнал к тому времени был уже безгонорарным.

Среди гостей я увидел Максима Дмитриевича Зверева.

Он сидел в уголке, с интересом прислушивался к разговору и совсем не был похож на патриарха.

Встреча друзей журнала проходила в атмосфере отчаяния и вылилась в коллективный плач людей, потерявших возможность зарабатывать средства на жизнь литературным трудом. По-моему, тема встречи так и звучала: «Как выжить писателю в эпоху перемен?».

Когда заговорил Максим Дмитриевич, он показался мне айсбергом в штормящем море слез. Невозмутимо и спокойно он спросил: правильно ли требовать от властей льгот для писателей, когда трудно всем? Прилично ли?

Писатели смотрели на него с усталым снисхождением взрослых людей, внимающих лепету ребенка. Станным показался собравшимся его взгляд на проблему. Человек, переживший все войны столетия и два крушения империи, говорил, по их мнению, прописные истины: писательство — не ремесло, писательство — призвание. В трудные времена нужно переносить тяготы вместе с народом. Есть много других способов заработать на хлеб. Но во время исторических перемен больше всех страдает даже не народ. Больше всех страдает природа. Она не в силах защищать себя сама. Писатель представляет не просто свой народ, и даже не только человечество как вид. Писатель — представитель природы. Безъязыкая природа может высказаться только через писателя.

Понятно, все это я передаю по памяти.

Этот счастливый человек всегда «был в материале»: жил тем, о чем писал. Для него профессия лесника, егеря была орудием познания мира, также как у Экзюпери — самолет. Смысл его писательства смыкался с главным смыслом его жизни. В то время, как большинство из нас живут заботами внутривидовыми, человеческими, он так сошелся с природой, что чувствовал в ней свою собственную душу.

Я имею в виду не то, что писатель Зверев боролся с браконьерами, и даже не то, что он создал Алма-Атинский заповедник, сохранил от топора горные леса, тяньшаньскую ель. Хотя это очень, очень важно. Я говорю именно о том, что он в человеческом обществе был представителем природы и посвятил свой писательский дар именно этому служению. Ни о чем другом он не писал.

Нам, видовым шовинистам, трудно понять эту простую мысль о служении природе.

Он родился в 1896-м, а умер в 1996 году, совсем немного не дожив до своего столетия и последнего издания — двухтомника тиражом в 3000 (три тысячи!) экземпляров.

Цена, как тогда писали, договорная.

Два этих томика лежат у моего изголовья. Когда не хочется жить, я раскрываю наугад его рассказы из цикла «Душа животных». В них сочетаются достоверность научного факта, увлекательность сюжетной интриги, ясность литературного слога и особая авторская чистота. Максим Дмитриевич — удивительный собеседник. Для меня он — старый, мудрый леший. Заманит одинокого в дебри, в горы, в глушь, околдует шумом сосен, перезвоном горных ручьев, шелестом трав, превратит в невидимку — и раздвинет занавес. И ты один на один с жестоким и милосердным, полным юмора и трагедии миром зверей и птиц. С трудом оторвешься от книги. А где твои проблемы? Нет проблем. Есть мелкие неприятности.

В одном из рассказов этого цикла заезжий охотник спрашивает егеря: «А что это

за человек сидит на берегу Чилика? Сидит и на воду смотрит». А егерь невозмутимо отвечает: «От чахотки лечится». Оказывается, у узбеков, уйгуров и других народов по берегам рек есть даже особые лечебные деревья. Под ними, напившись кумыса, сидят больные и смотрят на текущую воду. Смешно? Однако вылечиваются. Долгое, сосредоточенное наблюдение за струящейся водой отвлекает от повседневных забот и тревог, приводит в порядок нервную систему, а это главное при любом лечении. Вот и для меня рассказы Зверева — струи чистой воды без всякой примеси, без мусора городов и человеческих отношений. Читая их, словно сливаешься с самой природой. И возрождается душа. Да только скоро не с чем будет сливаться. От каждого нового великого потрясения, технологического прорыва, войн и революций, человеческих достижений и побед, завершающихся техногенными катастрофами, дикая природа сжимается, как шагреневая кожа.

Собственно, сохраняя природу, человек пытается сохранить свою душу.

У Зверева есть потрясающие рассказы, где мир природы и мир человека встречаются в пограничных областях. Он, например, просто рассказывает о гнездах. О гнезде из полыни. О гнезде из окурков. О гнезде из колючей проволоки. Три рассказа, написанные в разные годы. И есть рассказ о ласточках, которые слепили гнездо в кабине паровоза, стоящего в резерве, и вывели в нем птенцов. Дело даже не в ласточках, а в том, как интеллигентно повел себя в этой ситуации машинист. Он сделал все, чтобы это грохочущее, дымящее чудовище стало для ласточек домом. Они летали за своим паровозом по всей стране. Днем ловили на параллельном курсе насекомых, влетая время от времени в окно с мухами в клюве, а ночью спали над головой машиниста. И так они путешествовали, пока птенцы не встали на крыло.

Увы, не всем зверям и птицам успеть за нашим паровозом. Многим еще суждено быть раздавленными под колесами технического прогресса.

А вот еще один рассказ с неожиданным финалом. Серебристо-черная лиса сбежала из вагона и оказалась на чужбине. Она пробежала тысячекилометровый путь, полный опасностей и приключений, чтобы вернуться домой... на звероферму, где выросли многие поколения ее предков.

Максим Дмитриевич застал еще те времена, когда на картах место Бетпакадалы занимало большое белое пятно с надписью «не исследовано», а в дельте Амударьи водились туранские тигры. За век человеческой жизни многие герои его рассказов вымерли, многие на грани исчезновения — в Красной книге. Увы, вряд ли сегодня молодой писатель начнет свой рассказ, скажем, так: «В горах Алма-Атинского заповедника во дворе у егеря медведь задавил теленка». Даже специалист-охотовед может состариться в горах, так и не увидев снежного барса. Жители больших городов давно утратили природное чувство, знакомое большинству животных и людям, живущим в лесной глуши — чувство кратчайшего пути к дому. Для нас ежегодные миграции птиц, рыб, оленей, насекомых — чудо. Мы изумляемся пророческому дару наших братьев меньших, предчувствующих разливы рек, землетрясения и прочие стихийные бедствия. А ведь когда-то этим даром обладали и мы, люди, да безвозвратно утратили. Забыли.

Все дальше человек от природы, все меньше в нем естественных чувств, все меньше души.

Исчезает природа, исчезает вместе с ней и ее часть — человек, каким его знали и любили писатели-классики.

Возможно, не так далек день, когда все города сольются и Земля станет планетой-городом.

Когда мы добьем природу окончательно, вместе с ней исчезнет и человек. Вместо человека появится новое существо. Вряд ли у этого существа будет душа в том смысле, как мы ее понимаем. И уж совершенно точно: ему не будет никакого дела до литературы.

Вывод напрашивается очевидный: чтобы сохранить человека, нужно спасти природу.

Но человек — близорукий эгоист. Своим эгоизмом он подписывает смертный приговор себе. Мы — лишь часть природы. Пора перестать горевать о себе. Пора позаботиться о природе в целом. Если мы не позаботимся о ней, никто не позаботится о нас. Пока не поздно. Или уже поздно?

Вадим Муратханов, поэт, прозаик (Москва)

Тонкие книги

Случилось так, что в уходящем году я читал в основном поэзию. Москва в первый год совместной с ней жизни располагает к гомеопатическим дозам литературы. Поневоле приходится быть разборчивым.

Пробегая взглядом по книжной полке, останавливаюсь на последнемобретении 2007-го. Тонкий зеленый корешок с золотыми буквами: «Ирина Ермакова. Улей»¹.

Наверное, если бы меня попросили поделиться представлением об идеальном «сольном» сборнике стихов, я указал бы на «Улей». Не потому, что книга сплошь сложена из жемчужин. А потому, что сборник соткался живой и жужжащий на множество голосов. Ермакова пишет о других как о себе самой, силой любви и сострадания переступая границы собственной личности. Гога, Оля Людина, дядя Петя и другие «бедные люди» — обитатели нагатинского детства — реальней автора, который только луч, выхватывающий их из замурованного тьмой потерь и забвений прошлого.

Светится лифт — позвоночник подъезда,
ползает, старый скрипач, и фонтан.
Взвод фонарей вдоль Москва-реки вместо
светится звезд. Телевизор горит.
Светятся окна — как в прошлом столетии,
в синей конфорке светится газ,
и, как еще не рожденные дети,
мертвые, бывшие, — светятся в нас².

О себе же Ермакова — как о ком-то другом, почти постороннем, в чьем существовании она не слишком уверена. Это взгляд со стороны и немного сверху, рассеянный и слегка удивленный:

...рос туман и полз ветвями рек
и накрывал легко и беспристрастно
земную жизнь мою и все и всех
а верхний мир сиял как человек
вернувшийся домой из вечных странствий

Фигурка — объект наблюдения — скроется за поворотом, растворится «в толпе коровок божьих в фуникулере», растает с последним снегом, но мир, из окошка которого глядит наблюдатель, пребудет неприкосновенным.

Когда поэт умнее читателя, это отталкивает. В идеале поэзия должна быть умнее и читателя, и поэта — тогда они оказываются по одну сторону реки, тогда возможна близость. И «Улей» дарит такую возможность.

Почти одновременно с «Улеем» вышла в свет книга Санджара Янышева — поэта, за творчеством которого слежу давно. Хотел написать: «которого знаю давно», — но это едва ли будет соответствовать истине. Стихи Янышева — это всегда поперечный срез языка. Поперек волокон и вопреки им. Куда войдет лезвие, с чем встретится, какой узор отобразится на срезе — всегда загадка, рискну предположить — в какой-то мере и для самого автора.

В первом сборнике поэт уподобил лирического героя червю. Я бы употребил сравнение с моллюском, раскрывающим свои створки, уже будучи проглоченным, во чреве читателя. Двойное и тройное дно, сложная цепь созвучий и ассоциаций нередко обнаруживаются неожиданно после энного по счету прочтения.

¹ Ермакова И. Улей. Книга стихов. — М.: Воймега, 2007.

² Показательно: одно и то же стихотворение цитируют сразу два участника нашего опроса. См. стр. 202 (Прим. ред.).

В последней книге «Природа»¹ Янышев и верен себе, и неверен. В третьей и отчасти в первой части сборника он узнаваем:

Уже не каждый день, семестр, год
приходит мысль, зазубренная краем.
Вот почему я каждым звуком горд,
которым умален и умираем.

Размер не важен, скорость не верна.
Как сонник, бесполезны честь и нечесть.
И даже чувство. Ибо мысль одна
собой способна переполнить вечность.

Зазубренным краем музыки поэт несет в руках наполненный мыслью сосуд. Однако во второй части книги — «Страшных сказках» — содержимое сосуда проливается на сухую почву материи, принимая причудливое русло рельефа. На смену музыка стиха приходит музыка смыслов, на смену катренам — верлибр.

Обнял дерево — а оно мертво.
Пригубил воздуха — он мертв.
Раздвинул женщину — она мертва.
Выдохнул слово — мертвое оно.
Записал — стало еще мертвее.
Запомнил — мертвое, мертвое, мертвое.
Лег в могилу — и земля мертва.
Подумал о прошлом, подумал о будущем — пустое и мертвое, мертвое и пустое.
Встал, ощупал дух, понюхал тело — мертворожденное, мертвоумершее.
Даже мысль — и та мертва, потому что о мертвом, о мертвом.
И пришла любовь, и убила все мертвое.
И поставила меня стеречь это мертвое.
Почему меня? — живых спросите.
Налейте чаю.

Стихотворение, как и его соседи по разделу, нерасчленимо — оно поддается цитированию только целиком.

Не удивлюсь, если несколько текстов, составивших вторую часть «Природы», явятся предвестием рождения нового поэта со знакомым именем.

Обратившись к началу года, как одно из самых ярких его поэтических событий отметим выход второго сборника Глеба Шульпякова — «Желудь»². Здесь также читатель становится свидетелем эволюции: в недрах привычной, казалось бы, поэтики известного автора формируется другой, принципиально новый почерк.

Если недавно ключевым приемом Шульпякова было сравнение, то в последних стихах оно уступает место метафоре. Из двух частей, составляющих сравнение, автор сохраняет одну: то, с чем сравнивают. Сравнимое отныне — все чаще за кадром.

как долго я на белой книге спал,
и книга по слогам меня читала,
а розовый скворец вино клевал,
ему вина всегда бывает мало –
как сладко, проникая между строк
ловить ее некнижное теченье,
пока во тьме земли копает крот,
мой город-крот, темно его значенье

Поэт, похоже, отказался от развернутых, сюжетно организованных, по его собственному определению — «нарративных» текстов. Стихотворения стали короче —

¹ Янышев С. Природа. — М.: ЛИА Р. Элинина, 2007.

² Шульпяков Г. Желудь. — М.: Время, 2007.

8–12 строк. Автор тщательно взвешивает послание читателю, безжалостно высушивая лишнее, избавляясь от пустот и провисаний, увеличивая удельный вес каждой строки и каждого тропа.

низко стоят над московой облака,
сквозь облака ледяного валька
стук раздается в сырой темноте —
всадники с гнездами на бороде
едут по улицам, свищут в рожок
и покрывается пленкой зрачок,
птичьим пером обрастает рука,
в белом зрачке облака, облака

И в завершение — два слова о литературе Узбекистана, к дыханию которой стараюсь прислушиваться и после переезда в российскую столицу.

В 2007 году после нескольких лет анабиоза вернулся к жизни журнал «Звезда Востока». Произошло это в год 75-летия одного из старейших русскоязычных изданий на постсоветском пространстве. На сегодняшний день увидело свет три номера журнала. Но уже сейчас очевидно, что редакция во главе с Алексеем Устименко всерьез настроена привлечь к сотрудничеству как лучшие литературные силы республики, так и зарубежных авторов с узбекистанскими корнями. В первых трех номерах отметились в поэзии, прозе и критике сразу несколько знаковых для республики фигур — Сухбат Афлатуни, Сергей Спирихин, Александр Файнберг, Вика Осадченко, Карим Егеубаев.

Захар Прилепин, прозаик (Нижний Новгород)

Все лучше и лучше

Наконец-то вышла книга Льва Данилкина «Человек с яйцом» об Александре Проханове. Сразу оговорюсь, что я почитаю Проханова за одного из своих учителей, правда, люблю его вовсе не за те книги, с которыми он стал в последние времена популярен. Лучшее у Проханова — первый, совершенно классический сборник рассказов «Иду в путь мой», другой сборник новелл — «Третий тост», романы «Время полдень», «Дворец», «Надпись». Данилкин более всего любит Проханова за «Чеченский блюз» и культовый «Господин Гексоген», которые мне поперечны. Два последних романа Проханова, вышедшие (и прочитанные мной) в уходящем 2007-м, — «Теплоход «Иосиф Бродский» и «Пятая Империя» — это уже неизвестно в какие ворота должно въезжать... В любом случае Проханова даже сам Проханов уже не переедет, хоть он еще тридцать томов напишет про имперские свои видения.

Итак, я с некоторой ревностью относился к труду Данилкина — я тоже читал всего Проханова, и помню его книжки лучше самого Александра Андреевича, и вехи биографии его знаю почти наизусть. Однако удовольствие, мною полученное от чтения Данилкина, было несравненным.

Лева в своей публицистике, я заметил, очень любит слова «тестостерон» и «адреналин». Если он пишет о ком-нибудь энергичном, непременно упоминает, что в тексте прет тестостерон и адреналин.

Ну так вот, давно я не видел столько живой, трепетной, бушующей в кровотоках энергетики — сколько есть ее в данилкинском труде. «Адреналин Прох» — надо такую сыворотку придумать и поить ею молодых и вялых литераторов. Видно, что и самого Данилкина, что называется, прет от темы, от эпохи, которую он, посредством описания бурного, громокипящего Проханова, взрезал, распилит, разгрыз.

Другой мощный труд года — «Блудо и МУДО» Алексея Иванова, сочинение во

всех смыслах замечательное, остроумное, легкое. Это лучший, на мой вкус, роман Иванова, я нисколько не стесняюсь назвать его шедевром. Иванову я высказал свою поверхностную идею о том, что главный герой «Блудо и МУДО» — это географ, который «пропил глобус», но навыворот. Иванов ответил, что все это глупости, а я остался при своем мнении.

Один из лучших своих рассказов (и один из лучших рассказов на русском языке) написал Леонид Юзефович — называется «Язык звезд». «Чужая» Владимира Нестеренко поразила меня точностью и мертвой хваткой. Герман Садулаев, автор нашумевшей книги «Я — чеченец!», пишет самую европейскую в современной России прозу, совершенно неожиданную; всегда удивляюсь ему. Обрадовала книга Дениса Гуцко «Покемонов день» — но я читал ее ранее, в разрозненных журнальных публикациях; зато новые, не вошедшие в эту книгу рассказы Гуцко, которые мне посчастливилось видеть, — написаны совсем уже в хорошем смысле маститым автором, с той редкой в суровой русской литературе нежностью, которой и не ждешь уже.

Алексей Варламов выдал замечательную книгу об Алексее Толстом и получил по праву «Большую книгу», хоть и вторую премию (я бы первую дал). Любопытен огромный труд «Корней Чуковский» Ирины Лукьяновой, хотя лучшая глава в этом томе («Чуковский и Некрасов») написана все-таки Быковым. Нового романа у Дмитрия Быкова в этом году не было (может, оно и к лучшему), но его публицистика в журнале «Русская жизнь» выше всяких похвал. Я вообще не понимаю, как на свет мог появиться такой замечательно умный человек. Быков лучший критик в России, эдакий идеальный орган для понимания литературы.

Все лучше, в самом высоком смысле — аскетичнее и точнее пишет Роман Сенчин; его повесть «Конец сезона» — настоящая литература, не уступающая упомянутому Алексею Иванову. И вообще, что называется, по гамбургскому счету, проза в современной России пишется такая, что не стыдно, открывая учебник литературы, классикам в глаза взглянуть.

О поэзии тоже говорят подобное, я почти готов согласиться с этим, только до сих пор не могу взять в толк, отчего так много верлибров сочиняют нынче. Не то русская, бездонная в своих возможностях рифма обеднела?

Все появившиеся в последние времена подборки Геннадия Русакова были столь же мощны, как и все стихи его, что читал я в последние годы. Купил сборничек Анны Русс и убедился, что эта замечательная, умеющая так тонко иронизировать (что русской поэзии мало свойственно) девушка — лучшая поэтесса в современной России. Книжка «13 дисков» Михаила Щербакова еще раз убедила меня, что это, пожалуй, самый недооцененный поэт в современной России, мастер, мастер и еще раз мастер.

И есть еще два имени, которые я считаю своим долгом назвать, эти люди также пишут стихи: зовут их Арсений Гончуков и Анна Матасова. Гончуков живет в Нижнем, Матасова — в Петрозаводске. Гончуков сочиняет рваные, вывернутые наизнанку, кровоточащие, жуткие тексты, несколько за пределами литературы находящиеся, но настолько самобытно, самоценно, со звериным чутьем сделанные, что литература просто обязана расправить щедрые крылья и срочно разобраться с этим первобытным, восхищающим меня явлением, согреть его своим животворящим теплом.

Книга его называется «Отчаянное рождество».

Что касается Ани Матасовой, то это как раз осененная ангелом русская классическая поэзия, совсем не ученическая, с пряным вкусным вкусом и запахом: знаете, как иногда, оголодав, в зимний день, прикоснешься лицом к ржаным сухарикам и почувствуешь разом и жизнь, и почву, и судьбу, — вот такие вот стихи. Новая подборка ее вышла в №10 журнала «Наш современник», спешите видеть.

Ну а боль уходящего года: знакомство с поэзией Анатолия Кобенкова, которого я, к несчастью своему, узнал только когда он умер. Подборка его стихов в «Дружбе народов» потрясла меня.

В той своей, посмертной подборке он пишет о некоей, спасающей нас, книге, о том, что свет, «которым она поддержана, мог бы согреть державу... Впрочем, уже и державы, как и читателя, нет».

Будем надеяться, что и читатель есть, и держава не исчезнет в мутных водах, и тот свет, что в стихах Анатолия Кобенкова был, — еще согреет не одну озябшую душу. Вечная ему память!

Елена Холмогорова, прозаик (Москва)

Чтение по обязанности и по любви

Мне приходится читать очень много и по должности заведомо прозы журнала «Знамя», и как эксперту премии «Большая книга». Я часто вспоминаю слова моей покойной бабушки, которая, однажды увидев, как я сижу на дачной скамейке, обложенная рукописями, покачала головой и сочувственно произнесла: «Что ты все работаешь и работаешь — пошла бы почитала». Впрочем, по счастью, я так люблю это занятие, что никакие чтения по обязанности мне не в тягость. Но порой количество неумолимо переходит в качество, так что впору бывает перевернуть известную поговорку «За деревьями не видят леса»: разглядеть бы в этом дремучем литературном лесу не тенденции, или, как теперь принято говорить, тренды, а хоть пару-тройку хвойных или лиственных деревьев.

Но прежде всего отмечу, что читательским феноменом 2007 года стали книги, вышедшие в 2006-м. Это, конечно, «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой. Успех этой книги — предмет моего радостного изумления. За вычетом Б.Акунина и Д.Донцовой, последней на моей памяти книгой, которую «читали все», был роман Виктора Пелевина 2001 года «Generation П». И предмет грустного изумления, что «Ампир V», таковым не стал, хотя и в этом романе дан совершенно точный диагноз атмосферы сегодняшнего дня с царящим в нем «гламуром и дискурсом».

Хоть и стараюсь не говорить о тенденциях, удержаться трудно. Не секрет, что многих мэтров мы любим, но чтим все больше за прежние заслуги. Впрочем, есть и счастливые исключения. В литературном лесу отчетливо видны мощные кроны последнего «молодого поэта» СССР Андрея Вознесенского, обладающего, на мой взгляд, самым точным поэтическим зрением и слухом из всех ныне живущих поэтов. Сборник его сочинений XXI века, броско названный «СтиХХI», с блеском подтверждает это. И еще один пример: не просто творческого долголетия, а неуклонного движения ввѣрх — Леонид Зорин. Изобретательность форм и безукоризненность стиля отличает прозу Зорина, продолжившего в минувшем году цикл «монологов», где писатель переводится в авторов эпистол разных эпох русской истории («Письма из Петербурга», «Знамя», № 2), а затем в Зиновия Пешкова — родного брата Я.М.Свердлова, усыновленного Максимом Горьким («Выкрест», «Знамя», № 7).

В своем «Живом журнале» Михаил Бутов процитировал чью-то фразу, где встретился термин «бумажные книги», который в век электронных носителей уже не воспринимается тавтологией. И я поймала себя на том, какой читательский шок в 2007 году испытала от воспоминаний уцелевших жертв ГУЛАГа, собранных Музеем и общественным центром имени Андрея Сахарова на диске «Память о несправии».

Нет, все же «бумажная книга» бессмертна. Я держу в руках «Ламповую копоть» Сергея Бархина — великолепного театрального и книжного художника, держу, как драгоценность: в книге продумана каждая мелочь, ею любишься, рассматриваешь фотографии и картинки, а текст входит в тебя незаметно, вдруг обнаруживаешь, что прочитала один абзац, другой и — зачиталась.

Вообще книжки с картинками — это целая культура, хочется верить, не уходящая. Я не мыслю себе иного Робинзона Крузо, нежели тот, которого изобразил Жан Гранвиль. Иллюстрации других художников, даже признанных мастеров, оскорбляют глаз. И пророк Иезекииль мне виден исключительно таким, как его нарисовал Гюстав Доре.

И еще о нескольких деревьях, к концу рассуждений проступивших из леса: книга одного из любимых моих современных прозаиков Владислава Отрошенко «Приложение к фотоальбому»; свободная до клоунады книга прозы Ефима Бершина «Маски духа»; воспоминания Эргали Гера и Виктории Волченко о доме Натальи Беккерман,

предельно точно воссоздающие атмосферу «кухонной России» 70-х—80-х годов («Знамя, №11), роман Валерия Исхакова «Призрак автора» («Дружба народов», 2007, № 10—11), «штучные» стихи, такие, как «Еще элегия» Олега Чухонцева («Знамя», 2007, № 9).

О романе Александра Иличевского «Матисс» («Новый мир», 2007, № 2—3) рискнула бы сказать, что он — долгожданный. Роман втягивает в размышления о возможности нетривиальной системы ценностей, другой шкалы измерения, ином взгляде на мир и людей, его населяющих, наконец, о сущности свободы. И, быть может, главное — это насквозь гуманистическое произведение — столь редкое в современной словесности.

Если отвлечься от литературы художественной, весь год внимательно следила за статьями Ирины Левонтиной, остроумно, едко и в то же время изысканно-точно реагирующей на тонкие нюансы изменений бытования русского языка. Для человека, работающего со словом, необходимо, как с камертоном, сверяться с книгой «Ключевые идеи русской языковой картины мира», написанной ею вместе с А.Зализняком и А.Шмелевым. Так же, как и круг чтения профессионалов и любителей литературы невозможно представить себе без двухтомника Сергея Чуприна «Русская литература сегодня»: «Большой путеводитель» и «Жизнь по понятиям».

А на то, что читать в новом году придется меньше, слава богу, не надеюсь!

Владимир Леонович

В эту пору прекрасную

На столе книги Дедкова и Шаламова.

В этих заметках я постараюсь сказать, почему им так надо быть вместе.

Погодите, прогресс подвигается,
И движенью не видно конца.
Что постыдным сегодня считается,
Удостоится завтра венца.

Некрасов устарел: в нашем сегодня постыдных вещей нет.

В «Современниках» озвучена одна сильная мысль — Мысль Центрального Дома Терпимости. ЦДТ. Опираемся, как видно, на классику.

На экране ТВ — лицо из поколения, выбравшего пепси, искаженное объективом весьма кстати. Отрок призывает:

Оттянись по полной! Бери от жизни все!

Живи со вкусом! Трахни свою школьную училку!

На конференциях костромских городских и сельских учителей часто выступал Игорь Александрович Дедков. Выступал в школах, институтах, библиотеках. Его помнят, о нем пишут. Училки его боготворили. Не знаю, что бы он сказал не тому мальчишке, а этому ТВ, зовущему к свободе, — он, проживший ради Свободы огромную жизнь...

Что говорю я — не скажу. Но лексикон городской шпаны костромских военных лет идеально, мне кажется, отвечает тому, что с нами происходит. Тут надо вспомнить Астафьева, швырявшего ботинок в экран и в морду... в морду экрана, и постараться услышать Писателя. Нет, не получится. Даже Дедков его не услышал, о чем свидетельствует разбор «Проклятых и убитых». На торце пятиэтажки, где жил Игорь с Тамарой и детьми, на безопасной высоте прибита мемориальная дощечка: В 57-м ГОДУ Я ПРИЕХАЛ СЮДА РАБОТАТЬ. ПОЗЖЕ ПОНЯЛ, ЧТО ПРИЕХАЛ ЖИТЬ. Вот и стою напротив этого дома, где светилось за полночь его окно. Ох, черный кофе, черный кофе! Светится реклама:

Отдамся за копейки — твоя цена!

Бери меня — я так низко пала!

Не подумайте худого: это всего лишь «территория низких цен», магазин «Эльдорадо» — «мир кухни», а цены пали не для нас, любезный читатель. Это не наша территория.

В маршрутке человек семь, подъезжаем к Щелькову. На переднем сиденье развалился хозяин жизни из тех, что оттянись по полной. Парню лет 20. Запел его мобильничек.

— Алло, бля!

Святые места Островского. Статьи о драматурге пишет моя ученица, моя Ниночка, тут работающая. Щельково, да и вся Россия нынче — вотчина этого малого, это Хлынова 21 века. О, как он говорит... какая воля и простор...

— Пока, бля! Бья то есть.

(В скобках: грозное предупреждение Шаламова — блатари не люди. Бойтесь воря и блатной поруки! Да нам ли бояться...) Этими местами любовался Дедков. Тут проснулось во всей своей силе, осозналось именно тут, и не в музее, а в избе — чувство родины. Так Флоренский в Нерехте расслышал русскую речь — во всей ее прелести. Первая любовь!

За два года до смерти, измученный зрелищем перестройки, увиденной изнутри, поняв направление и суть дилетантских реформ — читай: воровских, — Игорь пишет: «Доехать бы еще разок и туда и туда, без цели и задачи, пройтись, постоять, посмотреть, присесть, поговорить со случайными людьми. Там — в Чухломе и Кологриве — главная поправка к тому, что творит Москва...» (Курсив мой. — В.Л.) За два года до смерти он считал, что дело еще поправимо.

А что — в Кологриве, именно там, в городском парке «ошибкой» поставили стелу в память погибших в 30-е годы крестьян! Недоглядела Кострома.

Парфеньеве. Рядом, в селе Матвееве, служили предки Розанова. Позднейшие должны значиться в тысяче Патриарха — признанных им новомучеников. ТП. Парфеньеве — родина Сергея Маркова и великого Сергея Максимова. О них, конечно, Дедков пишет, но пишет он и о земском докторе Александре Трифоновиче Виноградове, выпускнике Петербургской медико-хирургической академии. «27 лет жизни и труднейшей работы почти в одиночку в самой что ни на есть бедной сельской глуши... Во что верил этот человек, о чем думал, что переживал, чего хотел, чему радовался, к чему стремился? Его запомнили с неизменным фанерным чемоданчиков в руках... Запомнили, как бесплатно давал лекарства и как жаловался на него начальству аптекарь... Его запомнили, как добывал денег для расширения больницы: на одно место, потом еще на одно место... Запомнили, что основал Народный дом...»

Лесков искал праведников, ему отвечали, что таковых не знают, все грешны, но люди хорошие все же есть, заметны. И писатель сам провел ЧЕРТУ ПРАВДЫ, чтобы поместить над нею тех, кого искал. Числитель. Знаменатель...

Мне, грешному, тоже встречались люди числителя. Их было... больше, чем знаменательных, но это мое личное везенье.

В 73-м году я выпустил свой 10-й класс из Петрецовской школы Вохомского района. То было село Никола. Посреди пустыни когда-то живых деревень. Посмотрите у Даля статью ЗВЕНЕТЬ. В 1845 году тут сгорела церковь СО ЗВОНОМ. Местный священник о. Феодосий Чулков мог знать, «откуда звон». Но его взяли в 37-м, и теперь не спросить. Его бумаги, крестьянские родословные, церковные книги сожгли, сын его спился...

Ливмя не льет великая вода —
сочится из небесных тесных сит.
Олеша мало пьет, но пьет всегда,
как этот мелкий дождик моросит.

...Церковь горела и звонила. Кто звонарь? Никогда не узнаем, как не узнаем, где упокоили отца Чулкова. Имена исчезли, размыты, но преданье живет. И когда-нибудь в селе-селе Николе как-нибудь увековечат разумные наши потомки того звонаря, что ЗВОНИЛ В ОГНЕ. Дедков к таким вещам был внимателен, был жаден до них...

Записывает вездесущий Даль:
сгорела церковь древняя СО ЗВОНОМ.
Сгорел и безымянный тот звонарь,
В огне звонивший. С БОГОМ ПОВЕЗЛО НАМ...

Мне же повезло с моим классом. Мой ученик — тут он не любит, чтоб его называли — повесил колокола на восстановленный храм в Вохме, сумев напрячь ухтинских нефтяников. За что костромской Владыка Александр навесил ему орден на грудь. Дойдет черед, думаю, и до Никольского Воскресенского храма.

Никола с переломанным хребтом,
с обрушенными ребрами стропил
как мертвый кит чернеет за окном.
Лохмотья крыши дождик окропил...

«Когда на глазах поток увлекает за собой всех, хочется, нет, не хочется, а что-то заставляет идти поперек» — Дневник Игорь Дедкова, апрель 1990. Время, когда многие бросались в поток... Ныне их вынесло на мель — в лучшем случае. Мимо несется мутная вода, утратившая свой голубой высокогорный цвет. Куда ее несет?

Медлительный рачинец Отар Челидзе — за ними такая слава — переложил народное сказанье: среди ночи проснулся оползень, дрогнуло стоящее на тайной хляби село, стало поворачиваться и сползать. Рачинцы — кто спит, кто знать не хочет, куда их волочет. Не спит один.

Гора сползает! Шевелятся камни,
угадывая русло-колею.
Держи лавину распростертыми руками,
заворожи стихию как змею...
Уже по шею в щелбневом болоте —
оно ползет! — я грузну и держу —
я крестенею в тягостном полете —
ищу опору — душу положу...

Дедков писал о стихах Отара. Один из последних русских идеалистов — о героическом лирике грузина. Я переводил его с удовольствием...

(Опять скобки. Подвиг Шаламова — 20 лет «Колымы» писательской после 17 лет Колымы той самой. Колымы-абсолюта. Клин клином вышибают, но делают это редко, и редко кто делает так. А уж Варлам Шаламов и вовсе уникален. В сторону отодвинул он удобную нам христианскую сюжетику. Он взял на себя грехи наши и понес их один. А мы что же? Идем сторонкой и ждем: когда упадет?

Силой гения переместил он своего читателя в лагеря и поблажки ему не дает. Привыкли мы: катарсис... каданс... облегченье... просветленье... потепленье... У Шаламова нет нам ничего такого. Найди сам — чего хочешь! Умеешь, можешь — хотеть? Недаром Виктор Некрасов, который вместе с окопной правдой вручил нам и лопатку, считал Шаламова величайшим среди великих. Понимал, почему. Было ЧЕМ понять у этого праздничного человека — величие собрата. За то и встречала обоих жизнь — мордой об стол.

Но приняв критерии Шаламова — какими глазами увидим мы и жизнь, и литературу, и человека? Не поздоровится никому и ничему. Потому — погодим.

Где же искать здоровья?

Ах, вы опять об этом...

Один из писателей «проклятой темы» озаглавил свою книгу «СМЕРТЬ НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ».

Сегодняшнему дню Шаламов абсолютно чужд. Да и завтрашнему, если оползень не повергнет нас всех в пропасть нового царизма. Вот повергнет — тогда опомнясь прочтем Шаламова как он того хочет. А пока —

Пока хоть один безутешен влюбленный,
Не знать до седины мне любви разделенной.
Пока не на всех заготовлен уют,
пусть ветер и снег мне уснуть не дадут.
И голод пока смотрит в хаты недобро,
Пусть будут бока мои — кожа да ребра...

Это «шаламовские» стихи Чичибабина, тоже хлебнувшего неволи. Впрочем, это вечные стихи тех «русских мальчиков», о которых писал Герцен. Борис Чичибабин и к старости не вырос из такого мальчика — честь ему и царство небесное! Недаром почел его графоманом, правда, «гениальным графоманом», — мудрый еврей Александр Межиров. Создатель мифов и любитель резьбы по живому, когда из Савла вырезают Павла, до простоты... то есть простоту Чичибабина он миновал как что-то незначущее, поистине отроческое, школьное. Слона-то и не приметил.)

«Пока существуют такие понятия, как память, сознание, совесть, так называемая лагерная тема, тема надругательства и насилия могущественного и всеоружного государства над человеком, безвинным и беззащитным, любимым и каждым, не может,

не должна исчерпаться, иссякнуть, умолкнуть в наших памяти, сознании и совести, — и никуда из них не уйдет. Это не только потому, что лагерь был воистину адом, в котором происходило сатанинское попрание обезумевшим государством всех Божьих заповедей и нравственных законов для унижения и уничтожения человеческой личности и плоти, когда государство предстало перед всем миром в зверином облике преступника и убийцы, подлежащего суду и каре. В то же время, и это, быть может, самое страшное, лагеря — это еще и нечто повседневное, обыденное, привычное, будничное, уравнивающее жертву с палачом, отнимающее надежду на возможность суда и возмездия, — бесовщина, жестокость, ложь, ставшие бытом, нормой, воздухом нашей жизни по обе стороны огороженной проволокой зоны». И еще.

«В камерах бутырской тюрьмы — огромного тюремного организма, со сложной жизнью множества корпусов, подвалов и башен, — переполненных до предела, до обмороков следственных заключенных, во всей свистопляске арестов, этапов без приговора и срока, в камерах, набитых живыми людьми, сложился любопытный обычай, традиция, державшаяся не один десяток лет...»

Не стану раскрывать многоточие, обращаю ваше внимание на простоту, невысказанную простоту высказывания и насыщенность текста, его нагнетенность, побуждающую читать, перечитывать, вспоминать великие образцы: Библия, агиография, Пушкин. Первый текст принадлежит Чичибабину и читается как его Завещание. Второй — Шаламову.

Близнецы — не правда ли?

Было где породниться. Если б понадобился эпитафия к полному собранию Шаламова, я бы предложил такой: «Мы ползли, стараясь не сделать ни одной лишней мысли».

За круглым ли столом у президента, в том ли шоу «Большие», молодые писатели, на мой слух, стараются не сделать ни одной задушевной мысли — и многим это удастся. А ведь картина какой была, такой и осталась: не за круглым столом, который чреват фуршетом и режимом особого благоприятия молодому таланту — нет, на краю котлована сидите вы, ребята, на вас пахучие желтые полубубки и белые бурки с черными прошивами, внизу катит тачку с породой Варлам Тихонович Шаламов. Золотой забой... На великом вашем писателе армейская ушанка, ватник б/у и прочее стильное.

Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути —
Потом смогу я с тех вершин
В поэзию сойти.

Умилительные строчки (Гудзенко), улыбка, но хороша эта улыбка у Дедкова... Нет, Шаламов лишней улыбки не сделает. Слишком все понятно.

С книгой «За что?», кою открывает цитированный период Чичибабина, стояли мы на лестничной площадке с одной замечательной женщиной. Книга у нее в руках, прижата к тощей груди. На обложке силуэт Соловецкого Покровского храма со звездой вместо креста. Буковки текста — четкие, будто печатные — лагерная каллиграфия. Совершается Книжная ярмарка, сверху доносится голос Евтушенко, читающего своего «Разина». За тот час, пока мы стояли, никто из любителей книги — а их успело вверх-вниз перетечь несколько сот — не подошел к нам. Подошел один канадец. Ему подарена была книга...

Поднялись на голос Евтушенки, я прочел стихи о Шаламове, они пришлись к стати:

Неумирающий конвой
внучат и правнуков растит
и тяготеет над Москвой
непобедимый срам и стыд.
По тихим улочкам ее
гуляет с палочкой, в пенсне,
мемориальное трупье —
не наяву! не во сне!

Это гулял Молотов, в землистом лице ни кровинки, ни движенья, никакой жизни. Расплата его настигла не дожидаясь гражданского суда и кары.

Так что ни один из образованцев... и т.д.

Храню афишу от 17.2.91, примечательную тем, что ни один. Нет, однако. В Большом зале ЦДЛ сидел ОДИН ПИСАТЕЛЬ — Владимир Николаевич Турбин. Третью зала занимали родственники и друзья выступавших. 2/3 пустовали. Мне и сейчас не верится в эту арифметику. Афиша в два цвета, хорошо висела по Москве, обещала под шапкой «ОСТРОВА ГУЛАГА» участие Олега Волкова, Анатолия Жигулина, Юрия Давыдова, Виталия Шенталинского, Надежды Надеждиной, Владимира Муравьева (он представлял книгу «Средь других имен» — строчка Барковой), Платона Набокова, Ивана Русинава...

Можете не верить невероятному — и я с вами! — но моя память удерживает только Алика Зорина да меня самого под гробом Шаламова. Алик уточняет («Нов. газета» 18.6—20.6): были еще Вадим Рабинович и Анатолий Сенин. И была, слава богу, незабвенная Евгения Самойловна Ласкина, добрый ангел В.Т. Ей обязан он первыми публикациями стихов в журнале «Москва». На отпевании у Николы в Кузнецках помню Виктора Фогельсона, Феликса Светова и Фазилы. Но «Святой Боже, святой крепкий» пели уже на кладбище только мы с Аликом. И, конечно, был в храме Александр Мень, он и читал Литию. Спасибо, Алик, — напомнил... А я помню, как в Кострому ты привез книжечку про твоего Духовного отца. Было, на той самой волне «свободы», поэтическое собрание, звалось оно, по слову Ефима Честнякова, «Чибиряшечкой», был еще Володя Корнилов с женой. Книжка твоя о нашем Праведнике два дня нетроганно стояла в фойе зала незабвенных перформанс, где разве что не мочились на сцене наиболее освобожденные молодые дарования. Толпа вошла, толпа вломилась — я их приветствовал, взбешенный надругательством над тем, чему отдаю жизнь... Там же читал стихи костромским старухам: одна из них, тогда молодая, вытаскивала меня, восьмилетнего, из Волги. Тогда молода была и Волга — бежала, мыла себя, стаскивала несмышленицей, кто зашел поглубже...

...И сегодня в лица

я вглядываюсь костромских старух —
и каждой, каждой надо поклониться.

Простояла, Сашенька, твоя книжка нетроганной. Ты скрежетнул и уехал — немирный, не смягченный кроткой утренней молитвой св. Серафима Саровского. И не помню, что Федот Сучков читал стихи над гробом. Помню, что поясной скульптурный портрет работы Сучкова (зря Шаламов его ругал) таскали мы на вечера, посвященные В.Т. Людмила Владимировна Зайвая, в свое время много сделавшая для поэта, этой гипсовой головы боялась, бюст жил у меня на балконе, чем-то проломил ему голову — всякой лыко в строку — заклеили пластырем, забелили... С Кунцевского кладбища бронзовый памятник украли. К чему все это?

А к тому, что год Шаламова совпадает с годом Свиньи, а вся наша жизнь — с эпохой свинства, то кровавого, то не очень.

На бойне свинья жрет собственные кишки.

Бодро жуют сегодня на Руси.

О последних днях Шаламова еще напишут. Правда, к больному и больше ославленному безумцем, чем на деле безумному старику уже никого не пускали. Узнается тот почерк, тот стиль. Свидетелей просят удалиться...

Но известны проверочные тесты: вопросы к больному и ответы, показывавшие, кто же на самом деле идиот. Это неплохо передано в фильме Достая. Павел Флоренский своему надоевшему следователю на вопрос о политических воззрениях отвечал, и это записано в протоколе: «Я, Флоренский Павел Александрович, по складу своих политических воззрений — романтик Средневековья примерно XIV века». То-то задал задачку лубянским мудрецам! Прекрасно образованный и памятливым Ш. мог задавать такие задачки психиатрам, тоже, впрочем, лубянским. А вот чего нет у Достая, смазавшего картину угробления В.Ш. Не цветущим летом, не с дежурными словами на муаровых лентах его хоронили. Санитары, привезенные из психушки в нормальный дом престарелых, скрутили сопротивлявшегося зэка — да, он уже был, изолированный от всех, снова и в последний раз зэком — бросили в нижнем белье и

смирительной робе в холодную сан. машину и повезли по январскому морозу через всю Москву в дурдом.

Холод для нас, наш холод — совсем не то, что холод для Шаламова. Нечто подобное свидетельствует Нансен, тоже имевший свой холод, но какие тут сравнения? Московский колымский холод убил писателя. Да и было среди каменного города градусов 30. Через неделю промерзший старик, великий писатель мерзлой земли русской отправился в лучший мир.

Не знаю, чем объяснить слабую, никакую, в общем, концовку хорошего фильма о предмете непостижимом, требующем колоссально многого для уяснения. Сегодня мы располагаем лишь малой частью этого многого. Располагаем ли собой?

Рядом с «Мемориалом» когда-то начал работать писательский «Репком» — Комиссия по Литнаследству репрессированных писателей. (Кого, однако, считать писателем в лагерных и послелагерных условиях, не решено. Решает папка со стихами или прозой. Ничего не решает пепел сожженных рукописей. Колоссальную работу тут выполнил и выполняет Виталий Александрович Шенталинский, живущий в поиске печальных имен. Их тысячи.) От Репкома на сегодняшний день почти никого не осталось. Смерть выбирает лучших.

«А вокруг шумела Иудея

И о мертвых помнить не хотела» — Александр Галич.

Знакомый шум... Шумит 60-летие Победы, а полмиллиона солдат безмолвуют — не найдены, не похоронены. Лишь призраки их тревожат «кошмарную совесть» людей, подобных Игорю Дедкову. Кошмарную совесть придумал нам Иннокентий Анненский, не доживший до кошмаров Волкова, Шаламова... Мудрено ли 20 послелагерных лет жить в объятьях этой совести и уцелеть?

«Однажды я заметил человека, переходящего Садовое кольцо. Человек конвульсивно размахивал руками, ноги его заплетались, голова дергалась, скособоченная к левому плечу. Казалось, он вот-вот упадет, и я держался поближе, чтобы успеть его подхватить... В вестибюле ЦДЛ надо подняться по ступенькам, я хотел помочь, он гневно обернулся, едва не оттолкнув меня. Тут я узнал его. В этот день он принес свои стихи в «День поэзии». Так пишет Зорин. ...Иудея шумела... Россия чавкает на весь свет... Громче всех чавкает наш лауреатник — словцо то ли Раневской, то ли Ахматовой.

Соперником с небес повергнут
 стареющий бывалый ратник,
 и водворен могучий беркут
 на излечение в курятник...
 Червей и мошек добывая,
 навоз культянками скребя
 и постепенно выживая —
 он выживает из себя...

Мое, конечно, собачье дело, но не думал я, что Солженицын, отстранив протянутого ему Ельциным «Первозванного», теперь примет премию от нынешнего президента. Принял. Кольми паче и не таким громким людям марать руки и стоять в очередях туда, где ДАЮТ.

Когда взяли Бабеля и дача его опустела, еще до всякого следствия и суда в Литфонд полетели писательские заявления: отдай мне! Когда Лидия Чуковская пыталась объяснить Большому Секретариату писателей свою правоту и лояльность в духе решений 20 и 21 съездов партии, а листочки ее выступления рассыпались по полу, никто ИЗ МУЖЧИН не дернулся помочь полуслепой ползающей у их ног немолодой женщине. Тут-то и было свержение оползня в пропасть! Надо быть ЛЮДЬМИ, чтобы что-то строить или перестраивать человеческое. Это человеческое в человеке нарушено в корне. У Светония умирающий Цезарь одергивает тунику. Последнее сознательное движение — движение стыдливости.

Упадок, где твой Рим?

Почему, часто себя спрашиваю, такую замечательную память по себе оставил Дедков? Нахожу ответы, один из них: при нем неловко было сделать что-то некрасивое от одного сознания, что он есть на свете, сидит в своей Костроме. При нем, как

помню, я не матерился, хотя очень часто мыслю матом, а уж междометия вылетают отнюдь не однозвучные, когда вижу что-либо характерное из МИРА СВИНСТВА. Медсестричка получает свой оклад в полторы тысячи — думец во сто раз больше. ВО СТО раз дороже обходится он всем нам, работающим и платящим налоги. Узаконил свое свинство... Что же оно такое? Знак моего эстетического отвращения? Нравственная оценка? Привычное «так и надо», привычное и нагло-лживое «справедливо»? Все так. Но тут сквозит политическая установка на плебс и нобилей — хозяев жизни и хозяев самого плебса.

Бледнея и держась за сердце глазами провожал Дедков проносющийся мимо с мигалками и сиренами, с мотоциклами и черт-е чем еще правительственный эскорт по довольно пустынным улицам Костромы — тогда, когда еще и не пахло престижем, не висела корона 2013 года над Ипатьевской слободой. «Пади! пади!» — Игорь это помнил, будучи гражданином не одного только столетия.

Мы любили Мандельштама. Честолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири... Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал... Присяга чудная четвертому сословию... В Европе холодно, в Италии темно.

По следу Игоря лет уж семь тут я живу, шагом на месте у кухонной плиты отвечаю маршам несогласных. Но мне легче, неслужащему и беспартийному, чем было Дедкову, жить в родном городе, а точнее: обитать в нем как бы сгустком памяти и свежих впечатлений, субстанцией не очень материальной.

Когда ты меня приглашаешь в САЛОН ЭЛЕГАН,
то я вспоминаю, что я — костромской хулиган.
Волчата — голодные дети — нам светит тюрьма...
Зеркально-лиловые окна, ковровая тьма,
Брезгливая роскошь как вялая сытая страсть.
На новую жизнь НЕ НАСМОТРИШЬСЯ ОТВОРОТЯСЬ...

В ноябре 1977 года в Дневнике Дедков оставил страницу, которая хороша была бы в школьном учебнике литературы, да и не только. Хороша на эстраде была бы... Но школа, эстрада где-то в стороне от моего понимания их призвания. Все же я помню Аркадия Райкина — он вызывать мог не только смех — он бывал страшен...

Так вот что пишет Дедков, еще не доживший до Беслана.

«Прекрасное, великое было время, — говорит Шагинян о двадцатых—тридцатых годах, — несмотря на трагические ошибки и беды. Характернейшее умозаключенное выживших... Их можно понять. Но истины в их словах нет, потому что существует угол зрения тех, кто не выжил, не уцелел, тех, кто скрыт за словами о трагических ошибках и бедах, и этот угол зрения не учтен, и нужно многое сделать и восстановить, обнародовать, чтобы он был учтен, насколько это теперь возможно. Радость выживших и живущих хорошо понятна. Как нам представить себе и понять отчаяние и муку тех, кто не дожил, кто так навсегда и остался в тех великих временах со своей бесцеремонно оборванной жизнью? И еще — неизвестно, когда дойдет черед! — как представить себе судьбы семей, жен, матерей, братьев и сестер, но более всего — детей! — вот где зияние, вот где самое страшное, вот где те неискупимые слезы, которые никогда не будут забыты, иначе ничего не стоим мы, русские, как народ, и все народы вокруг нас, связавшие с нами свою судьбу, тоже ничего не стоят, и ни до чего достойного и справедливого нам всем не дожить. Не выйдет. Достоевский знал, что те слезинки неискупимы, он откуда-то знал эту боль, перед которой вся значительность, все надутые претензии, все возвышение человеческое, все самовосхваление власти и преобразователей русской жизни — ничего не значат. Пустое место. Шум. Крик. Безумие. Тщета. Ничто. Сколько бы силы ни было бы за теми претензиями, сколько бы могущества ни пригнетало нас, ни давило, — все равно ничто, потому что те слезы переступлены и сделан вид, что не было их вовсе. Вот вид так вид: не было. То есть было, но все равно не было. Не было. По всем лесосекам давно уже сгнила щепка и поднялись мусорные заросли. Не было. Ничего. Так вырежьте нам память, это самое надежное. В генах ту память нарушьте, и пусть дальше продолжается нарушенная; то-то всем станет легко. И ткнут меня носом и скажут: гляди, это рай, а ты, дурак, думал, что обманем, и ударят меня головой о твердый край того рая,

как об стол, и еще, и еще раз — лицом — о райскую твердь, и, вспомнив о безвинных слезинках своих детей, я все пойму и признаю, лишь бы не пролились они, — жизнь отдам, кровью истеку, отпустите хоть их-то, дайте пожить, погулять по земле, траву помять, на солнечный мир поглядеть, — и еще взмолюсь втайне — да сохранится в наших детях память, пусть выстоит и все переборет, и пусть достанет им мужества знать и служить истине, которая не может совпадать с насилием, потому что насилие ничего не строит».

Басни Крылова, лирика Гоголя, периоды Цицерона — что еще декламирует абитуриент, поступая в актеры? Предлагаю юноше такую вот страничку неизвестного ему, конечно, критика.

Придумываю текст: назвать самое сильное слово, прозвучавшее в России в последние годы. «УМРИ, ДЕНИС!» — из той копилки, где интеллигенция — говно, где мужчины мучили детей, где не мог он ямба от еврея, как мы ни бились, отличить...

Слышу, слышу. «Гарики», «Геники» (от М.Генина), бесчисленные мо эпохи упадка (а другие эпохи бывают?). И сейчас я победу всех.

Маршал Конев завещал генералу С. неустанно рыть землю в поисках боевых останков Войны. Не только человеческих. Уподобясь персонажу грузинской сказки Нацаркекиа — роющийся в золе, — генерал до самой смерти рыл землю и пересыпал прах из горсти в горсть. Его предложения, его просьбы помочь или хотя бы осознать эту дикую простоту — присутствие полумиллиона призраков солдат и, добавлю, миллионов безмогильных жертв тирании — среди беззаботных живущих, — эти увещевания побывали во всех кабинетах и коридорах власти, не исключая президентских. Замечательная литература — письма генерала и ответы на них! Когда же, наконец, наверху назначен был крайний, который мог что-то решить, вот он-то и написал эпохальное Слово.

Вести дорогостоящие дальнейшие поиски, пишет он, НЕ ЦЕ ЛЕС О О Б Р А З Н О.

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Устарел, ох как устарел наш Некрасов! С его порой прекрасной, в которой нам, его потокам, определил он жить. Или это ирония?

Послереволюционный симбиоз

Рубрику ведет Лев Аннинский

Более точной характеристики того, что произошло с нами на рубеже тысячелетий, я еще не читал. «Четыре революции, слившиеся в одну», — видят в фактах распада СССР и исчезновения Советской власти Юрий Магаршак и Федор Алексеев, чья статья опубликована во «Времени новостей» 7 августа 2007 года.

Четыре революции видят они — соответственно четырем социальным классам позднесоветского общества. Народ, интеллигенция, номенклатура, правящая верхушка. Каждый класс получил в ходе своей революции то, чего по-настоящему хотел, и не получил того, чего не хотел (или хотел, но не очень).

Конкретно. «Народ хотел одного: права пить неограниченно и в любое время». Крушение режима было предрешено попыткой запретить алкоголь. Попыткой скрыть виноградники. Народ лег костями. Теперь он имеет сравнительно чистую и сравнительно недорогую водку. Плюс колбаску, воблу, селедку и прочую закуску в дополнение к рассолу и черной корке.

Интеллигенция. Хотела свободы слова: читать, писать и говорить, что хочешь. При этом возможность ни за что отвечать. Получила. Извечная проблема России: образованный класс не рвется к власти, он от власти отпихивается. Во власть идут «троешники». Они и революции делают, не брезгают. А интеллигенция остается — щебетать в своей безопасной клетке. Чего и хочет.

Номенклатура. Олигархи и прочая бюрократия. Соединила, наконец, в своих руках управление с владением. Власть с ответственностью. Плюс замки, мигалки, «эндээсы» и «Мерседесы».

И, наконец, высшее руководство. Еще в советские времена верхушка рассчитала, что если не делиться нефтью и прочими ресурсами с братскими народами и режимами, — то вдесятеро достанется России. И отпустила братишек на волю.

Мой вопрос: чего ждать дальше? Прочен ли послереволюционный симбиоз (если, конечно, извне не будет затрещины, от которой можно завалиться)?

Я думаю, прочен. Ибо все четыре класса пребывают в своем интересе и перерождаются не намерены.

Народ продолжит пить. И закусывать. Потому что иначе не выдержать — ни в нашем климате, ни в наших геополитических размерах.

Интеллигенция продолжит чирикать. Будет отмахиваться от власти и ответственности. Потому что отвечать за что бы то ни было немислимо — при непредсказуемом народе.

Бюрократия будет и дальше владеть и управлять. И пусть. Мне ее замки и «Мерсы» без разницы, а на ее работу я неспособен. Как неисправимый интеллигент.

Высшее руководство правильно все рассчитало с нефтью (и газом). А вот сепаратисты бывшего Союза и Соцлагеря, видать, рассчитали не все. При социализме они и в руководство в принципе имели доступ: власть всегда вербовалась (и будет вербоваться) из всех слоев и концов общности. Кроме тех, которые наелись суверенитета, сколько влезло.

Что не влезло — привет: табачок врозь, граница на замке, на руинах «Советской Империи» естественно возникает послереволюционный симбиоз.

Summary

OLGA KUCHKINA. In the Tower of Frontal Coronal Bone. A novel.

The artist was very famous not only by his pictures but also by his self-willed temper and unwillingness to show up in public or give interviews to anybody. Nevertheless an elderly experienced woman-journalist managed to draw him out. When the article was published the artist had already been dead. And little by little it became apparent that in fact he was not at all the person he pretended to be...

GENNADIJ KHAZANOV. Five novellas.

Five new short stories of one of the most exquisite masters of modern prose will surely charm any experienced reader by their stylistic finesse and the author's skillfulness in inventing the plot.

Two new short stories by **DENIS GUTZKO**, the winner of the Booker-2005 prize, our regular and welcome author who has never disappointed our expectations.

ALEXANDER TARASOV is dotting his «i's» as far as the problem of capital punishment is concerned in his article «The Right to Kill».

LEONID VOLKOV. Chapters from the book of memoir «Russian Spring. A Trial of Confession from a Former People's Deputy».

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожалеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 291-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 202-52-03, зав.редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 20.11.07. Подписано в печать 20.12.07. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отг. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2500 экз. Заказ 2854. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ФГУП «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38.

Читайте в следующем номере:

Проза

Марина МОСКВИНА. **РАДИО «МОСКВИНА»**. Документальный роман

«Как я люблю радио! Когда за звуками музыки и голосов угадывается потрескивание эфира, безмолвие бездонной и беспредельной Вселенной. Иногда мне хочется слушать только это вечное потрескивание и безмолвие, потому что слова в эфире — очень странная штука, практически непостижимая.

Во-первых, всякий раз приходит мысль: кто ты такой, чтобы нарушить вечную, прекрасную тишину? Действительно ли тебе есть что сказать миллионам и миллионам людей? Окликнуть — каждого в отдельности, прямо в его доме или в пути, или бог еще знает где и при каких обстоятельствах.

Даже просветленные Учителя, явившие себя миру в нашу эпоху, чаще всего отказываются выступить по радио.

— Нужно видеть лица тех, кто тебя слушает, — объясняют они, — тогда понимаешь, что должно быть произнесено **в это самое мгновение для этого человека**.

Конечно, в студии перед микрофоном ты не видишь своих собеседников, не знаешь, чем они заняты, какое у кого настроение. Что выхотите, если на мое имя пришло письмо:

“Под вашу передачу мне стал близок хороший мужчина — инструктор из Йошкар-Олы...”»

Георгий ГРАТТ. **СКАЖИ МНЕ, МАМА, ДО...** Повесть

«По Мясницкой тупым строем надвигалась толпа, флаги. Над головами колышутся транспаранты: «Очистим Москву от инородцев!» Тут же попы с иконами и лампадами умиленно трясут бородами. И какие-то бритые ублюдки в коже, на руках подобие свастики. Передний с мерзким флагом вскинул в приветствии руку. И черная сотня каркнула разом, брызнув ядовитой слюной на землю.

Что это? Откуда?! И не стерпел — будто плюнули прямо в него — шагнул, преграждая дорогу переднему. Вырвать из рук, разорвать поганую тряпку, растоптать... Но уже налетели, не устоять. Повалили, коваными ботинками наотмашь. В живот, в голову. Но не сдаваться. Ты же воин, солдат! Ты должен!

А других воинов поблизости не было».

«ДН» — 2008

Романы, повести:

Анатолий АЗОЛЬСКИЙ. Святой источник. *Повесть*Сухбат АФЛАТУНИ. Конкурс красоты. *Роман*Муса АХМАДОВ. Дикая груша у светлой реки. *Повесть*Дмитрий БЫКОВ. Булат Окуджава. *Фрагменты из книги*Николай ВЕРЕВОЧКИН. Городской леший, или Ероха без подвоха. *Сугубо реалистическая фантазия*Резо ГАБРИАДЗЕ. Доктор и больной. *Повесть*Игорь ГЕЛЬБАХ. Очертания театра. *Ностальгическая повесть*

Денис ГУЦКО. Новая повесть

Борис ГОЛЛЕР. Возвращение в Михайловское. *Роман. Часть вторая*Георгий ГРАТТ. Скажи мне, мама, до... *Повесть*

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ. Новая повесть

Ваграм МАРТИРОСЯН. Мобиле. *Повесть. Перевод с армянского*Марина МОСКВИНА. Радио «Москвина». *Документальный роман*Михаил ПИСЬМЕННЫЙ. Колпачок. *Повесть*

Рада ПОЛИЩУК. Одесский триптих

Елена РЖЕВСКАЯ. Бремя выбора. *Воспоминания*

Герман САДУЛАЕВ. Новая повесть

Роман СЕНЧИН. Елтышевы. *Повесть*Валерий ХАЗИН. Труба. *Повесть*Елена ХОЛМОГорова. Начальник воздуха. *Повесть*

Александр ЭБАНОИДЗЕ. Новый роман

НОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ Светланы АЛЕКСИЕВИЧ, Натальи АРБУЗОВОЙ, Аллы БОССАРТ, Елены ДОЛГОПЯТ, Дарьи ДАНИЛОВОЙ, Николая ЕВДОКИМОВА, Александра ИВАНЧЕНКО, Дибаша КАИНЧИНА (с алтайского), Евгении КОНОНЕНКО (с украинского), Ильи КОЧЕРГИНА, Анатолия КОРОЛЕВА, Афанасия МАМЕДОВА, Ирины МУРАВЬЕВОЙ, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Захара ПРИЛЕПИНА, Дины РУБИНОЙ, Левона ХЕЧОЯНА (с армянского), Александра ХУРГИНА, Веры ЧАЙКОВСКОЙ, Владимира ШПАКОВА, Ларисы ШУЛЬМАН, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ, а также лауреатов премии «Дебют» и участников Форума молодых писателей России.

НОВЫЕ СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ Равиля БУХАРАЕВА, Натальи ВАНХАНЕН, Владимира ГУБАЙЛОВСКОГО, Ербола ЖУМАГУЛОВА, Елены ИСАЕВОЙ, Инны КАБЫШ, Инны ЛИСНЯНСКОЙ, Ларисы МИЛЛЕР, Ольги ПОСТНИКОВОЙ, Александра РЕВИЧА, Геннадия РУСАКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА и других авторов.